ИНОСТРАННАЯ *литература*

4
1958

ИНОСТРАННАЯ литература
4
1958

В. И. ЛЕНИН

Скульптура работы Н. Аронсона
(Центральный музей В. И. Ленина)

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Адольф Гофмейстер (Чехословакия). Из египетских зарисовок.

Содержание

ЛИАНА ДАСКАЛОВА — Дом в Поронино (Стихотворение) 3

Встречи с Лениным

УИЛЬЯМ ГАЛЛАХЕР — Великий гений революции 5

ХЕЛЕНА БОБИНСКАЯ — Из моих воспоминаний о Ленине 7

АЛЬФРЕД КУРЕЛЛА — Незабываемые встречи 10

Лауреаты Международной Ленинской премии мира

АРАГОН — Стихи 14

ХАЛЛДОР ЛАКСНЕСС — Летопись хутора Бреккукот (Роман). Вступление Н. Крымовой 27

ХАЙЯ КАДМОН — Кровь на границе (Стихотворение) 85

КЛАРА БИХАРИ — Жажда (Роман. Окончание) 89

АЗИЗ НЕСИН — Сатирические рассказы . . 158

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

АТТИЛА ЙОЖЕФ — Лирика 180

КРИТИКА

ЮРИЙ БОРЕВ — Против ревизионизма в эстетической теории 183

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Спор о поэзии

КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ — О назначении поэзии 194

Вступительное слово поэта Джузеппе Унгаретти 203

Сообщение поэта Сальваторе Квазимодо . . 205

Выступление поэта Леонида Мартынова . . 208

Выступление критика Джанкарло Вигорелли 208

4

1958

АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“ МОСКВА

Выступление поэтессы Веры Инбер . . . 210
Выступление проф. Анджело-Мариа Рипеллино 212
Выступление критика Карло Салинари . . 214
Выступление поэта Сергея Смирнова . . . 215
Выступление поэта Алексея Суркова . . . 217
Выступление поэта Александра Прокофьева 218

СТ. ЗЛОБИН — Продолжение личной беседы... 220

ПУБЛИЦИСТИКА

СЕДРИК БЕЛФРЕЙДЖ — Американец в Советской России 225

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Деятели культуры о совещании на высшем уровне

ПАБЛО НЕРУДА 229

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

МАХМУД АМИН АЛЬ-АЛИМ — Две конференции в Каире 230

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ЭЙВИН БОЛСТАД — Атомные ракеты и Норвегия 234

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СВЯЗЕЙ МАСТЕРОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Письма Петру Ильичу Чайковскому . . . 239

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

АЛЬБЕРТ МАЛЬЦ — Прощание с Диего . . 247

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

С. Востокова — Книга о Гашеке. ◇ А. Старцев — Новое о молодом Твене. ◇ Г. Журавлев — Кольцо преступлений. ◇ Режи Бержерон — Испанский номер «Эроп». ◇ Н. Эйшискина — Рассказы Олдоса Хаксли. ◇ И. Нечаев — Рассказы Карла Мундштока. ◇ Л. Степанов — Арабские макамы 260

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 270

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 287

Лиана Даскалова

Дом в Поронино

Перевод с болгарского Александра Тверского

I

Хороши рассветы в Закопане...
Там воркуют голуби в лесу,
Ранний луч на луговой поляне
Нежно пьет прохладную росу.

Небосвод веселый, синий-синий —
Как шатер над цепью синих гор,
И стоят угрюмые вершины,
Охраняя синеву озер.

Ночью звездной и прозрачным полднем
Я бродила среди этих мест.
Все пути-дороги эти помню,
Каждый столб и каждый крест окрест.

Но когда в Поронино была я
И когда вошла я в ветхий дом —
Встала предо мною быль былая,
И тотчас я вспомнила о том,

Кто здесь жил давно и так недавно,
Кто движеньем волевой руки
В бой за правду вел дорогой славной
Все народы и материки.

II

Проселок вправо-влево вьется-вьется,
Спускается нагорье, а на нем,
Как на ладони, озаренной солнцем, —
С балконом дом, заветный тихий дом.

Гляжу я с высоты — и подо мною
Сверкают молодые тополя,
Безропотно все покорилось зною:
Пылают камни и сама земля.

Трава нежно-зеленая, такая,
Какой я не встречала до сих пор.
И кажется моим болгарским маем
Июнь на севере под легкой сенью гор.

Порою вижу я скрещенье стежек узких,
Что вдаль бегут по стороне лесной.
Бродил по ним и он, великий русский —
Владимир Ленин, всей земле родной.

Под вечер здесь гулял он, утомленный,
Чтоб снова — за работу до утра.
Приветливо ему кивали клены.
И словно было это все вчера...

Горели светляки в душистом поле.
Вернулся Ленин. Ждал его связной.
Известие, тревожное до боли:
Опять гремят расстрелы над страной.

Как вестью страшной был Ильич взволнован!
С какой тоской глядел он на восток!
Но видел он зарю России новой
И знал, что час свободы недалек.

И сколько было в этом сердце чистом
Любви к народу, к родине своей!
И как стучало сердце коммуниста
В тревоге о путях простых людей!

... Вот этот дом. Чуть покосились стены.
Над чердаком причудлива резьба.
С дощатой крышей дом обыкновенный,
Дом, где решалась всей земли судьба.

... Я здесь была! О, как же это много!
Иду по ленинским живым следам.
Хочу всю жизнь шагать его дорогой,
Идти к высотам по его стопам.

ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

Уильям Галлахер

Великий гений революции

В одной из своих статей товарищ Сталин рассказывает о том, как он себя чувствовал перед первой встречей с Лениным. Он был в то время очень молод, но, будучи знаком с сочинениями Ленина, понимал, что ему предстоит увидеть крупного революционного вождя. И по молодости лет он заранее представил себе, как должен выглядеть великий человек и как он должен держаться. Но, увидев Ленина, он испытал нечто похожее на разочарование, ибо Ленин оказался полной противоположностью тому, что он воображал.

В 1920 году я выехал из Глазго в Москву. Я был не так молод, как товарищ Сталин в пору той первой встречи, и, уже имея за плечами кое-какой опыт в качестве рабочего агитатора и цехового старосты, успел повидать немало влиятельных людей, к которым, однако, не питал большого уважения. Все они теперь умерли и не оставили следа на дороге жизни. Они унесли с собой в могилу свое самодовольство и мнимую значительность, и о них давно забыли.

Но направляясь в Москву, я чувствовал, что мне предстоит увидеть подлинно великих людей, осуществивших нечто такое огромное, чему еще не было равного в истории.

Немногим более ста лет тому назад Карл Маркс сказал: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его».

И пока империалисты вели беспощадную войну за передел мира, большевики — ленинская партия нового типа, — верные учению Маркса, осуществили первую, решающую перемену в этом процессе изменения мира. С такими мыслями я и пустился в путь на II конгресс Коминтерна.

Первая задержка произошла в Ньюкасле. Поскольку у меня не было паспорта, пришлось зайцем пробраться на пароход, шедший в Берген. Чемоданчик со сменой платья и документами мне должны были переслать из Ньюкасла, однако больше я его не видел. Поэтому, когда я прибыл в Мурманск (добравшись туда на рыболовном судне из Вардё), я очутился в несколько затруднительном положении. Едва ступив на землю, я был окружен товарищами, которые почти все сражались в партизанских отрядах. Кто я такой? Я ответил. От какой организации? От цеховых старост. Ваши документы? Пришлось объяснить, что документов у меня нет. Это им не понравилось. Меня отвели в какую-то избу и не велели из нее выходить. Да мне и не хотелось куда-либо выходить. По-видимому, задержавшие меня люди связались по телефону с Петроградом, передали мои приметы и получили указание отправить меня дальше. Так или иначе, после двухдневного ожидания, во время которого я наслушался интересных рассказов о партизанской войне, меня посадили в поезд, отправлявшийся в Петроград.

Пока поезд стоял в Петрозаводске, тамошние товарищи привели меня в свой штаб и угостили ухой с куском черного хлеба и стаканом чаю, за что я им был душевно благодарен. Кроме того, они рассказали мне, как гнали без передышки генерала Айронсайда с его войсками обратно в Мурманск, где ждали корабли, на которых те и отплыли восвояси.

Когда я прибыл в Петроград, конгресс уже открылся и перенес свою работу в Москву. Меня доставили в Смольный для регистрации и получения пропуска.

Здесь, в Смольном, я впервые пришел в соприкосновение с Лениным — не лично, а через «левый коммунизм» — и признаюсь, что я, как в свое время молодой Сталин, испытал некоторое разочарование, хотя по совсем иной причине. Хоть я и не считал себя важной персоной, однако был о себе довольно-таки высокого мнения как о марксисте и революционном агитаторе. Во время войны я принимал участие в руководстве крупными забастовками, а после Октября 1917 года — мощными демонстрациями в поддержку молодой Советской Республики. Поэтому я, если и не ожидал особенно почетной встречи, все же рассчитывал на некоторое уважение к моему богатому революционному опыту. А тут меня, видите ли, называют «коммунистом, пораженным детской болезнью»! Правда, Ленин, как может убедиться всякий, прочтя его книгу, высказался обо мне в самом доброжелательном, товарищеском тоне, но факт оставался фактом — мою разновидность коммунизма он расценивал весьма низко, и это сильно меня уязвило. Критика его кое в чем меня поколебала, но не убедила окончательно, и так, со своими крайними левыми взглядами, я и проследовал в Москву.

Приехал я туда в субботу утром и, немного отдохнув и почистившись, отправился на субботник на автомобильный завод АМО. В воскресенье я, в составе англо-американской футбольной команды, играл на Воробьевых горах против московской команды. Мы потерпели позорное поражение, однако мне посчастливилось забить единственный гол с нашей стороны.

На следующее утро я отправился в Кремль на конгресс. В одной из комнат, где делегаты, до начала заседания, пили чай и беседовали, я услышал голос: «Товарищ Галлахер, познакомьтесь с товарищем Лениным». Я обернулся. Передо мной стоял наш великий Ильич. Сияя глазами и теплой улыбкой, он сказал: «Добро пожаловать к нам, товарищ Галлахер!» Я ответил, что счастлив быть здесь, а затем начался общий разговор. Так, самым неофициальным образом, состоялось наше знакомство. Одной из наиболее примечательных черт Ленина было то, что он никогда не выставлял себя на первый план. Всем своим существом он был сосредоточен на революции, это ощущал всякий, кто с ним общался.

В политической комиссии я выступал от имени левых коммунистов. Во время одной из дискуссий я упомянул о критике Ленина в «Детской болезни» и заявил комиссии, что если в мое отсутствие Ленин волен критиковать меня и относиться ко мне как к младенцу, то теперь, когда я здесь, он убедится, что я в этом деле (в политике) не новичок. Как я уже рассказывал в статье, написанной к сорокалетию Октябрьской революции, Ленин послал мне записку: «Когда я писал свою книжку, я не был с Вами знаком». Но эта история имела забавное продолжение. Спустя несколько месяцев в Москве побывал Уилли Поль, член нашей партии, писатель и лектор. Во время его интереснейшей беседы с Лениным, Владимир Ильич вдруг перегнулся через стол и сказал с широкой улыбкой: «Товарищ Галлахер у нас на дискуссии заявил: «Я в этом деле не новичок»,— причем, по словам Поля, в точности воспроизвел мой шотландский акцент. Вдвоем они от души посмеялись над отсутствующим Галлахером. Но это был не обидный смех: ведь на заседании политической комиссии Ленин не скрывал, что у него составилось обо мне благоприятное мнение. Когда немецкий делегат, юрист Пауль Леви, свирепо накинулся на меня и стал сравнивать меня с некоторыми «негодяями-социалистами» в Германии, думая при этом, что делает приятное Ленину, тот резко одернул его. «Нельзя говорить в таких выражениях про товарища Галлахера. У него могут быть ошибки, но он всегда будет верен революции». Я запомнил это на всю жизнь, и воспоминание это всегда подкрепляло мою веру в наше великое дело. Так же было и тогда, когда Ленин в своем кабинете в Кремле убедил меня, что я держусь неверной позиции в вопросе о революционном использовании парламента. Мое утверждение, что всякий, кто попал в парламент, рано или поздно дает себя купить, он парировал вопросом: «А вы сами дали бы себя купить?» И когда я, после минутного колебания, ответил: «Нет, меня не купить, в этом я уверен»,— он стал меня убеждать: «Ну, так добейтесь, чтобы вас избрали в парламент, и покажите им, как должен вести себя революционер

в этом буржуазном учреждении». В течение пятнадцати лет, что я был членом парламента, я всегда помнил об этом разговоре и старался им руководствоваться.

Дискуссии, проходившие на пленуме II конгресса, печатались в сокращенном виде в журнале «Коммунистический Интернационал». В одном из номеров приведена речь Ленина, которая начинается словами «Товарищ Галлахер пошутил», но о самой шутке ничего не сказано. А дело было так. Среди представителей Британской Социалистической партии был некий человечек с вечно моргающими глазами, прожженный оппортунист, а ныне — заклятый враг коммунизма. Он произнес сногсшибательную речь об участии в парламенте, из которой явствовало, что только красноречие делегатов Британской Социалистической партии и склонило Ленина и вообще большевиков к поддержке этой политики. Я выступил вскоре после него и нарисовал ироническую картину: бедные, отсталые в политических вопросах большевики, выросшие во тьме царской России, пробудились к жизни лишь после того, как данная делегация привезла им свет и указала путь. «Левым» это, конечно, понравилось, в зале раздался громкий смех. Не успел я кончить, как Ленин попросил слова и после упомянутого вступления сказал, что вопрос этот слишком серьезный для шуток, однако далее отметил, что делегат Британской Социалистической партии приводил несостоятельные, оппортунистические доводы, не имеющие ничего общего с революционным использованием парламента. После этого-то инцидента Ленин и пригласил меня к себе в кабинет для серьезной беседы. Он ссылался на оппортунистические доводы делегата Британской Социалистической партии, чтобы внушить мне, какой вред я приношу, оставляя столь важный участок работы в руках таких людей. Следует сказать, что делегат, о котором идет речь, отнюдь не представлял большинства партии. Ведь именно большинство Британской Социалистической партии добилось той степени единства, при которой удалось, как раз во время II конгресса Коминтерна, основать в Лондоне Коммунистическую партию Великобритании. Зато своей беспардонно оппортунистической речью этот делегат открыл мне глаза на то, какую опасность являют собой он и ему подобные, и, что еще важнее, заставил меня прислушаться к терпеливым уговорам товарища Ленина, так что я мог поклясться, что буду вести борьбу на всех фронтах, как и подобает настоящему революционеру-марксисту. Ленин был очень доволен, он встал и, пожимая мне руку, приговаривал: «Хорошо, товарищ Галлахер, хорошо!» Таким он мне и запомнился навсегда, с приветливым взглядом и горячим сердцем, великий гений Революции и в то же время добрый, простой и скромный товарищ.

Лондон, март 1958 г.

Хелена Бобинская

Из моих воспоминаний о Ленине

В то время мы жили на Софийской набережной, около Каменного моста... Окна нашего дома выходили на Москву-реку. На другом берегу, немного наискосок, высились древние башни Кремля.

Лето 1918 года изобиловало грозами. Почти ежедневно мне приходилось видеть башни Кремля на фоне черных грозовых туч, среди огненных зигзагов молний.

Черные тучи собирались над молодой Республикой Советов не только в небе...

В Москве все чаще случались дни, когда хлеба не выдавали вовсе.

Будучи хозяйкой коммуны, в которую, кроме нас с мужем, входили Будзынский и Крошка, я должна была основательно ломать себе голову, чем кормить этих людей. К тому же почти ежедневно к завтраку бывали товарищи из Варшавского полка. Ровно в восемь утра рослые серые лошади, запряженные в просторную повозку — собственность полка,— останавливались перед нашим домом. Мы издалека распознавали резвую рысь серых лошадей.

Через минуту в коридоре появлялся весь штаб Варшавского полка: командир Стефан Жбиковский и его ближайшие помощники Сцибор и Похопень.

— Может, дашь нам что-нибудь поесть? — не очень уверенно спрашивал Бобинский.

Потом все сидели за длинным столом в просторной кухне, переименованной в столовую. Приходили Будзынский и Крошка.

Единственными атрибутами комфорта в нашей столовой были ароматный запах мокко (в то время его еще продавали на Арбате в частном магазине) да белая скатерть. Гречневая или пшенная каша заменяла нам хлеб. И по сей день запах хорошего кофе переносит меня в те незабываемые дни.

То была пора великой любви и великой ненависти. Я не могу иначе назвать раскаленную атмосферу, в которой мы жили. Победоносная революция разожгла сердца людей. Сознание того, что мы создаем новый, еще дотоле неведомый уклад мира (а в те времена мы мыслили только в масштабах мировой революции), окрыляло всех. Малых дел для нас не существовало.

Все, что касалось революции, становилось великим, самым важным. Мир с поразительной ясностью раскололся на союзников и врагов. Именно в такой своеобразной атмосфере формировался Варшавский революционный полк.

Бобинский, бывший комиссаром этого полка, с присущей ему страстностью с головой ушел в работу. Целые дни он проводил в казармах на Серпуховке, часами готов был беседовать с солдатами, присев на каком-нибудь бревне, вкладывая в эти разговоры всю свою фанатическую веру в революцию и... тоску по родине.

Ему удалось привлечь к воспитательной работе таких товарищей, как Прухняк, Будзынский и Лонгва. Позднее частым гостем в полку бывал Мархлевский.

К тому времени некоторые отряды Варшавского полка уже отличились в боях против восставших в Ярославле левых эсеров. В конце июля у нас начали говорить, что со дня на день Варшавский полк выступает на борьбу с бандами «зеленых». Второго августа в Коммерческом институте в Замоскворечье должен был состояться прощальный митинг. Митинг был назначен на 11 часов. Бобинский обещал зайти за мной.

Около 10 часов разразилась «очередная» в то лето гроза.

Готовая к отъезду, я стояла у окна, уныло глядя на потоки дождя, стекавшие по стеклам.

Вбежал Стасек.

— Ты готова? Натяни получше капюшон, не то промокнешь. Нам еще предстоит заехать в Кремль за Мархлевским, а времени в обрез.

Когда мы наконец влезли под намокший от дождя верх повозки и мокрые серые лошади тронулись проворной рысью, Бобинский шепнул мне, что на митинге будет Ленин. Теперь я поняла причину его приподнятого настроения. Я знала, что встретиться с Лениным горячо желали все товарищи поляки.

— Я поручился за безопасность Ленина, а Мархлевский меня поддержал. Это большая победа. Однако как бы мы не опоздали! — Он снова начал нервничать.

Предстояли еще какие-то формальности перед воротами Кремля. Затем мы ждали Мархлевского. В половине одиннадцатого проехали Каменный мост. Гроза прошла.

Бобинский беспокойно выглянул из повозки.

— Что-то я не вижу наших улан.

Но тут же он заметил их:

— Здесь ребята!

Мы свернули на улицу, ведущую к институту.

— Почему здесь так пустынно? — удивился Мархлевский.— Дождь уже прошел, а улица словно вымерла.

Затем через каждые несколько шагов нам стали попадаться небольшие группы улан. Когда мы проезжали мимо, Бобинский высунулся из повозки.

— Ну как там? Все в порядке?

— Все в порядке, товарищ комиссар! — радостно ответил молодой солдат.— Можете на нас положиться. Ни одного человека не пропустим!

— Как это так,— забеспокоился Бобинский,— ведь должны быть делегации с фабрик?

— Делегации со знаменами мы пропустили, а вот поодиночке никто не пройдет, товарищ комиссар!

— Мы приглашения разослали, а вы людей не пропускаете? — напал на него Бобинский.

— Бумажку любая контрреволюционная сволочь сможет себе выписать (Мархлевский прыснул от смеха), а мы здесь отвечаем за жизнь...

Бобинский перебил его:

— Уже приехал?

— Приехал! Только что... — засиял улан.

— Снимайте посты! Отправляйтесь в институт.

— Слушаюсь, товарищ комиссар!

Лошади рванули. До нас успел долететь молодой голос:

— Ребята! Снимать посты!

— Как вам это нравится? — злился Бобинский.— «Каждая контрреволюционная сволочь сможет выписать себе такую бумажку»,— и вдруг рассмеялся.— И что мне делать с этими ребятами?

— Это результаты нашей пропаганды,— весело издевался Мархлевский.— Мы хотим, чтобы солдат-революционер думал, вот он и думает. И по-своему правильно думает. Потому что раз он отвечает за жизнь Ленина, то что для него какие-то бумажки?

* * *

Мы застали Ленина в кабинете по соседству с большим залом. Он только что приехал, его окружили, и он разговаривал с большой группой товарищей. Там были Жбиковский, Будзынский, Прухняк и Сцибор. Мы присоединились к беседующим. Мархлевский воспользовался минутой, когда Ленин снимал пальто, для того чтобы что-то ему рассказать. Ленин громко рассмеялся. Бобинский недоверчиво покосился в их сторону.

* * *

Огромный зал был переполнен. Появление Ленина было встречено громом аплодисментов. Оркестр заиграл «Интернационал». Флаги сияли кумачом и золотом.

Уланы выстроились от дверей к эстраде сплошной шеренгой. Едва Ленин сделал первый шаг, блеснули острия сабель, скрестившись над его головой. Ленин вздрогнул, посмотрел вверх — и спокойно пошел дальше.

Дойдя до эстрады, он повернулся и сказал с шутливым упреком:

— Эх, товарищи поляки, без эффекта никак не можете...

Он провел ладонью по голове и взглянул на собравшихся смеющимися глазами.

— Хоть бы предупредили! А то, ей-богу, испугался!

Улыбка озарила сотни молодых лиц. Шумный восторг, удивление, радость вылились в стихийный возглас:

— Да здравствует Ленин!

* * *

Когда Ленин взошел на трибуну и начал говорить, мы увидели «другого» Ленина.

Взгляд узких, немного раскосых глаз стал острым, пронизывающим, движения — резкими и молодыми.

Слова его падали метко, без промаха, как снаряды.

— Мы знаем, что война подходит к концу; мы знаем, что капиталистам не удастся ее закончить; войну закончат трудящиеся массы, которые устали проливать кровь. Хищный империализм окружает нас все более тесным кольцом. Он хочет задушить нас. Но мы знаем, что у нас есть верные союзники: трудящиеся массы всего мира. Сейчас мы должны напрячь все силы: либо власть кулаков, капиталистов и царя — либо власть пролетариата. Победа зависит от нас, товарищи!*

В огромном переполненном зале уже никто не сомневался в этой победе.

---

* Текст выступления см. В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 21—23.

* * *

Бобинский вернулся домой поздним вечером, охрипший от речей и взволнованный прощанием с Варшавским полком. Он, конечно, проводил полк на вокзал и там еще ходил от вагона к вагону.

— Если бы ты видела, как ребята были мне благодарны за эту встречу с Лениным! Они не могли успокоиться! Без конца повторяли его слова: «А то, ей-богу, испугался!». И говорили: «Уж он-то испугался! Но как он это сказал, товарищ Бобинский!» Замечательные ребята! — вздохнул он. А немного погодя добавил: — Сколько их не вернется!

Он снял сапоги и бросился на кровать.

Но сейчас же вскочил.

— Мархлевский — обманщик, не выдержал: рассказал Ленину ту историю с уланом.

— А Ленин что на это? — спросила я.

— Разве ты не слышала, как он смеялся? А потом сказал Мархлевскому: «Правильно! Бумажка — вещь ненадежная».

Альфред Курелла

Незабываемые встречи

...20 апреля 1919 года я прибыл в Москву. Несколько дней спустя мне сообщили, что со мной хочет говорить В. И. Ленин. Приглашение было для меня несколько неожиданно. Однако я догадывался, чем оно могло быть вызвано: во время нашего путешествия, продолжавшегося около месяца, в Баварии была провозглашена Советская республика. Связь Москвы с внешним миром была тогда очень плохой, и Ленину, наверное, доложили, что курьер ЦК компартии Германии прибыл прямо из Мюнхена, где он был одним из основателей и руководителей Союза коммунистической молодежи, и что, следовательно, есть возможность получить дополнительную информацию о мюнхенских событиях, так сказать из живого источника.

И действительно, эта первая, продолжавшаяся более часа беседа состояла, в основном, в том, что Ленин пытался почерпнуть из «живого источника» все, что тот мог дать. Очень скоро, впрочем, выяснилось, что этот «источник» мог дать не так уж много.

В те дни я жил в Кремле, и идти к Ленину мне пришлось недалеко. Когда я вошел в не очень большую, но очень светлую комнату — ставшую впоследствии известной всему миру по многим картинам и фотографиям, — Ленин поднялся из-за письменного стола. Усадив меня за маленький столик, он сел напротив меня на диван. Столик находился от дивана сравнительно близко, так что мы хорошо видели друг друга. Во время разговора Ленин часто менял положение — то откидывался назад, в угол дивана, положа левую руку на спинку, то, задавая какой-нибудь вопрос, наклонялся вперед, опершись руками о колени и слегка склонив голову набок, или же, выслушивая длинный ответ, сидел выпрямившись на краю дивана и, немного согнув плечи, искоса снизу смотрел на меня. Вообще, я постоянно чувствовал на себе его взгляд — внимательный и изучающий, как бы читавший мои невысказанные мысли, ибо порой его вопросы касались вещей, о которых я лишь подумал, но не сказал вслух.

Что же касается моей позы на стуле, то она становилась все более и более натянутой, а наивная самоуверенность, с которой я вошел в этот кабинет, все больше и больше уступала место откровенному смущению. И не то чтобы Ленин как-то подавлял меня своим авторитетом, напротив — заметив мое смущение, он еще больше старался подчеркнуть тот товарищеский тон, который он придал беседе с самого начала. Но именно это стремление держаться со мной как «равный с равным» окончательно смутило меня, ибо я еще яснее ощутил разницу между нами. То, что Ленин знал о Мюнхене, о событиях в Баварии и о политическом положении в Германии вообще, и то,

что он хотел дополнительно узнать от меня, далеко превосходило все мои знания и опыт.

Особенно я был изумлен, когда Ленин в самом начале беседы стал расспрашивать меня о некоторых специфически мюнхенских вещах, причем выяснилось, что ему знакомы Английский сад с Моноптерусом и китайской башней и даже Аумейстер и Унгерербад. Тогда я еще не знал, что он некоторое время жил в Мюнхене. Ему были знакомы все крупные предприятия Мюнхена, из которых мне самому были известны лишь наиболее значительные; Ленин был осведомлен об отношениях среди руководства баварских социал-демократов, о чем я знал только в самых общих чертах. Таким образом, сведения, которые я ему мог сообщить, оказались весьма скудными; отвечая затем на вопрос о влиянии компартии и комсомола среди трудящихся Баварии, я, видимо, дал слишком оптимистический ответ, так как Ленин тут же с добродушной иронией поправил меня. Постепенно в ходе беседы мне все яснее становилось, как много должен знать настоящий коммунист и партийный руководитель и как мало знали мы — я мог судить по большинству моих тогдашних мюнхенских партийных товарищей — о вещах, имеющих решающее значение.

Из всего, что я рассказал Ленину, для него, как мне показалось, представляли некоторую ценность лишь краткие характеристики различных мюнхенских «левых», которые он выслушивал, то понимающе усмехаясь, то серьезно кивая головой. Но зато я полностью провалился в другом вопросе, который, по-видимому, был особенно близок его сердцу. Я уже успел рассказать ему довольно много, когда Ленин завел речь о политических настроениях среди баварских крестьян и о влиянии, которым пользовалась среди них наша партия. Уже при первых моих словах о «левых течениях» и «растущем влиянии» он с удивлением взглянул на меня. Когда же я начал рассказывать о «крестьянских советах», его брови поползли кверху, а едва я упомянул о таком крестьянском совете в Розенхейме, как он перебил меня:

— Розенхейм? Это не тот, что по дороге в Куфштейн? Разве это не город?..

Я сделал попытку поправиться, но Ленин спросил меня напрямик:

— А кто вы, собственно, по профессии, товарищ?

И после моего ответа «студент» (что, впрочем, не совсем соответствовало истине), встреченного восклицанием «вот как!», вовсе прекратил расспросы о положении баварского крестьянства. Он поинтересовался, как я устроился, что намереваюсь делать, и спросил, не соглашусь ли я, в случае если в ближайшее время собираюсь ехать обратно, захватить с собой в Баварию одно письмо. Оказывается, Ленин еще до нашей встречи составил письмо к баварским рабочим с приветствием Баварской Советской республике и в беседе со мной хотел получить кое-какие дополнительные сведения к ранее собранному материалу. Я довольно коротко ответил на все эти вопросы, после чего мы распрощались.

Эта бесславно закончившаяся для меня первая беседа с Лениным долго не выходила у меня из головы. В первый момент я был сбит с толку и даже обиделся на это, как мне казалось, совершенно неуместное сомнение в основательности моих сообщений. Мне тогда казалось непонятным — какое отношение имела моя профессия, мое социальное происхождение к знанию крестьянского вопроса в Баварии? И лишь с годами, приобретя жизненный опыт, я убедился, в какой сильной степени социальное происхождение человека определяет его кругозор, угол зрения, субъективность суждений, словом весь ход его мыслей...

И когда Ленин дал мне понять, что не ожидает от немецкого студента основательного знания аграрного вопроса в Баварии, то это вовсе не означало (как я тогда воспринял) окончательного и бесповоротного мнения о студентах вообще. В его словах не было ни малейшего намека на «увриеризм», на враждебность по отношению к интеллигенции — типичное явление для тред-юнионизма, долгое время сопутствовавшее немецкому рабочему движению. Чувство, зарожденное в моей душе ленинским «вот как!», снова и снова заставляло меня возвращаться к вопросу о «рабочем движении и интеллигенции» до тех пор, пока я не нашел ключ к его правильному разрешению у самого же Ленина — в его гениальной книге «Что делать?».

После первой встречи с Лениным последовала и вторая в том же 1919 году, носившая, однако, уже совсем иной характер.

Еще в мае по инициативе Ленина была образована комиссия, которой поручили изучить положение в международном социалистическом движении молодежи и рассмотреть возможность воссоздания Интернационала молодежи; в состав этой комиссии вошел и я. Подготовлявшиеся нами материалы неоднократно отдавались на просмотр Ленину и возвращались с его замечаниями. В конце мая Исполнительный Комитет недавно основанного III Коммунистического Интернационала выпустил воззвание, в основу которого легло важнейшее указание Ленина по этому вопросу: все существующие социалистические и рабочие молодежные организации, которые в своем подавляющем большинстве занимали во время войны революционные позиции и активно боролись с социал-патриотическими течениями в своих странах, предлагалось объединить в «Коммунистический интернационал молодежи». Союз венгерской молодежи, представители которого также прибыли в те дни в Москву, взял на себя приглашение всех организаций на встречу, намеченную на середину августа. Российский коммунистический союз молодежи обещал прислать двух делегатов. Наш отъезд был назначен на конец июля — ехать мы должны были разными путями, с тем расчетом, чтобы по крайней мере один из нас добрался до цели. Перед отъездом нас еще раз пригласили к Ленину.

И в этот раз беседа началась со множества вопросов. То, что Ленин превосходно ориентировался и в этой области, не очень удивило меня, так как мне было известно, как обстоятельно занимался он проблемами молодежного движения, будучи в эмиграции в Швейцарии. Затем нам пришлось доложить, как мы представляем себе нашу задачу. И здесь Ленин внес необходимые коррективы. Отчасти по нашей юношеской наивности, отчасти же полагая, что в документах, составленных комиссией, имеются убедительнейшие «тезисы» для ответов на все вопросы, мы представляли себе все дело слишком упрощенно. И теперь, на прощание, получили небольшой урок по политической тактике.

Главная, можно сказать, первостепенная задача заключалась в том, чтобы объединить возможно больше молодежных организаций вокруг ясной, бескомпромиссной революционной программы, основным пунктом которой было признание диктатуры пролетариата. И в молодежном движении признание классовой борьбы вплоть до этого исторически неизбежного следствия должно было служить пробным камнем; на этот вопрос требовался ясный ответ: «да» или «нет». Однако Ленин тут же предупредил нас, что один лишь факт теоретического признания этого пункта программы еще не может служить решающим критерием в оценке действительной политической позиции в каждом отдельном случае. Он обратил наше внимание на ту позицию. которую, вероятно, займут «австромарксисты». (В молодежном движении последние были представлены Союзом австрийской социалистической молодежи). Они пойдут, говорил он, на различные признания в чисто теоретических вопросах, чтобы уклониться от решения практических вопросов движения и сохранить за собой свободу действий. Чтобы и здесь не оставалось никаких сомнений, Ленин предложил включить в наш проект программы не только пункт о признании III Коммунистического Интернационала, но и заявление о том, что новый Интернационал молодежи должен являться секцией Коминтерна. Предварительные переговоры, состоявшиеся вскоре в Вене (в августе 1919 года), показали, насколько важно было именно это указание Ленина. «Венцы» во главе с Даннебергом были действительно готовы, как говорится, «проглотить» диктатуру пролетариата; однако они скорее соглашались пойти на раскол, нежели признать III Интернационал, что впоследствии и привело их в болото социал-демократического оппортунизма.

На учредительном конгрессе Коммунистического интернационала молодежи нам немало пришлось потрудиться, чтобы выполнить задачу, поставленную перед нами Лениным, ибо возражения против подчинения деятельности КИМ Коминтерну действительно имели место в рядах отдельных союзов коммунистической молодежи.

Прошло около полутора лет, пока я снова встретился с Лениным. В конце февраля 1921 года Исполнительный Комитет КИМ, находившийся в то время в Берлине, напра-

вил в Москву комиссию для политических переговоров; я был одним из членов этой комиссии. Снова зашла речь о той же проблеме, на которую Ленин обращал наше внимание летом 1919 года. Решался вопрос о переводе руководящего органа КИМ на постоянное местопребывание из Берлина в Москву. Лично Ленин не принимал участия в этих переговорах, но мне удалось увидеть его на X съезде РКП(б), происходившем в Свердловском зале в Кремле, где я присутствовал в качестве гостя на двух заседаниях. Мне довелось услышать отчет Ленина о политической деятельности ЦК РКП(б) и часть дискуссии, в результате которой съезд принял важнейшие решения о единстве партии и продналоге.

Второй конгресс КИМ, состоявшийся летом 1921 года в Москве, после продолжительных дебатов постановил перевести свой Исполнительный Комитет в Москву. Еще до этого, на III конгрессе Коминтерна, в работе которого мы принимали участие, но главным образом в последующие годы, когда я в качестве секретаря Исполкома КИМ почти все время находился в Москве, мне неоднократно приходилось встречаться с Лениным. В основном это происходило на заседаниях комиссий, где я переводил выступления Ленина на немецкий и французский языки, или же на заседаниях Президиума Коминтерна, в которых Ленин принимал участие...

Подробностей этих встреч я уже не помню. Но каждая из них оставила во мне неизгладимый след, ибо, слушая каждое новое выступление Ленина, я как бы сам поднимался на новую ступень в моем политическом развитии.

Арагон

Стихи

Перевод с французского
Ю. Новиковой и А. Тарковского

ПОЭТ — СВОЕЙ ПАРТИИ

Мне Партия моя вернула слух и зренье.
Что знал ребенком я, забыл в те времена —
Что родом я француз, что кровь моя красна.
Знал только: ночь темна, как сон без пробужденья.
Мне Партия моя вернула слух и зренье.

Мне Партия моя вернула смысл преданья.
И Жанна д'Арк прядет, трубит Роланд средь гор.
Эмблема мужества — гористый край Веркор.
Звенит простая речь мечами воздаянья.
Мне Партия моя вернула смысл преданья.

Мне Партия цвета отчизны возвратила.
Спасибо, Партия, спасибо за урок!
С тех пор всё на земле крылатой песне впрок —
Страданье, радость, гнев, любви живая сила.
Мне Партия цвета отчизны возвратила.

СТИХИ ИЗ АЛЬМАНАХА

В упрямой памяти напев звучит вчерашний.
Его не заглушит симфоний новых медь.
Кто пел его всегда, всегда и будет петь.
С ним сердце горькое светлее и бесстрашней.

Он полнил Франции запретную лазурь
В годину смертных бед, обид и скорби черной,
И пред лицом врага надежда непокорно
Окрашивала жизнь в цвета весенних бурь.

— Вам дальше нет пути,— надежда говорила,—
И след ваш, варвары, как динозавра след,
Глубоко втоптанный в легенды древних лет.
А я для вас — межа, преграда и могила!

Дороги дальше нет. Лоза горит огнем.
Попали вы в стране поверженных Бастилий
В капкан истории... Не тратьте зря усилий.
Дороги дальше нет! Вам не уйти живьем!

Вам дальше не пройти! Так роком суждено вам.
Дороги дальше нет! Здесь кровь моих детей.
Вы небу нашему сулили тьму смертей —
Оно, свободное, воспрянет в блеске новом.

Вам дальше нет пути! Возмездие вас ждет
За смерть моей любви, за окрики конвоя.
Вы торжествуете? Смертельно торжество, и
На этом рубеже окончен ваш поход!

Вам дальше не пройти! Здесь Авель спит в могиле,
Он держит Каина. Вам дальше не пройти!
Здесь в море грозное сбегают все пути.
Вам отомстит страна, где лагерь вы разбили.

Поникнет парус ваш вблизи моей земли,
Хоть надругались вы над нашей древней славой.
Вам дальше не пройти! Прервется путь кровавый
В пучине траурной, где гибнут корабли.

Предел поставили вам собственные роты,
Вдали от радуги должны вы умереть.
У нас на пасске свирепствует медведь.
Не сломишь Франции, хоть и раздавишь соты.

Когда пылает лес, взлетают птицы ввысь.
Расстрелянный Пери на бой ведет Фабьена.
И родина встает, отважна и нетленна,
И правый гнев, и честь в напев один слились.

Не затоптать его! Под вашими ногами
Живой костер горит день ото дня сильней.
Вы топчете лозу, но брызжет вихрь огней
И в небе зарево колышется, как знамя.

Вот песня — стрельбищам сверкающим под цвет.
Вот песня — дружный клич отеческого края.
Вот песня, что векам несет, не иссякая,
Страдальцев пламенных немеркнущий рассвет.

Вот песня Франции — как подвиг без награды.
Вот песня страстных чувств и безрассудных вер,
Угроза небесам, подножка и барьер
Расчетам точным тех, кто взвешивает яды.

А в наши времена — о чем она поет?
Что говорит народ, не знающий покоя?
Пора кончать с войной и браться за другое.
Иным сражениям теперь пришел черед.

Та песня говорит: — Сойди в земные недра,
Чтобы грядущее добыть, как антрацит.
Где родина твоя? — нам песня говорит,—
Не там ли, где труду всю жизнь ты отдал щедро?

Красивых слов у нас и впрямь невпроворот,
Но что голодным в них? — звучит в той песне старой.
А урожай гниет, не убранный в амбары,
А уголь Севера шахтеров тщетно ждет.

Да разве нами был хоть грош единый нажит
В те дни, как на врага мы шли в огне атак?
Но может изменить свое обличье враг.
Глядишь — нас по рукам его лакеи свяжут —

Рвачи и ловкачи, кому исподтишка
В передней у врага нагреть случалось руки...
В заплатках совесть их, но без заплаток брюки.
Тяжел их кошелек, зато душа легка.

Кем не прикинутся, моралью нас пугая?!
Вот, Франция, в чем смысл истории твоей:
Мы делаем ее — они трещат о ней.
У этих свистунов и песня есть другая.

О, в зеркале Виши мы разглядели их,
И никого из нас не обольстят их танцы.
Они отражены в крови распятой Франции —
Все трюки жалкие фигляров записных.

Вам, леди Макбет, груз, как видно, не под силу,
Но знайте, ни бензин, ни даже лунный свет,
Не смогут вытравить невинной крови след.
Для рук доносчиков не выдумано мыла!

Прелестный этот мир клокочет, осмелев.
Его трясет озноб — охота к переменам.
Повозки хочется перевернуть гаменам.
Пасси — в волнении. В готовности Марбеф.

Народу Франции нет места в ваших планах.
Поосторожней, вы! Гнев блузников растет.
Что если старый счет предъявит вам народ
И ледяной водой окатит вас, незваных?

Вам кажется: его терпимость велика,
Как ни тесни его, не рвется он к просторам...
Страшитесь, если он подхватит общим хором
Ту песню, что поют чуть слышно у станка!

Час близок. Докрасна раскалено железо.
Свобода! Твой призыв — в сердцах и на устах.
Ничем не удержать могучей песни взмах.
О заразительность бессмертной Марсельезы!

ЧИЛИЙСКИЙ СНЕГИРЬ

Ты помнишь ли, как нежность вечеров,
Мешая слушать, приглушала строки?
Чтец, без сомнения, любил намеки.
Но музыка, но музыка меж слов...

Земля не вся черна порой ночною.
Испанская не пахла кровью речь.
И светляков роняло небо с плеч
На узкую тропинку к водопою.

И странный инструмент взывал ко мне,
И голос следовал за ним, как чудо.
Не то со мною говорил Неруда,
Не то я слышал жалобу камней.

Наш путь необычайностью отмечен.
В году химер сроднили мы сердца.
Твой стих звучал в Мадриде до конца
И был так нестерпимо человечен.

В тридцать девятом призрачном году
Октябрьским днем, втроем с моей женою,
Бродили мы под желтой пеленою
У мокрого предместья на виду.

Тебя несли не осени ладьи ли?
Ты рядом был, и этим самым ты
Определял грядущего черты,
Пока мы за полицией следили.

Какою тенью ты теперь сокрыт?
Как Пабло моего поймали в сети?
Вот и тебя слова коснулись эти:
«Как плащ, легенда над тобой, как щит!»

И все же — солнце Чили неизменно.
Как наяву, ты предо мной возник...
Изгнанника я слышу дальний крик,
Летящий над пучинами вселенной.

Виски припорошило сединой,
Но ты — голубизна стихотворений.
Париж все тот же, кроме отражений,
Вдоль крыш скользящих зыбкою волной.

За тучами не разглядеть лазури...
Но птицу шлю я к вашим небесам.
Незримая, она витает там,
И клич ее сильней раскатов бури,

Быстрей надежды рассекает ширь
Над океаном, Андами, забвеньем
Парит —
И спрашивает с нетерпеньем:

Где он теперь,
Чилийский наш снегирь?
Где он?
Где он, чилийский наш снегирь?

1948.

ИЗ КНИГИ „НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН“

Перевод с французского Маргариты Алигер

■ ■ ■

На Новом Мосту я повстречал...
Откуда этот мотив зазвучал?
То ль от метро Самаритен?
То ли с барки, которую ветер качал?

На Новом Мосту слонялся слепой,
Без палки, собаки, нагрудной доски...
Бедняги, отвергнутые толпой,
Несчастные, как они мне близки!

На Новом Мосту мне встретить пришлось
Мой смутный облик из давних годов.
Глаза его созданы только для слез,
А губы — только для бранных слов.

Я повстречал на Новом Мосту
Эту жалкую нищету,
Когда не заботит тебя ничего,
Кроме страдания своего.

На Новом Мосту подымается дым...
Я уже видел его весной,
Когда я был совсем молодым,
На давней заре, на опушке лесной.

На Новом Мосту мне стало видней
Сходство с собой до рожденья на свет.
О призрак молодости моей.
О робость моих ребяческих лет.

На Новом Мосту возник предо мной
Двадцатилетний невольник лжи.
Ну что же, несчастный, час пробил твой,
Ты был миражом и любил миражи.

Я юношу встретил на Новом Мосту,
Обветренным ртом он песню пел,
В руках своих он держал пустоту,
И сам от песни своей хмелел.

На Новом Мосту, где звучат вокруг
Буксиров печальные голоса,
Я встретил жонглера, за ловкость рук
Отдавшего сердце и небеса.

На Новом Мосту я видал игрока,
Который сжег свою душу сам,
Потеряв ее из виду, как голубка́
Между башнями Нотр-Дам.

На Новом Мосту повстречался мне
Мой призрак в начале моем, вдалеке:
Вниз по течению — город в огне,
Песня смолкает — вверх по реке.

На Новом Мосту, у тихой реки,
Мне какой-то малыш указал вперед,
И я увидал из-под руки,
Как солнце пятнает зеркало вод.

На Новом Мосту меня догнал
Мой ближний — я сам, в обличье ином, —
И, озаренный закатным огнем,
«Товарищ!» — тихо он мне сказал.

На Новом Мосту я узнал на миг
Тебя, мой невежественный двойник.
И стоял я — уйти мне было невмочь —
В своей тени, отступающей прочь.

На Новом Мосту я повстречал,
Присев на одну из щербатых плит,
Напев, что в душе моей отзвучал,
Мечту, что звездой уж мне не горит.

Я встретил слепца, я встретил слепца...
Вчерашний мой день, мне тебя не жаль!
Ты мимо прошел, не подняв лица,
По Новому Мосту вдаль...

■ ■ ■

Пою, чтоб время скоротать —
Его осталось мало мне.
Так чертят пальцем на окне,
Сидят над прудом — благодать
Часами камешки швырять.
Пою, чтоб время скоротать.

Чудесный день был прожит мной.
О нем вы помните иль нет?
Преодолел я стену лет,
Слух полон дивною волной.
Наш мир теперь совсем иной.
Чудесный день был прожит мной.

Пойдем! Пусть рук прервется связь.
Пусть лоб и венчик славы — врозь.
Нам первым увидать пришлось,
Как ходят тучи ниже нас
И жаворонок ниже нас.
Пусть наших рук прервется связь.

Мы сотворили лунный свет
Для наших статуй и дворцов.

Пусть мы умрем в конце концов,
Уходит ночь за ночью вслед,
Китай народный встал в ответ.
Мы сотворили лунный свет.

Я без конца твердить готов:
Событьями был полон век,
Достиг величья человек.
Превыше гор, морей, лесов
Звучанье наших голосов.
Я без конца твердить готов.

Пою, чтоб время шло быстрей.
Смычок служил так много лет,
Стирает камни рикошет.
Нисходит тень последних дней.
Любовь, ты трогательна в ней.
Пою, чтоб время шло быстрей.

Я с песней, я пою в пути,
Пою, чтоб время провести.

ИЗ ЦИКЛА „ЭТА ЖИЗНЬ — НАША"

В Гендриковом переулке сидели мы за столом.
Сидели мы в общей комнате, толковали о том о сем,
Как будто бы в раме двери сейчас появится он,
Непомерный для нашей мебели, как солнце для окон.

Со смертью легко свыкаются месяцев через пять.
Все в прошлом. Живому голосу отныне не зазвучать.
Это только уловка памяти, будто он еще слышен нам.
Но когда открывали шкаф и мы различали там
На шнурке висящие галстуки — на секунду каждый из нас
Неотвратимо чувствовал: Маяковский рядом сейчас.

Что б ни делали, о чем бы ни спорили — он курит, он ходит, он тут.
Чай пьет, карты сдает, и стихи его в пиджачном кармане поют.
Он потягивается: «По-вашему, это далекий путь?!»
Горизонт за его плечами не измерить, не оглянуть.
Ему нужны глубины морей, чтоб поэма возникала из них,
Колеса, колеса, колеса, чтоб вслух скандировать стих.
Он завтра едет. Куда — не знает. Широко распахнут мир.
Может, в Персию, может, в Перу, в Париж или на Памир.
Земля для него, как игра в биллиард, и слóва красный шар
Катится по зеленому полю, карамболем — каждый удар.

Увы! Он и вправду уехал в очень далекий путь.
Почему? Узнают ли это люди когда-нибудь?
Спрашивать об этом жестоко у тех, кто его любил.
Он клялся вернуться из ада, когда между нами жил.
Это казалось метафорой, одной из красивых фраз,
Но сердце переворачивается, читая это сейчас.
Вернется ли он когда-нибудь? Молчите, прошу вас, о нем.
Нева не приносит медведей, зажатых ладожским льдом.
Он будет всего лишь статуей, площадью в гуле Москвы.
Ветер в пути коснется бронзовой головы.
Птица присядет на руку и песенку пропоет.

Я вижу отчетливо тысяча девятьсот тридцатый год.
Мосторг, едва освещенный, пустые полки в пыли.
Люди глядят на скудный товар, как сквозь туман, издали.
А белые буквы на красных полотнах над головой горят,
Они подымаются над нищетой и о будущем говорят.
И озаренные ярко пылающим кумачом
Крестьяне, ушедшие от земли, прикидывают что почем.
А в глубине — драгоценности, хранимые продавцом,
Пять серебряных чайных ложечек излучают неяркий свет,
И снег на полу оставляет печальный и грязный след.

Я знал толкотню и давку меж некрашеных сроду досок,
Знал квартиры, которые делят, как в голод хлеба кусок,
Коридоры в жестокой ангине, сварливые голоса,
Клопы и перегородки, злобу и примуса.
За что ни хватись — недохватки, чего-то нужного нет,
Булавка и та сокровище, и все это много лет.
О черные гроздья усталости, ярость, грубость, надсад,
Что на трамвайных площадках каждый вечер висят.
Зимой башмаки худые пахнут щами — других не найдешь.
Можно пойти на низость из-за пары калош.

Откуда же в скудном свете тех незабытых лет
Вдруг свершается чудо, загорается яркий свет?
Когда я впервые почувствовал взгляд человеческих глаз?
Когда от слов незнакомца вздрогнул я в первый раз?
Это было как откровенье, как будто добрая весть,
Ощущенье глухого, узнавшего, что в мире музыка есть,
Немого, внезапно понявшего, что слово его звучит.
Тень для меня наполнилась довженковским светом в ночи.
Фильм назывался «Земля». Я вспоминаю опять.
Лунный свет был так удивителен, что хотелось только молчать

Из-под косынки выбилась волос золотая прядь,
Высокая девушка встала во весь свой рост,
Словно высеченная из камня, поддерживающего мост,
Который летит через реку. Всходит на мост она.
Останавливается, оглядывается, глубоко поражена.
Сколько народу на стройке! Осенний дождь! Днепрогэс!
О плотина великой надежды, потоку наперерез.
Это было вчера, а завтра... Беззащитен великий труд.
Сколько боли и сколько мужества! Те же руки тебя взорвут.
Я припомню, слушая радио, в Ницце, через двенадцать лет,
Светлый взгляд той каменной девушки, которой на свете нет,
Подробности всемогущего человеческого труда,
Пожалею с живыми мертвых и потерянные года.

Где найти слова, чтобы выразить то, что владеет мной,
Это чувство, меня пронзающее в непогоду и в зной.
Все, что значу я, все, что делаю, где б я ни был — границы нет.
Каждый шаг мой тому народу на благо или во вред.
Значит, и моему народу... Бойся, бойся, даже во сне!
Если молот берет штрейкбрехер, этот молот тяжек вдвойне.
Равнодушные люди смеются, торжества своего не таят.
Им не нравится архитектура, и зодчих они корят.
А те, что тесали камни, клали кабель, тащили канат,
Руки ссаживая до крови, не желая передохнуть...
Проповедники милосердия, в чем вы смеете их упрекнуть?

■ ■ ■

Проснешься среди ночи вдруг
В те времена — и все вокруг:
В колодец брошенный кирпич,
Тобою вспугнутая дичь,
И чей-то шаг в лесу густом,
И нож, обтертый рукавом,
Вино, что обруч с бочки рвет,
Зуб, что вонзился в сочный плод,
Уголья в гаснущем огне,
Рука, склоненная к стене, —

Ему и ей, тебе и мне
Твердит о Франции.

ЦЕНА ВЕСНЫ

1945

На клочья рвется снежный небосвод.
Сдает зима, земля трещит, потоки
Уносят прочь обломки льдин и грязь.

Что происходит?
Грохот вдоль дорог.
Гремят колеса.
Суета весны
Все нарастает скрытою угрозой.

И в этот год она идет по рекам, отовсюду.
Назойливые мысли, и нужда, и испытания, и ночи, ночи
рабства.
Издалека растет глубокий гул весны.
И люди, бледные от стужи, в рваном платье,
Впервые чувствуют в груди горячий сок надежды,

При виде, как
Трепещут часовые,
Как, перешептываясь глухо,
Дрожат они, зеленые солдаты.

Мне не знаком тот край.
Его видал я только с высоты.
Вращались под крылами самолета его деревни, склоны и
хребты.
И я с трудом могу восстановить пейзажа горного случайные
черты.
Но, Пьер, тебя я вижу средь камней,
Глаза и волосы твои, но борода...
Все тот же ты, слегка покачиваешь головою.
Пережитое все тебя ничуть не изменило.

Ты мальчик Пьер, с которым я делил хлеб молодых
безумств,
Живущий между двух огней: иллюзия и долг,
Как ты упорно узнавал всех за и против вес.
И вдруг в грядущее тебя всей тяжестью своей

Судьба народа унесла, мой спутник в трудный час,
Что меж другими и собой заставил выбрать нас.

Тебя я вижу, Пьер, в горах Словакии,
В последний час, ведомого потоками.
Идешь, топча последний снег, оставив позади
Колючий лагерь и огни его прожекторов.

Идешь в горах Словакии,
Где все вокруг — фольклор.

Издалека растет глубокий гул весны.

Ты, Пьер, ты как всегда слегка качаешь головой,
Полуодет, в снегу, бежишь за горный перевал,
За перевал истории —
Все за и против взвешены,—
Влекомый грузом будущего,
Ты, Пьер, среди камней.
На тех камнях и выстроится будущее,
Затем, что ты чудесно знаешь путь
Между долин, сосновых чащ, и скал, и горных рек,
И не тридцатый год стоит, и спор наш не о том,
Что связывало нас с Нервалем и Рембо.

Ты, Пьер, идешь по каменным ступеням.

Растет глубокий гул весны, приближен эхом скал.

И сколько ног в крови и бьющихся сердец
Здесь, в этой складке времени, таится.
Один ли ты иль рядом есть другие?
Другие люди — сходства и различья.
Товарищи, не избранные, нет — истории случайности живые.
Откуда? Все равно! Живые — пот и кровь.

Ты, Пьер, идешь по каменным ступеням.

Чего ты ждешь? Какого горизонта?
Какого потрясения? Какого
Ниспроверженья древнего порядка?
Какого грома копий и мечей
В то утро, когда юноша воскресший
Холщовую срывает плащаницу,
Глядит вокруг и видит чудо жизни?

А спутники твои? Да кто присел,
Кто гладит изувеченную ногу,
Кто задыхается...

Глядите вы в рассвет, в грядущий день.
Глядите вы в далекие туманы,

Готовы заплатить ценою жизни
За то, что просто потерял дорогу
В ущельях между скал эсэсовский патруль.

Hoch hoch Hierher Wozu
Schmutzige verdammte Tiere
Hast du Willi etwas geseh'n
Ruhe ruhe du Hund

O Tannenbaum
Gibt kein Tannenbaum Verrückter Kerl
Kein Tannenbaum hier zu singen

Готовые платить и сделавшие выбор
Между своей судьбою и другими,
Между своею жизнью и грядущим...

Их не нашли в той горной стороне,
Бойцов последней битвы, накануне
Прихода Красной Армии, весны.
О конский топот! Половодье танков!
Каскад обозов!
Словно влажной губкой
Прошлись по пыльной карте полушарий.
Прощайте все, прощай, мой друг, погибший
В обломках европейского обвала.
Ты, раздающий музыку и песни
От всей души, не спрашивая сдачи,
Прощай, мой Пьер!

ИЗ ЦИКЛА „МОСКОВСКАЯ НОЧЬ"

Я столько здесь бродил, о будущем мечтая,
Что чудилось порой: его я вспоминаю,
Я за руки ловлю его в бреду своем,
Я чувствую его дыхание губами
И вместе с ним, безумными словами,
Мы песни о неведомом поем.

Я так любил здесь тишину ночную,
И столько раз, как в детстве, шел вслепую,
И столько раз сбивался я с пути,
Встречаясь вновь с виденьями своими
В том переулке, чье исчезло имя
Из памяти моей, как влага из горсти,

Что явь и вымысел в моих зрачках навеки слиты.
Ведь я не знал, что трауром повиты
В любых мечтаньях нынешние дни,
Что человек не понимает пламя,
А только видит смелыми глазами,
И если он сейчас всех зорче между нами,
Другие — срок придет! — смутят его огни.

История течет меж пальцами так быстро,
Что миновавший день сегодня только искра,
Но если милые напевы забывать,
То как привыкнуть к дням, что нас опережают?
Пространством нашу клетку называют,
Но прутья ржавые уже не могут нас сдержать.

Чтоб сохранить все то, чему свидетелями были,
Мы громоздим в лугах могилу на могиле,
Но, камень растолкав, люцерна зацветет.
И в наших зеркалах однажды отразится
Не догоревший луч, а тот, что разгорится,
Мечта не наша и закон не тот.

Свидетели неправедных событий
В наш черный век, когда война в зените,
Свой удивленный взгляд подняв к звездам,
Толпились люди, света ожидая.
И веру их, и гнев их разделяя,
Я тоже ждал развязки, я был там.

Звезда! Все страхи малые отриньте,
Забудьте минотавра в лабиринте.
Звезда, как в зной блеснувшая вода.
Звезда земли, как стала ты такою?
Взойду на холм, коснусь тебя рукою,
Далекая и близкая звезда!

Я заменял все сущее противным,
Жизнь подменяя представленьем дивным,
Чудесной чередой метаморфоз.
В хрустальный сад, где дымка голубая
Не таяла, я приходил, ступая
По лепесткам неувядавших роз.

Я счастья ждал безмерного как море,
Я ждал любви, забывшей о позоре
Цепей своих, большой как небеса.
А жизнь идет и все вперед торопит,
Своим путем — тем хуже для утопий! —
По-своему свершая чудеса.

Когда цветет весна и дышим глубоко мы,
Кто ворожит тут, ангелы иль гномы,
Иль линии руки меняют вдруг людей?
Ужели мы смешны, как лжепророки,
Приняв за праздник горизонт широкий,
Не видя ни распятья, ни гвоздей?

От всей души потешатся над нами
За то, что мы собой вскормили пламя,
Отдав ему все, что горело в нас.
Легко быть мудрым, получив ожоги.
Над нами посмеются по дороге
За то, чем были мы в свой беззаветный час.

Что ж, я сто тысяч совершил ошибок,
А вы поете тех, кто был лукав и гибок,
Вы хвалите благоразумья путь.
Да, жизнь и сапоги я потерял в потемках,
Считаю раны в яме меж обломков,
И до рассвета мне не дотянуть.

Но знаю я и в самом черном горе:
Мрак просветлеет и займутся зори.
Ночь кончится — уже петух поет.
Пусть вы всем звездам выколете очи —
Я солнце берегу в своей кромешной ночи,
Победа в сердце у меня живет.

«ЛЕТОПИСЬ ХУТОРА БРЕККУКОТ»

Рис. О. Верейского.

Халлдор Лакснесс

Летопись хутора Бреккукот

РОМАН

Перевод с исландского и вступление Н. Крымовой

«Летопись хутора Бреккукот» — новый роман Халлдора Кильяна Лакснесса. В Исландии он вышел в марте 1957 года и до конца прошлого года уже был переведен на несколько иностранных языков, в частности на шведский и датский.

Многочисленные романы Лакснесса, очень не похожие друг на друга по манере письма, по описываемым в них эпохам, всегда, в сущности, посвящены одной-единственной теме — Исландии. Пишет ли Лакснесс о походах древних викингов («Герпла»), об исландском средневековье («Исландский колокол»), о годах после второй мировой войны, когда на территории страны была создана американская военная база («Атомная станция»), главное действующее лицо в его произведениях всегда немногочисленный, но упорный в труде и в борьбе за свою национальную независимость народ. Все романы Лакснесса пронизаны горячей любовью к своему народу, утверждением его права на независимое существование.

Таков и роман «Летопись хутора Бреккукот», действие которого развертывается в начале этого века, когда в «будущей столице» Рейкьявике насчитывалось всего семь тысяч жителей. На судьбе двух певцов — всемирно известного Гардара Хоулма и нищего юноши Аульфгримура — Лакснесс показывает, что только тот, кто не отрывается от народа, вскормившего его, может найти «чистый тон», то есть стать настоящим художником, чье искусство понятно народу и близко ему.

В интервью, данном за день до выхода своей новой книги, Лакснесс предупреждал, чтобы «Летопись хутора Бреккукот» не считали историческим романом, хотя речь в нем идет о прошлом. Да он и не является историческим романом в полном смысле слова. Но в период работы над переводом романа мне довелось побывать в Исландии, и я видела то место, где стоял хутор Бреккукот. Теперь там красуется современный коттедж. А напротив него и сейчас находится столь красочно описанное в романе кладбище, по другую сторону которого стоял когда-то дом пономаря. Молодая исландская поэтесса говорила мне, что ее отец жил в Бреккукоте; а в одной исландской семье мне прямо так и сказали: «Мы покупали молоко в Бреккукоте, оно было неважное». И многие показывали певца, выведенного в романе под именем Гардара Хоулма.

Один из исландских литературоведов писал: «Наша литература — это наше право на жизнь, как нации». Эти слова как бы дают ключ к пониманию того, что локальность исландской литературы вообще и творчества Лакснесса в частности объясняется все тем же страстным стремлением народа сохранить свою самобытную национальную культуру. Поэтому в новом романе соотечественники автора узнают и место действия, и героев, хотя все это, конечно, преображено могучей фантазией и своеобразным талантом автора.

В романе целые главы посвящены людям, чьи судьбы как будто ничем не связаны с сюжетной основой произведения. На первый взгляд это может показаться неправомерным и даже странным; в действительности же такая многогранность и многосто-

ронность, обилие всякого рода хорошо продуманных и единых в своей основе отступлений свидетельствуют о стремлении Лакснесса глубоко проникнуть в душу своего народа, широко и красочно отобразить его повседневную жизнь. А жизнь эта представляет собой удивительное сочетание современности с эпохой древних саг, продолжающих и в наши дни играть большую роль в повседневном быте исландцев; эта жизнь отмечена могучим воздействием и самой природы страны. Для прекрасной природы Исландии характерны первозданная красота огромных пространств застывшей вулканической лавы, из-под которой вырываются фонтаны кипящей воды, необозримые белые пятна глетчеров и буквально ежеминутно меняющие свою окраску горы.

Каждый роман Лакснесса — это кусочек истории Исландии, так сказать помноженный на творческое ощущение и отражение ее сегодняшнего дня.

Оторванность от всего остального мира, тяжкая борьба с морем (и до сих пор рыболовство — основа национальной экономики), как и то обстоятельство, что крошечный по численности народ ничего не в состоянии противопоставить силе меча, кроме недюжинной силы своего духа, — все это выработало в исландцах неугасимое чувство собственного достоинства. Но одновременно такое положение страны и народа породило множество черт, которые нам, людям, выросшим в совершенно других условиях, могут несомненно показаться только странными.

Будучи глубоким реалистом, верно отражая приметы времени и особенности своего народа, Лакснесс описывает все эти странности, населяя роман своеобразнейшими чудаками. Автор относится к ним по-разному: он тонко и зло высмеивает Эбенесера Драумманна, проповедующего учение о переселении душ во имя своих мелких корыстных целей; он добродушно подсмеивается над «Тоурдуром-крестителем» — фанатическим противником такого обряда, как крещение детей, и над студентом «стариком Йоуном», глубоко убежденным в том, что многим «станет лучше жить на свете, если они будут читать христианские брошюры на норвежском языке». В то же время с глубокой симпатией рассказывает он об «инспекторе», посвятившем всю свою жизнь бескорыстному служению людям, хотя он и понимает это служение очень своеобразно: никому, мол, не следует мешать ни в чем, надо только не причинять зла другим. Этот пророк абстрактного гуманизма, видимо, близок Лакснессу потому, что в данном образе угадываются черты характера недавно умершего друга писателя — органиста Эрлендура; обладая выдающимися способностями музыканта, Эрлендур и не пытался добиться чего-либо в жизни лично для себя, а все, что зарабатывал, отдавал бедным писателям, из которых многие были им буквально спасены от голодной смерти.

Но то, что кажется странным людям другой национальности, для Лакснесса, как и для любого исландца, обладает реальностью некогда существовавшего или ныне существующего. Нарочито гиперболизируя эти странности и одновременно показывая их вздорность и даже вредность, автор вместе с тем подчеркивает, что главное не в них. Главное — это те чудесные, поистине народные черты характера его героев, которые ничем нельзя убить. Черты эти оживают на страницах нового романа Лакснесса во всем поведении бабушки и дедушки, скромно, но в то же время гордо отказывающихся от подачек капиталиста Гудмунсена. В каждом поступке, в каждом слове, сказанном ими, открывается удивительная чистота и прямота души. Народные черты характера воплощены и в капитане Хогенсене, когда он, будучи слепым, старым и беспомощным, все же продолжает упорно, с подлинной патриотической страстью вести борьбу за исконное право нации свободно заниматься рыболовством; в пасторе Йохане, умеющем своим прозорливым взглядом распознать того, кто в состоянии овладеть «чистым тоном», и, конечно, в юном герое Аульфгримуре.

Невольно напрашивается сравнение Аульфгримура с самим Лакснессом. Оба они родились в год окончания англо-бурской войны, в 1902 году, оба они — дети своего века и своего народа. И разве Лакснесс не является тем художником, кто, стремясь к овладению «чистым тоном», прославил своими произведениями родину буквально во всем мире? Произошло это именно потому, что в своих книгах он всякий раз по-новому, в иной художественной манере пишет фактически об одном и том же: о своем народе, о тысячелетней героической его борьбе с суровой природой и морской стихией, о его непоколебимой воле к утверждению своего достоинства, как нации.

1
СТРАННОЕ СУЩЕСТВО

Некий умный человек сказал, что после смерти матери самое полезное для маленьких детей — лишиться отца. Хотя я далек от того, чтобы одобрить эти слова, но не собираюсь и отрицать их. Я бы сформулировал эту мысль без цинизма, или, пожалуй, без той боли, которая заключена уже в самом звучании слов.

Соглашусь я с этим мнением или нет, все равно на мою долю в этом мире выпало быть одиноким сиротой. Сказать, что это преимущество, было бы слишком сильно. Назвать это потерей также нельзя, потому что у меня нашлись бабушка и дедушка. Потерей это было скорее для моих родителей. Не потому, что я мог быть примерным сыном,— наоборот. Но родители всегда больше нуждаются в детях, чем дети в родителях.

Я постараюсь быть кратким. Так вот...

В нашей будущей столице, к югу от кладбища, там, где горы спускаются к морю, как раз на том месте, где Гудмундур Гудмунсен, сын Йоуна Гудмунсена, впоследствии выстроил красивый дом, стояла маленькая, сложенная из торфа хижина с двумя деревянными стенами, выходившая на море.

Это местечко и называлось Бреккукот. Там жил мой дедушка, блаженной памяти Бьорн из Бреккукота, который иногда весной ловил рыбу пинегор, а с ним жила женщина, моя бабушка, которая, хотя я мало знал о ней, была мне дороже всех на свете. Наша маленькая землянка слыла странноприимным домом для всех пришельцев. А в те времена их было множество; теперь таких людей называют эмигрантами. Это люди, которые бегут из своей страны. Со слезами на глазах расстаются они с родными местами и родичами, здесь жилось им так плохо, что их дети не могли ни расти, ни умереть.

И вот однажды, как я позднее узнал об этом, откуда-то с запада или с севера, а может быть и с востока в дом пришла молодая женщина. Одинокая и бедная, она бежала от тех, кто правил Исландией, и направлялась в Америку. Мне рассказывали, что средства на это ей дали мормоны. Среди них можно было встретить замечательнейших людей Соединенных Штатов.

Эта женщина, ожидая в Бреккукоте парохода, просто-напросто родила. Она посмотрела на ребенка и сказала:

— Этого мальчика будут звать Аульфур.

— Я бы хотела окрестить его Гримуром, — сказала бабушка.

— Назовем его тогда Аульфгримуром, — предложила моя мать.

Имя Аульфгримур — если не считать самой жизни — было единственным даром, полученным мною от этой женщины. Как всем детям в Исландии, не имеющим отца, мне дали фамилию Ханссон, что означает «его сын». Затем мать положила меня, голого, наделенного этим странным именем, на руки Бьорну из Бреккукота, ловившему рыбу пинегор, и уехала. И больше речи о ней не будет.

Я начинаю эту книгу в Бреккукоте, там, где тикают наши старые часы с серебряным колокольчиком. Удивительно чистый тон боя этих часов слышался не только во всем Бреккукоте, но и на кладбище. А там, на кладбище, был другой колокол — медный; его густой звон разносился по всей округе и достигал Бреккукота. И во всякую погоду в нашей землянке можно было слышать, как звучат в унисон два колокола — серебряный и медный.

На этих часах прикреплена дощечка со словами о том, что сработаны они в 1750 году господином Джеймсом Коуэном, проживавшим в Эдинбурге. Часы, несомненно, были рассчитаны совсем не на такой дом, как Бреккукот. Чтобы поместить часы под нашим потолком, их пришлось снять

с цоколя. Они тикали медленно и с достоинством, и я рано понял, что все остальные часы не идут с ними ни в какое сравнение. Другие часы казались мне безгласными детьми... Их секундные стрелки, словно проворные червячки, бегали наперегонки; минутные же стрелки этого великолепного сооружения, принадлежавшего бабушке и дедушке, были похожи на коров, двигающихся настолько медленно, насколько это необходимо, чтобы суметь отличить движение от неподвижности.

Само собой разумеется, когда в комнате что-то происходило, часов не было слышно, словно их вовсе не существовало. Но как только расходились гости, со стола все убиралось и закрывалась дверь, в наступившей тишине вновь раздавалось их ничем не заглушаемое тикание. Если внимательно прислушаться, можно было услышать, как в часах что-то пело, что-то похожее на эхо.

Как мне могло прийти в голову, будто в этих часах живет странное существо и что это существо — вечность? Однажды мне показалось, что слово, произносимое часами, когда они тикали, состоит из двух слогов, причем ударение делается на последнем: веч-ность, веч-ность. Слышал ли я это слово раньше?

Удивительно, что я таким образом открыл вечность гораздо раньше, чем понял, что́ такое вечность, и даже раньше, чем выучил фразу о том, что все люди смертны; открыл тогда, когда сам жил в вечности. Это было похоже на то, как рыба вдруг открывает для себя воду, в которой плавает. Однажды, когда мы сидели в комнате вдвоем, я сказал об этом дедушке.

— Что ты знаешь о наших часах, дедушка? — спросил я.

— Мы здесь в Бреккукоте плохо знаем часы, — ответил он. — Нам известно только, что они показывают дни, часы и даже секунды. Но брат дедушки твоей бабушки, владевший этими часами шестьдесят пять лет, рассказывал мне со слов их прежнего хозяина, будто они показывали и новолуние, прежде чем часовщик догадался об этом. Старые люди из рода твоей бабушки говорили, что эти часы предупреждали о свадьбах и смертях. Но я этому не верю, мой мальчик.

— А почему часы всегда твердят — веч-ность, веч-ность, веч-ность?— спросил я.

— Ты, наверное, ослышался, Аульфгримур.

— Разве вечности не существует?

— Только в вечерней молитве твоей бабушки и в воскресной проповеди, которую читаю я, мой мальчик.

— Дедушка, вечность — она живая?

— Не говори глупостей...

— Дедушка, есть часы точнее наших?

— Нет,— сказал дедушка,— наши часы самые точные. Это потому, что я давно не зову часовщика. Да и вряд ли найдется часовщик, который разобрался бы в этих часах. Если я сам ничего не могу с ними поделать, то прошу первого встречного помочь мне. Я предпочитаю людей несведущих.

2

ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

Когда я не сижу в комнате и забываю о странном существе, заключенном в наших часах, я играю в огороде, где растет капуста. Травяные вихры, росшие меж камней на дворе, доходили мне до пояса, репей и кусты пижмы были одного роста со мной, а дягиль даже выше. Нигде, кроме Бреккукота, не росли такие большие одуванчики.

У нас было несколько кур, они несли яйца, пахнущие рыбой. Рано утром куры начинали кудахтать, бродя вокруг дома в поисках пищи. Это

была чудесная песня, и, проснувшись, я тут же снова засыпал. Среди дня они вдруг опять начинали кудахтать, расхаживая в курятнике, и от этой куриной музыки и аромата пижмы я впадал в дрему. Я не мог не испытывать благодарности даже к навозной мухе, ибо и она навевала счастливую летнюю дрему. Она была совсем черная и отливала зеленым в лучах солнца, в ее легком жужжании беспрестанно слышалась счастливая музыка земной жизни.

Но где бы я ни играл — между грядками капусты, на дворе или в простенке между домом и сараем,— дедушка, молчаливый и всезнающий, всегда был поблизости от меня. Какая-нибудь дверь всегда стояла открытой или полуоткрытой — в доме, в сарае ли для сушки рыбы, или у чулана, где висели сети, или в хлеву,— и дедушка вечно с чем-то возился: то растягивал сеть на заборе, то что-то мастерил. Руки у него всегда были чем-то заняты, но чем бы он ни занимался, это походило не на работу, а на какую-то своеобразную веселую игру. Дедушка и виду не подавал, что ему известно, где я, а я, не думая о дедушке, невольно чувствовал, что он где-то здесь рядом. Я слышал, как он время от времени сморкался или нюхал табак. Его молчаливое присутствие в Бреккукоте было для меня тем же, чем якорь для корабля. Моя душа чувствовала в нем необходимую ей опору. Еще и теперь, как только я вижу, что где-то наискосок от меня, или сзади, или прямо перед моим носом приоткрыта дверь, мне кажется, что за ней стоит дедушка и, по обыкновению, что-то мастерит. Совсем неудивительно поэтому, что, вспоминая о мире, в котором я жил, я прежде всего рассказываю о дедушке.

Блаженной памяти Бьорн из Бреккукота родился в этих краях. Его отец был крестьянином, когда вокруг хутора на южной стороне расстилались луга; здесь потом начали разрабатывать торф — а его там столько, что хватает на всю столицу.

В то время в Исландии были датские власти. Моя история началась в ту пору, когда там жил министр по делам Исландии; его называли королевским советником, поскольку он подчинялся датскому королю так же, как и наш альтинг.

Когда дедушка появился на свет, в столице насчитывалось не более двух тысяч жителей, а в дни моего детства их было уже пять тысяч. Во времена дедушки людьми у нас считали только нескольких чиновников, которых называли великими — это была власть,— а также иностранных купцов, главным образом евреев из Шлезвиг-Гольштейна, говоривших на нижнегерманском диалекте и выдававших себя за датчан. Дело в том, что тогда евреям не разрешалось заниматься торговлей в самой Дании, они торговали только в герцогствах и в Исландии.

Остальные жители поселка занимались рыболовством и, как правило, имели пару овец или одну корову на несколько семейств. У них были маленькие гребные лодки, на которых они ходили под парусами. Когда мой дедушка был еще мальчиком, все жители сами снабжали себя рыбой, за исключением чиновников и купцов, вообще-то всегда предпочитавших питаться мясом. Но вот поселок вырос, возникли зачатки городской жизни с некоторым разделением труда, появились ремесленники и портовые рабочие. Когда в обиход вошли деньги, кое-кто стал добывать пропитание тем, что ловил рыбу для продажи.

Одним из таких рыбаков и был дедушка. Он никогда не принадлежал к числу тех, кто сначала сушит рыбу в огромных количествах, продает ее купцам, копит на дне сундука серебро и золото, а потом вдруг покупает поместье или землю или приобретает акции пароходной компании, как это тогда было в моде. Он не ловил с бота и не входил, подобно другим рыбакам, в артель. Если позволяла погода, он обычно ранним утром выходил в море на гребной лодке с помощником и забрасывал

сети за островами. Когда он возвращался домой, бабушка и я стояли у причала с бутылкой кофе, завернутой в паголенок от чулка, и с куском ржаного хлеба в красном носовом платке. Дедушка складывал улов на тележку и продавал за наличные рыбу в городе — на улицах или у дверей домов.

Осенью и в начале зимы дедушка ловил главным образом треску и пикшу, иногда камбалу или даже мелкого палтуса. Другой рыбы у наших берегов не водилось. Непроданную рыбу он привозил домой и развешивал на палках в сарае для сушки. В конце зимы он переходил на пинегора. Он искал эту рыбу в водорослях близ Скерьяфьордура. Не знаю, известно ли, что самка пинегора называется морской воробьихой — ее-то и ловил дедушка. Сам пинегор, или, вернее, морской воробей, — очень красивая и вкусная рыба; морская же воробьиха считается рыбой низшего сорта и главным образом идет на солку.

Ловцов пинегора никогда не называют пинегорцами, а всегда морскими воробьями; таким морским воробьем и был дедушка. Говорят, что на Судурнесе наступает весна, когда пинегор принимает пеструю окраску и за Флуа появляются французские паруса цвета древесной коры. В начале марта дедушка каждое утро спускался со своей тележкой в только что проснувшийся город, чтобы продать свежих пинегоров.

Люди, выходящие, как мой дедушка, на короткое расстояние в море, в Исландии не считаются рыбаками, и я сомневаюсь, чтобы дедушка хоть раз в своей жизни побывал на морском просторе. Хотя он со своим помощником и возился в водорослях или забрасывал сеть неподалеку от берега, все же нельзя было сказать, что он действительно занимается рыболовством. В других же странах человека, выходящего ранним утром на утлой лодчонке в море и затем продающего рыбу у дверей домов, естественно называли бы рыбаком.

Дедушка по внешности очень напоминал рыбаков, которых мне доводилось изредка видеть на заграничных картинках; он, правда, никогда не носил ни сапог, ни деревянных башмаков, а всегда ходил в национальных мокасинах — так называют исландские башмаки, сшитые из дубленой кожи. Если в море его застигал дождь или прилив, он натягивал на себя кожаные штаны и куртку, пропитанные рыбьим жиром. По городу он ходил в зеленых башмаках и синих шерстяных чулках с белой каймой, которые ему вязала бабушка. В сырую погоду он натягивал чулки на штаны. Но как бы ни было грязно, на башмаках и чулках дедушки никогда не удавалось обнаружить ни одного пятнышка. Борода у него росла вокруг всего лица, как у голландских или датских рыбаков, если судить по их портретам; длинные седые волосы были аккуратно подстрижены. На голове он носил зюйдвестку, а по праздникам надевал черную шляпу с широкими полями, в Германии ее называют пасторской, а в Дании — шляпой художника: с низкой измятой тульей, на красной шелковой подкладке. Я не помню, чтобы эта шляпа когда-нибудь была новой, но она не старела и всегда была одинаково измятой. Однажды она слетела у дедушки с головы, и он попросил бабушку пришить к ней тесемки, в ветреную погоду он их завязывал у подбородка.

В нашем сарае, где хранились принадлежности для рыбной ловли, вплоть до самой весны висела на палках вяленая морская воробьиха, сушеная камбала, пикша. Иногда дедушка Бьорн неподалеку от сарая на открытом очаге варил печень. Терпкие запахи пинегора, печени и рыбьего жира смешивались с запахами растущей травы; запахи пижмы и репейника сливались с горьковатым запахом дыма из печки, которую бабушка топила торфом.

Когда навозной мухе приходила пора класть яички, сарай надо было очищать от рыбы. В это время все у нас блестело от рыбьей

чешуи — каждый камень в стене, решетки в сарае и холмики торфа, сложенные к северу от него. Когда шел дождь, чешуя блестела в луже между сараем и домом. Как только кто-нибудь входил на наш участок через вертушку из двух положенных крест-накрест перекладин, вращавшихся вокруг своей оси, то сразу же видел, что каждая пядь красной от печени земли была обильно полита рыбьим жиром.

На южном краю участка, вдалеке от остальных строений, стоял дедушкин сарай. Так же как и сарай для рыбы, он был посредине разделен стеной, а на одной половине был даже настлан деревянный пол. Там хранились все запасы, ибо у нас существовал обычай покупать продукты только два раза в году. В другой половине сарая стояли лошадь Грауни и корова Скьяльда. Запах жира и удушливого дыма смешивался не только с ароматом травы, но и с запахами коровы и лошади.

А летний день близится к вечеру...

Я играю на грядках капусты, навозная муха жужжит, куры кудахчут, дверь в сарай приоткрыта, и солнце светит с ясного неба так ярко, как только может светить солнце на этой земле. И вдруг я вижу человека, идущего вдоль кладбищенской стены, согнувшегося под тяжелой ношей, на спине у него громадный, чем-то набитый мешок. Он толкает вертушку нашего входа, который не шире локтя. Нет никакого сомнения, что он направляется к нам. Я не могу вспомнить, видел ли я этого человека раньше, но впоследствии мне приходилось встречаться с ним довольно часто. Иногда он греб вместе с дедушкой или помогал ему чистить рыбу, жил он в какой-то трущобе, и был у него целый выводок детей. Звали его Йоун. Я рассказываю о том, что с ним случилось в Бреккукоте, потому что без этого моя повесть будет неполной. Прежде чем изложить эту историю, я хочу предупредить, что в ней нет ничего захватывающего и что она никак не относится к числу героических саг.

Итак, возвращаюсь к первому появлению Йоуна на нашем хуторе.

Мужчина опускает мешок на землю, садится на него и отирает рукавом пот со лба. Потом обращается ко мне и спрашивает:

— Дома ли твой дедушка, Бьорн из Бреккукота?

Когда дедушка вышел из сарая во двор, где в рыбьей чешуе сверкало солнце, гость встал с мешка, упал на колени, снял шляпу, наклонил голову и сказал:

— Сегодня ночью я украл этот торф из твоей кучи к северу от сарая.

— Да, да,— согласился дедушка.— Это нехорошо. Ведь всего неделю тому назад я дал тебе целый мешок торфа.

— Всю ночь я не мог сомкнуть глаз, так меня мучила совесть,— продолжал вор.— Утром мне даже не хотелось выпить кофейной водицы. Я знаю, что у меня не будет ни одного радостного дня, пока ты не простишь меня.

— Вот именно,— ответил Бьорн из Бреккукота.— Но попробуй все-таки встать и надень шляпу.

— Я никогда в жизни больше не встану и не надену шляпы.

Дедушка торжественно взял в руку понюшку табаку.

— Да, вряд ли у тебя легко на сердце после такого дела,— сказал он. — Не хочешь ли табачку?

— Спасибо дающему, — сказал вор, — только я этого не заслужил.

— Да, да, дружок,— согласился с ним дедушка.— Но такое дело я должен обдумать. Не войдешь ли в дом и не выпьешь ли чашку кофе, пока мы будем об этом беседовать?

Они оставили краденое на земле и вошли в дом. А солнце светило на мешок с торфом.

Гость, входи. Тебе мы рады.
Твой приход — для нас отрада.

Вор положил измятую шляпу под стул и сел.

— Какая благословенная погода,— начал разговор дедушка.— Начиная с апреля, каждый день приносил хороший улов.

— Да,— подтвердил вор.— Благословенная погода.

— Редко я видел такую весеннюю пикшу, как в этом году, — продолжал дедушка,— мясо у нее красное и ароматное.

— Да, благословенная пикша,— согласился вор.

— А как трава растет! — не унимался дедушка.

— Да, действительно,— поспешил подтвердить вор.— Как растет!..

Бабушка поставила на стол кофе. Они продолжали беседовать об улове и об урожае, попивая тем временем кофе. Когда кофе был выпит, вор встал, протянул дедушке руку и поблагодарил. Затем поднял шляпу, намереваясь уйти. Дедушка проводил его, и вор снова стал вертеть шляпу в руках.

— Может быть, скажешь мне что-нибудь, Бьорн?

— Нет,— ответил дедушка.— Ты сделал то, чего бог не прощает.

Вор вздохнул и тихо сказал:

— Большое спасибо тебе за кофе, Бьорн. Прощай, да будет с тобой господь ныне и во веки веков!

— Прощай! — ответил дедушка.

Но когда вор, держа шляпу в руках, подходил к вертушке, дедушка окликнул его:

— Слушай, не возьмешь ли ты мешок и то, что в нем, дружок? Одним мешком больше, одним меньше — мне это безразлично.

Вор повернулся, подошел к деду, благодарно пожал ему руку, но не мог ничего выговорить. Он заплакал. Потом надел шляпу, снова взвалил мешок с торфом на спину и пролез через вертушку, отправившись тем же путем, каким пришел к нам на хутор.

3

УДИВИТЕЛЬНАЯ РЫБА

Уже говорилось о том, что дедушка был верующим, однако ему и в голову не приходило просить бога, чтобы тот брал пример с людей, как говорится об этом в странной молитве «Отче наш»: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем...»

Дедушка со всей искренностью сказал вору: «Бог не может простить тебя, а мне, Бьорну из Бреккукота, это безразлично». Поэтому, мне кажется, дедушка со своей меркой подходил ко всему, что может случиться в жизни рыбака, и этой мерки он придерживался.

Для вящего подтверждения я немного расскажу о рыбе: о том, как к ней относились в нашем доме, или, вернее, о тех моральных законах, которые были приняты в отношении рыбы. Можно сказать, что понятия дедушки о рыболовстве расходились с теми, что господствовали в быстро двигавшемся по пути прогресса обществе, примыкавшем в дни моего детства к хутору Бреккукот. Правда, мы почти не соприкасались с этим обществом, столь бурно развивавшимся вокруг нас. Во всяком случае, я могу поклясться, что у меня сложилось представление о деньгах весьма далекое от того, которое бытует в банковском мире.

Наше несколько своеобразное отношение к деньгам, очевидно, объяснялось убежденностью дедушки в том, что если у человека денег больше, чем нужно для жизни, то они или незаконно присвоенные, или фальшивые. Поэтому он считал, что богатство противно здравому смыслу. Я помню, как он постоянно говорил, что не хочет брать денег больше, чем заработал.

Но как рассчитать, что он сделал? Сколько он заработал? Наконец, сколько причитается рыбаку? Это уж только дьявол знает. В наше время тот, кто отрицает банковскую оценку денег, вынужден много раз на дню решать на свой страх и риск такую сложную головоломку: где тот предел, за которым деньги становятся злом? Однако эти загадки не тревожили дедушку. Проблемы, в которых большинство философов безнадежно запуталось бы, он разрешал не задумываясь, с такой же уверенностью, с какой лунатик спускается со стометровой отвесной скалы, и, да будет мне дозволено сказать, с таким же пренебрежением к законам природы, с каким привидение проходит сквозь закрытые двери.

Я был еще мальчиком, когда понял, что некоторые рыбаки относились к дедушке недружелюбно потому, что он продавал рыбу дешевле других. Они считали бесстыдным просить за рыбу меньше, чем добрые торговцы. Но какова цена пинегора или палтуса? И сколько стоит фунт пикши? С таким же правом можно спросить: сколько стоит солнце, какова цена луны и почем звезды? Я думаю, что подсознательно дедушка так отвечал на этот вопрос: «Цена на пинегора должна быть такой, чтобы у рыбака не накапливалось денег больше, чем ему нужно на жизнь».

Повинуясь экономическому закону спроса и предложения, рыбаки склонны повышать цену на рыбу, когда улов невелик и погода неблагоприятна. Но Бьорн из Бреккукота никогда этого не делал. Если бы к нему подошли и сказали: «Покупаем всю рыбу с твоей тележки за двойную, даже за тройную цену»,— он равнодушно взглянул бы на такого человека и продолжал отвешивать пинегоров на безмене по фунту или отпускать их с тележки по штуке, то есть каждому столько, сколько нужно на обед, и, конечно, по обычной цене.

Но наступали дни, когда улов был хорош и погода благоприятная, — тогда со всех сторон предлагали множество первосортной рыбы. И такие дни случались все чаще и чаще после того, как рыболовецкие суда, а в особенности траулеры, начали вылавливать в бухте Флуа громадные косяки рыбы. Но когда предложение было очень высоким и уличные торговцы считали необходимым снизить цену, дедушке никогда и в голову не приходило последовать их примеру. Он продавал свою рыбу по обычной цене, и тогда она стоила у него дороже, чем у всех остальных.

Таким образом, Бьорн из Бреккукота отрицал основные экономические законы нашего общества. У этого человека была своя таинственная оценка денег. Правильна ли она? Может быть, банковская оценка ближе к истине? Или оценка в лавочке Гудмунсена? Возможно, что дедушка был неправ в своих умозаключениях, но, очевидно, не так уж неправ, поскольку большинство его постоянных покупателей приобретали рыбу с его тележки и тогда, когда она стоила дороже, чем у других. Повсюду в городе можно было услышать, как люди говорили: «Рыба у Бьорна из Бреккукота вкуснее, чем у кого бы то ни было». Им казалось, что Бьорн из Бреккукота каким-то таинственным образом вылавливал из моря лучшую и более вкусную рыбу, чем другие. И поэтому они продолжали покупать ее у Бьорна из Бреккукота и в те дни, когда она у него была дороже, чем у всех остальных.

4
СКОЛЬКО СТОИТ БИБЛИЯ?

Я успел рассказать немного о рыбе, но я еще ничего не сказал о библии и ее роли в нашем доме. А между тем, это совершенно необходимо.

Мой дедушка, Бьорн из Бреккукота, не был любителем книги. Я никогда не видел, чтобы он читал что-нибудь, кроме собрания пропо-

ведей епископа Йоуна Видалина. Но проповеди почтенного епископа читал каждое воскресенье после обеда. Чаще всего он читал правильно, иногда неверно, но никогда не читал хорошо.

Читая вслух, он заботился только о том, как бы не сбиться с тона проповедника и, упаси боже, не перескочить через цифры, указывающие книгу, главу и стихи в цитатах из священного писания, — их иной раз в одном предложении было несколько. Дедушка никогда не расшифровывал сокращений, не признавал порядковых числительных, всегда сопровождавших цитаты, не соблюдал ни запятых, ни других знаков между цифрами. Например, вместо того, чтобы прочитать «Первое письмо к коринфянам, глава тринадцатая, стих пятый (1, кор., 13, 5)», он читал: «Один кор сто тридцать пять». Но он никогда не изменял удивительной манеры чтения, которая в прежние времена применялась по отношению к слову божию. Оно произносилось однообразно, торжественно, высоким голосом с понижением на четверть тона в конце предложения. Это громкое чтение не было обычной декламацией, а напоминало по артикуляции речь душевнобольного. Не родился еще такой артист в Исландии, который мог бы читать, как мой дедушка!

Не решаюсь сказать, какие мысли рождались в голове у дедушки, когда при чтении проповедей ему приходилось ссылаться на старых чудаков апостолов или на старинную догматическую теологию немецких крестьян, встречающуюся у епископа Йоуна Видалина. Чтение вслух, эту духовную потребность дедушки, многие назвали бы никчемной. Я могу поклясться, что ни разу не слышал, чтобы он когда-нибудь вспоминал о проповедях; я не замечал в нем никаких проявлений религиозности, кроме воскресного чтения вслух. Я никогда не встречал никого, кто бы слышал, как Бьорн из Бреккукота цитирует какие-либо теологические, моральные или философские положения проповедей.

Мне неизвестно, признавал ли дедушка все, что в них написано, или, наоборот, отрицал. Верил ли он во все это или походил на тех теологов, которые скрывают свои знания в каком-то тайнике мозга, или на тех путешественников, которые везут с собой в пузырьке йод и все время следят за тем, чтобы не выскочила пробка и йод не испортил им багаж? По правде говоря, я думаю, что живи мой дедушка во времена язычества у нас ли в Исландии либо в другой стране, где не читают проповедей, а верят в быка Аписа, в бога Ра или в птицу колибри,— он все равно остался бы таким же.

Из сказанного явствует, что мы не были книжниками. Чтением увлекались главным образом гости, приезжавшие к нам с книгами. Они читали вслух различные истории или пели римуры * для всех жителей дома. Часто они оставляли у нас свои книги, иногда вместо платы за ночлег, и, таким образом, у нас образовалась библиотечка, правда, маленькая и разрозненная.

Хотя у нас в Бреккукоте и набралось несколько книг, но только тогда, когда к нам пришел старый Тоурдур-креститель, мы обнаружили, что у нас нет библии.

Рассказав об этом, я вплотную подхожу к теме, которая больше всего меня волнует.

Всем известно — об этом нет надобности упоминать,— что по старому исландскому тарифу цена библии определена в одну корову, при этом стельную, или семь тонкорунных окотившихся овец. Цена эта значится на титульном листе библии, напечатанной в Северной Исландии в 1584 году. Как известно, у нас в стране никогда не признавали никакой другой

* Исландские эпические стихи.

библии, кроме этой. Она была украшена искусными виньетками и оттисками, весила десять марок * и по форме напоминала ящик. Эта библия хранилась в лучших церквах Исландии.

И вот однажды — как это часто бывает летом — в Бреккукот пришел гость и сказал, что прибыл на пароходе. Он гостил у нас два-три лета по нескольку недель кряду.

Я помню, как он шел вдоль кладбища в пасторском пальто, которое называлось пальто «принц-альберт» или пальто «дипломат», в шляпе фасона «полубсчка» — в отличие от «бочки», как у нас называли цилиндр. Резиновый воротничок его сорочки застегивался сзади. Это был старый Тоурдур-креститель, или, как он сам себя называл, Тоурдур-баптист.

Я думал, что это шествует очередной похититель торфа, ведь человек в пальто «дипломат», выглядевший как представитель высшего общества, нес на спине мешок, набитый, как мне почудилось, кусками торфа. На самом деле это был не торф, а библии. Другого багажа у него не было.

Не знаю, чем объяснить, что человек в пальто «дипломат», прибывший на пароходе из-за границы, вместо того чтобы поселиться в «Hotel d'Islande», где он мог бы блистать среди великих людей и иностранцев, сразу же посетил нашу землянку, которая прилепилась к самому краю мировой цивилизации и поросла на крыше одуванчиками.

У Тоурдура-крестителя, высокого, представительного человека, было несколько сплюснутое лицо, словно кто-то нажал ему снизу на подбородок, великолепной формы королевский нос наклонялся прямо к подбородку. Когда он молчал, то так крепко сжимал рот, что губы, казалось, уходили во внутрь. На верхней губе — самой вялой и нерешительной части лица — росли короткие и удивительно ровно подстриженные усы. Глаза он щурил так, что они становились похожими на сито.

Что означал титул крестителя, мы в Бреккукоте точно не знали и не интересовались этим. Мы никогда не видели, чтобы он окрестил хоть одну живую душу. Рассказывали, что Тоурдур вступил в какие-то религиозные общества в Шотландии и Канаде и стал их агентом, получая за свою деятельность деньги. Но, очевидно, денег на пропитание не хватало, поскольку он предпочел приклонить голову в одной из немногих ночлежек прошлого и нынешнего века, где ночлег предоставляется бесплатно.

Его миссия заключалась в том, чтобы проповедовать в своем родном городе слово баптистского бога. Я ни на минуту не сомневаюсь, что на старого Тоурдура нисходило божественное вдохновение, если это только вообще возможно. Во время проповеди он был в таком экстазе, что не замечал, есть ли у него слушатели, а может быть, и это я считаю более вероятным, предпочитал, чтобы таковых вообще не было.

Его аудитория обычно состояла из нескольких мальчишек, прятавшихся поблизости за бочкой, чтобы выяснить, о чем с таким пылом говорит этот замечательный господин, не имея перед собой ни одного слушателя. К сожалению, я не обладал ни достаточным умом, ни зрелостью, чтобы проникнуть в сущность слов Тоурдура-крестителя, а может быть, у меня охоты к этому было не больше, чем к пониманию проповедей дедушки. Дело в том, что мы — «толстопузые» ** — известны своей апатичностью, и, возможно, Тоурдур хорошо знал своих земляков, потому что сам был истым исландцем. И если случалось, что к нему подходило несколько человек, когда он стоял один на пустынной площади и произносил очередную проповедь, он поворачивался к уважаемо-

---

* Старинная мера веса в Исландии, равная 233,8 грамма.

** Так в насмешку датчане называли исландцев.

му собранию спиной. Тоурдур считал, что это самое эффективное средство навести исландцев на божественные мысли.

Помню, как-то вечером дул северный ветер, лил дождь и над землей стлался туман. Креститель стоял в порту и энергично, убедительно говорил перед несколькими тачками, перевернутыми вверх дном. Я прошел мимо, Тоурдур, конечно, меня не заметил. Он топал ногами, чтобы придать своим словам больший вес, и ударял по библии кулаками, чтобы лучше доказать истинность своих изречений. Слюна брызгала из его рта во все стороны. Он проповедовал недопустимость и позорность крещения детей.

— В этой святой книге нигде не сказано,— говорил он и ударял по библии,— ни в словах, ни в буквах, ни в черточках и точках, обозначенных в священном писании, что нужно крестить невинных младенцев. Каждый, кто утверждает противное, несет ответственность за эту клевету на священную книгу.

Миссия старого Тоурдура-крестителя не ограничивалась нашей страной. Выполнив свой баптистский долг в Исландии, он должен был отправиться в Норвегию и там проповедовать слово божие, как он его понимал. Но, как известно, исландцы и норвежцы — разные народы, с разными привычками и вкусами. История пребывания Тоурдура в Норвегии блестяще это доказывает. Как только новоявленный апостол сошел в Бергене на берег, к нему устремилась толпа желающих послушать проповедь. Пришлось вызвать полицию и даже отряд пехоты, чтобы толпа не растоптала стариков и больных или чтобы сторонники и противники этой заповеди господней не учинили скандала и не начали убивать друг друга.

Кроме небольшого жалованья, которое Тоурдур получал от своих хозяев — религиозных обществ в Шотландии и Канаде — за то, что отговаривал исландцев и норвежцев крестить детей, мне думается, у него не было за душой ничего, если не считать библий, которые он таскал из страны в страну в мешке за спиной. Во всяком случае, никому не было известно, что у старого Тоурдура есть при себе другие ценности.

И вот наступил день, когда крестителю нужно было отправляться в Норвегию, чтобы и в этой стране угрожать геенной огненной всем, кто крестит детей.

Каждый раз летом, погостив в Бреккукоте месяц или полтора, он пытался отблагодарить за это дедушку библией, но тот всякий раз отклонял это предложение на том основании, что в Бреккукоте не в обычае брать за ночлег драгоценности. Дедушка не отказывался от тощих брошюр, преподнесенных ему святым постояльцем. Но Тоурдуру надоело отделываться мелкими дарами, он не хотел и слышать о том, чтобы перед отъездом оставить в подарок что-либо менее ценное, чем библия.

— Если ты не примешь в этом году библию, Бьорн,— сказал он,— я перестану считать тебя своим другом. И никогда больше не буду у тебя останавливаться.

— Я не знаю, насколько правильна твоя библия,— ответил Бьорн из Бреккукота. — В мое время не было известно о библиях, напечатанных таким мелким шрифтом и обернутых в бумагу, которая годится только для сортира.

— Моя совесть христианина — залог того, что эта библия настоящая, авторизованная и безупречно переведенная с оригинала библейским обществом в Лондоне.

— Где?

— В Лондоне, — повторил баптист.

— А что это такое?

— Столица Англии.

— Может быть, не спорю. Я об этом ничего не знаю,— скромно ответил дедушка.— Я только хочу сказать, что настоящая библия здесь, в Исландии, издана покойным господином Губранди из Хоулума. Эту библию я видел собственными глазами в соборе. В ней написано, что ее цена — корова. Это наша библия.

— Я не отрекаюсь от того, что моя лондонская библия — настоящая, хотя стоит всего семьдесят пять эре,— убежденно произнес Тоурдур-креститель.

— Не думаешь ли ты, что господин Губранди хотел содрать с нас, исландцев, шкуру, назначив цену за библию в одну корову? — спросил дедушка.— Нет, дружок, это была настоящая цена. Если библия до сих пор стоила столько, сколько корова с теленком или семь тонкорунных овец, то ей и сейчас такая цена. А библия, которая стоит полкурицы,— тьфу!..

— Значит, спасение моей души, которое я даю в залог за мою библию, это дерьмо,— глубокомысленно произнес креститель.

— Это меня не касается,— дипломатически ответил дедушка.— Это твое дело, добрый человек. А мы с тобой останемся по-прежнему хорошими друзьями, независимо от того, пойдешь ли ты берегом или горами.

На следующее утро Тоурдур-креститель собирался уехать на пароходе. Вечером, когда дедушка заводил часы, что происходило раз в неделю, он нашел в них одну из дешевых библий Тоурдура.

Бьорн из Бреккукота, не сказав ни слова, вынул книгу из часов. В это время наша корова Скьяльда как раз собиралась отелиться не то первым, не то вторым теленком. Утром, когда креститель на прощание расцеловался со всеми жителями Бреккукота, положил в мешок свои библии, которыми вознамерился осчастливить норвежцев, и пошел к вертушке, — кто стоял на тропинке и ждал его с коровой на поводу, если не мой дедушка, Бьорн из Бреккукота?

— Как хорошо, что я увидел тебя, могу поцеловать на прощание, — обрадовался креститель.

— Бог да пошлет тебе добрые дни, дружок! — приветствовал его дедушка.— Но раз ты оставил мне, как ты сам говоришь, хорошую библию, я хочу дать тебе хорошую корову, ибо на подарок нужно отвечать подарком.

— Ну, ты всегда любил шутить, мой добрый Бьорн,— сказал баптист и хотел поцеловать дедушку, но тот уклонился от этой чести.

— Мы не будем целоваться, пока не сквитаемся,— сказал дедушка.

Меновая стоимость священного писания пытливо смотрела на болото и в утренней тишине помахивала хвостом.

— Мой корабль уходит,— сказал креститель.

— А вот поводок для Скьяльды, — продолжал свое дедушка.

Тоурдур и Бьорн поцеловали друг друга, и в это время дедушка вложил в руку крестителя повод. Затем пролез через вертушку и пошел к дому. Креститель же, протащив корову несколько шагов, опустил повод и чуть ли не бегом направился к городу.

Тогда дедушка вынул из кармана брюк лондонскую библию и сказал мне:

— Ты быстр на ноги, мальчик, беги за Тоурдуром-крестителем и отдай ему его книгу.

Креститель был стар, он уже запыхался, и я вскоре нагнал его. Я отдал ему злополучную библию, он сунул ее в мешок и продолжал свой путь.

5

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ И ПОРТРЕТ

Я много написал о нашем доме в Бреккукоте, но почти ничего не сказал о бабушке, а ведь она не была ни посторонней, ни лишней в доме. Если сравнить ее с сердцем дома, то о ней можно сказать то же самое, что о здоровом сердце: тот, у кого оно бьется в груди, не знает, что у него есть сердце.

Но, поскольку в этом рассказе проходит много людей, настало время упомянуть хотя бы самым скромным образом и хозяйку Бреккукота. Я говорю — самым скромным образом, потому что никогда не знал ее. Я был уже юношей, когда вдруг случайно открылась история ее жизни. Расскажу о бабушке то немногое, что мне известно.

По-видимому, воспитала меня все же она, если я вообще получил какое-нибудь воспитание. Во всяком случае, в том, чем я стал, ей принадлежит бóльшая заслуга, чем кому бы то ни было. Но только став взрослым, в один прекрасный день я понял, что она мне ближе всех, хотя я и знал о ней меньше, чем о других. Тёперь она уже давно покоится в могиле. Нелегко рассказывать о человеке, которого так мало знаешь и который тебе так близок.

Худенькая и хрупкая на вид, бабушка, когда я ее узнал, была уже в том преклонном возрасте, какого достигают лишь немногие, исключительно здоровые, крепкие люди, но и после этого она прожила еще не менее четверти века. Я помню ее сгорбленной и беззубой, всегда покашливающей, с красными щеками оттого, что всю свою жизнь она стояла перед открытой печью во многих бедных домах, не знаю, где раньше, а потом в Бреккукоте. В морщинах ее лица гнездилась сажа от очага; старуха, глядя на кого-нибудь своими добрыми глазами, слегка трясла головой. Руки у нее были длинные и костлявые.

Была у бабушки родственница на пятнадцать лет моложе ее, но преждевременно состарившаяся. Звали ее Кристиной, жила она в доме пономаря — на холме, с северной стороны кладбища. Она была экономкой у старого пономаря; к тому времени, о котором идет речь, он уже умер. Как-то летом я пошел с бабушкой через кладбище в гости к пономаревой Кристине.

Обе старухи беседовали друг с другом тихими, странными голосами, напоминавшими шум буйка в море или доносящиеся издалека звуки скрипки. Под такой говор хорошо дремать. Но когда мы выпили кофе, спать мне расхотелось, и я ждал, что бабушка вот-вот распрощается, а я получу блестящую монетку в десять эре, которую Кристина на прощание всегда совала мне в руку за то, что я хороший мальчик. Раздумывая об этой минуте, я лег на подоконник — из окна было видно далеко вокруг — и коротал время, убивая мух. Немного погодя мы распростились, и я получил от Кристины свои десять эре. Но на обратном пути, когда мы дошли до середины кладбища, бабушка строго наказала мне:

— Никогда больше, мой мальчик, не делай того, что сделал сегодня. Это очень дурно.

— А что я сделал, бабушка?

— Никогда не бей мух у чужих людей.

— Разве тетя Кристина так любит мух?

— Нет,— ответила бабушка,— но ведь не ты, а она хозяйничает в доме пономаря.

Как я был рад, что бабушка не остановила меня в присутствии Кристины: ведь она дала мне десять эре как раз за то, что я хороший мальчик.

Раз уж я свел этих двух женщин вместе в моем рассказе, следует сразу же поведать о том, что я считаю самым важным в их родстве. У каждой в комнате висел портрет, не похожий ни на какие другие картинки, которые случайно появлялись на стенах. У нас, например, висела картинка, изображавшая двух ангелов, летящих ввысь и держащих букет цветов; портрет девушки, рекламирующей мыло; портрет автора псалмов блаженного Хадлгримура Пьетурссона, самого печального человека из всех, каких я видел на картинках. И, наконец, фотографии исландских семей, которые по пути в Америку останавливались у нас в ожидании парохода. Эти люди, как о них говорили, «пробились» в Америке — это означало, что они дробили камни, рубили деревья и рыли канавы. Фотограф снял их в тугих воротничках. Такие же портреты висели и у пономаревой Кристины. Но тот портрет, о котором я говорю — фотография молодого человека в профиль с обращенными к небу глазами,— не был похож на другие. Казалось, что юноша в экстазе и видит вдали какое-то чудесное видение. Однако самым главным в портрете была одежда, такая странная и не похожая на нашу: высокий стоячий воротник, белоснежная рубашка, фрак дипломата со сверкающими шелковыми отворотами и... розой в петлице. Но еще более странное — об этом я узнал в раннем детстве — заключалось в том, что это был сын Кристины, и следовательно, наш родственник, Георг Ханссон, который, как говорили тогда обе старухи, переменил имя и фамилию и теперь называется Гардар Хоулм.

Однажды, глядя на его портрет, я не удержался и спросил бабушку:

— Где же живет Гардар Хоулм? Или он ангел?

— Маленький Георг, — ответила она. — У него нет больше дома, у бедняжки.

— Почему же он не живет у своей матери, тети Кристины из дома пономаря?

— Он уехал.

— Как это случилось?

— Тому виной несчастье.

— Какое несчастье?

— Не будем говорить об этом, дорогой. Маленький Георг был хорошим мальчиком, когда играл здесь на кладбище... Он был похож на тебя. Но он уехал.

Я долго размышлял о том, какое же это могло быть несчастье, если оно оказалось больше всякого другого несчастья, известного в Брекккоте, и, наконец, спросил:

— А почему уезжают, бабушка?

— Некоторые уходят из дому сами, других выгоняют, — ответила бабушка.— У одних, бывает, мутится разум, другие ни о чем другом, кроме Америки, и думать не могут. А бывает и так, что какой-нибудь бедняк совершает преступление и его через горы, реки и пески отправляют в исправительный дом.

— А ты никогда не уезжала, бабушка? — спросил я после долгого раздумья.

Она посмотрела, не спустилась ли петля на ее спицах, и ответила:

— Да, уезжала. Однажды проехала весь путь с востока до Рейкьявика.

— Это было очень тяжело, бабушка?

— Не будем говорить об этом, мальчик. То, что забыто, — забыто.

Прошло много времени, прежде чем я снова осмелился заговорить о несчастном Гардаре Хоулме. Однажды, оставшись наедине с тетей Кристиной, я спросил:

— Почему Гардар Хоулм всегда ездит?

— А что же певцу делать? — раздраженно ответила она.

И позже я замечал, что каждый раз, когда упоминалось имя ее сына, она как будто сердилась. Хотя я был чрезвычайно удивлен таким ответом и долго потом не решался расспрашивать тетю Кристину о сыне, но по-прежнему с благоговением взирал на его портрет.

— Разве ты не знаешь, что песня — это самое чудесное на земле? — обратилась ко мне тетя Кристина тем же рассерженным тоном.

— А он может громко петь? — спросил я.

— Что ты говоришь, дитя! В Исландии нет никого, кто бы поднялся так высоко, как мой сын. Но он может и очень низко упасть. Вон там в углу стоит старый орган, на котором он играл. Вот тебе твои десять эре. Не имей привычки спрашивать о том, чего не понимаешь и что тебя не касается.

Я жаждал стать таким умным, чтобы меня сочли достойным приобщения к тайне. А пока этого не случилось, я продолжал ломать голову над этим трудным вопросом.

6

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В БРЕККУКОТЕ

Я знал в Бреккукоте все, знал так много, что мне казалось, будто я жил здесь даже до своего рождения. И хотя бабушка научила меня думать и говорить, а впоследствии и читать, я был потрясен, узнав много лет спустя, что у бабушки не было кровати. И должен признаться, когда мне приходилось видеть ее спящей — а это случалось очень редко,— она сидела, прислонившись к печке. Голова ее была чуть склонена, руки со спицами, опущенные на колени, переставали дрожать. В печи всегда тлели угли. Никто никогда не видел, говорили мне, чтобы она ложилась вечером спать; чаще всего она довольствовалась тем, что прислонялась к печке. Если бабушка и засыпала, то не раньше, чем все отправлялись на покой. И как бы рано ни вставали в Бреккукоте, бабушка всегда была уже на ногах, варила кофе или кашу.

Я уже рассказал о том, как она запрещала мне убивать мух, находясь в гостях. Сейчас я расскажу о некоторых других ее нравоучениях.

Летом я должен был по утрам выводить Скьяльду на пастбище. У коровы была дурная привычка перекидывать шею через изгородь и пожирать на морковных грядках ботву. Изгородь наша была ветхая, покосившаяся; прогнившая и поросшая мхом, кое-где она была не выше кустов пижмы, репейника и зарослей папоротника, и потому нет ничего странного в том, что животное не питало к ней уважения. Но как только Скьяльда начинала пожирать ботву, она входила в такой раж, что не замечала, как я изо всех сил хлещу ее пучком папоротника. Надо сказать, что к тому времени я научился от добрых людей кое-каким бранным словам, и когда корова, несмотря на мои удары, не двигалась с места, я обычно кричал: «Скьяльда, чертова скотина!» и еще что-нибудь в этом роде.

Весной того года у нас гостил человек из Боргфьордура; он пришел в Рейкьявик продавать шерсть и забыл у нас свою собаку. Она ждала хозяина целое лето, пока осенью он не повел овец на убой и не забрал свою старую дворняжку. Она скучала у нас, потому что всегда думала о своем хозяине и никак не могла примириться с тем, что он мог ее забыть. Она часто лежала на пороге, положив морду на лапы, с трогательным, грустным собачьим взглядом, и не обращала никакого внимания на паршивую кошку, кружившую вокруг нее. Эта отощавшая бездомная

кошка тоже нашла себе у нас прибежище. Пес сам был гостем и не решался в чужом месте гоняться за кошкой.

Бабушка, проходя мимо, совала собаке рыбью кожу или кость и всегда приговаривала: «Ах ты, пес! Вот тебе, несчастная падаль!» Собака и кошка были единственными животными, к которым она обращалась так неуважительно. Стоило лишь напомнить о кошке, как на ее лице появлялась гримаса, будто это животное было отвратительным наследством, с незапамятных времен обременявшим бабушку и ее семью. Кошку звали Бранд, и ее почетными титулами были всегда только четыре слова: «пугало», «позор», «нечисть» и «дьяволица». Бабушка никогда не гладила ни собаку, ни кошку. Зато у нее всегда в кармане юбки были кости и рыбья кожа. Должен добавить, что она оказалась единственным человеком в доме, к которому всерьез привязались эти два бездомных существа. Где бы ни была бабушка на участке, они сразу же подбегали к ней; собака дружелюбно лаяла, а кошка терлась о ногу бабушки и, подняв хвост трубой, кокетливо загибала его колечком. Если бабушке нужно было пойти к Кристине, то собака и кошка шли за ней по пятам до кладбища, дальше она их, конечно, не пускала.

Теперь я продолжу с того места, на котором остановился...

Стало быть, корова стояла, перегнув морду через забор, и пожирала молодую ботву. Я подумал, что пришел случай использовать собаку, и стал натравливать ее на корову.

Днем было очень тепло. Пес с открытыми глазами лежал у порога и, наверное, думал свою собачью думу: почему не приходит хозяин?.. Мне казалось, что пес не спит от тоски по хозяину. Я подошел, потрепал собаку по шее, как это делали со мной, когда я был маленьким, и спел песенку, которую сам сочинил на свои собственные слова; она была так трогательна, что, спев ее, я заревел. Вот она:

Пес, восторгом весь объятый,
Под блаженный, звонкий лай
Ты, как ангел, пес лохматый,
Вознесись в собачий рай! *

Часов около шести бабушка вышла поглядеть на морковь и, не заметив меня, прошла мимо. Она оглядела ботву и повернулась ко мне спиной. Вдруг я услышал, как она говорила сама с собой:

— Надеюсь, мне почудилось, когда утром я слышала бранные слова о корове.

— Это не я! — воскликнул я.

— Во всяком случае, вряд ли кто-нибудь слышал такие слова от Бьорна из Бреккукота,— сказала она.

— Корова ела морковь,— пытался я оправдаться.

— Нет ничего более ужасного, чем дурно говорить о корове,— продолжала бабушка,— а тем более натравливать на нее собаку. Корова дает нам молоко. Корова всем нам как мать. «Коровушка, коровушка, четыре у тебя соска, два и два, добрая коровушка-буренушка», — вот как говорят о корове.

Мне нечего было сказать. Бабушка наклонилась к грядке, чтобы выдернуть морковку для супа. И я слышу, как она говорит:

— Кто благословлял сегодня собаку?

— Не помню, чтобы это был я.

— Я сама слышала. Наверное, и это мне почудилось. Знай, что о собаке говорят: «ублюдок», «скотина», «дрянь»! Во всяком случае, никто никогда не слышал, чтобы Бьорн из Бреккукота благословлял собаку.

---

* Стихи здесь и далее в переводе А. Сиповича.

7

КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА В ХВАММСКОТЕ

Наша Грауни паслась на далеком болоте, и за ней приходилось ходить в такую даль. Не будет преувеличением сказать, что в те времена это болото было самым отдаленным пунктом на карте. Теперь там вырос современный город, и никто из путешественников и туристов не подозревает, что всего несколько десятков лет назад здесь было пастбище для лошадей. Стало быть, приходилось совершать целое путешествие за Грауни, и на это уходила большая часть дня.

У болота течет маленький ручеек Соглейкур. Через него легко перепрыгнуть. И все же этот ручеек в воображении бабушки принимал угрожающие размеры. Она предпочитала, чтобы я ходил за лошадью не один, а с кем-нибудь из мальчиков, которых тоже посылали на пастбище. Бабушка считала, что они могли бы вытащить меня из ручья, если бы я туда упал. «Берегись Соглейкура!» — такими словами она напутствовала меня, когда мы отправлялись за лошадьми. А когда вечером возвращались, она прежде всего спрашивала: «Много ли воды в Соглейкуре?» Если шел дождь, а мне нужно было торопиться за Грауни, бабушка бормотала: «Ай-ай-ай, наверное, сейчас много воды в Соглейкуре!»

Однажды, как и не раз до этого, меня послали за Грауни вместе с другими мальчиками, которым тоже нужно было привести своих лошадей.

Тут следует прервать мое повествование, чтобы рассказать об эпохе колючей проволоки, которая началась в Исландии вскоре после англо-бурской войны. Этот товар, впервые примененный в войне с бурами, в большинстве стран запрещали использовать на иные цели, кроме военных. У нас же в Исландии колючая проволока пользовалась таким большим спросом, как ни один товар иностранного происхождения. И если в других странах за обнесение в мирное время колючей проволокой земельных участков была установлена суровая кара, то у нас на острове она в течение некоторого времени была самым популярным предметом роскоши после водки и цемента. Исландцы ни в чем не были так трогательно единодушны, как в обнесении этой прелестной изгородью всех землянок, непроходимых участков, холмов и пустошей вплоть до скалистых гор и рифов, выдающихся далеко в море.

Вначале многие относились к этому, как буры к англичанам, и перепрыгивали через колючую проволоку, если это только было возможно. Но альтинг принял закон, гласящий, что колючая проволока в Исландии неприкосновенна. Этот закон в некоторых частях страны, кое-где в городах, в частности у нас в столице, был еще больше усложнен местными толкованиями и инструкциями. В Рейкьявике издали такое постановление о колючей проволоке, по которому любой, кто попытается перейти обнесенную ею священную землю, платит штраф в размере десяти крон. Должен сказать, что в те времена годовалая овца тоже стоила десять крон, поэтому понятно, что дело с колючей проволокой было нешуточным.

Теперь я могу вернуться к своему рассказу.

Мы, мальчишки, не очень-то спешили выполнить поручение и, сделав не один крюк и немало проплутав по окрестностям, к концу дня пришли к холмам, лежащим к юго-востоку от лошадиного болота. Там было несколько крестьянских дворов, одни на склонах, другие в низинах, а земли всех дворов были вдоль и поперек обнесены колючей проволокой.

Один из дворов назывался Хваммскот.

Мы остановились на берегу ручья как раз у поля, обнесенного колючей проволокой, как нам казалось — без всяких к тому оснований. Мы стояли так, что со двора нас увидеть не могли. И вот один озорник-

мальчишка предлагает: «Тот, кто перепрыгнет через изгородь, заплатит десять крон штрафа». Нам это понравилось: как весело будет прыгать, если каждый прыжок оценен в десять крон! Поскольку это запрещение, как, впрочем, всякий запрет, таило в себе притягательную силу, тем более что оно было связано с деньгами, мы все начали прыгать через проволоку.

Сердца наши колотились от страха, из осторожности одного мальчишку мы поставили следить — не шпионит ли кто за нами. Но все прошло благополучно; как мы и надеялись, никто не заметил наших шалостей и никто не потребовал штрафа. Заслуженный, но не взысканный штраф — это те же деньги!

Перепрыгнув через проволоку по одному только разу, мы заработали столько, сколько стоила годовалая овца. Поэтому не удивительно, что мы начали сызнова и долго не могли оторваться от этого доходного и увлекательного занятия. К ужину все мы оказались состоятельными людьми, владельцами множества десятикроновых бумажек. Наконец нам надоело владеть только овцами. Один из нас высчитал, что, продав наших овец, мы могли бы скупить весь шоколад в стране и вдобавок всю карамель. Второй заметил, что наших овец хватило бы на покупку всего шоколада и карамели, ввезенных в Исландию со времен Ингоульфура *.

Неожиданно появилась и залаяла огромная рыжая собака. Мы поняли, что собака хочет отнять всех честно заработанных нами овец, и начали браниться и бросать в нее камнями. Это еще больше разозлило легавую, и она, судя по ее действиям, намеревалась разорвать нас в клочья. У нас не оставалось другого выхода, как бежать сломя голову.

— Мы начали уже волноваться за тебя, мальчик,— сказали дедушка и бабушка.— Где вы были?

— В Хваммскоте.

— Что же вы там делали?

— Зарабатывали деньги. Я прыгнул двести раз через изгородь из колючей проволоки. Это две тысячи крон. Если бы не появилась злая собака, которая хотела разорвать нас в клочья, мы заработали бы еще две тысячи крон.

— Вот как...— неопределенно промолвил дедушка.

Он сидел на камне между грядками капусты, подложив под себя руки, как он это иногда делал по вечерам в хорошую погоду. От моих слов лицо его искривилось в гримасе, словно от боли. Так с ним бывало всегда, когда он слышал какую-нибудь глупость.

Бабушка стояла в дверях и смотрела на него очень пристально. Больше в тот вечер не было сказано ни слова.

Однако через несколько дней бабушка неожиданно сказала:

— Мы решили, что не дедушка, а я буду говорить с тобой, Гримур, об изгороди из колючей проволоки в Хваммскоте.

— О какой колючей проволоке, бабушка? — спросил я, уже забыв о том счастливом коммерческом предприятии, за которое полагалось платить штраф.

— Вы должны были бы знать, мальчики, что исландский закон запрещает переступать колючую проволоку.

— Мы играли, бабушка. За это никто платить не должен.

— Можете быть уверены, что Йоун из Хваммскота видел вас,— сказала бабушка.— Йоун из Хваммскота друг Бьорна из Бреккукота. Что не нравится Йоуну из Хваммскота, то не нравится и Бьорну из Бреккукота. Тот, кто переступает через колючую проволоку у Йоуна из Хваммскота, тот переступает через колючую проволоку и у Бьорна из Бреккукота.

* Первый исландский поселенец.

Я не мог ничего на эго возразить, хотя и знал, что дедушка никогда в жизни не покупал колючей проволоки, и промолчал. Я слишком хорошо знал, что каждый мой проступок будет истолкован, как направленный против моего дедушки, Бьорна из Бреккукота.

— Что мне теперь делать, бабушка?

— Я собираюсь послать тебя сегодня в Хваммскот,— ответила она.— Скажи хозяйке, откуда ты, и передай привет от меня, старухи, которая живет у Бьорна из Бреккукота и посылает ей этот хлеб.

Как известно, бабушка была мастерицей печь хлеб.

Бабушка осмотрела мои башмаки, и я отправился в Хваммскот с большим хлебом в мешке за спиной, с хлебом, который, по моей оценке, стоил две тысячи крон. Этот хлеб стоил дороже, чем весь шоколад и вся карамель, которые были съедены в Исландии со времени ее заселения до наших дней.

А бабушка, стоя у порога, кричала мне вслед:

— И берегись Соглейкура, Гримур! Не прыгай через ручеек там, где он узок и глубок. Прыгай лучше там, где он шире.

— Хорошо, бабушка!

Когда я сделал несколько шагов, бабушка окликнула меня.

— Если встретишь собаку, Гримур, помни, что я сказала: «Никогда не брани чужих собак». Дай ей понюхать руку, тогда она сразу станет тебе другом.

8

ЧЕРДАК

Слишком трудно перечислить всех гостей, бывавших в Бреккукоте,— в таком случае эту книгу не смогла бы напечатать ни одна типография Исландии. Я расскажу только о тех, кого смогу пересчитать по пальцам, в особенности о тех, кому отведено место в этой летописи. Начну с гостей, живших у нас на чердаке.

Развалившаяся, чудом державшаяся лесенка из семи ступенек вела на чердак, разделенный перегородкой на две комнаты. Я и мои собратья жили в проходной комнате, которая, честно говоря, служила проходным двором для всех наших жильцов, для всех, кто поднимался и спускался по лестнице. Если дедушка не отдавал своей постели гостям, он спал вместе с нами. В другое время он ложился в сарае на сети, не видя в этом для себя ничего предосудительного.

В доме у нас часто бывало полным-полно гостей: спали в нижней комнате, спали в коридоре и у самой двери. Осенью, когда приходила пора загонять овец и гостей наезжало видимо-невидимо, спали и в сарае, и на сеновале. Но на чердаке ночевали только те, кого можно назвать постоянными гостями Бреккукота. Кроме меня, там было еще трое ночлежников, если можно так выразиться, которые жили у нас с незапамятных времен. Во всяком случае, я помню их с той поры, как помню себя. Нас было четверо, и мы спали по двое. Постели были прикреплены к стенам под покатой крышей и имели общее изголовье, а над изголовьем было маленькое окошечко величиной с ладонь, прорезанное в торфяной крыше. И сквозь него виднелась одна соломинка и одна звезда. У другой стены был прорезан люк; когда его прикрывали, в комнате становилось просторнее.

Ветхая, почти всегда раскрытая настежь дверь у самого входа вела в крохотный чуланчик. Там помещались кровать, скамья и трехногий стул... Здесь находили приют супруги, или очень толстые люди, или больные, или сумасшедшие, или, наконец, женщины, собиравшиеся рожать или умирать, а кроме того, все, кто по той или иной причине предпочитал

одиночество. Я тоже принадлежу к числу тех, кто родился в этом чуланчике.

Теперь я хочу немного рассказать о трех постояльцах, моих сотоварищах по чердаку.

Прежде всего я должен с уважением упомянуть блаженной памяти капитана Хогенсена или Йоуна Хауконарсона из Бредефьордура. Капитан был в летах. Свет мира, так сказать, полностью померк для него: он был почти слеп. Как и многие другие, он слышал о замечательном странноприимном доме в Бреккукоте, которым многие охотно пользовались. Когда годы стали его отягощать, он приехал в Рейкьявик, чтобы выйти в отставку. Кроме слепоты, он страдал ревматизмом и, несомненно, всякими другими болезнями, о чем сам предпочитал умалчивать. Мне рассказывали, что он продал свой участок земли и решил остаток дней провести в Бреккукоте.

Капитан Хогенсен был настоящим человеком старого времени. Он происходил из рода пасторов, чиновников и поэтов. Мы спали на одной постели. С ним было очень интересно беседовать: о чем бы он ни говорил, все это возвышалось над повседневными мелочами и случайностями. Обычно он сидел на своей, вернее на нашей, постели и вил из конского волоса веревки. Чтобы достать волос, он прибегал к всевозможным уловкам. Он сучил волос, прикрепляя валик шилом к кровати, и вил из него веревку. Моя же обязанность заключалась в том, чтобы подбирать падавший волос с пола.

Йоуна Хауконарсона звали капитаном потому, что много-много лет назад он служил лоцманом на датских гидрографических судах. Человеку, не знавшему здешних мест, трудно было находить там фарватер и вести по нему суда.

Йоун Хауконарсон, как уже было сказано, происходил из хорошей семьи и выделялся среди жителей Бредефьордура своим умом, знатным происхождением и взглядами — ничего больше у него за душой не было. Но датский король произвел его в офицеры — и тогда генеалогия Йоуна и его взгляды уже потеряли свое значение.

Йоун по праву называл себя датским морским капитаном и королевским лоцманом. Он бережно хранил свою синюю форму с золотыми пуговицами и фуражку, какую носят датские королевские лоцманы. Он облачался в эту форму и надевал эту фуражку четыре раза в год — на Рождество, на Пасху, в день Нового года и в первый летний день — и с важным видом с утра до вечера сидел на своей постели, не дотрагиваясь даже до конского волоса. Только в день Нового года он поднимался со своего ложа, надевал форму и уходил в город, чтобы испросить благословение божье для городских властей и выклянчить у них немного конского волоса.

Вторым постояльцем чердака был человек, которого все называли инспектором, и я долго думал, что он инспектирует весь город. Кажется, его звали тоже Йоун. Он приходился дальним родственником бабушке и Кристине из дома пономаря. Никто точно не знал, живет он у нас или нет. Он приходил поздно, когда уже все спали; утром пил кофе внизу у бабушки и исчезал бог знает куда раньше, чем в доме кто-нибудь просыпался.

Инспектор, очевидно, был человеком без роду и племени, среди его предков и родичей не было ни пасторов, ни чиновников, ни даже поэтов — во всяком случае он об этом не проронил ни слова. Он был на редкость немногословен. Поэтому когда нам, ночевавшим вместе с ним, иной раз доводилось услышать его речь, это было событием.

В течение долгого времени я даже не знал, что он живет у нас в доме, хотя два его кисета лежали на полке над кроватью; один был полон

табаку, другой — золота. Инспектор всегда был так чисто одет, что все на нем просто блестело. Иногда проходил месяц, и никто о нем даже не вспоминал, а когда его где-либо встречали, у него неизменно была только одна новость: он любезно сообщал, что погода сегодня хороша для мыши. А когда с ним соглашались, вежливо добавлял: «И для орла не хуже».

В детстве я не пытался, да и не мог установить, что́ собой представлял этот человек. Несколько опережая свой рассказ, скажу, что его явно укусила какая-то муха, после чего он и стал философом. Йоун бросил свой хутор, полагая, что, перестав разводить овец на убой, принесет больше пользы человечеству. Недолго думая, он продал каким-то англичанам свой прекрасный участок у реки, в которой водились лососи, и перебрался в столицу. В двух кисетах, лежавших на полке над его кроватью, некоторым образом и отражалась та хроника его жизни, какую я здесь пытаюсь воспроизвести.

Инспектор делил постель с человеком, который в годы моей юности чистил отхожие места не только в столице, но и на мысах и в долинах во всей округе. Его звали Руноульфур Йонссон. Не будет преувеличением сказать о нем, что не было в Исландии большего поклонника хороших отхожих мест, чем он.

В роду Руноульфура Йонссона были и пасторы, и чиновники, и поэты, а сам он был прямым потомком одного из знатнейших королевских советников, живших в нашей стране.

В будничных беседах он не касался своего знатного происхождения, но когда бывал пьян — на его языке это называлось водить военный корабль,— то отправлялся в город и с лестницы здания духовной семинарии либо с тротуара перед магазином Гудмунсена он во всеуслышание объявлял о своем родстве с почтенным советником. К сожалению, у него не всегда находились слушатели, на которых высокое происхождение оратора производило бы впечатление.

Раньше Руноульфур Йонссон добывал себе пропитание на рыбачьих шхунах и больше тридцати лет отслужил на боте, принадлежавшем Гудмунсену, владельцу магазина. Но от морской соли у него слезились глаза, и его окончательно и бесповоротно согнали на сушу. Поэтому-то дедушка и называл его отставным солдатом Гудмунсена.

В ту пору, когда Руноульфур плавал в море, его заработок большей частью уходил на уплату штрафов за то, что он слишком поздно являлся на борт корабля. На старости же он, как сказано выше, стал чистить отхожие места в городе и его окрестностях. С давних времен они стояли открытыми прямо на улице, как это до сих пор можно видеть во французских деревнях. В них тонуло исландцев больше, чем в море, если не считать, правда, океана. Таким образом, можно считать, что Руноульфур Йонссон всю свою жизнь работал в опасных водах.

Шли годы, цивилизация развивалась не только в столице, но и в ее окрестностях, и крестьяне на своих хуторах вместо простых выгребных ям стали строить цементные. Эти современные ретирады восхищали Руноульфура Йонссона больше, чем все построенное в мире за эти годы. Он считал их восьмым чудом света. И когда теперь, на старости лет, он чистил на хуторах эти несравненные шедевры современной цивилизации, такое занятие доставляло ему подлинную, неоценимую радость и было вознаграждением за многое, от чего он вынужден был отказаться в своей жизни.

Обычно Руноульфур Йонссон напивался четыре раза в году, и, как правило, запой длился несколько недель кряду. В остальное время он был трезв. Товарищ по ложу — инспектор — давал ему возможность вести свой военный корабль. Как только Руноульфура призывала водка, он покидал нас и не возвращался, пока не проходил хмель.

Дело в том, что в Бреккукоте всех — и богатых и бедных, святых и

кандидатов в сумасшедший дом — считали людьми, и хорошими людьми,— всех, за исключением пьяниц. Это совершенно естественно. Если бы в нашей округе хозяйничали пьяницы, то покосившиеся землянки, упрямо державшиеся на нескольких гнилых балках, давно бы превратились в прах. Однако как только потомок знаменитого советника заканчивал свой военно-морской поход, он снова взбирался к нам на чердак и снова спал рядом с инспектором.

Я не буду здесь описывать, в каком состоянии Руноульфур Йонссон возвращался домой из очередного плавания. Как только он появлялся, инспектор стриг его и дочиста сверху донизу отмывал зеленым мылом, креолином и раствором ляписа. Оказывать эту услугу Руноульфуру инспектор считал таким же само собой разумеющимся делом, как и давать ему деньги на водку.

Хотя Руноульфур дома бывал трезв, он никогда не мог примириться с мировоззрением людей, живущих в сухой юдоли, называемой сушей, и поэтому между друзьями часто разгорались удивительнейшие споры. Следует сказать, что Руноульфур Йонссон страдал несколько странным недостатком: будучи пьяным, он не мог вспомнить ни одного имени, кроме Бьорна из Бреккукота и Гудмунсена, и ни одного географического названия. Поэтому в таких случаях он был вынужден прибегать к многословным описаниям собственных имен, и даже сведущие люди не в состоянии были понять, о чем или о ком он говорит.

Я не буду приводить его словаря, но упомяну, что в нем было много общего с датским словарем Конрауда Гисласона. Бабушку он никогда не называл иначе, как женщиной, у которой были дети, своего товарища по постели — человеком с кисетами, а капитана Хогенсена, естественно, величал командиром военных кораблей. К сожалению, Руноульфур Йонссон не помнил также, как звали спасителя, и, если ему непременно хотелось сказать о боге, он называл его человеком, стоящим выше Бьорна из Бреккукота. Он не знал также, на какой земле живет, и называл ее сушей в отличие от моря.

Заканчивая рассказ о Руноульфуре Йонссоне, я не могу не сказать о событии, которое более всего остального поможет сохранить его имя для потомства: этот замечательный забулдыга, когда ему перевалило за семьдесят, оказался одним из первых, кого раздавил автомобиль. Произошло это потому, что, будучи пьяным, он всегда шел по середине дороги, размахивая бутылкой, пел, говорил речи, смеялся — и все это одновременно, — а следом за ним двигалась банда пьяниц и бродяг, бездомные собаки, лошади и, наконец, датчане-велосипедисты, которые в те времена только начинали появляться на улицах Рейкьявика...

Руноульфур считал автомобили нелепыми жестянками, катящимися по улице. И если произошло такое несчастье, что в один прекрасный день он исчез из этой книги, да так незаметно, что я и сам забыл отметить, когда это случилось, то виною этому — первый появившийся в Исландии автомобиль.

9

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ

Гости Бреккукота иногда говорили о «больших людях», или, вернее, о людях «высшего класса». Но Бреккукот расположен далеко от домов больших людей, которые в моем представлении были каким-то иностранным акционерным обществом. Как чудно́ жить в самой столице, где заседают, именно заседают, большие люди, и знать о них не больше, чем об ангелах, возносящихся ввысь с букетом цветов, как на картинке, висящей у нас в доме. Но если человек в пальто с бархатным воротником, в черной твердой шляпе, с галстуком бабочкой и с лорнетом подходил в ясный лет-

ний день к тележке дедушки, снимал шляпу и достойно и вместе с тем милостиво спрашивал, хорош ли улов, — значит это был один из больших людей.

То, что я не ошибался в своем определении, подтверждалось последующим развитием событий. Дедушка отвешивал на безмене треску средней величины, этот человек платил ему новенькой серебряной монетой и получал рыбу на стальном колечке, тогда как остальные покупатели довольствовались тем, что просовывали указательный палец в жабры. Человек этот снова снимал шляпу и уходил, держа рыбу на расстоянии ладони от себя,— конечно, это был один из больших людей.

Однако гораздо чаще дедушка подкатывал свою тележку к дверям кухонь тех домов, где жили большие люди, и продавал рыбу прислуге. Сам я ничего общего с этими представителями высшего общества не имел, правда, до тех пор, пока не подрос и не стал вместе с блаженной памяти капитаном Хогенсеном поздравлять их с Новым годом.

Я отнюдь не собираюсь рассказывать обо всех моих новогодних визитах вместе с Хогенсеном, но поведаю только о первом, ибо он обладал привлекательностью новизны, открыл мне всю красоту мира и придал неожиданное звучание эпосу моего детства.

Мне было лет шесть, когда я впервые получил разрешение сопровождать капитана Хогенсена в этом путешествии, проходившем по очень строгому, раз навсегда установленному церемониалу.

Итак, мы подходим к тому моменту, когда капитан Хогенсен просит инспектора, слывущего ловким брадобреем, подстричь и побрить его и становится более чем когда-либо похожим на короля Христиана IX.

В день Нового года капитан просыпался в семь часов и начинал медленно и тщательно одеваться в том мраке, который ниспослал ему спаситель и который не могли разогнать ни свечи, ни масляная лампа, ни даже солнечный восход — ничто, кроме светоча доброго сердца. Несмотря на свою слепоту, он всегда сам чистил пуговицы своего мундира. В то время, когда другие в утро Нового года только ложились, капитан сидел на краю постели в своей прекрасной синей форме морского офицера с золотыми пуговицами и ждал. Козырек его фуражки блестел как зеркало. Если ему говорили, что еще не рассвело, он не верил, но просил своего соседа сесть к нему поближе и сказать, когда же станет светло, чтобы зрячий мог найти дорогу в город.

В шесть лет, да и значительно позже я, подобно знаменитому Кандиду, был уверен в том, что мир, в котором мы здесь живем, лучший из миров, и поэтому не завидовал ничему, что начиналось за пределами родного Бреккукота. И как это часто бывает с наивными или примитивными людьми, высокая цивилизация не могла потрясти меня — настолько мною владел Бреккукот.

— Да ниспошлет бог нам всем хороший день и хороший благословенный новый год,— говорил капитан Хогенсен горничной исландского министра, когда мы входили в дом.—Королевский морской офицер Йоун Хогенсен желает поздравить министра.

Горничная отвечала, что министр вряд ли сможет принять морского офицера, ибо сейчас идет уборка после встречи Нового года, а скоро начнут приходить с поздравлениями чиновники.

— Но я попытаюсь доложить министру, что ты пришел, Хогенсен.

Молча, отнюдь не торжественно и довольно долго мы ждали в вестибюле. Но вот вышел человек с раздвоенной бородой; он был без пиджака, подтяжки били его сзади по ногам, как два хвоста. Он курил сигару.

— Сердечно приветствую моего славного Хогенсена, добро пожаловать, хотя теперь для флота у меня не больше времени, чем раньше. Но мы займемся этим вопросом. Могу я предложить вам подымить сигарой?

Капитан Хогенсен щелкал каблуками и по-военному приветствовал министра:

— Желаю королю Дании и вам, его министру, здоровья и благополучия в наступающем году. Выражаю вам и его величеству пожелания всяческих успехов в политике как на суше, так и на море. Одновременно разрешите представить вам честного и одаренного юношу, стоящего рядом со мной, Аульфгримура Аульфгримссона, воспитанника Бьорна из Бреккукота, уважаемого и умного человека.

— Очень приятно, дружок,— сказал министр, подошел и протянул нам палец. Вдобавок он взял меня за шиворот, потащил к двойной двери, приоткрыл ее, и я увидел прекрасную гостиную, которую убирали горничные. Потом министр показал нам на большой портрет, висящий на стене наискось от короля Христиана, и спросил:

— Знаешь ли ты, молодой человек, кто это?

Подумать только, ведь это был портрет сказочного человека с королевским носом и просветленным взглядом. И снова я, на этот раз у входа в гостиную министра, задаю себе вопрос: существует этот человек или он только портрет? Или мы, живущие на своей стороне кладбища, сродни ангелам? Я онемел.

— Это парень из дома пономаря,— сказал королевский министр.— Он прославил Исландию далеко за ее пределами. Ты тоже из Бреккукота, так покажи, на что ты годен.— И министр улыбнулся.

Однако капитана Хогенсена мало интересовал этот сказочный человек, и он с упрямством слепого следовал своим курсом.

— Теперь, — сказал он, — когда я пожелал доброго нового года вашему превосходительству и государству Дании и в особенности моему другу, королю Христиану IX, который, подобно мне, является иностранным чиновником в королевстве Дании, прошу вас передать его величеству мою просьбу, какую я высказывал вам в этом зале в прошлом, в позапрошлом и в предыдущие годы. Я знаю, что его величество не посетует на то, что я еще раз ее повторю. С той поры, как англичане, фарерцы и Гудмунсен стали применять в рыбной ловле траулеры и буквально выскребывают море чуть ли не до самых капустных грядок, Исландия рискует остаться без рыбы. Прошу прекратить это хищничество.

— Вот именно,— сказал королевский датский министр и закрыл дверь в гостиную, где висел портрет нашей знаменитости. Он вынул из кармана две сигары и сунул их в карман Хогенсену.— Вопрос требует тщательного изучения и рассмотрения в соответствующих инстанциях. Я постараюсь запомнить ваши слова. Мы вам очень благодарны, мой добрый Хогенсен. Собственно говоря, вы, и только вы являетесь нашим флотом. Но вы понимаете, что при создавшихся условиях я ничего не могу обещать, времена теперь таковы, что обо всем приходится задумываться. Дела с флотом обстоят плохо, но еще хуже они обстоят с пехотой. Всю надежду Исландия возлагает на молодых людей, возвращающих ей былую славу... Фрекен, дайте мальчику шоколадку... Вообще, как вы видите, мой добрый Хогенсен, я еще не совсем проснулся. Но если я могу что-то для вас сделать, то, конечно, сделаю это от всего сердца.

— Его величество король Дании Христиан IX знает,— продолжал капитан Хогенсен; стоя на персидском ковре в передней министра, он каждый раз при упоминании имени короля щелкал каблуками и подносил свою костлявую руку к козырьку. — Как известно его величеству, судьбе было угодно, чтобы я стал слугой короля Дании, когда был к этому пригоден. К сожалению, этого нельзя сказать о большинстве моих земляков. И хотя я кончил тем, что на старости лет плету веревки из конского волоса, которыми в старые времена в тюрьме наказывали плутов, все же я не считаю

это для себя обременительным и не сожалею о моей службе королю, о тех временах, когда я ходил по Бредефьордуру на военных кораблях. Но следовало бы взвесить, не послужило ли бы к еще большей чести датского королевства, если бы его величество послал из Дании своему верному слуге небольшой пучок конского волоса в дополнение к тем жалким волоскам из лошадиных хвостов, которые мне с таким трудом приходится выпрашивать у бедных исландских крестьян, забытых богом и лошадьми.

Министр короля Дании, подавив зевок, ответил:

— Будьте уверены, я буду помнить эту просьбу, мой добрый Хогенсен. Но во имя истины следует сказать, что, как вы сами изволили заметить, Исландия не та инстанция, которая вам нужна в этом деле. С другой стороны, не исключено, что о нужной инстанции следует подумать, все взвесить, изучить. Очевидно, придется проанализировать, расследовать, что можно сделать по этому вопросу в столь трудные времена. А теперь распрощаемся, мой добрый Хогенсен, ибо придут посетители, а я, по правде говоря, еще не проснулся.

— Тогда остается только просить ваше превосходительство весной, когда будут стричь хвосты лошадям королевских чиновников, уделить мне пучок конского волоса. Я знаю, что мой добрый король Христиан IX,— и он снова прищелкнул каблуками,— который был беспризорным ребенком в Голштинии, а в юности — обремененным долгами немецким крестьянином, понимает, каково приходится иностранному чиновнику в датском королевстве.

Эта речь сыграла, бесспорно, весьма положительную роль. Казалось, министр недалек от того, чтобы проснуться; во всяком случае, его ответ прозвучал энергично и убедительно:

— Если сказать вам правду, Хогенсен, то я сам очень нуждаюсь в веревках. Откровенно говоря, я не знаю, чем связать сено, скошенное на министерском хуторе. Не далее как на Рождество я приказал сплести для нужд королевской службы веревки из хвостов приданных нам лошадей. И я предпринял соответствующие шаги, чтобы эти веревки свили тюремные заключенные. Вот предназначенная вам новенькая монета в две кроны, а вот десять эре мальчику. До свиданья!

Это было в первый день нового года, а в феврале капитану Хогенсену очень повезло: он был в состоянии послать меня к министру, и я передал ему веревки в количестве, достаточном для того, чтобы связать воз сена с министерского хутора.

10

РЕЧЬ И ПИСЬМО В БРЕККУКОТЕ

В некоторых старых гаммах существуют иные интервалы, чем те, к которым мы привыкли, и поэтому кажется, что в них не хватает звуков. И все же на основе этих древних нотных письмен были написаны чуднейшие мелодии, которые пелись в Исландии, такие как «Исландия — страна солнца и счастья» и «О моя любимая бутылка».

У нас в Бреккукоте не признавали ходячих понятий, да и не было слов для их обозначения. Многоречивость, усердно применяемая за пределами Бреккукота, производила на нас впечатление безумия. Слова, широко употребительные в других местах, в наших ушах звучали не только чуждо, но прямо-таки отвратительно, как нечто грубое и даже непристойное.

Если, например, кто-нибудь произносил слово «любовь», мы воспринимали его как нечто легкомысленное, неуместное или как неудачно при-

веденную цитату из проповеди. Любовь у нас называлась добротой, а любвеобильный человек — добрым или милым. Слово «страсть» никогда никем не произносилось в нашем доме, за исключением пьяных мужчин или очень глупых служанок, которые увлекались стихами современных поэтов. Надо сказать, что слова в этих стихах были такие, что у нас мурашки пробегали по спине, а дедушка, сидя по обыкновению на ступеньке, ерзал и почесывался то тут, то там, будто у него завелись вши; лицо его подергивалось, и он только бормотал: «Вот как... все же...»

Вообще, современная поэзия вызывала в нас такое ощущение, словно кто-то скребет ногтями по стеклу.

«Быть влюбленным» — таких слов у нас не было, у нас говорилось «поглядывает на девушку» или «похоже, что это будет хорошая пара». Слово «обручение» разрешалось произносить, но только без комментариев.

Я могу поклясться, что слово «счастье» слышал только из уст одной женщины, жившей некоторое время у нас на чердаке, настолько глупой, что она даже не упоминается в летописи Бреккукота. А столкнулся я с этим словом только когда уже подрос и занимался в школе переводами. Уже будучи взрослым, я все еще полагал, что слово «плач» заимствовано из датского языка.

Помню, как однажды кто-то огорченным голосом спросил дедушку, как жилось одной семье, чей кормилец год назад погиб в море. Он сразу же ответил: «У них в бочке достаточно соленой рыбы». Когда о человеке говорили: «ой-ой, он жирен!» — это означало, что у него дела идут в гору. Если кому-то приходилось плохо, говорили: «он очень похудел». О том, кто собирался умирать от старости, говорили: «он готовится к отъезду». О лежащем на смертном одре: «он скоро будет там». О смертельно больном молодом человеке: «ему не придется причесывать седые волосы». О разводе: «между ними пробежала кошка». Как видите, в Бреккукоте дорого ценилось каждое слово, даже самое короткое, самое маленькое.

Бабушка имела обыкновение отвечать пословицами и поговорками. Часто в ее словах звучала добрая шутка, но всегда казалось, что она чуть рассеянна или словно говорит через открытое окошко с кем-то, стоящим внизу; иногда она была сурова, но никогда ни на кого не сердилась. У нее были наготове не только пословицы: при всяком удобном случае она любила говорить стихами, которые представляли собой своеобразную смесь афоризмов с детскими стишками, или строку из псалма, или слова из народной песни, или цитату из древней саги. Бабушка поистине была неисчерпаемым кладезем премудрости, хотя никогда этим не хвасталась. Она знала все римуры с начала и до конца.

Людям, не сведущим в римурах, разъясняю: это стихи о древних героях и их подвигах. Состоят эти римуры из сложно построенных четырехстрофных стихов, иногда таких усложненных, что каждая строка имеет свои рифмы. Римур средней величины или цикл римуров может состоять из тридцати поэм, при этом каждая, по меньшей мере, — из ста четырехстрофных стихов. В Исландии известны сотни римуров, а по мнению некоторых — тысячи.

Бабушка знала превеликое множество псалмов. Часто она бормотала их за вязанием, но не для слушателей и даже не для себя, а потому, что мысли ее были заняты чем-то совершенно другим. Когда что-то в псалме вызывало мое удивление, например, слова о хлебе на небесах, и я начинал расспрашивать бабушку, казалось, что я ее разбудил: она отвечала, что не понимает, о чем я говорю, и долго не могла снова обрести утерянную нить мыслей. Я часто ловил бабушку на том, что она не делает разницы между стихами, подобно типографу, который одинаково набирает плохие и хорошие книги. Если записать то, что она знала, — этого хватило бы на

целые фолианты. Я не думаю, что найдутся университеты, в которых профессора могут, не задумываясь, изложить столько литературных познаний, как моя бабушка. Однако я не знал никого, кто был бы так далек от того, что мы вкладываем в понятие «образованного человека».

Как известно, умение читать и писать было не меньше распространено в Исландии до изобретения книгопечатания, чем после него. Я думаю, что бабушка, несомненно, была ближе к людям, жившим до Гутенберга. Букварь не был известен в Исландии. Бабушка говорила, что буквам ее научил один старик, писавший их на льду. А некая старуха научила ее писать спицами по закопченному стеклу. Этим они иногда занимались украдкой по вечерам, при лунном свете.

В тот год, когда бабушке стукнуло восемьдесят пять, она написала мне письмо за границу. В нем, как в сонете, было четырнадцать строк. Письмо это давно исчезло, но оно по-прежнему живет во мне, и я до сих пор вижу перед собой его строки. Она писала с большой буквы не только все существительные, но и наиболее важные прилагательные. Именно такого метода придерживался Фицджеральд в своем переводе стихотворения Омара Хайяма «Песня кочевников», которое многие считают самым прекрасным по форме из всех стихов, когда-либо написанных на земле. Прочитав этот стихотворный шедевр, я сказал: этот человек пишет, как бабушка.

Однако я опять ушел вперед, но еще далеко не исчерпал рассказа о моем детстве, без которого летопись жизни Бреккукота будет неполной. Поэтому вернемся к прошлому.

Мне было пять лет, когда бабушка вынула из своего ларца книгу и сказала:

— Сегодня мы начнем учиться читать, милый Гримур.

Эта книга начиналась с перечисления: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду, Иуда роди Фареса и Зару, Фарес роди Есрома, Есром роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наассона, Наассон роди Соломона, Соломон роди Вооза от Рахавы, Вооз роди Овида от Руфи, и Овид роди Иессея...

Эту священную родословную мы учили большую часть зимы.

— Как это скучно, бабушка! — сказал я.

Тогда бабушка прочла мне такое стихотворение:

Сравню я библию с мешком,
Что полон рыбы до отказа.
Могу ли съесть ее я сразу?

Перед Рождеством я как-то спросил:

— Бабушка, почему этот урок такой скучный?

— Потому, что он повествует о временах древней Иудеи, — ответила она.

Но к концу зимы я все же научился читать по этому глупому тексту и с тех пор мог осилить любую книгу.

11
ИСЛАНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С давних времен в каждом уважающем себя исландском хуторе существовал такой обычай: по вечерам кто-нибудь, умеющий хорошо читать, декламировал саги или слагал римуры. Так жители хуторов коротали длинные зимние вечера. Со временем эти чтения в те часы, когда зажигали свет и до отхода ко сну, стали называть исландским университетом. Нет ничего удивительного в том, что старики, проучившиеся в таком университете лет восемьдесят или больше, на самом деле могли бы сдать экзамен в университет.

В Бреккукоте чтением саг и римуров занимались главным образом гости, приезжавшие к нам на более или менее длительное время, а иногда даже на одну ночь; как уже говорилось, мой дедушка, Бьорн из Бреккукота, интересовался книгами в самой малой степени. Гости же из далеких краев зачастую обнаруживали большие способности к этому виду развлечений.

Лучше всех это делали пришельцы из Северной Исландии, в особенности из Скагафьордура,— настоящие герои саг, только носящие, в отличие от древних, резиновые сапоги. Гости же из южных частей страны довольствовались исландскими башмаками. Эти люди были напичканы стихами — хорошими и плохими,— и их язык казался более выразительным, чем наш. Когда гость из Скагафьордура становился к стене и начинал петь римуры, сверкающий огнями мир героических саг раскрывался чудесами тысячи и одной ночи.

Книги, имевшиеся в Бреккукоте, были, как я уже говорил, оставлены гостями. И все же они обладали большей литературной ценностью, чем это можно предположить. Эти книги свидетельствовали о том, что среди наших гостей больше поклонников героев, рыцарей и мореплавателей, чем людей, предпочитающих датские романы — так у нас называлась вообще вся современная литература, в особенности если ее герои казались нам напыщенными и неестественными. Когда мы говорили о датских романах, перед нами как бы витали образы Достоевского и других романистов, которые, как нам казалось, слишком злоупотребляли дегтем, а он, повинуясь закону тяготения, растекался по выбоинам и трещинам.

Многие из наших гостей оказались не только хорошими чтецами, но поистине гениальными рассказчиками. Чаще всего это были истории о битвах на суше и на море, о сильных, мужественных героях, об обжорах и других необыкновенных представителях рода человеческого. Не забывались и рассказы о призраках и эльфах.

Представьте себе вечер в Бреккукоте.

Человек с обветренным багровым лицом сидит на чердаке и при свете поставленной на подоконник масляной лампы рассказывает или читает вслух, дедушка прикрепил к потолочной балке сеть и молча плетет петлю за петлей. Плетет веревку из конского волоса капитан Хогенсен, она становится все длиннее и длиннее, и ножка кровати — к ней привязана веревка — скрипит каждый раз, когда он вытягивает ее. Руноульфур, как ребенок, засунул палец в беззубый рот, на его глазах слезы, но не потому, что он плачет, а потому, что долго плавал в море и соль разъедает уголки глаз. Другие слушают сидя, кто на кровати, кто на скамье. Люк над лестницей открыт, и на нижней ступеньке пристроилась бабушка. Она вяжет и ждет новых гостей. А между тем, история продолжается.

Что же это за история?

Историй было много, но общая особенность их заключалась в том, что рассказывали их совершенно иначе, чем в так называемых датских романах. Рассказчик никогда не касался своей жизни и не высказывал своих мнений. Содержание говорило само за себя. Люди передавали его не спеша. Дойдя до наиболее захватывающего места, они начинали перечислять представителей различных поколений героев — это длилось довольно долго,— а затем делали отступление от темы, подчас весьма обстоятельное, а стало быть, занимающее немало времени.

История жила своей собственной жизнью, независимо от рассказчика, похожая в некоторой степени на природу, где господствуют стихии. Чем был маленький, сморщенный человечек в случайной ночлежке по сравнению с большим миром героев, миром героических саг, с их великими событиями, происшедшими однажды — и для всех?

Заветной книгой было «Жизнеописание великих исландцев». Мне и теперь еще иногда чудится, будто я вновь держу эту книгу в руках. Что с ней сталось? Я так ясно помню ее с давних времен моего детства. Я просмотрел множество каталогов, но нигде не нашел ее. Может быть, мне изменила память? Может быть, такой книги никогда не существовало? Или она жила только во мне? Как же могло случиться, что я знаю так много историй из этой книги? Когда я сам решил написать книгу, мне очень хотелось рассказать в ней несколько историй, подобных тем, что были помещены в «Жизнеописании великих исландцев».

Если бы теперь, не имея книги, я написал бы по памяти историю какого-нибудь великого исландца, подобную тем, какие мы слышали дома среди римуров и саг, то, думаю, раньше всего я написал бы о господине Снорре, пасторе в Хусфьедле. Может быть, мне следует попытаться восстановить ее здесь. Но подчеркиваю, что я рассказываю ее не так, как она была описана в книге, ибо книги этой нет.

Я хочу рассказать о том, что казалось мне главным, когда я слушал ее еще в Бреккукоте. Может быть, я смешиваю черты характера и эпизоды из жизни других великих исландцев с чертами характера и эпизодами биографии господина Снорре, но что из того? В глубине души я чувствую, что все великие исландцы должны были быть такими, как господин Снорре.

Господин Снорре — мужчина, на которого приятно было поглядеть, свою силу и ловкость он сохранил до глубокой старости, ему было лет шестьдесят, когда, спасаясь от движущейся лавы у Хусфьедла, он перепрыгнул через реку Хвитау. Как чудесно было грести с ним вдвоем, когда в молодости он жил у глетчера Снефьедл! Он был таким удачливым рыболовом, что, даже забрасывая сеть в заведомо гиблых местах, неизменно вытаскивал богатый улов.

Господин Снорре с ранней юности проявлял большие способности к сочинению стихов. Он так быстро постигал все науки в школе в Скаульхолте, что ученики и поседевшие латинисты не могли прийти в себя от изумления. Памятен такой случай. Когда он окончил школу, в Скаульхолт прибыл важный француз с большой книгой на латинском языке. Латынь была такая трудная, в особенности в конце книги, что ни один из преподавателей школы не мог ее разобрать. Тогда пригласили Снорре из Хусфьедла. Он посмотрел на книгу и улыбнулся, а потом стал с листа переводить на исландский слово за словом все, что было напечатано в книге, словно латынь была его вторым родным языком. Вокруг стояли пасторы и учителя, потрясенные такой ученостью. Но когда через несколько лет Снорре спросили, что это была за латынь, с которой не могли справиться пасторы Скаульхолта, он улыбнулся и сказал, что это неудивительно, потому что половина книги была написана на греческом, а половина на древнееврейском.

Господин Снорре был такой силач, что за полвека во всей стране не нашлось ни одного пастора, который мог бы устоять перед ним. Особенно ловок он был в борьбе с быками. Ходило много рассказов о том, как он бросался на бешеных быков, боролся с ними и всегда побеждал. Рассказывали также, что он как-то положил на обе лопатки одного негра с торгового судна. Люди, которым можно верить, утверждали, что господин Снорре победил также колдунью каким-то особым, только ему одному известным приемом.

Господин Снорре был также великим любителем табака, и когда однажды он должен был служить мессу в небольшом приходе в Кальманстунге, то привез с собой два мешка из бараньей шкуры, набитых нюхательным табаком. А мессу он знал наизусть.

Теперь пойдет рассказ об искусстве господина Снорре слагать стихи. Люди утверждали, причем это мнение поддерживалось и некоторыми учеными, что в Исландии были такие искусники, что слагали стихи не хуже господина Снорре, но не было и нет ни одного, который делал бы это лучше него. К примеру, он сложил такие стихи:

Вот овечка, нежно блея,
Щиплет травушку весной.
Мохноногий вслед за нею
Ходит агнец молодой.

Он сочинил множество римуров и большой цикл стихов «Страдание святой Иоханны». Рассказывали, что однажды господин Снорре встретил своего коллегу, господина Йоуна Торлаксона, которого за границей считали величайшим поэтом Исландии. Господин Йоун обратился к своему собрату с таким экспромтом:

Кто ослеплен своей мечтою,
Бредет по ложному пути.

Господин Снорре тут же ответил:

Но хуже, если той тропою
Мудрец надумает пойти.

Затем оба они сняли шляпы и поклонились друг другу, не обменявшись ни словом более, и каждый пошел своей дорогой. Общее мнение было таково, что в искусстве сложения стихов они равны друг другу, хотя господин Йоун добился славы своими переводами произведений Мильтона и Клопштока, а господин Снорре продолжал слагать римуры о святой Иоханне.

Теперь пришла пора рассказать о силе веры господина Снорре. Говорят, что в его время в Исландии насчитывалось больше верующих, чем когда-либо раньше или позднее, и все это благодаря силе и могуществу датских королей. Дело в том, что короли издали указ о религии, согласно которому человека, заснувшего во время церковной службы, били палками. Все же, хоть в те времена было множество верующих, никто по силе и убежденности веры не мог сравниться с господином Снорре. Рассказывали, что вряд ли можно было найти в Исландии такого еретика, которого господин Снорре не обратил бы в святую веру. В те времена в Исландии не было ни одного богохульника как среди ученых, так и среди простых людей, который осмелился бы вступить в теологический спор с господином Снорре.

Жил в те годы на реке Лейрау советник Магнус Стефенсен. Он слыл среди своих земляков ученым, наиболее искушенным во французской культуре, и даже написал книги на эту тему, отличавшиеся присущим ему остроумием.

Вот какую историю рассказывали о Магнусе Стефенсене.

Однажды в летний день он сел верхом на своего коня и вместе со слугами направился в долину Боргарфьордура. Подъехав к дому господина Снорре, он вызвал пастора и дал ему понять, что приехал сюда с намерением вызвать его на диспут об аде. Богослов не возражал и попросил ученого войти в дом и разделить с ним трапезу. Затем, когда гость откушал, хозяин предложил ему отдохнуть и начать диспут завтра утром. Так и сделали.

Среди ученых Магнус Стефенсен слыл не только знатоком французского языка, но и одним из самых сведущих в античной культуре и диалектике, а также в неменьшей степени в тех науках, начала которых восходили к латыни и греческому языку. У него всегда были наготове увесистые цитаты из основных произведений латинских авторов-чародеев, которыми он побивал своих противников. Известно, что тот, кто умело оперирует цитатами, почти всегда одерживает верх в споре.

И вот большую часть дня господин Снорре и советник Магнус Стефенсен ведут диспут, прибегая к различным уловкам логики, потчуя друг друга цветистой риторикой. Цитаты из вышеназванных авторов они приводили с таким энтузиазмом, о каком не слыхивали ни в одном простом доме Исландии.

Во время диспута они поглощали так много кислого молока, что четыре девушки только и делали, что вносили молоко и выносили пустые сосуды. Диспутанты ссылались на авторов из Ирландии, Франции и Италии, даже на московитов и китайцев. Они сравнивали таких мало известных в Исландии ученых, как Авиценна и Аверроэс *, и долго нельзя было догадаться, кто из двух спорщиков одержит победу. Однако к вечеру пастору пришлось туговато, и он уже готов был сдаться после того, как советник Стефенсен удачно привел тезис сожженного еретика Абракадабры, жившего в Персии за семьсот лет до рождения Христа. Об этом ученом господин Снорре ничего ранее не слышал и поэтому оказался беззащитен перед его дьявольски ловко составленными еретическими высказываниями. Тщетно Снорре пытался доказать Магнусу, что этот Абракадабра несомненно был порождением дьявола. Наконец пастор вынужден был замолчать, уши у него налились кровью и стали похожи на надутые пузыри, настолько он был возмущен столь удачно приведенными его противником аргументами Абракадабры против существования ада.

Просидев некоторое время молча, господин Снорре собрался с духом и сказал советнику: «Магнус, не пойдешь ли ты со мной на гору?» Стефенсен согласился. Они пошли. Через некоторое время Снорре подвел своего ученого собрата к скале и указал ему на расселину, откуда поднимался густой дым, сопровождаемый страшным зловонием. Рассказывали, что он заставил советника нагнуться над расселиной и заглянуть в нее, и оказалось, что этот высокоученый, важный советник, известный всей стране своим умом и познаниями, узрел в глубине расселины какие-то необыкновенные видения, настолько безобразные и отвратительные, что ученые отказывались писать о них. При виде этого зрелища Магнус Стефенсен ужаснулся и во весь дух бросился бежать обратно к дому пастора. Он приказал слуге немедленно седлать лошадей и сказал, что видел ад собственными глазами. В тот же вечер он умчался.

Так кончился диспут об аде, в коем господин Снорре, разбитый в словесном бою, силой веры доказал неверующему Магнусу, что ад существует...

А вот еще одно доказательство глубокой веры и силы духа господина Снорре.

Однажды он собрал привидения со всей округи: всех ведьм и дьяволов, хозяйничавших в Боргарфьордуре, а также всяких мелких призраков, оскверняющих своим присутствием мирные поселки, вроде ожившего мужского ребра, духов, населяющих скотные дворы, и некоторых других представителей нечистой силы, которых недруги хотели бы напустить на праведника Снорре.

Всему этому сборищу пастор назначил встречу в Троицын день на утренней заре перед большим камнем на лугу.

Всего собралось двадцать одно привидение. Снорре сообщил, что пригласил их на черную мессу, где «Господи, помилуй», «Отче наш» и «Аминь» будут прочитаны шиворот-навыворот.

Однако дьявольщина просчиталась: едва начав службу, Снорре-пастор стал осыпать эту нечисть проклятиями и самыми витиеватыми заклинаниями, в которые он с такой ученостью и так ловко вплетал имена

* Ибн-Род Абуль-Валид Мухаммед (Аверроэс) (1126—1198) — крупный арабский мыслитель, развивавший материалистические стороны учения Аристотеля.

Иисуса, девы Марии и Марии Магдалины, что все призраки сморщились и превратились в жаб. И весь этот сброд скрылся под большим камнем на лугу, и с той поры в Боргарфьордуре больше не появлялся ни один призрак. Большой камень, поглотивший привидения, и до сего дня стоит на том же самом месте; его теперь называют Камнем Привидений. И сдвинется он с места, только когда труба архангела протрубит Судный день.

У Снорре было так много потомков, что его не без основания считали родоначальником нового поколения в Боргарфьордуре. И все, знавшие его, сходились на том, что никогда еще в этих краях не жил лучший моряк, более пламенный борец за веру и великий любитель табака, чем он, и никто не умел громче него служить мессу.

На этом и заканчивается рассказ о Снорре-пасторе из Боргарфьордура.

12

ХОРОШИЕ ПОХОРОНЫ

Неужели я до сих пор ничего не сказал о медном колоколе, который эхом откликался на звон наших серебряных часов?

— Кого-то хоронят,— говорили наши гости, когда в доме слышался звон медного колокола с кладбища. Вскоре после этого раздавалось колеблемое ветром пение псалма «Подобно одинокому цветку».

— Да,— сказал дедушка,— просто ужасно, сколько умирает людей. Всегда кто-нибудь да умирает... Я просто сосчитать не могу, какое множество людей отправилось на тот свет за последнюю неделю. Иногда приходилось хоронить даже двоих в один день.

— Да, пасторам дела хватает,— заметил один из пришельцев.

— Бедный пастор Йохан совсем ослаб,— промолвила бабушка.— Ведь многие приходят в столицу из разных концов страны, умирают здесь в больнице, и прямо-таки удивительно, что старый, больной пастор Йохан, который с трудом передвигает ноги, еще в состоянии провожать их всех в последний путь на кладбище.

— А не будет ли тесно на кладбище, когда там похоронят всю страну? — спросил кто-то.

— Я уже присмотрел местечко для нас двоих — хилых стариков,— сказал дедушка.— Надеюсь, что нам позволят лечь там...

Когда я был маленьким, мне очень нравилось слушать, как бабушка, дедушка и другие старики беседуют о смерти, нравилось смотреть, как медленно движется похоронная процессия и как, подходя к кладбищенским воротам, люди начинают запевать псалом. Черная ряса пастора блестит на солнце и кажется синей, а шеи черных лошадей перед катафалком — почему-то зелеными.

Я надеюсь, что почтенные критики не поставят меня на одну доску с проповедниками смерти и тлена за то, что в детстве, когда мне исполнилось только пять лет, похороны на нашем кладбище доставляли мне бóльшую радость, чем что бы то ни было.

Вдруг, среди бела дня, когда ты никак этого не ожидаешь, раздается звон колокола. Много времени, целая вечность проходит между первым и вторым ударом. Когда в первый раз ударяют в колокол, похоронная процессия только спускается к кладбищу. Потом удары колокола раздаются чаще, быстрее, звон его становится громче. Я сижу вдалеке и жду, когда появятся черные лошади. Утром прошел дождь, и теперь сладостно пахнет пижма. И вот люди начинают петь. Поют птицы, и, по-своему жужжа, запевают мухи. Звуки псалма «Подобно одинокому цветку» разносятся далеко, а иногда в них слышится испуганное тремоло капризного ветра.

И как было приятно знать, как веяло миром от того, что людей, когда они перестают жить, бережно опускают в могилу с пением и колокольным звоном. Следует, однако, признаться, что иных мертвецов я жалел — это были бродяги и те, кто умер одиноким и покинутым, те, кто встретил свой последний час в дороге среди чужих людей, или иностранцы, которым суждено было найти вечное успокоение в исландской земле.

Иногда старый полицейский Йоунас вместе с каким-нибудь помощником привозили из города на тележке трупы и укладывали их в часовне на доски, положенные поперек стульев, часто даже ничем их не прикрывая. Это называлось «лежать на смертном одре». Я, притаившись, смотрел на трупы через окно часовни, иногда это были только обрубки тел, без головы, без рук или ног, иногда — женщины с длинными волосами, которые, казалось, лились с досок на пол.

В детстве похороны так глубоко западали мне в душу, что об одних таких похоронах я хочу рассказать поподробнее.

Ветер часто доносил до меня звуки погребального псалма, и я хорошо усвоил его мелодию. Отрывочные слова псалма, которые мне удавалось разобрать, я потом перечитывал бабушке, и она помогала мне заполнять пробелы. Так я постепенно заучил весь псалом.

Мне настолько нравился церемониал похорон, что, поймав голавля, я прежде всего крестил его именем какого-нибудь великого человека, а затем торжественно хоронил в углу огорода, где росла капуста. Я один изображал и пастора, и похоронную процессию, и черную лошадь. Потом громко пел над противной рыбой «Подобно одинокому цветку»—весь псалом с начала до конца.

Однажды в тихий летний день я сидел и играл на могиле святого архангела Гавриила. Называлась она так потому, что над ней стоял коленопреклоненный мраморный ангел. И вдруг невдалеке я увидел похоронную процессию. Лошадей не было. И никто не пел. Четыре человека вынесли из часовни короткий, широкий гроб — я убежден, что хоронили человека без головы и без ног. Сопровождали гроб два старика, обычно помогавшие хоронить покойников, третий — хромой — обычно вел под уздцы лошадей, четвертый — Йоунас, полицейский с золотыми пуговицами на куртке. За ними шла похоронная процессия, состоявшая из старого пастора Йохана в облачении и столяра Эйвина, сколачивавшего гробы. Больше никого не было.

Но какое благодатное настроение царило в тот день на кладбище! Пастор Йохан и остальные были в хорошем расположении духа. И вот они заметили маленького мальчугана, голова которого была едва видна из-за могильных холмов,— он внимательно наблюдал за похоронной процессией.

— Подойди-ка сюда, малыш! — сказал пастор.— Нам в процессии не хватает третьего человека.

Я подбежал к ним и поздоровался. Пастор Йохан и столяр Эйвин взяли меня за руки, и я шел между ними в качестве третьего участника процессии. Прекрасное число три!

— Я часто вижу тебя, дружок, на кладбище, когда мы кого-нибудь хороним. Не приемный ли ты сын Бьорна из Бреккукота, и не я ли крестил тебя? — спросил пастор Йохан.

— Не помню, кто меня крестил, — ответил я. — Но меня зовут Аульфгримур... Есть кто-нибудь в гробу?

— Да, дружок, — ответил пастор. — Только мы не знаем, кто его крестил и как его зовут.

— Я всегда крещу голавлей перед тем, как похоронить, — сообщил я.

— Да,— продолжал пастор Йохан.— Мы хороним его не потому, что знаем, кто он, а потому, что бог равно любит всех людей. Он одинаково

любит меня, и тебя, и Эйвина — столяра, который держит тебя за руку, и того, кто лежит в гробу.

— Может быть, это он лежал недавно в часовне, и у него не было лица? — спросил я.

— Вот именно,— ответил пастор.— У него нет лица, и поэтому мы не знаем, кто он. Мы только предполагаем, но, возможно, ошибаемся. Мы знаем только одно: бог создал всех одинаковыми и спаситель спас всех без различия.

Гроб опустили в землю. Пастор Йохан подошел к краю могилы, положил на маленькую деревянную лопатку горсть земли и произнес несколько слов. Затем снова взял меня за руку, подвел к могиле и сказал:

— Теперь мы с моим другом Аульфгримуром споем псалом. Хотя Хадлгримур Пьетурссон и сочинил на смерть своей маленькой дочки, но он хорош для всех людей, живущих и умирающих в Исландии.

Пастор затянул своим слабым и беззвучным старческим голосом: «Подобно одинокому цветку, возросшему на нашей земле»... Я держал его за руку и подпевал чистым, звонким детским голосом.

Так я впервые выступил публично. Мне казалось, что меня призывают петь и для живых, и для мертвых. Пел и полицейский Йоунас, и столяр Эйвин. Хромой возница тоже пытался подпевать. И пели птицы.

Окончив псалом, мы подошли к могиле. Пастор Йохан по-прежнему держал меня за руку. Он горбился, и его ряса спереди была длиннее, чем сзади.

— В конце концов, это были хорошие похороны,— сказал пастор,— чудесные похороны. Дай бог нам всем такие похороны!

Я ничего не говорил, семеня около пастора и держась за его руку. Я не мог понять, как это пастор Йохан считает эти похороны хорошими, если не было даже черных лошадей.

У кладбищенских ворот старый пастор попрощался со мной.

— Прощай, малыш,— сказал он.— И если ты еще будешь играть на кладбище, когда мы кого-нибудь хороним, и увидишь небольшую похоронную процессию, такую, например, как сегодня, подходи и опять сможешь петь псалом. Я, к сожалению, пою не очень хорошо, но зато чистым тоном. Вот тебе десять эре. Передай привет в Бреккукоте дедушке и бабушке. Я поблагодарю их за твое пение.

Какой у него был старенький, истрепанный кошелек! Но монетка в десять эре, которую он мне дал, была новенькая. В те времена на одно эре можно было купить две карамельки.

13

ЖЕНЩИНА ИЗ ЛАНДБРОТИ

Однажды какая-то пожилая женщина, закутанная в темный платок, присев как раз перед нашей дверью на камень, к которому привязывали лошадей, набралась мужества и постучала. Дедушка вышел, снял шляпу и поздоровался с женщиной.

— Ты, кажется, Бьорн из Бреккукота,— сказала женщина.— Здравствуй, и да благословит тебя бог.

Бледная, с выпученными глазами и длинными зубами, в исландских башмаках, в юбке, доходившей до лодыжек, она казалась маленькой и хрупкой.

— Разреши узнать, откуда ты? — спросил дедушка.

— Из Ландброти,— ответила женщина.

— Значит, ты прошла немалый путь,— промолвил дедушка.— Ты собираешься посетить кого-нибудь в столице?

— Нет,— улыбнулась женщина.— Я пришла сюда умирать.

— Вот оно что,— сказал дедушка.— Пожалуйста, входи и погрейся.

— Это ни к чему. Но я слышала так много хорошего о Бреккукоте... И если вы хотите сделать добро незнакомой женщине с востока, то разрешите мне умереть здесь.

— Это небольшая просьба, — заметил дедушка, — но гораздо удобнее умереть в больнице.

— Я только что из больницы, я приехала сюда к врачу ранней весной, но мне сказали, что уже слишком поздно. Мне осталось всего несколько недель.

— Хотя кое-кому и нравится приходить сюда умирать, но Бреккукот — не место для ухода за больными. У меня на хуторе только одна свободная койка на чердаке, у старого лоцмана Йоуна, который называет себя Хогенсеном, и у Руноульфура, который чистит отхожие места.

— Я никого не затрудню, — умоляюще сказала женщина. — Но что поделаешь, во всем натыкаешься на трудности. Дело в том, что я обещала кое-что своей семье.

— Ты сама собой распоряжаешься, добрая женщина, — заметил дедушка.— Что же ты хочешь?

— Когда я умру, меня нужно отправить на восток, Бьорн.

— Вот как, — удивился дедушка. — Это целых семь дней пути! А у нас тут кладбище прямо рукой подать, добрая женщина. Разве ты не знаешь об этом?

— Знаю, — ответила женщина, — но это ваше кладбище.

— Утро вечера мудренее, — философски заключил дедушка. — Не сиди тут на камне. Встань!

— Я не войду в дом прежде, чем мы не договоримся. Уезжая, я обещала детям, что меня отправят домой, когда дело дойдет до этого. Они еще очень молоды. А Люкла должна к осени отелиться.

— Мне не с кем отправить тебя до самого Скафтафьедла, — сказал дедушка.

— А нельзя ли отправить меня на грузовом боте? Но только в пути за мной надо приглядывать.

— А я думал, что раз человек уже умер, за ним большого надзора не требуется,— возразил дедушка.

— Нельзя допустить, чтобы меня похоронили к западу от Скафтафьедла,— возразила женщина.— Я решительно не желаю лежать к западу от Скафтафьедла. Я родилась в Ландброти, пусть там меня и похоронят.

— А не поехать ли тебе туда, пока ты еще жива? — спросил дедушка.

— Мне всегда хотелось умереть у посторонних,— ответила женщина.

Не помню, долго ли дедушка спорил с гостьей, но дело кончилось тем, что женщина вошла в дом, и Бьорн произнес слова, которыми он обычно приветствовал гостей:

Гость, входи. Тебе мы рады.
Твой приход — для нас отрада.

Это была предусмотрительная женщина, несколько суровая и не особенно добрая. Для нее без лишних слов приготовили место на чердаке, хотя дедушка не хотел брать на себя никаких обязательств после ее смерти.

— Кто ты? — спросил капитан Хогенсен.

— Меня зовут Тоурарна, я из Ландброти.

— Ты приехала в Рейкьявик ради собственного удовольствия?

— Именно так.

— Вот как, — капитан откашлялся и продолжал. — А я капитан Хогенсен из рода Хогенсенов, что живут к западу от Хельгефьедла. В свое время я служил под знаменами датского короля лоцманом в Бредефьордуре. Вот как, моя добрая женщина!

— Да, да,— промолвила она.

— Пользуясь случаем, я хотел спросить, кто нынче председатель общины и кто самый выдающийся человек в Ландброти? — спросил Хогенсен.

Бабушка прервала его:

— Не утомляй ее, Хогенсен, женщина больна. Она будет лежать здесь, пока не поправится.

— Я теперь ни на кого не сержусь, как видите,— ответил Хогенсен.— И не закрывайте между нами дверь, моя добрая женщина. Хоть я, может быть, несколько скучен, но иногда сюда приходят люди, с которыми интересно поговорить, например Руноульфур Йонссон. А вечером, когда все заснут, приходит наш философ. Вот как!.. У кого в Ландброти самая лучшая земля, моя добрая женщина?

— Наверно, у меня.

— Вот именно! — воскликнул Хогенсен.— У человека всегда есть только одна земля, и притом всегда самая лучшая. Но хватает ли ее, моя добрая женщина? Мои предки владели большими угодьями, а мне приходится делить здесь одну койку. Это получается, как в стихотворении, которое написано о моем дедушке, блаженной памяти Йоуне Хауконарсоне:

Где Йоун Хауконарсон?
Расскажите, жив ли он?

— Разве трудиться на своей земле — не самая большая радость, моя добрая женщина?.. Не хочешь ли ты посмотреть мою фуражку? Аульфгримур, милый мой мальчик! Найди фуражку и покажи гостье. Если на козырьке пыль, сотри ее.

Пока женщина рассматривала фуражку, на чердак поднялся Руноульфур. Капитан Хогенсен узнавал наших жильцов по дыханию — видеть их он не мог.

— Осторожно, Руноульфур, — сказал он. — У нас женщина, владелица земли. Она с востока.

— Тебе, женщина, выпала честь беседовать с человеком, который водил военные корабли! — сказал Руноульфур.— Откуда ты, разреши спросить?

— Из Ландброти.

— А какая рыба водится там у вас?

— Больше мелкая треска, но перед моим отъездом попадалась и крупная.

— Мелкая треска? — переспросил Руноульфур.— Ты еще сказала — крупная? А как насчет настоящей рыбы, женщина с востока?

— Хорошей рыбы у нас не бывает.

— Рыба, о которой ты говорила, у нас идет на удобрение,— сказал Руноульфур. — Да... Что я хотел сказать? Ах да! Раз ты уже приехала сюда, обязательно поезжай посмотреть чудеса на Судурнесе и в Гротте. Какие там выгребные ямы! О них следовало бы писать стихи, моя добрая женщина! С той поры, как много лет назад в Исландии были выкопаны торфяные ямы, на земле не выстроено ничего более крупного и замечательного, чем эти выгребные ямы.

14

СВЕТ НАД ДОМОМ ПОНОМАРЯ

В книге одного великого писателя сказано, что воздух в городе был насыщен именем некоей женщины, о которой все говорили.

Иногда я думал, что воздух на нашем кладбище насыщен именем Гардара Хоулма. Его портрет висел и в доме пономаря, и в гостиной министра. И хотя у нас в Бреккукоте о нем говорили только когда кто-нибудь спрашивал, все же я рано понял, что его имя тесно связано с нашими старинными часами.

Если какой-нибудь гость как бы ненароком заводил о нем речь, то от этой темы старались уйти и, в крайнем случае, говорили что-нибудь вроде того, что маленький Георг был чудным мальчиком, когда рос здесь, на кладбище. Но не только эти уклончивые ответы вызывали к нему напряженный интерес. Удивительно, что этот человек, который пел в большом мире и стал настолько знаменит, что мы не смели даже громко произнести его имя, когда-то был маленьким мальчиком и, подобно мне, проводил детство на кладбище. Когда бабушка и пономарева Кристина говорили о чем-то с благоговейным выражением лица, я всегда был уверен, что речь шла именно о нем, об этом сказочном человеке.

Не знаю, может быть, сознание того, что всемирно известный певец был таким же маленьким мальчиком, как я, так подействовало на меня, но я уже в детстве стал интересоваться пением и начал помогать пастору Йохану петь псалмы на небольших похоронах. И не потому, что я взял себе за образец Гардара Хоулма, во всяком случае, сознательно я этого не делал: этот образ был для меня слишком далеким, хотя его портрет и висел в знакомых мне домах. Может быть, один и тот же звук пробудил нас обоих, только его на четверть века раньше. Но несомненно не было такого случая, чтобы он не звучал для меня музыкой далекого водопада за голубыми горами, по другую сторону моря.

Бабушка научила меня грамоте. Прочтя в библии всю родословную, мы взялись за объявления в газетах. Мы получали два раза в неделю «Фолдин» — небольшую газету на четырех полосах. В те времена существовал обычай давать объявления в стихах во всех случаях: и когда хотели продать вяленую рыбу, и когда нуждались в батрачках для весенних полевых работ. Эти стихи мы учили наизусть. Я не помню ни одного стихотворения так хорошо, как эти объявления в «Фолдине», восхвалявшие сухую пикшу, какое-то иностранное печенье и китайское универсальное средство, изобретенное в Дании неким Вальдемаром Педерсеном. Я позволю себе привести стихотворение одного находчивого шорника о седлах, хомутах и прочей сбруе:

Парни, девушки, недаром
Вас прошу сюда зайти.
Полюбуйтесь-ка товаром.
Где же лучше вам найти?
Стремена из меди звонкой,
Седла, сбруи — все есть тут!
Разве плох вот этот тонкий,
Но такой сподручный кнут?
И нигде во всей округе
Не найдете, ей-же-ей,
Вы надежнее подпруги
И добротнее вожжей!
Ясно, девушка, по взгляду,
Что ты в сумках знаешь толк.
Так вот эту ли не надо?
В ней подкладка — чистый шелк!

Лавку славит вся округа.
Вот вам лучший образец:
Раз епископа супруга
Покупала здесь чепец.

— У мудреца все превращается в стихи,— поучала меня бабушка, когда я пытался вместе с ней по слогам преодолевать эти поэтические объявления.

Не только объявления, но и другие тексты, правда, написанные прозой, привлекали мое внимание. Это были статьи о всемирно известном певце Гардаре Хоулме. Мне кажется, никогда в Исландии не выходила ни одна газета, в которой не было хотя бы маленькой заметки о его славе. Заголовки всегда были в таком роде: «Исландское пение за границей!», «Исландское искусство завоевывает славу в чужих странах!», «Исландское вокальное искусство за рубежом!», «Мир слушает Исландию!», «Большой концерт в мировом городе!» и все в таком духе...

В статьях всегда сообщалось одно и то же: «Гардар Хоулм вновь приумножил славу Исландии за границей. В городе Кюснахт он пел такие песни: «Чудесно щебетала птичка», «Овечка, блеющая в поле и в хлеву», «Холодом дышит восточный ветер». Несколько позже Гардар Хоулм выступал во всех крупнейших городах Франции, которые, как мне казалось, начинались с буквы Q или кончались буквой q. Вдруг мы узнавали, что он отправился в турне по маршруту Лондон, Париж, Рим, Каир, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и т. д. Вскоре пришли выдержки из газет «Ла стампа», «Таймс», а также хвалебное высказывание Мухаммеда бен Али из Каира. Во всех этих городах люди чуть ли не потеряли голову от восторга перед великим искусством, пришедшим к ним из Исландии.

Теперь Кристина из дома пономаря предстала в совершенно ином свете. Посторонние люди подходили ко мне на улице, гладили по голове как хоть и дальнего, но родственника знаменитого певца. А когда меня посылали в лавку за керосином, купец, кроме керосина, давал мне пригоршню изюму, выражая тем самым свое уважение. Да, много чего перепало мне в лавочке Гудмунсена в честь Гардара Хоулма!

С тех пор как я себя помню, каждое лето по обеим сторонам кладбища ждали приезда всемирно известного певца. Об этом почти не говорилось, но взгляды обитателей Бреккукота и Кристины из дома пономаря были более чем красноречивы.

Это волнение продолжалось долго, и я уже свыкся с мыслью, что Гардар Хоулм не приедет ни этим летом, ни следующим, а может быть, не приедет вовсе. В мире так много стран, так много городов...

И как раз тогда, когда я окончательно примирился с мыслью о том, что Гардар Хоулм — это только мираж, слух или выдумка, каких много, что он никогда не появится в наших краях,— он приехал.

Было летнее утро, легкие облачка таяли в небе. Кристина только что встала и пошла кормить кур, как делала каждое утро. И вот она видит: перед домом пономаря стоит человек в пальто и оглядывается по сторонам.

Старая Кристина сначала подумала, что это иностранец, который хочет фотографировать те удивительные картины жизни народа, какие еще можно увидеть в Исландии, где между деревянными домами, покрытыми гофрированной жестью, иногда встречается землянка, где на крыше растут одуванчики и куриная слепота и между камней перед домом — ромашка; где еще носят самодельные башмаки, бывшие в моде в Европе тысячу лет назад, когда не было торговых городов, а стало быть, и сапожников. «Это, несомненно, важный иностранец,— думала Кристина, — если судить по его пальто, оно, наверное, стоит не меньше коровы. А цена его шляпы никак не меньше стоимости целого барашка».

— Доброе утро, — сказала пономарева Кристина по-датски.

А этот знаменитый и важный человек подошел к Кристине и обнял ее. Это был ее сын.

Не помню, где я узнал о приезде Гардара Хоулма, но только не дома. Я неоднократно утверждал, что вне зависимости от подлинных мыслей жителей Бреккукота Гардар Хоулм, его путешествия, его слава и все, касающееся его, всегда казалось нам чем-то само собой разумеющимся. Возможно, что бабушка и Кристина, встречаясь, и говорили о Гардаре Хоулме, но родство с таким великим человеком было для них сложной и, пожалуй, неразрешимой социальной проблемой.

Я привык к тому, что приезжающие в столицу обычно ночевали у нас, поэтому для меня оказалось неожиданностью, что Гардар Хоулм не остановился в Бреккукоте. Я сказал об этом бабушке. Она ответила:

— Как тебе могло прийти в голову, что сын пономаревой Кристины будет жить у нас?

Я понял это так, что Гардар Хоулм, естественно, остановился у своей матери. И когда меня послали к Кристине отнести ей немного молока, я стал искать следы гостя.

— Что ты ищешь, мальчик? — спросила Кристина.

— Я думал, может быть, здесь кто-то есть, — неопределенно сказал я.

— Кто же, по-твоему, здесь может быть?

— Я думал, Гардар Хоулм.

— Кто тебя научил называть его имя?

— Все об этом говорят.

— О чем говорят? Кто все? Уж, наверное, не Бьорн из Бреккукота.

— О нем пишут в «Фолдине»!

— В «Фолдине»! — воскликнула Кристина.— Ребенок уже начал читать газеты. Вот тебе леденцы и иди домой. И не мечтай на могиле святого архангела Гавриила, если бабушка послала тебя в город. Что я слышу? Гардар Хоулм! О чем этот ребенок спрашивает? Если он не поселился у губернатора, дружок, то, наверное, остановился в гостинице «Исландия», где прожить одну ночь стоит барашка, а неделю — целой коровы.

Такой ответ никак не способствовал тому, чтобы мыслящий человек поторопился бежать через кладбище домой. Это была для меня сложная задача. Если проспать одну ночь стоит барашка, а неделю — целой коровы, то мы в Бреккукоте должны были иметь бесчисленное количество баранов и целые стада коров. А если дедушке пришло бы в голову перебраться из Бреккукота со всеми нами в гостиницу «Исландия», которая в печати называлась «Hotel d'Islande», и взять еще с собой Руноульфура, и капитана Хогенсена, и даже инспектора, и спать бы там целый месяц, мы разорились бы до седьмого колена.

И все же гостиница «Исландия» была недостаточно хороша для Гардара Хоулма. Он считал обидным для своего достоинства гостить у кого-либо ниже министра датского короля в Исландии, как старая Кристина называла губернатора, того самого, у которого не было конского волоса.

15

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ

— Редкие белые вороны! — сказал однажды утром Бьорн, когда солнце сверкало над Бреккукотом и отражалось в рыбьей чешуе, в лужах воды и два важных гостя показались около дома.

— Здравствуй, дорогой Георг, добро пожаловать! Здравствуй, милый Гудмунсен! Не побрезгуйте войти.

Тот, кого дедушка назвал «милый Гудмунсен», был не кто иной, как

сам купец Гудмунсен, владелец лавочки, в которой я получал изюм за сомнительное родство с великим человеком. А дорогой Георг — иностранец, в шляпе с большими полями, с орлиным носом — был сам великий человек. Неудивительно, что слово «здравствуйте» застряло у меня в горле.

— Кто этот молодой человек? — спросил всемирно известный певец.

— Я — Аульфгримур.

Он мечтательно посмотрел на меня и тихо повторил мое имя:

— Аульфгримур, тот, кто остается на ночь у эльфов. Аульфгримур — так нужно было называть нас всех.

Гудмунсен сунул руку в карман и стал искать для меня десять эре.

— Le petit garçon, — сказал он.

Как и все великие люди, он был в черном пальто с бархатным воротником — и это в теплый летний день! На жилете, стягивавшем его большой купеческий живот, висела толстая золотая цепь. Он весело улыбался, словно деревенская девушка. Как сказано об апостоле Петре в одном из стихотворений бабушки, он был «румяный и мягкий, как слива». И было в нем что-то детское: мне казалось, этот человек завел усы прежде, чем вырос.

— Я давно собирался навестить тебя, мой дорогой Бьорн,— сказал Гудмунсен и поцеловал дедушку,— но никак не мог найти попутчика. Зато теперь я пришел в надлежащей компании.

— Здравствуйте и добро пожаловать,— приветствовал гостей дедушка.— Но давайте не будем сразу же целоваться.

Гардар Хоулм переступил порог, вошел в чулан, где хранилась рыба, прикоснулся губами к связке сушеных пинегоров, висевшей на палке, и вдохнул в себя их запах.

— Слава богу,— сказал он.— Да здравствует Исландия!

— Ты все такой же, и это хорошо, дорогой Георг, — обрадовался дедушка.

— Я часто вспоминаю романтику Бреккукота, рыбу, которая висит в кладовой на палках, связка за связкой, — сказал купец. — Георг совершенно прав, говоря, что именно здесь истинная Исландия: и дух, и песня народа. «О бог страны!» * Как хорошо, когда твои мысли подтверждает такая мировая знаменитость. Нет на свете ничего лучше сушеного пинегора! Мой отец всегда держал в спальне сушеных пинегоров. И теперь я иногда прокрадываюсь в погреб, чтобы поесть вдоволь сушеного пинегора. По-моему, лучшей еды нет на свете!

— Да, дорогой Гудмундур,— подхватил Гардар Хоулм. — Во всяком случае, нет необходимости привязывать к нему бантик, прежде чем съесть.

— Ты ведь знаешь, Георг, что моя жена из датского купеческого рода, и только потом ее родственники стали исландскими рыбаками,— сказал Гудмунсен.— Она, что называется, благородная дама, а мы с тобой знаем, что это значит и чего это стоит. Во всяком случае, никакого пинегора на кухне. И тем более — в столовой! Ни в коем случае — в спальне! Но я всегда стремился к подлинной романтике, и ты это знаешь, мой друг, иначе я не пихал бы в тебя столько золота и серебра целых десять лет кряду.

— Я знаю, что нигде в мире не получишь такой подсушенной французской булки, как у твоей супруги,— сказал всемирно известный Гардар Хоулм.

— Конечно, у нас в Бреккукоте,— сказал дедушка,— нет таких деликатесов, но надеюсь, что у старухи найдется что-нибудь горячее. И уж всегда можно угостить гостей головой пинегора.

---

* Начальные слова исландского национального гимна.

Когда великие люди вошли в комнату, дедушка еще раз приветствовал их:

Гость, входи. Тебе мы рады.
Твой приход — для нас отрада.

А когда они уселись за стол, вежливо спросил:

— Как дела с рыбной ловлей, парни?

— Весной в Париже,— ответил Гардар Хоулм,— ската было хоть пруд пруди, дорогой Бьорн. Я ел его для аппетита каждый вечер в течение целого месяца. В Париже также готовят изысканные блюда из акул.

Дедушка подложил под себя руки и бровью не повел, но, как всегда, когда ему хотелось засмеяться или издать какой-нибудь другой неподходящий звук, начал что-то бормотать про себя и наконец ответил:

— Приятно слышать, что тебе давали рыбу, мой мальчик. Я знаю, как это порадует твою мать. Рыба — это хорошо...

Гости посмотрели в окно. Перед домом среди камней росли ромашки. Свекла и картофель уже тянулись кверху. Низкий сгнивший забор между полем и огородом скрывался под кустами пижмы, дягиля и коровника. Поле спускалось к озеру, там росли одуванчики. За ним начиналось болото, где обитали морские птицы и где, по мнению Руноульфура Йонссона, находились самые большие торфяные ямы на всем белом свете! А дальше на горизонте виднелись горы.

— А что если я купил бы весь этот навоз, мой добрый Бьорн? — спросил купец.

— Что? — спросил Бьорн из Бреккукота.

— Навоз. Со всей его романтикой.

— Вот тебе два эре, Гудмундур, — поморщившись, сказал всемирно известный певец.— И уходи.

— Я хочу купить эту хижину,— сказал купец.— Теперь в Исландии нужно строить дворцы. Вместо нее я предоставлю тебе великолепную квартиру в подвале на Лаугервейе. И засыплю тебя золотом, как дерьмом, так что тебе его хватит до конца дней. Что ты на это скажешь, Бьорн?

— Но все же...— уклончиво начал дедушка, все еще держа под собой руки. — Вот, вот... Весенняя путина была трудна, ребята.

— О чем ты? — спросил купец.

— Да, — и дедушка обратился ко мне. — Скажи этому человеку, что я и все мы в Бреккукоте стали плохо слышать.

— Он хочет дать тебе золота, дедушка,— громко сказал я.

— Скажи милому Гудмунсену, что, если он хочет поговорить со мной о рыбе, я продам ему пять-шесть связок морского воробья в кредит.

Купец Гудмунсен повысил голос и сказал дедушке:

— Я хочу купить у тебя этот клочок земли, Бьорн. Я хочу построить здесь хороший дом. И заплачу, сколько ты запросишь.

— Я дам тебе связку копченого пинегора, милый Гудмунсен, чтобы тебе было что жевать на обратном пути, — ответил дедушка.

— Помни, что я сказал, Бьорн! Мое слово крепко. В любое время заплачу тебе такую сумму, какую только назовешь.

— Неприятно оглохнуть настолько, что нельзя ни с кем поругаться. Как же можно ругаться, если не слышишь, что тебе говорят, не говоря уже о том, что не понимаешь и того немногого, что слышишь? — продолжал свое дедушка.

У Гудмунсена неожиданно вытянулось лицо. Слива потеряла свою сладость. Он вытащил из кармана золотые часы и сделал вид, что, к сожалению, должен идти — его призывают дела.

— Allons, enfents de la patrie! — сказал он. — Прощайте все!

— Как неприятно,— огорчился дедушка.— Не съел ни кусочка пинегора, а у нас есть еще рыбный суп и даже вода с цикорием. Но что поделать, если задница чешется? В другой раз постараюсь угостить получше. А теперь провожу тебя до двери, чтобы ты не унес с собой радость нашего дома.

В комнате остался знаменитый человек, который услаждал слух всего мира. Как только за его спутником закрылась дверь, с гостя сошла вся веселость. Он впал в задумчивость. А когда я сравнил его с портретом на стене, то, к своему изумлению, увидел, что на фотографии у него взгляд светлый, как у ангела, а у человека, сидевшего в Бреккукоте, взгляд был мрачный, словно исполненный боли, как будто золотая карета, промчавшаяся по небу, исчезла из виду. Он перекладывал поочередно одну ногу на другую. На нем был синий костюм в красную клетку, он стряхнул с брюк то ли мох, то ли соломинку...

— Как тебя зовут, дружочек? — еще раз спросил он.

— Аульфгримур.

— Ах, что это со мной? Конечно, тебя зовут Аульфгримур. А что ты думаешь о мире, Аульфгримур?

— Я ничего не думаю о мире, — ответил я. — Я знаю только Бреккукот.

Услышав эти глупые слова, которые мне казались чрезвычайно умными, гость как бы проснулся. Он словно впервые увидел меня. И долго на меня смотрел. А мне от стыда хотелось провалиться сквозь землю.

— Интересно,— сказал он.— В высшей степени интересно.

Гардар Хоулм встал и посмотрел в окно. Оно было маленькое и неказистое — четыре квадратика грубого стекла, отливающего синим цветом, да еще с пузырьками, благодаря которым оно напоминало стекло старой бутылки. Всемирно известный певец наблюдал мир из нашего окошка. И мне показалось, что он прошептал: «Значит, комната с этим окошком существует».

Как раз в эту минуту пробили наши часы своим нежным, глухим тоном, как часто бывает у серебряных колокольчиков, может быть, два, может быть, три раза.

— Они еще бьют,— сказал певец.

Он повернулся к часам и долго стоял перед ними, прислушиваясь к их знакомому тиканию, которое всегда лучше слышно, когда кругом тишина. Он следил за движением стрелок, изучал резьбу на циферблате и несколько раз тихо произнес имя Джеймса Коуэна с таким почтением, с каким произносят имена людей, решающих судьбы мировой истории. Наконец он провел пальцами по часам вверх и вниз, словно слепой, ощупывающий живое существо, чтобы представить себе, как оно выглядит. И я увидел, что слезы ручьем потекли по лицу знаменитого певца.

16

ГОСТЬ И ИНСПЕКТОР

Человек с двумя кисетами, как его звал Руноульфур Йонссон, командир неких общественных учреждений, как о нем говорил капитан Хогенсен, городской инспектор, каким он представлялся мне, отличался от всех нас тем, что, когда мы собирались, он предпочитал блистать своим отсутствием. Я с рождения жил вместе с ним, но только этим летом по чистой случайности открыл его. Значит, он существовал. Я сам себе казался человеком, внезапно обнаружившим около дома камень, который лежал там так долго, что никто его не замечал.

Как-то в пору сенокоса я внезапно проснулся ночью. Не могу сказать — от страха или от чрезвычайного удивления по поводу того, что услышал голос инспектора, а главное потому, что он говорил не об орлах и не о мышах. Я убежден, что, если бы он в ночной тишине громко говорил о мышах, я продолжал бы спать, как будто ничего не случилось. Но я проснулся оттого, что этот тролль шептался со своим другом о мире и нашей эпохе, о человечестве и его судьбе. Беседе аккомпанировал звук металла, который многие ставят выше серебра и меди и только немногие ценят не выше дерьма.

Я инстинктивно понял, что обсуждалась какая-то тайна, и притворился спящим, стараясь не вслушиваться в разговор.

Бывало, что бабушка и Кристина разговаривали с глазу на глаз; обе они, в особенности Кристина, внушали мне, что никто не должен подслушивать — иначе он погибнет. И если достойный человек невольно становится свидетелем чужой тайны, она становится и его тайной.

Естественно, я не мог знать, что происходило между двумя друзьями до того, как я проснулся, и что произошло после того, как хозяин проводил своего гостя до двери и все снова затихло. Гостя я не видел: ничто не было мне более чуждо, чем шпионство. Ведь любопытство считается добродетелью или пороком в зависимости от того, какой учебник этики подвернется под руку. У нас в Бреккукоте не признавали разницы между любопытством и воровством. Но теперь, когда все, знавшие эту тайну, умерли и их мир исчез, а я остался один, передо мной возникают духи забытых времен. Люди и картины исчезнувшего мира предстают передо мной в своем подлинном значении, в те годы от меня сокрытом.

Так обстоит дело и с этой ночной беседой, которая разбудила меня много лет назад и невольным свидетелем которой я явился. Я далеко не уверен в том, что сказанные в ту памятную ночь слова или их последовательность были таковы, как я пишу теперь, но глубоко убежден, что аргументы, высказанные в этой запечатлевшейся в моей памяти беседе, определяли само ее существо.

— Ты прав. Мы несомненно сродни друг другу. И хотя я не разбираюсь в родстве, как это умеют делать животноводы или химики, все же знаю главное: мы тем более сродни друг другу, что ты самый знаменитый из всех исландцев, а я самый неизвестный.

— Дорогой двоюродный брат,— послышался ответный шепот.— Ты знаешь, что я недостоин развязать ремни на твоих ботинках. Я знаю, что просто смешно называть тебя двоюродным братом, и мне самому это понятно. Живи ты в Индии, тебе подарили бы замок из червонного золота где-нибудь высоко в горах. Мужчины и женщины из далеких стран приезжали бы туда, склоняли головы и ползли к тебе на гору на коленях.

— Как странно,— задумчиво сказал инспектор,— мне всегда казалось, что и тот, кто ползет на коленях в гору, и кто живет в замке из червонного золота на ее вершине, — и тот и другой — человек.

— Не кажется ли тебе, что ты плохо к себе относишься — ведь у тебя только одна-единственная жизнь, мой дорогой брат?

— Говорят, что у кошки, пока ее не повесят,— девять жизней. Почему же я должен довольствоваться одной?

— Не кажется ли тебе недостойным, что ты — одаренный человек — живешь в унижении, как последний из последних?

— Первый и последний...— инспектор тихо засмеялся.— Я не знаю, что это такое, и не понимаю разницы.

— Это то, что определяет положение человека в мире, это аплодисменты или свистки, которыми его награждают, это сила или немощь того, что он создает.

— Совершенно справедливо,— согласился инспектор.— И в сагах различают людей и события. Там герои — и простые люди. Великие подвиги — и воробьиный помет. Вернее говоря, простые люди и воробьиный помет не должны допускаться в саги. Однако жизнь научила меня не делать различия между героем и маленьким человеком, между подвигом и воробьиным пометом. С моей точки зрения, все люди и все события одинаково велики или одинаково малы.

— А что бы ты сказал, находясь в другом положении или вовсе не имея никакого положения, видя вещи в их постоянном свете такими, каковы они на самом деле, in re vera *, как мы говорили в первом классе классической гимназии? — спросил гость.

— К сожалению, я не силен в латыни,— ответил инспектор.— Зато часто размышляю над цифрами и в особенности над одной — числом «один». Это самое непонятное число в мире, только время одно сверхъестественнее этой величины, хотя именно оно глубже всего затрагивает людей. И когда думаешь о нашем странном мире, который только один, и о его связи с единственным сверхъестественным — со временем, то нет больше ни первых, ни последних, великих или малых.

— Но ты-то доволен? — спросил гость без обиняков, хотя, возможно, несколько нетерпеливо.

— Если я могу сделать что-нибудь хорошее для человека, который пришел ко мне, я доволен,— ответил инспектор.— Я не говорю, что всегда всем доволен. Например, я не могу выносить, когда вешают воров. Но искренне обрадовался, услышав, что принц Черногории недавно женился. Я хорошо знаю, что ни для кого ничего не значу. Но большой палец не больше мизинца, если их сравнивать с бесконечностью или сжать руку в кулак. Часто мимо проезжают верхом люди и останавливаются у моего порога. Я не знаю, отправляются ли они в далекое странствование или в короткую поездку. Единственное, что я могу для них сделать, это подержать стремена. Чтобы обрести хорошее состояние духа, надо не огорчаться, куда бы они ни направлялись. Я чувствую себя хорошо, поскольку помогаю всем и каждому попадать туда, куда они стремятся.

— А если ты знаешь, что помогаешь мне стать преступником? Будешь ли ты по-прежнему протягивать мне руку помощи?

— Я предпочел бы помогать тебе, не обижать других или не обижать самого себя, кроме тех случаев, когда такую обиду ты воспринимаешь как райское блаженство,— ответил инспектор и продолжал: — А что такое рай? Мышь живет в норке. Невероятно трудно жить в таких условиях. Во всяком случае, птицы сочли бы это плохим раем. Орел же чувствует себя дома на вершинах и считает себя царем в этом жилище ветров. А наши маленькие птички с пустоши каждую весну прилетают к нам в Исландию и каждую осень улетают обратно через огромные морские пространства на своих непостижимо маленьких крылышках. У них есть своя философия, хотя можно найти цитаты из произведений современных писателей, доказывающие, что имя этой философии — безумие. Может быть, поэтому я никогда не цитирую писателей. Многие считают правильным стрелять в птиц, поскольку они глупы. Я бы никогда этого не сделал, ибо считаю, что нужно помогать всем жить, как они хотят, если они, в свою очередь, не мешают другим. Если бы ко мне пришла мышь и сказала, что она решила перелететь через море, а орел сказал бы, что задумал вырыть себе нору в земле, я бы ответил обоим: «пожалуйста». Можно доказать, что всем нам лучше всего быть капустными червями. Только с этим могут не согласиться ни орел, ни мышь. Я одинаково

---

* Вещи, каковы они в действительности *(лат.)*.

понимаю и орла, который считает себя царем обители ветров, и мышь, которая чувствует себя такой жалкой, что зарывается в норку, в землю. Я друг перелетных птиц, хотя они придерживаются сомнительного, а может быть, даже неверного мировоззрения. И хотя глупо, и опасно для жизни, и, в сущности, преступно летать через открытое море на этих непостижимо маленьких крылышках, все же ржанка, возвращаясь из дальних странствий, прекрасно поет весной, как об этом слагал стихи Йонас Хадлгримссон *.

— И тебе никогда не приходило в голову, брат, что оскорбительно для самого себя заниматься подобной отвратительной работой?

— Раз дело обстоит так, значит оно обстоит именно так, — сказал инспектор и задумался. — Теперь я расскажу тебе одну историю. Ты знаешь, ничто так не обижает исландца, как если назвать его датчанином. И вот, когда я крестьянствовал в Скага, однажды я пришел в гости сюда, в Рейкьявик. Здесь мне пришлось побывать в общественной уборной, которую я теперь инспектирую, или, как говорит лежащий вон там на постели Йоун Хогенсен, командую ей. Я бывал во многих непривлекательных местах, но здесь оказалось гораздо грязнее, чем где бы то ни было; к сожалению, в этом виноваты исландцы. Но мне нужно было побывать и в аптеке у Микаэля Лунда, который, извини, датчанин. Никогда я не видел такой чистоты: и в потолок, и в стены, и даже в пол можно было смотреться, как в зеркало. И пахло там не только дезинфицирующими средствами, но и духами и мылом. В этот день на меня снизошло призвание.

— Призвание? — спросил гость. — Откуда?

— От бога.

— От какого бога? Я не знал, что ты веришь в какого-нибудь бога.

— Выражайся поосторожнее, мой друг. Кто знает, может быть, я верю в большее число богов, чем ты. По крайней мере, свое призвание я получил от доброго бога чистоты, чтобы сделать некое общественное учреждение на портовой площади таким же приятным, чистым и благоухающим, как и аптека датчанина Микаэля Лунда. Я продал все, что имел, чтобы последовать этому призванию. И если вдумаешься, то поймешь, что следовать призванию, ниспосланному добрым богом, никогда не может быть отвратительно. Отвратительна только плохо выполняемая работа. Мир один, человек один и труд тоже один. Можно по-разному стараться, но работа, какая бы она ни была, всегда священна.

— Поскольку ты пообещал поддержать меня,— сказал гость,— то ничто не изменится, если я тебе кое в чем помогу, хотя любому другому это не так просто. Я вхож ко многим влиятельным людям, я на «ты» со всемогущими представителями власти. Мне ничего не стоит найти тебе работу, которая дала бы неизмеримо больше, чем эта, которая позволила бы тебе, человеку незаурядных способностей, служить людям гораздо более привлекательным способом, чем ты это делаешь теперь.

— Я знаю, что мое положение не считается высоким,— ответил инспектор. — Но оно не может быть низким, пока человек вынужден удовлетворять все свои потребности.

Как человек, снова, уже в зрелом возрасте, обнаруживший камень, который привлекал его в детстве, так и я, Аульфгримур, много лет спустя понял, что однажды ночью мне довелось услышать, как истинный друг людей произносил слова любви к людям, но с противоположным смыслом, чем это делали отцы церкви и святые, ибо он радовался жизни, а они испытывали отвращение к естественным потребностям человека.

Я не знаю, отказался ли гость от надежды уговорить инспектора, но он больше ничего не сказал. А инспектор продолжал развивать свою мысль.

* Йонас Хадлгримссон (1807—1845) — классик исландской литературы.

— Нет, мой друг,— сказал он.— Мне не нужна никакая другая работа, кроме той, какая у меня есть. Будь я даже губернатором, и тогда я не смог бы служить людям и себе самому лучше, чем теперь. Я держу стремена для людей, пока они садятся на лошадь. Я знаю: то, что я могу для тебя сделать,— это пустяк, ибо мир только один. А время сверхъестественно и непреодолимо господствует надо всем. Зато я готов взять на себя немного лишней заботы и помочь тебе. У меня два кисета — в одном табак, в другом золото. Я часто просил провидение избавить меня от привычки нюхать табак. Теперь такой желанный повод нашелся. Бери все мое жалованье, и вдобавок я дам тебе двадцать-тридцать золотых монет из тех, что получил за свою землю. Не отказывайся, ведь неожиданно может прийти другой человек, и мне покажется, что я должен поддержать стремена и ему, пока он будет садиться на лошадь.

17

НА ТРИ ЭРЕ ПЕРЦУ

Если пробежать газеты того времени, например «Фолдин», то станет ясно, что в этом маленьком рыбачьем поселке, казалось бы затерянном на краю света, что-то происходит.

Как раз в эти дни разнеслась весть о том, что наш знаменитый певец обратился с письмом в высокий альтинг. Он взял на себя смелость сообщить законодателям, что благодаря его мировой известности, которой он обязан не столько своим заслугам, сколько милости божьей, нет больше необходимости ради него облагать налогом работающих в поте лица своего сынов Исландии. Этим письмом он отказывался от денег, которые ему отпускались из государственной казны. Пришло время, говорилось в письме, чтобы роли переменились, и с этого дня он будет сам давать деньги крестьянам и рыбакам. Одновременно он благодарил альтинг за те суммы, которые до сих пор вручались ему из государственного бюджета для популяризации исландской культуры за границей. Благородство парламента свидетельствовало о том, что народ Исландии по-прежнему будет высоко держать знамя старины. Над этим письмом красовался портрет Гардара Хоулма, один из первых напечатанных в исландских газетах и самый большой из всех, пока через несколько лет в Исландию не прибыл датский король.

В газетах того времени можно было прочесть множество похвал по адресу молодого гения, который уже тогда считался любимцем народа. В частности, Гардара Хоулма превозносили до небес за то, что он показал каждому молодому студенту пример уважительного и бережного отношения к государственной казне.

Он с любовью и уважением относился к рыбакам и крестьянам, что разделяли далеко не все люди интеллектуального труда. Ни один артист до Гардара Хоулма никогда не отказывался присваивать себе золото, которое тяжким трудом добывали бедняки, — так утверждали газеты. Никто не сомневался и в том, что трудовой люд сумеет оценить ту моральную силу, какой пронизано письмо знаменитого человека.

Газеты также сообщали, что певец даровал своей стране десять тысяч почтовых открыток со своим портретом для продажи в пользу туберкулезных больных. В очередном номере газеты «Фолдин» появилось новое письмо Гардара Хоулма с большим его портретом:

«Я от всего сердца искренне благодарю г-на купца и кавалера датского ордена Йоуна Гудмунсена, а также его сына — оптовика и кавалера рыцарского креста Г. Гудмунсена за те деньги, которые эти высокоодаренные люди, патриоты и мои земляки так щедро жертвовали молодому

исландцу, с печалью и вздохами уехавшему из этой страны, не имея за душой ничего, кроме мужества. Я благодарю этих добрых людей и истинных исландцев и надеюсь, что Исландия получит давно заслуженную ею песню. С уважением Гардар Хоулм».

Заголовок другой статьи, набранный большими буквами, гласил: «Король эльфов в Эстерводле». В ней сообщалось, что оперный певец Гардар Хоулм намеревается в следующее воскресенье, если не будет дождя, развлечь народ своим пением с балкона альтинга. Знаменитый певец собирался исполнить несколько номеров из своей программы, с которой он успешно выступал в других странах, в первую очередь номера, что вызывали наибольшие овации в театре Буэнос-Айреса и на балконе дворца султана в Алжире — «Овечка, блеющая в поле и в хлеву», «Чудесно щебетала птичка» и «Холодом дышит восточный ветер». Эти исландские песни, благодаря Гардару Хоулму, теперь знают тысячи и тысячи людей в мире, приверженцы папы и Магомета склоняют перед ними головы. Далее артист предполагал исполнить для своих земляков некоторые песни из созданных под теплым лазурным небом Средиземного моря, которые никогда ранее не звучали в холодно-голубом царстве исландских гор: знаменитые так называемые арии. В заключение он споет «Der Erlkönig».

— Почему ты никогда не читаешь «Фолдин», бабушка? — спросил я.

— Я никогда не слыла дурой, — ответила она.

— В газетах написано, что Гардар Хоулм будет петь в Эстерводле в воскресенье.

— Это меня не касается. Лебедь поет прекраснее всего летом.

— А мы не пойдем в Эстерводл, бабушка?

— Песню, которую мы не слышим здесь, в Бреккукоте, нам незачем искать в других местах, мальчик,— ответила бабушка.

— Тогда я пойду один.

— Иди. Я, во всяком случае, свою песню слышала. Но ты свою еще услышишь. Иди. И надейся на бога, как говорила моя бабушка.

И все же я чувствовал, что ничто так сильно не волновало людей, живущих по обе стороны кладбища, как предстоящий концерт Гардара Хоулма. Можно без преувеличения сказать, что мысль о нем наполняла ожиданием город и народ, страну и воздух. Кладбище со всей его фантастической жизнью исчезло с моего горизонта, колокола больше не звучали в моем сердце, и даже часы в комнате перестали тикать. Я с трепетом ждал песню, свою песню.

В один из этих волнующих дней меня послали с небольшим поручением в город. Я шел по главной улице, где тогда находились самые выдающиеся достопримечательности столицы: магазин Гудмунсена, духовная семинария и "Hotel d'Islande".

Было за полдень, день стоял сухой, безветренный. Я остановился на углу и долго смотрел, как собирается в путь караван лошадей. В те времена крестьяне покупали сушеные тресковые головы и перевозили их к себе на хутора в округу Скафтафьедл; это было такое же длинное и долгое путешествие, как из Парижа в Пекин, через горы и холмы, по пескам бездорожья, через бурные потоки. Прекрасное это зрелище, когда такой караван, словно овеянный дыханием далеких восточных пустынь, отправляется в путь! Вдруг кто-то взял меня за подбородок.

— Мне показалось, что это я сам,— сказал Гардар Хоулм, как все важные господа, прогуливавшийся с тростью в руке.

Я вытаращил глаза и долго не мог вымолвить ни слова. Наконец ответил:

— Нет, это я.

— Что ты делаешь?

— Мне нужно купить на три эре перцу.

— Точь-в-точь как и мне. Могу я тебе что-нибудь предложить?

— Нет.

— Даже пирожное за пять эре?

— Не нужно,— вежливо отказался я.

Пирожное с кремом величиной с монету в пять эре стоило столько, сколько рыба, которой можно было накормить десять человек. К сожалению, в те годы, когда мне нравились сладости, я не был достаточно состоятельным, чтобы вкладывать деньги в такие предприятия. К тому же, это лакомство имело одно неудобство: его можно было продержать во рту только коротенькое мгновение. Пирожное таяло на языке, словно под знойным солнцем, и само по себе исчезало в горле именно тогда, когда я только начинал ощущать его вкус. А денег на то, чтобы купить еще одно, не было. Как же можно было отказаться, когда тебе предлагают такое пиршество?

Хоулм пошел рядом со мной по улице. Все более или менее важные господа снимали шляпы, а дамы из высшего общества кланялись ему. Некоторые останавливались, поворачивались и смотрели нам вслед.

— Как тебя зовут, дружок? — спросил меня Гардар Хоулм.

— Аульфгримур.

— Что же это со мной? Просто трудно поверить в такое имя. Я хотел узнать: что у тебя на сердце?

— Я собираюсь в воскресенье в Эстерводл.

— Зачем?

— Хочу послушать, как ты поешь.

— Зачем тебе это?

Я немного подумал и ответил:

— Мне очень хочется услышать что-то.

— Что-то? Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу услышать чистый тон.

Гардар Хоулм как бы сразу проснулся, подобно лунатику, пробужденному посреди улицы, остановился и пристально посмотрел на меня.

— Что ты говоришь, дитя? О чем ты говоришь?

Я, вдруг забыв о своей застенчивости и вопросительно посмотрев на него, задал вопрос, который мучил меня вот уже три года с той поры, как пастор Йохан говорил со мной об этом, задал так, как будто спрашивал о простейшей вещи в мире:

— Правда ли, что существует только один чистый тон?

— Конечно, правда,— ответил певец.— Я чуть было не сказал «к сожалению».

— А если добиться этого тона?

— Я и не подозревал, что встречу здесь на улице себя самого, идущего за перцем. Значит, ты тоже говорил с пастором Йоханом?

В годы моего детства только красивым дамам и изящным барышням доверяли охрану и продажу неописуемых сокровищ кондитерского искусства, наполнявших кондитерские нашей столицы, которые по пьянящим сладким ароматам можно было сравнить разве только с Персией плюс половина Сирии и часть Константинополя, если судить о них по римурам Ульвара. И недаром, едва мы вошли в погребок Фредериксена, всемирно известный певец сорвал с себя шляпу, низко, можно сказать до земли, поклонился и почтительно произнес одно только слово:

— Мадонна!

Поистине этот человек знал, как нужно обходиться с продавщицами. Девушка, стоявшая за прилавком в национальном костюме, с серебряной филигранной брошкой на груди, как подобало, тоже улыбнулась, прилично и скромно покраснела, но не упала в обморок. Возможно, что певец бывал здесь и раньше.

Перед прилавком стояла пухленькая девочка, наверное годом старше меня, и покупала две французские булки. Когда знаменитый человек вошел в кондитерскую и снял шляпу, а Мадонна покраснела, девчушка растерялась и присела, в глазах у нее появилось выражение восторженного страха. Гардар Хоулм посмотрел на девочку и узнал ее. Подошел к ней, поцеловал в лоб, погладил по румяной щечке и спросил о новостях.

— Ничего нового,— ответила толстушка и совсем растаяла,— только папа и мама говорят, что ты никогда к нам не приходишь.

— Теперь я приду, и мне дадут подсушенную французскую булку. Но прежде я хочу представить тебя этому молодому человеку, который скоро будет таким же большим, как ты. Дело в том, что он — это я сам, какой я в действительности. Как меня зовут?

Гардар Хоулм посмотрел на меня, ожидая моего ответа, но я не осмелился назвать свое имя в такой странной связи. Тогда он представил мне девочку.

— Это маленькая фрекен Гудмунсен. Ее мать подсушивает французские булки лучше всех других дам в Исландии.

По лицу девочки словно пробежало облачко, и она нерешительно спросила:

— Он с тобой?

— Мы все друг с другом, дорогое дитя. Пожалуйста, берите пирожные по пяти эре штука.

— Нет, спасибо, — поблагодарила девочка, пристально глядя на меня, словно не понимая, кто я. — Я тороплюсь домой.

— Некуда спешить, маленькая фрекен. Мадонна, могу я попросить вас достать вон то широкое блюдо на ножке?..

Мадонна поставила перед нами на прилавок блюдо, полное пирожных с кремом. Можно было потерять спокойствие души при виде этих тонких произведений искусства.

— Пожалуйста, дорогие дети! — сказал Гардар Хоулм.

Я взял одно пирожное и постарался есть его так, как меня учили: то есть не остановил свой выбор на самом волнующем меня пирожном по цвету и форме, потому что бабушка внушала мне, что в гостях нужно брать самое скромное угощение. Но если взять такое пирожное и аккуратно его съесть, то, кроме липкости на пальцах, ничего не останется. И тут я увидел, как обращается сам певец с пирожными. Можно с уверенностью сказать, что он поступал с ними, как мужчина. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так вел себя, во всяком случае, он не взял сначала самое некрасивое пирожное. Маленькая фрекен Гудмунсен тоже вытаращила глаза, а Мадонна улыбалась каждому пирожному, которое исчезало у певца во рту. Ибо они исчезали, вернее мчались в него быстрым потоком, одно за другим, иногда по два-три сразу. Он ел и не переставал приглашать нас, милых детей, угощаться. Я был так потрясен, что даже не осмелился взять пирожное номер два. Насколько мне помнится, я удовольствовался тем, что продолжал стоять как дурак, с липкими пальцами от пирожного номер один.

— Иисусе! — воскликнула маленькая фрекен Гудмунсен.

— Их нужно есть, пока они не прокисли,— объяснил нам Гардар Хоулм.

И блюдо быстро опустело.

— Попросим Мадонну дать нам второе блюдо?

— Да,— сказала маленькая фрекен и перевела дыхание.— Если бы папа это увидел! Он всегда говорит, что нет ничего вкуснее тухлой рыбы. А мама говорит, что нужно есть только подсушенный французский хлеб.

Гардар Хоулм вытер рот носовым платком и улыбнулся нам.

— Сколько, Мадонна?

Он сунул руку в карман, чем-то позвенел в нем и вынул пригоршню золотых монет. Бросил золотой на пустое блюдо и сказал:

— Пожалуйста, Мадонна!

— Иисусе,— удивилась маленькая фрекен Гудмунсен.— Это настоящий золотой?

— Настоящего золота не существует, дитя,— сказал знаменитый певец.— Золото по своей природе фальшиво.

— Иисусе,— снова повторила маленькая фрекен.

— У меня, к сожалению, нет сдачи,— сказала Мадонна, исследуя монету с обеих сторон. — Таких больших денег сразу у меня никогда в кассе не было с той поры, как я здесь работаю. Поговорите лучше с хозяином, самим Фредериксеном.

— Оставьте это до следующего раза, — сказал Гардар Хоулм. — Адье, Мадонна.

— Нет,— возразила Мадонна,— об этом и речи быть не может. Я не решаюсь взять этот золотой. Я не буду знать покоя, пока он находится у меня.

Гардар Хоулм поднимался из погребка, положив руки на плечи мне и фрекен Гудмунсен, как будто был нашим отцом. Мадонна бежала за нами с монетой в руке.

— Умоляю вас, Гардар Хоулм, возьмите у меня ваш золотой, — настаивала она.

— Отдайте его этому молодому человеку, Мадонна, — предложил певец.— Он больше Гардар Хоулм, чем я.

Мадонна положила золотой мне в руку.

Мы немного прогулялись по улице.

— Возьмите свою монету,— сказал я певцу.— Теперь мне нужно идти. Я чуть не забыл, что бабушка послала меня за перцем.

— Точь-в-точь как я,— заметил Гардар Хоулм.— Мама однажды послала меня в город за перцем, и я до сих пор еще не вернулся.

— Вот золотой! — снова обратился я к нашему знаменитому человеку.

— Будь добр, возьми эту мелочь себе.

— Иисусе, — сказала маленькая фрекен Гудмунсен. — О, если бы папа это увидел! И мама!..

И я остался на улице с золотым в руке перед кондитерским погребком Фредериксена. Гардар Хоулм ушел, держа в одной руке палку и другой ведя маленькую фрекен Гудмунсен с ее двумя французскими булками. Но, отойдя немного, он вдруг что-то вспомнил, обернулся и крикнул мне, все еще стоявшему с золотым в руке:

— Я забыл попросить тебя передать привет бабушке. Передай также от меня привет пастору Йохану. Скажи ему, что он прав. Существует только один тон — чистый.

18

КОГДА ЛЮКЛА ОТЕЛИТСЯ

Я совсем забыл про женщину из Ландброти, и все из-за предстоящего выступления Гардара Хоулма, которое, конечно, так и не состоялось. Гость, посетивший нас, вынужден был уехать за день до выступления, поскольку мир нуждался в нем для более крупных, не терпевших отлагательства дел. Но гость, пришедший за женщиной из Ландброти, остался— смерть стояла у ее изголовья.

— Учись никогда ничему не радоваться, — сказала женщина. — Это начало того, чтобы вынести все.

— Что скажут твои дети, если узнают, как ты живешь тут на чердаке, в Бреккукоте? — спросила бабушка.

— Я рада, когда слышу голоса,— ответила женщина.— Мне так грустно, когда кто-нибудь уходит.

— Да нам и предложить тебе нечего, кроме разговора,— сказала бабушка.

Тогда женщина ответила:

— Мой сын, который никогда не мог обойтись без матери, и дочка, которой теперь двенадцать лет, не хотят, чтобы я умерла у них на глазах именно теперь, когда Люкла, наконец, будет давать молоко. У нас ведь целых семь лет не было коровы.

— Я вижу, что ты повесил свою тужурку, командир,— обратился к своему другу капитан Хогенсен.— Солги нам о чем-нибудь, прежде чем заснешь.

— Несчастной кошке, которая жила в инспектируемом мною учреждении на портовой площади, пришел конец,— сказал инспектор.— Я думаю, власти ее повесили; теперь все делается так быстро!.. Прости, не золотой ли это лежит на полке сзади тебя, дорогой капитан Хогенсен?

— Это золотой Аульфгримура,— ответил капитан.— Теперь начали давать золотые. Теперь уже не осмеливаются дать ребенку меньше того, что стоит полкоровы. Солги же о чем-нибудь интересном, друг!

— В мире нет ничего интересного, — сказал инспектор. — Вернее, пока ничего нет. Скорее что-нибудь произойдет здесь, на чердаке. Что у вас нового?

— Со мной дело обстоит так, как с кошкой,— отозвалась из чуланчика женщина.— Она иногда исчезает, но появляется вновь, когда о ней и думать перестают.

— Это верно,— согласился инспектор, снимавший носки на краю кровати Руноульфура Йонссона.— У кошки девять жизней. Горевать будем тогда, когда увидим ее повешенной. Вот будет интересно, Хогенсен, если удастся доказать, что после всех девяти жизней в кошке останется еще одна. Правда, об этом я не слышал. Во всяком случае, сегодня. Может быть, услышу завтра, мой друг.

— Меня не интересуют кошки,— откликнулся капитан Хогенсен.— Меня интересует только политика. Я ни о чем другом и слышать не хочу.

— Понимаю, мой друг,— сказал инспектор.— Мы знаем, что ты водишь военные корабли, и понимаем, как это важно для политики. Но у меня есть свое дело, Хогенсен. И пока оно существует, оно ни с чем не сравнимо.

— Я, когда плавал на море, никогда не любил смутьянов, — начал вспоминать капитан.— Они ругались ежедневно, кроме воскресений, главным образом из-за водянистого супа. «Проклятый суп!» — говорили они. Но по воскресеньям в супе плавал кусочек свинины. И тогда они говорили: «Слава господу всемогущему!»

— Вот именно,— подхватил инспектор.— Хвала господу всемогущему! Я хотел бы говорить эти красивые слова ежедневно, кроме воскресений, потому что я не переваривaю свинины. Мне достаточно только ее понюхать, как меня начинает тошнить... Ну, я укладываюсь. Спокойной ночи, господь с вами! И не забудьте сказать маленькому Аульфгримуру, когда он завтра проснется, что я взял себе золотой, чтобы он не потерялся.

Женщина из Ландброти все еще жила. Когда с ней случались припадки, она крепко-накрепко закрывала дверь чуланчика. Ей не хотелось тревожить своими стонами и криками человека, который водил военные корабли. Когда же очередной припадок заканчивался, она снова приоткрывала дверь. Но, если приходили гости, приносившие новости или читавшие нам вслух о жизни великих исландцев, или появлялся какой-нибудь веселый человек, который читал бабушке стихи о плаваниях или о лошадях, женщина раскрывала дверь настежь. Когда я проходил мимо, она всегда

спрашивала меня о погоде, о направлении ветра, не думаю ли я, что завтра будет сухо. Но отвечать ей нужно было с осторожностью. Как-то я сказал ей:

— Идет дождь.

— Какая чепуха! — возмутилась она.— Я же знаю, что утром было сухо.

— Посмотри в окно,— предложил я.

— Я знаю, — ответила она. — Идет ливень. Но никто не скажет, что идет дождь, прежде чем он будет лить неделю кряду.

Под вечер она снова спросила меня об этом, и я постарался ответить как следует.

— Утром было мокро.

— Просто ужасно слышать такие слова,— женщина опять была недовольна. — Сейчас осень, и овцы в загонах. «Мокро» говорят, только если дождь мочит сено, разложенное для просушки.

Неудивительно, что мне показалось подозрительным, когда эта женщина, которая так придиралась к словам, как-то спросила меня:

— Скажи, мальчик, ты умеешь читать и писать?

Я не мог этого отрицать, но не посмел утверждать, что овладел этим в совершенстве.

Умение читать и писать в Исландии даже у бедняков считалось не большей ученой премудростью, чем, например, умение чистить голову трески. В мое время детей редко посылали в школу прежде, чем они прочтут родовые саги дома, а это как-никак сорок книг. Хотя я часто слышал, как гости читали вслух саги, сам я читал только те книги, которые кто-нибудь случайно забывал у нас.

По этой причине я достаточно скромно описал степень своего овладения грамотой, но женщина тут же попросила меня пойти в город и купить за пол-эре перо и на два эре писчей бумаги. И как только я вернулся, сразу же начала диктовать мне письмо. Должен сказать, что я был не очень-то в ладах с правописанием, и письмо мое немногим отличалось от того, как писали в Исландии в 1100 году. Это письмо женщины было моей первой попыткой постичь эпистолярное искусство. Поэтому я могу себя считать одним из основоположников исландской орфографии. Не буду приводить здесь примеры этой орфографии, но содержание письма, которое диктовала женщина, было, примерно, таково: «Бонни и Гунни! (это ее дети) Люкла отелится осенью, — у нас ведь давно не было коровы. Когда она отелится, я прошу обращаться с ней хорошо. Сенокос был такой хороший, что мы прокормим и теленка. Если это будет телка, назовите ее Роза,— нелегко ухаживать за новорожденным теленком. Когда Люкла отелится...»

По-видимому, составление этого наказа грозило превратиться в длительный процесс. Женщина была столь требовательна к стилю, что заставляла меня вычеркивать все так же быстро, как это писалось.

— Давай разорвем всю эту чепуху,— предлагала она.

И те немногие строки, на которые мы потратили большую часть дня, исчезали. Это продолжалось целыми днями. Нам так и не удалось выразить с необходимой ясностью, как нужно кормить теленка. А к вечеру мы настолько уставали, что чуть не падали в обморок, и разрывали на клочки плоды трудов целого дня. Может быть, эта женщина была потомком Снорре Стурлуссона *... Несомненно одно: она не отступала от самых строгих правил письма, когда-либо существовавших в Исландии.

Теперь, когда я пишу сам, я часто думаю об этой женщине. Она не боялась ставить себе такие высокие литературные цели, что их невозмож-

* Снорре Стурлуссон (1178—1241) — один из наиболее известных создателей исландских саг.

но было выразить ни словом, ни вздохом, в лучшем случае только возгласом «а!» Писание письма закончилось припадком эпилепсии. Я, разбитый, вышел из комнаты с пером и бумагой в руках и закрыл за собой дверь. Капитан Хогенсен отпил лекарство из бутылки, которая находилась у него под изголовьем, и сказал:

— Наверное, уже пора почистить мой мундир.

Я понял, что женщина из Ландброти скоро отправится в последний путь.

Шел октябрь, в комнатушке все было по-прежнему, только женщина из Ландброти все слабела и бледнела, пока, в конце концов, не стала совсем прозрачной. Она очень изменилась, и у нее был просветленный вид, как у людей, которых после долгих страданий покинули последние силы.

Однажды, когда начались морозы, женщина из Ландброти послала за Бьорном из Бреккукота, отдала ему деньги, спрятанные в кармане юбки, чтобы он купил досок на гроб. Она попросила его и сколотить гроб.

Он ответил:

— До сих пор я сколачивал только ящики для рыбы. Может быть, лучше раздобыть какого-нибудь мастера?

И нужно сказать, что он сразу нашел обманщика, который за это взялся. Работа над гробом началась в сарае. Дедушка и обманщик смерили женщину сантиметром. Я тоже принимал участие в работе, расправлял согнутые гвозди и делал всякие другие мелочи, например держал маленькую деревянную коробочку с разведенной сажей, которой красили гроб в знак траура. Женщина все время интересовалась, как идет работа. Почему-то ей пришло в голову, что гроб короток, и как только ее на время оставляли боли, она начинала об этом беспокоиться. Она заставила меня смерить ее веревкой и послала с этой меркой в сарай, чтобы сравнить ее с длиной гроба. Но гроб был уже готов, и обманщик ответил:

— Скажи этой плаксе-бабе, что, если она будет слишком длинна для гроба, мы ее подрежем. Так делали в сагах.

Нашей Люкле — срок телиться!
Нашей Люкле — срок телиться!
(Пишет женщина в письме),
И, наверное, родится,
И, наверное, родится
Прехорошенький бычок.

Вы там, Бонни, не забудьте
Подстилать ему посуше
Дважды в сутки чистый торф.
Если ж будет это телка,
Я считаю, дочке Люклы
Имя Роза в самый раз.

Молока по кружке в сутки,
Лучше даже по две кружки
Непременно ей давайте.
Корм телушке не жалейте.
Знайте, дети! Став коровой,
Роза корм вернет с лихвой.

Хорошо давать ей каши,
Рыбный суп, кофейной гущи.
Эта пища Розе впрок...
Что за вздор я написала?
Не смешно ли, в самом деле,
Телку Розой величать?

Разорвать письмо придется
И попробовать складнее
Милым детям написать.
Нашей Люкле — срок телиться!
Нашей Люкле — срок телиться!
Вот!

С той минуты женщина стала отходить. Я сидел на корточках с недописанным письмом на коленях. Вошел Руноульфур Йонссон и начал говорить о своих чудесах.

— Не старайся, Руноульфур,— сказал капитан Хогенсен.— Она уже ничего не слышит.

Руноульфур заглянул в чуланчик и увидел, как обстояло дело.

— Вот тебе и на! — сказал Руноульфур.— Я вижу, ничего не остается, как позвать Бьорна из Бреккукота.

— Я не понимаю, зачем кого-то звать,— и капитан Хогенсен пожал плечами.— Неужели ты не понимаешь, что это конец?

— Тогда я не вижу другого выхода, как поговорить с тем, кто выше Бьорна из Бреккукота,— сказал Руноульфур Йонссон.

Пошел снег, ударил мороз. Женщину вынесли на следующий день. Пришел старый полицейский Йоунас вместе с одним человеком с востока, обещавшим перевезти ее труп до Кольвидархоули. Там его собирались держать до тех пор, пока найдется надежный человек, который направится дальше через горы на восток. В то время путешествие из столицы до Ландброти занимало семь дней. Однако понадобится, очевидно, не меньше половины зимы, чтобы в непогоду переправить труп в такой отдаленный поселок, каким является Ландброти, через пустынные равнины, труднопроходимые горы и бурные, незамерзающие потоки.

Положение во гроб и молитва были соединены в одну церемонию, но мы обошлись без пастора. Поскольку я был хорошо знаком с похоронным обрядом, меня попросили спеть длинный псалом, исполняемый при положении во гроб. Как только бабушка обрядила труп, я начал. Я стоял у люка и пел, как птица на ветке, пока гроб сносили вниз по ступенькам. Руноульфур Йонссон сидел на краю постели, соленая влага разъедала ему глаза, и он держал палец во рту, как младенец.

Обряд приобрел особую торжественность, когда капитан Хогенсен встал со своего ложа и надел форму, чтобы представлять флот. Форма была тщательно вычищена, не говоря уже о золотых пуговицах и козырьке фуражки. Он стоял, как адмирал, у изголовья кровати. Можно было видеть, как вздуваются голубые жилки на его висках, похожих на пергамент. Когда мимо него проносили труп, этот иностранный чиновник датского государства, по внешности как две капли воды похожий на его величество короля Христиана IX, поднес свою скрюченную рабочую руку к козырьку и, не моргая, стоял в таком положении, пока я не допел весь псалом до заключающего его слова «аминь».

19

УТРО ВЕЧНОСТИ. ВСЕ ИМЕЕТ СВОЙ КОНЕЦ

Поздней зимой дедушка будил меня часов в пять-шесть, чтобы я помог ему вытаскивать сети с пинегором. Эти утренние часы остались в моей памяти.

Что же такое происходило? Собственно говоря, ничего — просто всходило солнце.

Не знаю отчего, но редко звезды бывают такими ясными, как утром, то ли потому, что глаза сразу же после сна видят острее обычного, то ли потому, что дева Мария всю ночь чистила звезды. Иногда светила и луна. Неподалеку в хижине зажигался огонек; может быть, там кто-нибудь собирался на рыбную ловлю. Еще подмораживало, и лед хрустел под ногами. Где-то в бесконечном далеке была весна, может быть, она возникла только в мыслях бога, подобно детям, еще не зачатым во чреве матери.

У дедушки был большой бот и маленькая лодка. Лодкой пользовались для ловли пинегора, и стояла она у берега перед сарайчиком, где храни-

лись рыболовные снасти. Было легко спускать ее на воду, она шла почти сама собой, если только правильно подложить катки. Лавируя между скалами и шхерами, мы подплывали к нашим сетям. Иногда в лунном свете нас сопровождали чайки. Сеть с пинегором обычно не вытаскивают, а гребут вдоль нее, затем втыкают в рыбину железный крюк или берут ее руками в просмоленных перчатках. Я одним веслом удерживал лодку на месте, а в это время дедушка втыкал в пинегора железный крюк.

Бьорн из Бреккукота всегда был в хорошем, радостном настроении, но никогда нельзя было сказать, что он весел. Он любил сыграть со мной невинную шутку, например греб в обратную сторону так, что лодка начинала вертеться волчком. Он смеялся, когда брал понюшку и мне в глаз попадал табак, очевидно, потому, что считал слезы не достойными мужчины.

Я никогда не знал, о чем думает дедушка, потому что если он и говорил, то лишь о погоде и о рыбе. Но у меня было такое чувство, что в его присутствии ничто не может произойти иначе, чем следует. Я часто думал о том, как был добр ко мне господь, когда отдал меня под защиту этого человека, и я решил остаться у дедушки до самой его смерти и помогать ему ловить поздней зимой пинегора. Я надеялся, что бог не возьмет его от меня, пока я сам не стану таким же старым, как он. Тогда я нашел бы где-нибудь маленького мальчика, чтобы он помогал мне выходить на лодке в море, вытягивать сети ранним утром, пока звезды еще такие ясные.

В лунном свете казалось, что у ласточек золотые грудки. Если взглянуть за борт, можно было видеть, как пинегоры поворачивались вверх своим бледно-розовым брюшком и ловили ртом воздух в водорослях.

Иногда нам везло, и мы наполняли этой жирной рыбой обе тележки — четырехколесную и двухколесную. Когда звезды начинали бледнеть, мы везли улов домой. Бабушка поила нас кофе, и в тот час, когда люди только встают, мы отправлялись в город продавать нашу рыбу.

Дедушка со своей четырехколесной тележкой становился на рынке, к нему подходили — кто за тем, чтобы купить морскую воробьиху и камбалу, а кто только за тем, чтобы поздороваться и поговорить о погоде. Дедушка часто посылал меня со связкой рыбы к постоянным покупателям. Обычно за ней выходила прислуга, иногда сама фру, а изредка, по непонятной мне причине, даже фрекен.

— Не ты ли в родстве с Гардаром Хоулмом? — как-то спросила меня одна молодая девушка. Она неожиданно вышла с черного хода, чтобы взять у меня связку пинегора.

— Нет,— ответил я.

— Конечно, ты в родстве с ним! Это он тебе дал золотую монету. И после этого ходить по домам продавать морскую воробьиху! Просто не могу сказать, как я поражена! Разве ты не знаешь, что морская воробьиха — грубая рыба?

Я ничего не ответил.

— Неужели ты никем не хочешь стать, когда вырастешь?

— Если это тебя интересует, я хочу ловить рыбу.

— Морская воробьиха! — гневно сказала она.— И быть в родстве с таким человеком! Как тебе не стыдно? Положи рыбу на порог, я до нее не дотронусь, это не пинегор, а голавль. И быть в родстве со всемирно знаменитым человеком!

— Мне следует получить деньги за рыбу,— напомнил я.

— У меня нет денег,— ответила она.— Прислуга ушла.

— Но ведь я должен получить деньги!

— Можешь оставить себе золотую монету, которую ты получил в прошлом году, свинья!

После этого она вошла в дом, но сразу же снова распахнула дверь, чтобы выпалить:

— Хочу только надеяться, что она была фальшивая!

Девушка захлопнула дверь и больше не появлялась. Рыба лежала на пороге. Я взял ее обратно и положил дедушке на тележку, сказав, что не получил денег. Откровенно говоря, мне не понравилось, что о такой жирной рыбе так дурно отзываются.

Эти рассветные часы, когда мы вынимали из сетей рыбу, слились для меня в одно незабываемое утро — и это утро сразу исчезло. Звезды поблекли. Книга сказок закрылась.

Дедушка подал мне знак вынуть весла. Я поднял их над водой, и кисти красных водорослей закачались вокруг них на тихой морской поверхности, освещенной восходящим солнцем.

Скоро наступит весна. Дедушка старательно набирает понюшку из рожка и говорит:

— Твоя бабушка говорила со мной.

Я молчу и жду.

— Ты знаешь, мой мальчик, что мы, собственно, не настоящие твои бабушка и дедушка. Мы вообще не бабушка и дедушка. Мы даже не женаты. Мы двое бедных стариков. Но много лет тому назад я знал сестру твоей бабушки.

— Я не знал, что у бабушки была сестра.

— Сестра твоей бабушки умерла полвека тому назад. Но отчасти благодаря ей твоя бабушка живет у меня. Мне нравилась сестра твоей бабушки.

— Бабушка пришла к тебе, когда умерла ее сестра?

— Сестра твоей бабушки никогда у меня не была. А твоя бабушка была замужем далеко отсюда, на востоке, за горами.

И вдруг я вспомнил, как однажды бабушка говорила, что она приехала сюда, в Рейкьявик, с востока, из-за гор.

— Да, да... ее муж погиб в море. Утонул на Пасху в порту Торлаук... И никого у нее не осталось.

— Как никого не осталось? — спросил я.— Почему никого не осталось? Куда же девались остальные?

— Больше никого не осталось. У нее было трое сыновей, и она лишилась их всех. Последний мальчик лежал при смерти, когда погиб его отец. Всем им она давала одно и то же имя. Она такая своенравная! Всех их звали Гримур, по имени ее дедушки. Дети здесь, в Исландии, большей частью умирают. Если не от дифтерита, то еще от чего-нибудь. Но когда умер младший, а в тот же год на Пасху его отец, то женщина чуть не помешалась. Когда погиб муж, все рухнуло. Тогда я и предложил ей приехать сюда, в Рейкьявик, потому что я немного знал ее сестру. Она снялась с места и приехала.

— А я думал, что бабушка больше всего боится ручейка Соглейкур. Как же она приехала? — спросил я.

— Когда твоя мать хотела окрестить тебя Аульфуром — это было давно, мой мальчик, — то бабушка добилась, чтобы тебя назвали и Гримуром. Она такая своенравная!.. И поэтому она не хотела, чтобы ты утонул в ручье Соглейкур, направляясь на пастбище за Грауни.

— Я буду осторожен, дедушка.

— Итак,— продолжал Бьорн из Бреккукота,— твоя бабушка говорила со мной. Учитель Хельгесен сказал ей, что ты можешь учиться. Мы очень хотим, чтобы ты учился.

— Почему?

— В семье бабушки раньше были ученые.

— Разве я не буду помогать тебе больше выбирать рыбу из сетей?

— Мы решили отправить тебя в школу, мальчик, и научить тому, что называется латынью. Если тебя примут — начнешь с осени. Я говорил с пастором Йоханом. Один человек, который учился в университете, согласен подготовить тебя. Мы договорились, что ты завтра начнешь заниматься с ним.

— Разве ты не разбудишь меня завтра на рассвете, чтобы помогать тебе выбирать сети?

— Бабушка хочет тебе добра, мальчик. И я тоже, как я ни глуп.

С этими словами он взялся за весло, мы оттолкнулись от скалы и пошли к берегу.

В жизнеописании Стефана Г. Стефанссона * рассказывается, что однажды осенью, когда поэт был на воспитании в Скагафьордуре, он увидел нескольких парней, ехавших верхом по направлению к школе. И он так глубоко почувствовал свое собственное ничтожество из-за того, что у него не было возможности учиться в школе, что бросился на землю среди поросших вереском кочек и проплакал целый день. Мне это трудно было понять. Изучение латыни никогда меня не привлекало, как не привлекали и ученики, направляющиеся в школу с учебниками под мышкой. Я вовсе не хотел быть на их месте. И когда дедушка сообщил, что моя судьба решена и я буду изучать латынь, в глубине души я отнесся к этому так, будто мне придется быть шарманщиком или точильщиком — такие бродяги из Дании иногда появлялись у нас.

Все это было как гром среди ясного неба. Мои планы о вечной жизни в Бреккукоте рассыпались в прах. Радость моей жизни была разбита. Китайская стена, за которой я был сыном неба, пала не от трубного гласа архангела, а от одного только слова... И самое печальное, что слово, разрушившее мою крепость в Бреккукоте, произнес не кто иной, как дедушка. Я заплакал, хотя мы в Бреккукоте никогда не плакали и я ни разу не ревел с той поры, когда был совсем маленьким.

Я греб изо всех сил, чтобы не отставать от дедушки, и плакал, плакал. Когда мы дошли до берега, Бьорн из Бреккукота сказал:

— Помни, мальчик, что ты должен заменить и Аульфура твоей матери и трех Гримуров твоей бабушки.

(Окончание следует)

* Стефан Г. Стефанссон (1853—1927) — исландский поэт.

Хайя Кадмон

Кровь на границе

Это стихотворение впервые напечатано в газете «Кол Хаам» («Голос народа») 3 марта 1955 г., когда израильская армия напала на египетскую территорию в районе Газы. В связи с продолжающимися агрессивными действиями Израиля против соседних арабских государств стихотворение это, к сожалению, не потеряло и сейчас своей актуальности.

Автор.

О тишина весенней этой ночи,
Лежащая от моря до границы,
Овеянная легким ветерком,—
В единый ритм слилась ты с плеском волн,
ласкающих наш берег,
И с хрупким шелестом пшеничных всходов...
Но у границы тишина таит в себе тревогу,
страх колючий,
Который кровоточит, словно рана,
Когда ее, не дав зажить, разбередят
опять, опять...
Страна моя! Склоняюсь низко у твоей груди
сегодня.
И руки погружаю в теплый твой песок.
О Родина, как я хочу, чтоб в эту ночь Весны,
Под золотистым светом лунного серпа,
Потоки счастья разлились, как половодье,
От моря до реки Иордан,
Тебя украсивши венком прекрасной жизни!
О Мать! Люблю я всех твоих сынов,
Я вижу, как они, уставшие в труде и в нищете,
Глядят тоскливо сквозь барьер границы
На землю, что они в веках пахали,
И на оливковые рощи,
Чей урожай несобранным остался;
На тамариск, вон там, невдалеке,

Который землю укрывал своею сенью
От жаркого дыхания пустыни.
О Родина! Весенней этой ночью,
Прижавши к телу автомат,
чернеющий отверстием смертельным,
Я выхожу, чтобы убить *их*!
Завтра чья-то мать
В своей лачуге под скрипучей тростниковой крышей
Заломит руки в горе, и ее стенанья
Сольются с воплями шакалов средь руин.
И, может быть, мой сын,
Румяный, улыбающийся, нежный шарик,
Проснется завтра, чтоб заплакать —
Раньше, чем он поймет зачем и почему —
Над трупом своего отца.
О, почему?!
О, почему должны мы посягать
на эту темноту,
Неся в ее благоуханье
Зловонье смерти?!
Почему?! О, почему уже через минуту
Проснется человек и закричит от страха,
сжимающего сердце,
От страха, вселенного моим ружьем?!
Издаст предсмертный крик...
А завтра
Придут его разгневанные братья на мои поля,
Неся отмщенье в черных, как ночь, зрачках...
О, почему?!
Не для того ли, чтоб какому-то безумцу
Дорогу к власти проложить по трупам,
Чтобы скорей он мог сравниться с теми,
Чьи тронные ступени сооружены
Из перекладин виселиц бесстрастных,
А мантия вся соткана из плеток и цепей?!
Чтобы скорей ему сравниться с теми,
В чей сговор втиснуться спешит он что есть мочи,
А нас, связав у горла, как мешок,
Тащить потом за колесницей, мчащейся
навстречу смерти?!
Сравниться с теми, кому он служит верною дубинкой,
Свирепствуя и нанося удары
непокорным,
С теми, кто пинком ноги
В одно мгновение его отбросить может?!
О Мать!
Лицо я вижу брата

Перед чернеющим отверстием смертельным...
А над братом —
я знаю, я видел —
Был тот же бич насилья и страха занесен.
Он посылает нас друг против друга...
Пальцы наших рук на спусковом крючке.
...Я мир хочу ему нести,
А не свинец.
Хочу сидеть я с ним, как прежде,
Под деревом, за чашкой кофе;
Хочу смотреть, как солнце, подымаясь,
Бросает первый луч на колыбели
Наших детей;
Хочу пройти с ним рядом
От моря до реки Иордан,
по той земле,
Чье тело не изранено колючею оградой,
По той земле, где мир на всех границах!
Мой брат! Тебе несу благословенье,
Возьми миндалевую ветвь, она бела как снег.
Миндалевую ветвь,
А не свинец, о брат мой!

Авторизованный перевод Юрия Хазанова

«ЖАЖДА». *Рис. П. Пинкисевича.*

Клара Бихари

ЖАЖДА

РОМАН

Перевод с венгерского Е. Тумаркиной и Е. Терновской

Поссорившись с матерью, Или выбежала из дому, чтобы позвонить Карои; не признаваясь самой себе, она очень боялась этого разговора. Гнев и желание отплатить матери завели ее слишком далеко. Илона, которая никого из поклонников Или не считала достойным, которая робкими и озабоченными взглядами безмолвно вопрошала, когда же сбудутся ее надежды, эта Илона теперь с непонятным упорством старалась помешать счастью дочери. Как смела мать вмешиваться в ее чувства и мысли? По мнению Или, любовь Карои не только отдаляла ее от матери, но и возносила высоко надо всеми. Или не переставала удивляться: эта покорная женщина, которая без ее согласия не смела и стула передвинуть, теперь настойчиво стремилась разрушить ее будущее. Материнское упорство стояло непреодолимым препятствием на пути дочери. Нет, Или должна немедленно доказать матери — она сильнее ее и в состоянии отбросить от себя все, что ей мешает.

Она чуть не бежала по улице, взволнованная, но счастливая — ведь она убегала в самое безопасное место, к своему возлюбленному. Однако ее счастье отравляла тревожная неуверенность, таившаяся в глубине души. Вдруг Карои, такой необычный, такой особенный, ни с кем не сравнимый, теперь не оправдает ее ожиданий? Что тогда? Побежденная, раздавленная, Или должна будет вернуться в дом, тишину и гнетущую обстановку которого не может больше выносить!

Карои оказался дома. Быстро и торопливо она рассказала, как поссорилась из-за него с матерью. Вообще она не в силах больше жить под одной крышей с женщиной, осуждающей ее чувства, ненавидящей человека, в котором она, Или, нашла то, чего прежде тщетно искала в других...

На другом конце провода была мертвая тишина. Губы Или сморщились, ноздри тонкого носа затрепетали, в уголках глаз блеснули капельки слез. Она до боли прижала к уху трубку, наивно, по-детски надеясь, что так вернее передаст Карои свою покорность, преданность, молящую о любви тоску.

Молчание длилось унизительно долго, но в конце концов в трубке послышалось:

— Ну-с, что же нам теперь делать? Поженимся? — И сразу: — А не лучше ли без этого?

— Я же не смогу сказать матери... — испуганно начала Или, и у нее гулко забилось сердце, словно чья-то сильная рука рванула колокол.

— Знаешь что? Завтра мы с тобой зарегистрируемся, — успокоил ее Карои и, довольный собственным благородством, тихо засмеялся. — Сей-

---

Окончание. Начало см. в № 3.

час я приеду за тобой на машине. Если хочешь, войду в логовище львицы. Я не боюсь твоей матери-львицы, девочка, мне даже интересно встретиться с ней лицом к лицу.

— Нет, нет, я подожду тебя у ворот,— торопливо возразила Или.

Она испытывала громадное облегчение. Теперь, торжествующая, она может вернуться в дом; Карои в самом деле любит ее так, как она предполагала и надеялась; благодарная, она прошептала в трубку:

— Я тебя люблю, люблю, люблю!

По дороге они не разговаривали. Карои так быстро вел машину, словно за ними гнались. Молча он отворил двери квартиры и лишь тогда повернулся к Или, когда все ее вещи были размещены по стенным шкафам передней.

Или волновалась все больше и больше. Сердце ее готово было выскочить из груди. От умиления ей захотелось плакать, она вся трепетала от любви и желания броситься на грудь Карои с преданностью, какой до сих пор еще не знала. Но она продолжала неподвижно стоять посреди комнаты, неловкая и робкая, ожидая, чтобы он подошел к ней, и улыбалась, сияя своей трогательной красотой.

Карои не шевелился, и руки Или повисли в воздухе. Он стоял в простенке между окнами, откинув голову и как будто стараясь сдержать свои чувства. Его большой чувственный рот страдальчески кривился, под густыми бровями жадно сверкали потемневшие глаза. В то же время он с какой-то странной бесстрастностью внимательно разглядывал Или, словно хотел убедиться в том, что не просчитался. Это долгое изучение смутило Или, она безотчетно выпрямилась, вскинула голову и улыбнулась — пусть возлюбленный видит, как она хороша, пусть ею гордится!

— Ты меня любишь? — спросил наконец Карои, протягивая к ней руки.

Или бросилась к нему.

— Я тебя люблю,— громко сказала она и чуть не расплакалась от избытка нежности.— О, как я тебя люблю, люблю, люблю! Так люблю, что...

Карои прикрыл рот Или рукою и посмотрел на широкую тахту.

— Потом... ты расскажешь мне, как ты любишь. Много, много раз подряд ты будешь говорить мне о любви. Сколько я захочу,— хрипло сказал он и, тихо засмеявшись, добавил: — Хоть ты и моя повелительница, но все будет так, как захочу я...

Или кокетливо тряхнула головой, чтобы скрыть застенчивость и счастливое смущение. Прижавшись к плечу Карои, она прошептала:

— Я могу говорить тебе о своей любви хоть до самого утра...

Они не пошли ужинать, удовольствовавшись тем, что нашли в его холостяцкой кухоньке. Или — дома она не прикасалась к хозяйству и даже не умела вскипятить молока — варила какао и, стоя у плиты с той слегка подчеркнутой очаровательной неловкостью, с которой могла бы стоять королева, без умолку смеялась. Какао получилось непригодным для питья, и Карои, заглянув в жестяную коробку, на дне которой оставалось немного коричневой пыли, сердито нахмурился. Или испугалась и быстро поставила на огонь чайник. Чай ей удался значительно лучше, и оба забыли о какао. Карои ел быстро, с откровенным аппетитом, а Или едва прикоснулась к ветчине и фруктам. Она вся была охвачена трепетом ожидания.

Карои время от времени откладывал нож и вилку и смотрел на нее жадными глазами; рот его болезненно кривился, как и тогда, когда он разглядывал ее, прислонившись к стене; во взглядах его сквозило то же бесстрастное внимание, словно он все еще не был уверен в ценности Или. Он вдруг хищным движением взял ее за руки и поднял со стула.

— Сделаем так, как будто я еще ни разу тебя не видел. Разденься! — едва слышно попросил он, но так нетерпеливо и поспешно, с такой необычной энергией, словно боялся опоздать.

Или медленно, дрожащими руками расстегивала платье. Жгучий стыд терзал ее. Карои бросал короткие слова, звучавшие как приказ, а она от них буквально цепенела и, стоя в легком шелковом белье и чулках, не знала, что делать. Робко искала она знакомый взгляд, но видела лишь застывшие, мрачные глаза...

С нарочитой медлительностью он долго и задумчиво выпускал дым, чтобы как можно больше наслаждаться словами, вылетающими вместе с легкими облачками этого дыма. Впрочем, ему важнее всего было отвлечь внимание Или, прикрыть туманными рассуждениями мрачную, безутешную пустоту.

— Знаешь ли,— начал он, прищурив глаза и описывая рукой неопределенный круг в воздухе,— ни по происхождению, ни по характеру я не мещанин. Я свободен, совершенно свободен.— Он, облокотившись, несколько раз взмахнул сигаретой, как бы символизируя этим жестом свободный, вольный полет.— Разумеется,— продолжал он, смеясь,— я похож на образованных, много знающих мещан, ибо люблю утонченные вещи. Это... есть во мне, в моей крови, в нервах. Но наше новое общество к такого рода свободе придет, может быть, только через столетия. Потому-то я умудряюсь... Впрочем, мне нравится этот новый мир вместе со всеми его недостатками, и я даже аплодирую ему... да, поломав крылья, я аплодирую ему от души,— тихо повторил Карои с затаенной усмешкой,— но все же я умудряюсь парить над ним, несмотря на всю свою донельзя скованную жизнь. Видишь ли, — резко повернувшись, он зашептал вдруг в самое ухо Или,— разве не предел мещанства то мучительное принуждение, которое заставляет мужчину и женщину начинать общую жизнь с постели?..

Сделав небольшую паузу, он поднес ко рту сигарету, следя, как чуть заметная дрожь руки передается тоненькой струйке дыма.

— Я люблю музыку и все же редко бываю в концертах,— снова заговорил он в тишине, которая от учащенного дыхания Или сделалась еще более глубокой,— потому что меня оскорбляет необходимость наслаждаться музыкой в строго предписанное время, от восьми до десяти. Лучше я совсем не пойду, если не могу по своему желанию слушать Бетховена в двенадцать дня или в два часа утра. Так у меня и с любовью...

На другой день под вечер они зарегистрировались в загсе. Но лишь на третьи сутки, во время домашнего ужина, внезапно, почти жестоко и грубо, без нежности, без любовно-ласковых слов Карои сделал ее своей женой. Этот вечер, перешедший в ночь, полную странных, кружащих голову слов, нетерпеливо-требовательных приказаний, оставил в сознании Или гнетущий осадок, хотя и самой себе она не решалась признаться в этом.

Под утро Или уснула. Вместо беспробудного сна она погрузилась в болезненную дремоту, наполненную странными сновидениями. Ей снилось, что она поднимается ввысь из глубокой бездны. Лететь больно — все тело сковала свинцовая тяжесть. Но она летит, летит, боль становится все острее, и в то же время ее охватывает невыразимо сладостное чувство. Она уже не летит, а идет по светлой, поднимающейся вверх дороге. Не глядя, не видя, она знает, что рядом с нею идет Иштван. Какое-то синее, ослепительное сияние зовет и подгоняет их; оно потихоньку уплывает вперед, рождая чувство счастья и ликующей надежды. Или хочет повернуться, взглянуть на юношу. Но у нее нет сил пошевелиться. Тут она вспоминает, что это только сон и что ей даже во сне нельзя видеть Иштвана. Она де-

лает усилие, чтобы проснуться, и в то же время радуется, что вместе с Иштваном шагает к синему, ослепительно-яркому сиянию.

Испуганная, все еще переполненная ощущением счастья, Или проснулась. Ее чувства были обращены не к минувшему вечеру, а к утраченному в момент пробуждения сну. Она полусонно отмахнулась от него и, чтобы забыть навсегда, любовно и нежно склонилась к проснувшемуся и потягивающемуся Карои.

Илоне теперь спокойнее работалось в цехе. Правда, она по-прежнему ни с кем сама не заговаривала, но уже не чувствовала у себя за спиной враждебно-внимательных глаз. Только Селлнэ она все еще избегала. Боялась, что та по лицу прочтет ее мысли и безжалостно расскажет о них, как в тот раз, когда она во всеуслышание объявила, что у новой станочницы горе. Изредка и украдкой Илона поглядывала на нее, словно они были чем-то связаны. Иногда ее тянуло подойти к Селлнэ и поближе узнать женщину, разгадавшую ее тайну. Но чаще ей хотелось перейти в другой цех — там она избавилась бы от ощущения, будто ее, как преступницу, разоблачили и поймали с поличным.

Сама того не замечая, Илона стала работать совсем по-другому. Она уже не следила, как бы не выпачкать лица, и с таким интересом склонялась над медным листом, с таким увлечением выполняла каждую операцию, словно только теперь начинала учиться делу. Однажды сентябрьским утром, когда Данко подошел собрать шуршащую, похожую на огромную багровую шевелюру блестящую медную стружку, Илона впервые и неожиданно улыбнулась ему. Лицо старика осталось непроницаемым, лишь из-под низкого, изрезанного морщинами лба и косматых бровей блеснул враждебный взгляд. Илона, смутившись, опустила глаза, потом оглянулась вслед человеку, неуклюже согнувшемуся над тачкой. Она задумалась — почему Данко не ответил на улыбку, за что сердит на нее?

Через две недели, в получку, Илона выяснила, что заработала значительно больше, чем в прошлом месяце. Она обрадовалась деньгам и тут же огорчилась: порадовать подарками некого. Робко шевельнулось желание купить новые тарелки с цветочками, о которых она давно мечтала, но не покупала, потому что Или любила только белоснежный фарфор. Подумав об Или, Илона с денежным конвертом в руках бессильно опустилась на ящик в углу цеха — она позабыла лицо дочери! Напряженным внутренним усилием из тишины и тьмы она вызывала черты Или. Она помнила каждую в отдельности и не могла собрать их вместе. Кончиками пальцев ощущала ее атласную кожу — тысячи раз, когда она ласково гладила дочь, ее пальцы скользили по гладкому лбу, по узеньким дугам бровей, тонкому изящному носу, круглому подбородку. Ей вдруг показалось, что десятки лет она не видела дочери. Между ними пролегла широкая, с крутыми берегами река, бурно катящая свои воды и уносящая с собой все, что встречается на пути,— и больше нет надежды увидеть ту Или, которую она потеряла.

Илона вздрогнула, когда рядом с ней на ящик уселась Селлнэ. Сняв с седых волос платок, Селлнэ старательно встряхнула его и ловким движением снова подобрала растрепавшийся узел волос.

— Как твое самочувствие, все еще горюешь? — громко спросила она и улыбнулась; в прищуренных глазах светились теплота и сочувствие.

Илона робко оглянулась: не слышал ли кто вопроса? Но никто не смотрел на них.

Бессильно и уныло Илона покачала головой. Селлнэ как будто и не ожидала ответа. Ощупав, хорошо ли сидит на голове платок, она махнула рукой.

— Не надо думать всегда про то, что в сердце наболело, толку от этого никакого. Если задумался человек, лучше ему выговориться. Всю боль высказать. Боль не разойдется, а будто застыдится и долго не посмеет беспокоить.

— И у тебя... у тебя тоже горе? — удивилась Илона.

Селлнэ снова улыбнулась и ласково сощурила глаза.

— Даже у ребенка горе бывает,— сказала она с легким вздохом и провела шершавой рукой по старенькой, с заплатами юбке.— А у того, кто больше полвека на свете прожил, как не быть горю?

Протянув руку, она указала на свой станок.

— Погляди: тут мой муж стоял не меньше тридцати лет. Потом война. Фашисты завод забрали и перехватали всех, кто саботировал. Мой тоже к ним в лапы попал. Измывались над ним, пытали — выдай, кто с тобой еще был,— а он и не дрогнул. Потом написали мне, что в тюрьме помер. Будто от воспаления легких...

Глазами, полными слез, она улыбнулась Илоне.

— Так-то... Всякий свой крест несет.

Она встряхнула головой и вполголоса продолжала:

— Вот я и попросилась на его место... вроде он не совсем помер.

Илона подняла голову. Испытующе посмотрела в крупное, некрасивое лицо женщины, которому улыбка придавала мягкость и какое-то особое обаяние.

— Как это тебе пришло в голову?

Селлнэ снова махнула рукой.

— Особого соображения тут не требовалось. Я и до его смерти работала — подсобной. Потом на его станок попросилась — так было легче горе нести. Зарабатывать больше стала — кормить семью надо.

Она смущенно добавила:

— Могла я облегчить свою судьбу. Находились люди, жениться хотели. Хоть старая да неказистая, а хотели. — Она улыбнулась с откровенной радостью. — И все самостоятельные, хорошие люди были! Не пойму, что они во мне находили.

— Почему же ты замуж не пошла? — тихо, с настойчивым любопытством спросила Илона.

— Не пошла почему? — Селлнэ смотрела куда-то вдаль, уголки ее губ едва заметно дрожали.— Я ведь уже сказала... Пошла бы замуж — значит, его забыла. Не совсем, конечно,— совсем ведь не забудешь,— но думала бы о нем без печали. Новый, живой муж, он на свой путь потянет; потихоньку да полегоньку подступает к тебе человек, берет под свою власть и душу твою и тело. А вдруг еще ребенка на старости лет родишь... Нет, пускай наши взрослые дочери позабыли отца, а я о нем по-прежнему все думаю.

Подняв на Илону скорбный взгляд, она продолжала вполголоса:

— Любовь его да смелость многого стоят; всякий раз, как о нем думаю, слез не могу сдержать.

— И встала ты на его место,— прошептала Илона, взволнованная простым рассказом Селлнэ.

— Да, встала,— спокойно подтвердила Селлнэ.— Иной раз я думаю,— продолжала она, улыбнувшись,—не больше ли мне на долю выпало муки, чем ему? Смерть, конечно, безвременная и мучительная — страшная у него была смерть. А я изо дня в день себя не жалела, заботилась о сегодняшнем да о завтрашнем дне. Будущее человек представляет себе без недостатков. Глупости! Мы сами полны недостатков, не избавиться от них сразу...

Илона изумленно смотрела на Селлнэ. Она с трудом улавливала смысл слов, однако ей было ясно: эта пожилая женщина, которой она дол-

го боялась, считала грубой и недалекой, живет, оказывается, в мире возвышенных мыслей! Это не отдаляло, а сближало их, хотя Илона никогда не думала о том, что люди сами прокладывают русло жизни и сами направляют ее течение. Она никогда не искала связи явлений, не размышляла о смысле и цели своего участия в общем труде.

Подняв голову, Илона смотрела на Селлнэ.

— Значит, здесь, у нас... в самом деле... новая жизнь? — протяжно спросила она.

— Были бы у тебя дети, ты бы лучше понимала. Правда, намаешься с ними,— добавила Селлнэ, вздохнув.— Я, когда работаю, часто размышляю. Я так понимаю: мало мы о сегодняшней жизни беспокоимся. Привыкли на будущее надеяться, а многие до него и не доживут. Нынче важнее, чем завтра. Господа в этом деле хорошо разбирались, они устроили себе царство небесное здесь, на земле. Душа и тело у человека утомляются, пока ждет он обещанного в будущем; человеку хорошего поскорее надо...

До сознания Илоны дошло лишь то, что задевало ее непосредственно.

— Сколько у тебя детей? — спросила она тихо.

— Трое,— с гордостью ответила Селлнэ.— Три дочери, ни одной уже дома нет. Замуж вышли. Такая у всех матерей судьба,— вздохнула она и взглянула на свои ладони, словно желала убедиться, что они в самом деле пусты.

Илона невольно положила свою руку на руку Селлнэ.

— Покинули тебя дочери? — сдавленно спросила она.

Селлнэ удивленно пожала коренастыми плечами.

— Покинули,—спокойно подтвердила она,—такой уж порядок. Растила их, в школе учила — ну, это даром, спасибо государство помогло,— а все ж обуза для меня была: не учила бы — раньше зарабатывать стали бы. И то сказать, я в одной одежонке зиму и лето ходила, зато они школу кончили. И младшая уже ткачихой стала. Ушли они из дому, но без меня им не обойтись, — на лице Селлнэ снова засветилась так красившая ее улыбка. — Как кончаю работу, не знаю, к которой раньше бежать. К младшенькой ли, к ткачихе, — она без меня и банки варенья не сварит; к средней, Юлике, — эта в министерстве работает, денька три не покажусь, она уж за мной посылает, очень ко мне привязана; или к старшей, Эстике, фармацевт она, — ребенка привести из детского сада.

— Ты работаешь на них,— тихо заметила Илона.

Селлнэ снова пожала плечами.

— Я всю жизнь на них работала, почему теперь, когда замуж вышли, не помочь? Такая уж я есть — пока заводу и семье полезна, до тех пор и жить буду. Не думай, будто меня только за это любят,— она строго кивнула в сторону, словно где-то там были ее дочери, зятья и внуки, которые могли подтвердить ее слова,— у них без меня ни одно дело не обходится, чуть что — ко мне на совет. Показала бы я им, где раки зимуют, если бы они по-другому повернули! — воскликнула она.

Селлнэ поправила платок и с совершенно изменившимся лицом, плутовато прищурясь, сказала застенчиво и хвастливо:

— У моей Эстики муж важный господин... Настоящий ученый, врач...

Илона смотрела в крупное, по-девичьи разрумянившееся лицо Селлнэ и невольно вспомнила Лали.

— Ты только что бранила господ — каким же твоим словам верить?

— Каких бранила, те другие господа,— не смутившись, ответила Селлнэ. — Те против нас законы сочиняли, перед носом у нас заводские ворота захлопывали, жандармам приказывали нас избивать, когда мы на демонстрации ходили. А мой зять... он из других совсем. Он барином

стал от образования, от хорошего воспитания... и он, и отец его, и дед... Мы с ним душа в душу живем, очень хорошо живем!

Она несколько раз кивнула в подтверждение своих слов и торопливо, немного стесняясь этой откровенной радости, продолжала, словно не могла устоять перед возможностью все выложить:

— Два других зятя — один был раньше рабочим, второй и теперь рабочий — тоже любят меня. Всегда пошутят со мной, а при случае и покритиковать не забудут. К примеру, гостей они ждут, а я у них нахожусь, тут и начнется: «Мамаша, за словами следите... про слова не забудьте... суп шумно не втягивайте... мыслей своих вслух не высказывайте...» А тот — врач — никогда не предупреждает, скажет только: «Вы, мама, мне нравитесь такая как есть... вы само совершенство... Всегда будьте такой, как сейчас, никогда ни от кого не скрывайтесь...» Видишь ли, ему не надо прикидываться воспитанным, он и есть по-настоящему такой, потому и относится ко мне не так, как те двое. Ему за меня не стыдно, он понимает: такие, как я, сами стыдятся, что не знают, как сесть, как встать. Люди воспитанные, знаешь, тонкие в обхождении, не то что мы... Нам бы надо у них поучиться. Очень хорошо, что при нынешней жизни мы с ними близко сходимся.

— Это и прежде могло быть,— тихо заметила Илона, снова подумав о Лали.

Селлнэ тряхнула головой и сделала рукой движение, словно сметала крошки с юбки.

— Нет, нет, — решительно сказала она, — прежде не могло этого быть! Фери, какой он ни есть добрый, самостоятельный и достойный, при старом режиме не взял бы Эстику.

— Если бы любил, может, уговорил бы своих родителей? — настаивала Илона.

Селлнэ помотала головой.

— Не в одних родителях дело,— медленно заговорила она, по-матерински предостерегающе кладя свою руку на руку Илоны,— и даже не в его любви или порядочности. Главное, что люди образованные за позор считали труд, стыдились взять девушку низкого происхождения. Даже своих они чурались, если кто из них ремеслу обучался и не лез в верхи. А уж если на ком из наших женился — совсем пиши пропало: все, от кого он хлеба, почета да должностей ждал, — все отвернутся! Один против всех не пойдет. Конечно, при той жизни и мой зять по-другому вел бы себя: сперва путался бы с девками, потом женился бы на богатой господской дочке, но никогда не взял бы по любви честную, хорошую девушку из рабочей семьи. И он это знает, и я знаю. Только рухнули теперь те порядки, и толковать больше не о чем.

Селлнэ пожала Илоне руку, а та смотрела на нее с застывшей улыбкой, погруженная в мысли, вызванные этим разговором. Значит, родители Лали вовсе и не были жестокими разлучниками — просто они подчинялись законам своего общества? Коварным оказался, как видно, сам Лали — он прекрасно знал, что не сможет отступить от того порядка, о котором только что говорила Селлнэ. Несмотря на это, он тянул и привязывал ее к себе, чтобы потом покинуть, обречь на безнадежные страдания, на горькую муку отвергнутой любви. И теперь она напрасно старалась не вспоминать, не слышать, как из самой глубины ее души поднимается и звучит опять и опять незабываемый, ласковый, берущий за сердце голос: «Ты не хочешь на прощание стать моею?»

Что это было? Неужели в их последний час, час разлуки и прощания, он решил сбросить с себя тяжесть ответственности?

В душе Илоны будто с грохотом обрушилось строение, которое она возводила со времен своей юности. Охваченная ужасом и смятением, она

смотрела на другую женщину с неподвижной, застывшей, обращенной в себя улыбкой. Если бы этот разговор произошел раньше, возможно она иначе оценила бы все, что берегла в душе долгие годы. Глядя в крупное лицо Селлнэ, у которой на лбу, у носа, в углах рта ясно обозначились морщины, прорезанные страданиями и тяготами, Илона поняла: этой женщине нельзя не верить. Ее слова, взгляд, улыбка, даже молчание совсем по-иному осветили прошлое Илоны. Было в этом прошлом что-то искусственное — как ни мучительно, приходится это признать. «Хорошо... хорошо, но если от всего отказаться, начать по-другому думать о Лали, что же мне останется?» — с беспомощным отчаянием мысленно спросила она. Хотелось отогнать эти мысли и снова сомкнуть броню, за которой сберегалась память о Лали. Но в броне образовалась брешь, сквозь нее просачивались в душу неясные, беспокойные мысли.

— А твой муж? Ты почему о нем молчишь? — услыхала Илона голос Селлнэ.

— Мой муж слесарем был,— тихо ответила Илона. Вдруг, словно сквозь залитое дождем стекло, с которого быстро стекала мешавшая видеть вода, она различила усатое, скуластое лицо мужа, с постоянной заботой в глазах и темными кругами под ними. Удивилась: как отчетливо представила его себе, будто только вчера видела, а ведь почти никогда о нем не вспоминала! Ее поразило сходство мужа с Данко; это было совсем непонятно, потому что в глазах Антала Мерли она никогда не встречала ненависти.

— Хороший был человек,— проговорила она, невольно заглянув в далекое прошлое, — незлобивый и терпеливый.

Селлнэ ушла в гардеробную. Илона еще долго сидела на ящике. Не знала, что с ней случилось: были и смятение, и усталость, и какая-то незнакомая радость от недавнего разговора. Селлнэ непринужденно и задушевно говорила ей «ты», она отвечала так же.

У Илоны никогда не было подруг. Полюбив парня из другого круга, она отдалилась от своих сверстниц. Она знала: войти в общество Лали, в его высший круг она сможет только одна — без семьи, без родных, без знакомых — лишь по праву любви. Позже, уже выйдя замуж за Антала, мечтая о волшебном будущем Или, она продолжала чуждаться своей среды. Несколько безразличных слов — вот и все ее отношения с соседями; ее тихие слова решительно отталкивали, не допуская никакого сближения.

Правда, с теми, на кого она работала, Илона была гораздо общительнее. Как должное, принимала вежливую снисходительность одних, любопытство других. Разговор с Селлнэ потряс ее. У Илоны появилось ощущение человека, набредшего на чистый родник и после первого глотка заметившего, как давно томит его жажда. Так же бывает и с человеком, который долго блуждал и вдруг заметил, что вышел на верную дорогу, где все знакомо, все родное, придающее бодрость и силу. Илона поддалась этой радости, а страдание и смущение, вызванные словами Селлнэ, медленно отступили назад.

* * *

С тех пор, как Иштван и Луйзи встретились у нее, Илона стала замечать, что юноша иногда подходит к девушке перекинуться несколькими словами, а Луйзи после этого сияет, как алмаз от мягкого прикосновения бархата. Случалось, что в обеденный перерыв, перед началом и даже во время работы девушка бежала в соседний цех. Был ли ей непонятен чертеж или нужен совет, она обращалась не к мастеру, а к Иштвану.

Конечно, это было нарушением порядка, но, бережно и сочувственно охраняя любовь молодых людей, коллектив цеха молча признал и как бы узаконил право на такие свидания. Однако Илона подметила, что, возвра-

щаясь от Иштвана, Луйзи уже не светилась трогательной, вызывающей невольно улыбку радостью. Наоборот, она казалась задумчивой, погруженной в себя, словно упрямо и настойчиво хотела разобраться в каких-то мыслях. Илона думала, что именно ей обязана Луйзи теми чувствами, которые, возможно, решат судьбу девушки, и гордилась этим. Она одарила Луйзи, и привязанность ее теперь соответствовала размерам этого дара. Они часто обменивались взглядами, как заговорщицы. Женщина и девушка улыбались друг другу одинаково смущенно и радостно.

Чем более довольной и счастливой выглядела Луйзи, тем больше интересовала Илону Анна Сава, та самая Анна, в которой она прежде искала спасения, отворачиваясь от смеющейся и беззаботной Луйзи.

Иногда, думая над тем, почему Данко ненавидит всех окружающих, Илона сопоставляла его в размышлениях с Анной, которая в свои семнадцать лет сторонилась всех и каждого. В глазах Анны, как и в глазах Данко, сквозила то робость, то враждебность. Анна работала как будто и старательно, однако брака у нее бывало много — видно, мысли ее постоянно витали далеко от станка. Если мастер или кто-нибудь из опытных рабочих пытался растолковать ей ошибку, Анна слушала с таким строптивым и угрюмым видом, словно самая попытка помощи оскорбляла ее. Иногда она срывалась и начинала кричать, грубо требуя оставить ее в покое и всем телом сотрясаясь от рыданий. Вокруг наступала тишина, словно весь цех уважал и понимал неизвестную причину ее бурной истерики.

— Почему она так ведет себя? — как-то спросила Илона Луйзи.

— Не знаю, — ответила девушка, как всегда улыбнувшись глазами.— У нас пробовали подружиться с нею, да ничего не вышло.

Поясняя, она покрутила пальцем перед лбом.

— У нее не все винтики на месте, вы мне поверьте, тетушка Илона,— и слегка повела плечами, как бы сожалея, что тут ничем не поможешь.

Илону это несколько покоробило. Слишком просто решала Луйзи вопрос.

Однажды утром Илона увидела, что Селлнэ и Луйзи сидят на ящике в углу цеха, тесно прижавшись друг к дружке, и увлеченно разговаривают. Раньше она, конечно, прошла бы мимо, теперь же остановилась возле них, словно зная, что ее присутствие необходимо. Правда, пока Селлнэ не ободрила и не пригласила ее взглядом, она все-таки чувствовала себя неуверенно.

— Только подумайте, тетушка Селлнэ, с нами она разговаривать не желает, а как появится Татар из соседнего цеха — она сама не своя от радости! — шептала Луйзи.— Но ведь у него жена, семья, всего полтора года как женился, ребенок маленький есть. Зачем ей, скажите на милость, дружить с таким? Есть у нее голова на плечах?

Илона испытующе взглянула на Луйзи: почему она по-бабьи сплетничает? Зачем ей понадобилось ославить девушку, которая, может быть, без всякой задней мысли поговорила с человеком? Но на лице Луйзи она прочла искреннюю, простодушную заботливость.

— Откуда мне знать, почему она дружит с ним? — задумчиво протянула Селлнэ и посмотрела на Анну, которая, нахмурив брови, с упрямым, непокорным лицом склонилась над станком. С лязгом и грохотом, суетливыми, угловатыми движениями она закрепляла металлическое кольцо.— Надо у нее самой спросить.

Селлнэ отвела взгляд от Анны, та выпрямилась и повернулась, как бы почувствовав, что на нее смотрят и о ней говорят.

— Нет, нет,— испуганно воскликнула Луйзи,— с ней вообще нельзя говорить об этом.

— Все вы, девчата, на один лад,— засмеялась Селлнэ.— Когда я тебя про Иштвана спросила, немного ты мне рассказала, а ведь нет между вами никакой дури.

— Нет, конечно, нет,— шепнула Луйзи и покраснела. Но ее смущенное, счастливое лицо на мгновение заволокло непонятным облачком. Она повернулась и пошла к станку, как будто стыдилась говорить о своих чувствах.

— Что за горе терзает эту девушку? — спросила Илона, указывая подбородком на Анну.

— Да, у этой наверняка горе, — громко сказала Селлнэ и посмотрела куда-то мимо Илоны. — И у ребенка горе бывает.

Илона не удивилась, что Селлнэ определяет душевное состояние Анны теми же словами, что и ее собственное. Она понимала, что одинаковые слова не означают одинаковой оценки. У Селлнэ большой жизненный опыт. Говорит она по-простому, верно разбираясь в сердце того, кто разучился смеяться и радоваться.

— Я пробовала говорить с ней, да без толку. Кабы можно было найти путь ко всякому сердцу! — вплотную подойдя к Илоне, Селлнэ вздохнула, как бы признавая свое бессилие.— Странная она какая-то. Да ведь не одни молодые такие упрямые. И постарше есть, которые свои тайны свято берегут. Бог знает, почему так привержен человек к своим горестям. Может, потому, что горе крепче берет за душу, чем радость?

Покачав головой, она озабоченно продолжала:

— Все-таки с ней почаще говорить надо. Не нравится мне ее манера стушеваться, в сторону отойти. За ней хороший присмотр нужен, а то, глядишь, у всех на глазах сотворит такое, чего потом не поправишь.

С этого дня Илона начала неотступно следить за Анной. Она догадывалась, что девочка боится Селлнэ, как раньше боялась она сама. Очень медленно, безотчетно, сперва смутно, потом яснее и, наконец, совсем определенно у Илоны укрепилось намерение найти подход к Анне. Она не знала, зачем ей это. Но что-то торопило, понукало, звало Илону сделать то, что не удалось Селлнэ. Она не сомневалась, что завоюет доверие девушки, и это наполняло ее особенной гордостью. Не в том дело, чтобы оказаться сильнее Селлнэ,— нет, здесь было что-то другое, чего она не могла определить.

Чем больше и внимательнее наблюдала за Анной Илона, чем сильнее ее интересовала эта девушка, тем чаще овладевало ею странное чувство. Обернувшись, Илона отчетливо и ясно видела у станка Или, и надо было протереть глаза, чтобы вместо своей красивой, изящной, изысканной дочери увидеть подлинную Анну Сава. То, что мускулистая, пышущая здоровьем, светящаяся обаянием молодости Луйзи казалась похожей на Или, Илону не удивляло. Но хилая, бледная, маленькая Анна, кроме белокурых волос, ничем не напоминала Или. И все-таки Илону неодолимо влекла эта одинокая девушка, с которой даже мастера обращались осторожно, как с больной, снедаемой неизвестным недугом.

Теперь и Илона заметила, что Фери Татар из соседнего цеха постоянно толчется возле Анны. Разумеется, он приходит сюда не затем, чтобы взять у мастеров чужого цеха работу,— он приходит из-за Анны. Это был плечистый, плотный, крепко скроенный парень с красным лицом и черными глазами, которые, как две ягоды, сидели над курносым носом. Синий китель, распахнутый на выпуклой груди, обнажал толстую бычью шею. Над маленьким пухлым ртом красовались короткие усики. Смеясь, Татар показывал белые ровные зубы, так густо сидящие друг подле друга, словно их было не тридцать два, а гораздо больше.

Обычно, подбоченившись, он бездельничал возле девушки. Анна, опустив голову, машинально работала, суетясь и ничего не видя, как чело-

век, который целиком поглощен чем-то посторонним и голова его не знает, что делают руки. Пока Анна на него не смотрела, лицо парня выражало самодовольство и уверенность; изредка он произносил два-три слова и прямо-таки упивался звуками собственного голоса. Но стоило ей взглянуть, как слова моментально застревали у него в глотке. Он начинал усиленно моргать и придавал своему пышущему здоровьем лицу выражение сентиментальной грусти. Похожий на ребенка, который явно хитрит, чтобы вызвать к себе жалость, Татар выглядел смешным и жалким. Поймав мимолетный, робко-заискивающий взгляд девушки, он принимался таращить глаза, томно вздыхать и вытягивать трубочкой мясистые губы, с которых, казалось, вот-вот слетит поцелуй, словно голубь, не решающийся вспорхнуть из-за коршунов, подстерегающих его со всех сторон. С невинным видом, как бы желая запросто помочь работе, он охватывал тоненькие пальцы и запястья Анны своей толстой ручищей и наваливался на нее всей грудью. На лице Анны вспыхивали красные пятна и, быстро растекаясь, сливались в одно. Вокруг маленького острого носика загорались веснушки, словно накаленные жаром щек.

Илона ясно видела эту опасную игру, и беспокойство за Анну не покидало ее даже дома. Мыла ли она посуду, стирала или просто отдыхала, ее терзала тревога: она тут сидит сложа руки, а в это время с Анной, едва достигшей семнадцати лет, может случиться все что угодно. Этого нельзя допустить! Илона уже не задавалась вопросом, почему ее это беспокоит, почему она считает себя ответственной за судьбу девушки. Ею все больше и больше овладевала мысль — надо что-то делать, но она не имела ни малейшего представления, что и как.

Озадачило Илону вовсе не ухаживание этого двадцатишестилетнего мужчины. По-настоящему пугало ее то, что Анна, гнавшая от себя всех и каждого, охотно разговаривает с Рози Гарашнэ. Казалось, она даже подзывает к себе эту снующую взад и вперед женщину невольным дрожанием рук и ресниц.

Кроме одного-двух человек, Гарашнэ презирал весь цех. Все знали, что муж покинул ее за распутную жизнь. Распутничала Гарашнэ так, что четверых детей закон присудил отцу, а тот вместе с ними уехал в родную деревню к матери и устроился каменщиком в районном строительном предприятии.

Но Рози Гарашнэ моментально забыла о детях, как забывает кошка своих утопленных котят. Никаких нравственных устоев у нее не было, к жизни она относилась весьма упрощенно. Она следовала лишь своим низменным инстинктам и, полагая это вполне естественным, считала, что не заслуживает никакого осуждения. Ее можно было бы сравнить с полипом или кораллом, обитающим где-нибудь на дне морском и не имеющим ни малейшего представления, что вокруг существует совсем иной мир, с прозрачным, чистым воздухом, освещенный лучами солнца, напоенный душистым ароматом деревьев, цветов и трав. На работе Гарашнэ делала, что ей заблагорассудится, говорила и слушала только то, что ее занимало, и поэтому всегда пребывала в отличном настроении. Забористые шуточки мужчин она принимала за постоянное доказательство их интереса к своей особе.

И эта женщина, весь облик которой внушал Илоне беспредельное отвращение, бесцеремонно шушукалась с Анной, а ее лицо и жесты свидетельствовали о том, что она говорит нагло и властно. По сути дела, разглагольствовала одна Гарашнэ: она нашептывала девушке нечто тайное и наверняка постыдное, а та односложно отвечала либо заменяла слова нерешительным, почти страдальческим движением по-детски худеньких плеч. В такие минуты Анна выглядела озабоченной и в то же время покорной, а по лицу ее пробегал луч какой-то надежды. Илона не понимала,

о чем они могли говорить. Но в сердце ее не унималась тревога: почему эта девочка не доверится ей, предпочитая ту грязную бабу?

Как-то днем мастер возвратил Анне испорченную деталь и принялся объяснять, в чем состоит ее ошибка. Сначала девушка слушала его как обычно, с нахмуренными бровями и оскорбленным видом. Но вдруг углы губ ее задрожали и она разрыдалась.

— Оставьте, наконец, меня в покое! — кричала она, быстро и яростно вытирая слезы.— Что вам от меня надо? Другие тоже портят, а вы ко мне одной придираетесь!

Мастер попытался что-то сказать, но она не дала ему вставить слово.

— Да, да,— пронзительным голосом продолжала она,— что же я — последняя дура в цехе, что на меня одну нападают? Не я одна брак делаю!

Мастер с досады махнул рукой. Он знал истеричность Анны и, чтобы не подливать масла в огонь, молча положил на станок стальные кольца и ушел. Анна схватила их с таким мрачным видом, словно это была не ее работа, а чья-то чужая, за которую ей приходится отвечать.

Илона сняла с педали ногу, вытерла о фартук руки и встала. Что-то тянуло ее к девушке, что именно — об этом она не задумывалась. Она направилась к ней, не зная еще, что скажет.

— О чем ты плачешь? — тихо спросила она.— Тебя ведь никто не обидел.

— Не ваше дело! — взвизгнула Анна. Ее синие глаза пылали гневом, тело тряслось как в лихорадке.

— Не плачь,— сказала женщина, не повышая голоса.— Исправь ошибку, и все будет в порядке.

Анна посмотрела по сторонам. Все работали, цех гудел от шума станков, но со всех сторон за ними следили внимательные глаза, словно люди были свидетелями поединка и с волнением ждали его исхода. Взглянув на Илону с бессильной яростью попавшего в западню человека, Анна тоненьким, сдавленным от волнения голосом крикнула ей прямо в лицо:

— Катись отсюда, старая ведьма!

Взгляд Илоны на миг погускнел. Снова возникла странная галлюцинация — ей показалось, что эти безобразные, оскорбительные, унизительные слова произнесла Или. Но даже это не сломило ее. Душа Илоны, которая всегда трепетно и чутко отзывалась на каждый звук, теперь застыла, затвердела, и грубые слова не ранили ее. Илона удивилась этому и в то же время успокоилась, выпрямилась в ожидании дальнейшего нападения. Но Анна, побледнев от собственной дерзости, молчала и широко раскрытыми глазами в упор смотрела на женщину.

— Не пугайся, я не сержусь на тебя,— тихо сказала Илона. Глядя в вопросительно блеснувшие глаза девушки, она добавила: — Человек никогда не сердится на того, кого любит...

Илона не знала, как это сорвалось у нее. Но Анну задело сказанное. Покраснев, она дрожащей рукой перекладывала с места на место инструмент.

— Так уж вы меня и любите! — бросила она через плечо и сердито взглянула на женщину, как смотрит взрослый на расшалившегося ребенка.— Нет у нас с вами ничего общего.

— Почему же нет? — улыбнулась Илона. Прикоснувшись рукой к худенькой руке девушки, она быстрыми шагами направилась к своему станку. Не оборачиваясь, она чувствовала, что Анна неподвижно стоит на месте и думает о ее словах. Только через несколько минут звук ее станка влился в общий хор.

Несколько дней Илона не смотрела на Анну. Но заметив, что девушка опять с жадным любопытством разговаривает с Рози, она рассерди-

лась и поглядела на проходившую мимо Гарашнэ. Та в ответ злорадно и нагло улыбнулась.

— Что угодно от меня вашей милости? — растягивая слова, ехидно спросила она.

Илона не ответила. В обеденный перерыв она подошла к Анне раньше, чем той удалось от нее улизнуть.

— Неприятно мне, что ты с Гарашнэ дружишь,— сказала она тихо и непринужденно, как будто продолжала начатый разговор.

Девушка остолбенела, попятилась и прижалась к станку, словно ища защиты. Она недоверчиво смотрела на женщину и так же, как в прошлый раз, негодуя и обороняясь, крикнула прямо в лицо:

— Что вам от меня надо? Что вы обо мне беспокоитесь?

— Да, беспокоюсь я о тебе, очень беспокоюсь,— с необычной твердостью повторила Илона.— А если б мне грозила беда, разве ты не тревожилась бы?

Анна растерялась. Лицо ее стало беспомощно-жалким, испуганным; она раскрыла рот, и не выдавила из себя ни звука. Наконец, с трудом овладев собою, Анна злобно заговорила:

— Мне ни до кого нет дела и меньше всего до вас. А дружить буду с тем, с кем хочу.

— Но эта женщина тебе не пара,— по-прежнему спокойно сказала Илона.— Она на своем веку столько всякого перевидала, о чем тебе, ребенку, и знать не следует. Нехорошо она живет, не к лицу молоденькой девушке водиться с нею.

— А вам завидно? — заносчиво и дерзко спросила Анна.— Будьте спокойны, не удастся вам отвадить меня от нее!

— Сама посуди, есть ли мне в чем завидовать Гарашнэ? — ответила Илона, стараясь поймать испытующий, но уклончивый взгляд девушки.

— А раз так,— вспыхнула и резко повернулась к ней спиной Анна,— оставьте меня в покое и уходите отсюда! Не донимайте меня, уходите!

Позже Илона размышляла: «Как могла втереться к ней в доверие эта женщина?»

Несколько дней в ее ушах звенел негодующий, но по-детски жалобный голос Анны: «Не донимайте меня, уходите...»

Илона думала-думала и решила посоветоваться с Иштваном. Когда она вошла, ее поразило, как напряженно-выжидательно посмотрел на нее юноша, словно надеясь услышать необычайную новость. Она невольно махнула рукой.

— Ничего не случилось! Я только хотела спросить, что за человек Татар?

Иштван пожал плечами.

— Я его мало знаю. Но знаю, что он не упустит случая ущипнуть девушку. Как видно, не очень щепетилен и разборчив. Недавно женился, а сам то и дело с Гарашнэ шушукается.

— С Гарашнэ?

Илона так изумилась, что едва подыскивала слова:

— Да ведь... как же... ведь он за нашей Анной Сава ухаживает?

Пришла очередь изумиться Иштвану. Он вскинул голову и испуганно уставился на женщину:

— Надо предупредить девушку. Татар не такой парень, чтобы одними словами ограничиться.

— Вот беда!.. И на что такому молодому Гарашнэ? — наивно спросила Илона, еще не опомнившись от этой новости. В это самое мгновение она увидела Рози, которая в развевающейся юбке спешила к станку Татара. Парень прекратил работу и, чтобы лучше расслышать тихие, торопли-

вые слова женщины, которая была намного ниже его ростом, наклонил голову; по его лицу разлилась яркая краска волнения.

Обескураженная Илона возвратилась на место. Чего хотел этот плечистый толстый парень от Анны, догадаться было нетрудно. Разговор с Иштваном окончательно убедил в этом Илону. Но роль Рози во всей этой истории до сих пор была ей неясна. И лишь теперь Илона догадалась, какое грязное дело затевает Гарашнэ. Открытие ошеломило ее и лишило покоя. Ей стали понятны нити, связавшие этих трех людей. Она очень боялась опоздать.

В обеденный перерыв Илона бросилась к Анне, но той не оказалось на месте; не нашла она девушку ни в цехе, ни во дворе. Ей помнилось, будто Анна съедает свой обед, принесенный в маленьком горшочке из дому, прямо у станка. Впрочем, быть может, девушка и раньше исчезала, но тогда Илона не придавала этому никакого значения.

После гудка Анна немного запоздала. На ее бледном удлиненном лице горели красные пятна; она перекладывала с места на место инструмент, потом вставила стальное кольцо и долго смотрела на него, как будто впервые увидела станок и не знала, как приступить к работе.

Селлнэ на миг склонилась к станку Илоны и указала подбородком на девушку.

— Нелегко с нею дело иметь,— сказала она громко, угадав мысли Илоны. — Много терпения надо! — Помолчала и добавила: — У тебя терпения хватит.

— Да,— с гордостью ответила Илона, чувствуя в себе ту неутомимую выносливость, которая одна только и сможет победить упрямую, странную девочку. И почему она раньше не знала своих сил? Годами неустанно берегла память Лали. Жила подле мужа, не замечая его. Настойчиво возводила вокруг дочери стену, сквозь которую не проникали ни большие, ни малые заботы, ни колющие, как иглы, каждодневные неприятные мелочи.

Дни шли за днями, а Илона все не находила доступа к сердцу Анны. Девушка откровенно избегала ее. Если женщина смотрела на нее во время работы, та отвечала ей злым, подозрительным взглядом.

Один раз Илона заметила, что Татар, околачивающийся подле Анны, злобно и возмущенно разглядывает ее, Илону. Прежде никогда не случалось, чтоб на Илону сердились по какой-нибудь причине. Теперь она нажила себе врагов. Казалось, вокруг нее играют страсти, которые она сама разожгла и которые тем не менее не может понять.

Как-то утром у Татара пропал его микроизмерительный инструмент, без которого он не мог приступить к работе. Злой и негодующий Татар ходил от станка к станку по всему цеху, но микрометр как сквозь землю провалился. На сердце Татара так накипело, что, когда он подошел к Иштвану, достаточно было малейшей искорки, чтобы вспыхнул пожар. Татар уже несколько дней подозрительно посматривал на Иштвана, убежденный, что именно о нем разговаривал Иштван с Илоной тогда, когда сам он шептался с Рози. Правда, шум станков заглушал слова, зато делал более выразительными глаза, губы, жесты. Язык взглядов и жестов не раз раскрывал цеху такие тайны, о которых не произносилось ни единого слова.

—Не у тебя ли мой микрометр?—спросил Татар, пристально и гневно глядя черными глазами на Иштвана, словно был уверен, что инструмент спрятан именно в его ящике. Иштван ответил не менее гневным взглядом. За вопросом он чувствовал неприязнь и ненависть, которые не имели ничего общего с пропажей микрометра. Он посмотрел в упор на Татара.

— Вместо того, чтобы кружить головы молодым девушкам, следил бы получше за своими вещами,— сказал он тихо, с расстановкой, чтобы до Татара дошло каждое слово.

Татар вскинул голову и рванулся всем телом, словно собирался ударить. Но сдержался — положение женатого человека обязывало его сохранять выдержку. Ему не подобало лезть на рожон из-за девушки.

— Приходи вечером на пустырь Буньо,— сказал он.

Глаза Иштвана сверкнули и, глядя куда-то мимо Татара, он легко и стремительно расправил плечи.

— Приду.

Пустырь Буньо приютился в гуще каштанов и акаций неподалеку от завода. Его настоящее название давно кануло в вечность. Именем Буньо прозвали его хулиганы, которые устраивали на нем свои побоища и поединки. Здесь обитали разномастные воровские шайки, делили добычу, обсуждали планы очередного налета или грабежа.

Приходили сюда и молодые рабочие, когда надо было по правилам первобытного рыцарства, с помощью кулака разрешить спор или отплатить за оскорбление. На скамейках до поздней осени сидели в обнимку влюбленные парочки. На них не обращали никакого внимания, не интересуясь, чем они занимаются под густым покровом нависших кустов.

Уже совсем стемнело, когда Иштван и Татар, сложив на скамейку пиджаки, схватились друг с другом. С Татаром пришли его друзья. Вместе с моментально собравшимися случайными зрителями они молча, неподвижно следили за борьбой. Неписаным правилом пустыря была тишина, чтобы не привлекать внимания полицейских постов. Волнение зрителей, одобрявших или порицавших дерущихся, выражалось лишь хриплыми, возбужденными замечаниями. Ввязываться в драку они не имели права. Таков был закон. Бойцы могли бы убить друг друга, но зрители и добрые приятели вмешались бы только если бы заметили нечестный прием. Для того, кто украдкой подставит ножку противнику, такое вмешательство могло оказаться роковым.

Ни Иштван, ни Татар не знали приемов бокса. Их оружием была физическая сила. Татар, более тяжелый и менее ловкий, немилосердно напирал на противника и толстыми кулаками молотил его по груди и бокам. У Иштвана, более проворного и увертливого, удар был слабее, и кулак не раз лишь скользил по мускулистому, плотному телу Татара. Он сжал губы, черные, гневные глаза юноши пылали; ненависть, которую он испытывал к этому кряхтящему, пыхтящему, сопящему и фыркающему парню, удваивала его силу. Татар так и норовил попасть противнику в лицо. Но Иштван, отвернув голову, прижался к груди Татара, а руками обхватил его туловище. Ноги их то сплетались, то расплетались, они снова схватывались друг с другом. Было похоже, что оба носятся в бешеной пляске по вытоптанной, обесцвеченной осенью, скудной зелени.

Татар вдруг поскользнулся и растянулся на земле. В следующее мгновение он был уже на ногах и, выставив вперед голову, бросился на Иштвана. Теперь на земле очутился Иштван, но тут же вскочил и снова обхватил Татара. Сцепившись, они покачивались из стороны в сторону, словно ждали музыки, чтобы пуститься в пляс. Внезапно Иштван ловко пригнулся, а Татар, чтобы не упасть навзничь, склонился вбок и, падая, потянул за собой Иштвана. Они покатились, не выпуская друг друга из объятий. Каждый ежесекундно оказывался то сверху, то снизу. Перед зрителями с молниеносной быстротой мелькали искаженные злобой лица: одно толстое и красное, другое худощавое и смуглое. Все так же обнявшись и шатаясь, словно пьяные, они поднялись, но через минуту в новой схватке опять упали и покатились по земле. Иштвану, наконец, удалось вырваться, и он ринулся на противника, который головой вновь отразил атаку и осыпал его градом ударов. По лицам обоих струился пот, разгоряченные тела не ощущали прохлады осеннего вечера. У Иштвана была разбита скула, тоненькая струйка крови стекала по шее. Татар кровью,

шедшей из носа, измазал подбородок, жирную грудь, кулаки. Но вид крови лишь усиливал их азарт.

Зрителей этого бурного поединка бросало от возбуждения в жар. Они с истинным наслаждением следили за игрой мышц, за всей этой яростной пляской, вызванной желанием победить. Много раз наскакивали противники друг на друга, когда вдруг воздух прорезал полицейский свисток. Парни внезапно остановились, разошлись, вытерли лица и руки и стали медленно натягивать пиджаки. Среди зрителей пробежал ропот разочарования. Иштван и Татар открыто и удовлетворенно смотрели друг на друга. Оба могли считать себя победителями, оба получили огромное удовольствие от ощущения собственной молодости, от того, что ни один удар, ни один взмах кулака не остался не отомщенным. Особенно радовался Татар. Полицейский свисток избавил его от возможного поражения; теперь он сможет предстать победителем в глазах цеха и Анны. Он считал, что теперь приобрел право продолжать свои шашни с Анной, которым, по неизвестной причине, хотели помешать Иштван и женщина из другого цеха.

Впрочем, сначала Иштван тоже был доволен, хотя все его тело ныло и голова стала необыкновенно тяжелой. Иштван полагал, что ему удалось вразумить Татара и напомнить тому о законах чести. Но постыв, Иштван понял, что ничего не добился — Татар, избавленный от необходимости бороться до полного истощения сил, не мог считать себя побежденным. Так как он, Иштван, дрался из-за Анны не по праву любви — девушка по-прежнему оставалась беззащитной перед атаками Татара.

На другой день по цехам поползли разноречивые слухи о драке Иштвана и Татара. Одни уверяли, что они дрались друг с другом; некоторые готовы были поклясться, что с чужими, но так или иначе, а сама драка, хотя ее во всеуслышание и не одобряли, привлекала всеобщее любопытство. Молодежь почтительно смотрела на синяки парней, пожилые тоже были довольны. Таинственные причины схватки волновали воображение, вызывали в памяти дела давно минувших дней. В обеденный перерыв только и было разговору о былых, овеянных легендами потасовках с полицейскими, сыщиками, политическими противниками, соперниками в любви.

Однако тот факт, что в драке участвовал женатый, семейный Татар, у большинства пожилых рабочих вызвал недовольство. О Татаре и так уже шептались несколько недель, упоминая его имя рядом с именами Рози и Анны. Не прошло и двух лет как он женился, и по чести не должен изменять жене. Большинство считало, что Татар не имел права из одного молодечества ввязываться в драку, раз она не касалась его семьи. Кроме того, почему-то все больше укреплялось мнение, будто он потерпел поражение. Между тем, Иштван, которого и без того уважали, сделался буквально героем дня. Его синяки и кровоподтеки говорили об отваге и молодецкой удали, о том, что он умеет за себя постоять.

Илона еще ничего не знала о случившемся, когда утром, в начале смены, Гарашнэ умышленно стала веником взметать пыль вокруг ее станка. Метя, она громко рассуждала сама с собой: последнее, мол, на свете дело заниматься сплетнями. Лично она скорее откусила бы себе язык, чем стала бы разносить по цеху разные глупости.

Позже к Илоне подбежала Луйзи с пылающим расстроенным лицом.

— Тетушка Илона, тетушка Илона! — быстро зашептала она.— Вчера вечером Иштван подрался с Татаром... Из-за Анны,— совсем тихо, с упреком добавила она.

Илона была ошеломлена. Теперь она разобралась в словах Гарашнэ, но не могла понять Иштвана — ведь он почти не знал Анны. А Луйзи продолжала рассказывать, как, прождав напрасно целый вечер юношу в

фойе кинотеатра, она утром бросилась к нему. Иштван, чтобы ее успокоить, во всем признался; и вот теперь, вопросительно глядя на Илону, Луйзи слово в слово повторила ей все, что слышала от него. «Ревнует к Анне!» — догадалась женщина и невольно погладила Луйзи по рассыпавшимся волосам.

— Иштвана честь заставила пойти на драку: во-первых, Татар мог заподозрить, что Иштван роется в его шкафу; во-вторых, Иштван пожалел эту бедную девочку,— шепнула она на ухо Луйзи, чтобы не слыхал никто другой.

— Да я ничего, я... не ревную к Анне,— тряхнула головой девушка,— я только...— не договорив, она вдруг обняла Илону за шею, прижалась головой к ее плечу, затем отвернулась, чтобы скрыть слезы, и бросилась к своему станку.

Только теперь Илона заметила, что Анны нет на месте. Опоздав почти на четверть часа, та появилась из соседнего цеха с красными глазами и искаженным лицом. Не приступая к работе, нахмурив лоб, Анна остановилась на дощатых подмостках, пристально глядя на Илону. Мастер по-отечески взял ее за плечо и напомнил, что пора приниматься за дело, но она с таким диким отвращением стряхнула его руку, что пожилой человек только покачал головой и пошел дальше.

Илона решила, что девушка уже знает о драке и во всем обвиняет ее. Внезапно в горящем ненавистью, тяжелом взгляде Анны ей почудилось еще что-то. Призыв? С виду спокойная, она поднялась, отряхнула юбку и направилась к девушке.

Пока Илона шла, Анна по-прежнему молча смотрела на нее. Тогда женщина взобралась на подмостки и подошла вплотную.

— Ты мне что-то сказать хотела? — сдерживая внутреннее волнение, тихо спросила она.

— Только то, что сгореть бы вам от стыда, тьфу, тьфу! — дрожа всем телом, хрипло выкрикнула Анна, обрызгав слюной лицо Илоны. Илона не стала вытираться, лишь улыбнулась и покачала головой.

— Неправда,— начала она тихо,— ты должна понять, что я желаю тебе добра. Мы, которые постарше, лучше знаем жизнь, чем ты, молодая. Гарашнэ толкает тебя на такое дело, в котором ты потом только раскаешься,— спокойно и ясно сформулировала она то, что и сама уяснила себе недавно.— А я хочу помочь тебе избавиться от мук и разочарования.

Девушка, приоткрыв бледно-розовые губы, пристально поглядела на нее; сделав над собой усилие, она, казалось, обдумывала и мысленно повторяла слова Илоны. Вдруг ее лицо снова исказилось, она тряхнула головой и топнула ногой.

— Вам просто завидно, вы его отбить у меня хотите,— задыхаясь, проговорила она.— А ну-ка, сознайтесь, сознайтесь, посмотрим, хватит ли у вас смелости.

Она вытянула худую, бледную, маленькую дрожащую руку и, не помня себя, тыкала ею в грудь Илоны.

— В чем я могу тебе завидовать? — Илона твердо смотрела в разгоряченное, искаженное страданием лицо, в недоверчивые, подстерегающие ее глаза.— Я старуха, немало пережила на своем веку; я вижу, что ты себя губишь, и хочу предостеречь пока не поздно,— спокойно ответила она.

— Скажите мне по чистой совести, что вам от меня надо? Зачем вы ходите ко мне, чего хотите? — с тоской и отчаянием спросила вдруг Анна. Но Илона не успела ответить, как в глазах девушки снова вспыхнула враждебность, в лице опять появилось тупое упрямство. — Все вы лжете! Гарашнэ гораздо лучше вас, во сто раз лучше.

Илона инстинктивно обернулась и увидела Рози, направлявшуюся к ним. Наклонившись к Анне, она повелительно сказала:

— Не следует тебе с нею водиться,— Илона говорила очень быстро, чтобы Гарашнэ не успела помешать.— Ни с ней, ни с Татаром — у него жена и ребенок. Ты даже не знаешь, в какую беду может попасть девушка, если уступит мужчине.

Белая кожа Анны покрылась красными пятнами, на губах мелькнула кривая, безобразная улыбка, и она вдруг зашипела в самое лицо Илоне:

— Что вы так за меня боитесь? Я ведь плохая, я совсем не такая, как вы думаете.

Она откинулась назад и злорадно ухмыльнулась; потом, поддаваясь какому-то странному побуждению, уже давно толкавшему ее на признания, извлеченные с самого дна души, сказала с жестокой четкостью:

— Что меня жалеть? У меня уже был ребенок, я его в пятнадцать лет родила.

Илона едва устояла на ногах. Глядя в это пылающее, искаженное ненавистью и жаждой мести лицо, она машинально спросила:

— От кого?

— От приемного отца,— подняв вызывающе голову, побледневшими, дрожащими губами ответила Анна.

Иштван и Луйзи под руку бродили по извилистым дорожкам острова Маргит. Спустилась ночь, было скользко, к подошвам прилипали комья грязи и опавшие листья. Ветви деревьев чертили на сером небе прихотливые черные линии — отчетливые знаки осеннего одиночества и грусти. Кое-где на концах ветвей еще трепетали пожелтевшие листки. Когда дул ветер, какой-нибудь из них устремлялся вдаль.

Дунай лениво, уныло плескался, вода казалась свинцово-серой. Волны упрямо бились о берег, издавая один и тот же глухой, захлебывающийся звук; словно пленники головой и локтями безнадежно, но упрямо, настойчиво бились о стены скалистой тюрьмы. Вынырнувший из-под моста пароход бесшумно скользил по воде; низко стлавшийся за ним дым, похожий на распущенную густую вуаль, исчезал в сером небе.

Луйзи любила эти уединенные места — здесь им с Иштваном никто не мешал. Ей казалось: в этой тиши случится наконец то, чего она так давно жаждет; наконец прозвучат те слова, которые ей так хотелось услышать. Она чувствовала все с большим и большим беспокойством — нечто важное, быть может самое важное, не выяснено между ними. Поэтому она и стремилась сюда, где никто и ничто не помешает Иштвану сказать эти слова.

Она крепко держалась за его руку. Щиплющий осенний холод, набегающий с воды ветерок разрумянил лица обоих, но сквозь одежду они ощущали тепло друг друга. Луйзи, прижавшись к Иштвану, приноравливалась к такту его шагов. Эта невинная близость вызывала в ней такое чувство, будто их души слились воедино. Может быть, Иштван чувствует то же?

Однако молчание затягивалось. Луйзи напрасно ждала, чтобы Иштван, если не словами, то пожатием руки, взглядом или невольной улыбкой выразил свои чувства.

Луйзи постоянно терзала мысль — о чем говорить с Иштваном? Не потому, что она не знала, что сказать. После пылкого волнения и счастья первых недель, когда достаточно было одних поцелуев и отрывистых, почти бессвязных слов, полностью выражавших их ощущения, Иштван резко переменился. Неизвестно почему, стали реже и поцелуи, и слова.

Луйзи все чаще охватывало смущение. Едва сказав что-то, она тут же соображала, что надо было говорить совсем другое.

— Ты знаешь, я часто думаю: вот рос ты сиротой и некому было приласкать тебя...— начала она дрожащим, сдавленным голосом и потянула Иштвана за руку, чтобы он остановился и посмотрел ей в глаза.

Иштван, в самом деле, на миг остановился и взглянул в блестящие от волнения глаза, в смущенное, вопросительно улыбающееся, раскрасневшееся лицо Луйзи. Вся она светилась любовью, и он видел, как ждет она ответа. Но у него, выросшего без ласки, всю жизнь тосковавшего по любви, этот дрожащий от нежности голос, полный мольбы взгляд вызвали досаду и упрямое, жестокое желание противоречить.

— Не надо меня жалеть, — отвернувшись, сказал он сухо.

Луйзи смотрела вдаль, вслед уходящему пароходу, и ей казалось, что он проваливается в колеблющуюся воду. Удаляясь, пароход становился все меньше и меньше, как и жившая в ее сердце, а теперь исчезающая надежда. Рука, опиравшаяся на руку Иштвана, ослабела, словно выпустила из бессильных пальцев мечту, и та уплыла вместе с немым и, как казалось отсюда, пустым пароходом.

Иштван почувствовал себя виноватым, сердце его сжалось от сочувствия к девушке. Он знал, что причиняет Луйзи острую боль, но не мог сказать ничего другого. Желая как-нибудь смягчить, загладить резкие слова, он спросил:

— Тебе не холодно?

— Нет,— ответила Луйзи, стараясь прикрыть улыбкой отчаяние и печаль.

Иштван и сам размышлял — что же, в конце концов, произошло?

Еще в то время, когда его воображение и мысли целиком были заняты Или, он знал, что Луйзи к нему неравнодушна. Об этом говорили ее улыбки и взгляды.

Неожиданно застав ее у Илоны, Иштван догадался, что свидание не было случайным. Сперва удивился, потом обрадовался — он был в таком душевном состоянии, что решил просто-напросто не противиться обстоятельствам. Он знал, что должен забыть Или; об Или можно было вспоминать, только как вспоминают невозвратное прошлое. А Луйзи была рядом, она была красива, мила, в ее преданности сквозило что-то трогательное и располагающее. Ее свежие поцелуи впервые принесли Иштвану бездумную радость юности.

Беда заключалась в том, что Луйзи предлагала не только губы, но и душу; как всякая чистая девушка, за поцелуями она искала человека, с которым могла бы навеки связать жизнь. После первых встреч, милых, счастливых и легких, когда они бездумно смотрели друг другу в глаза, прижимались, касались лица и рук друг друга, Луйзи наивно и увлеченно стала рисовать Иштвану картину их будущей совместной жизни. Она делала это не из расчета — нежность, рожденная поцелуями, двигала ею. Дремавшие в ее душе силы проснулись и побуждали бороться, действовать и даже жертвовать собой для любимого человека.

— Мой муж будет всегда одет чистенько, с иголочки; дома всегда чистота и порядок,— говорила она, и Иштван знал, что так оно и будет: Луйзи не перестанет хлопотать, наводить порядок, устраивая уютное семейное гнездышко. Но, услышав это, он испугался. Обещанный покой, о котором Иштван всегда тосковал, почему-то совсем не устраивал его теперь.

— Расскажи мне о себе побольше,— как-то раз, во время вечерней прогулки, попросила Луйзи, когда они, обнявшись, смотрели на звезды.—

Если бы я знала, о чем ты сейчас думаешь, я была бы гораздо ближе к тебе.

— Я ни о чем не думаю,— смеясь, ответил он тогда и запнулся; он солгал и удивился, что лжет. Луйзи молчала, как будто из деликатности не хотела его уличать. Позднее, подняв лицо к звездам, она тихо сказала:

— Думаю я о тебе, и много разных мыслей приходит в голову. Когда мы вместе, их еще больше. Правда, я не умею их как следует выразить, но как мне хочется, чтобы ты их знал! Если ты меня любишь, ты поймешь...

Она все чаще и чаще говорила об этом, а Иштван отвечал все холоднее и суше. Сам он постепенно уяснил причину своего изменившегося отношения. Луйзи с ее неустанными, беспокойными поисками любви пыталась взломать замки, за которыми скрывалась Или, и стать на ее место. Ошеломленный и потрясенный Иштван понял, что это место уже никогда не будет свободно, и дверь в его сердце никогда ни для кого не отворится.

Луйзи с изобретательностью влюбленной, мнительной и самоотверженной женщины пыталась найти доступ к сердцу Иштвана с другой стороны. За легким, все отрицающим, подчас шутливым тоном она чувствовала скрываемое от нее страдание, множество разных мыслей, совсем иной, отгороженный крепкой защитной стеной мир. Она хотела знать о нем все: как он развлекался до дружбы с нею, чем заполнял свободное время.

Она отказывалась от уединенных прогулок, от интимной темноты кинозалов и, торжественная, внутренне взволнованная, сидела рядом с юношей в партерах театров и концертных залов. Театр Луйзи любила, музыку тоже; впрочем, больше всего ей нравились легкие, сентиментальные мелодии. Прослушать целый концерт классической музыки было для нее почти подвигом; она тонула в этом океане звуков, как начинающий пловец, пугалась, когда неудержимо несущиеся волны заливали ее душу. Но она крепилась с терпением влюбленной женщины, счастливая, что выполняет долг верности, и сбоку молча всматривалась в странно напряженное лицо Иштвана. Его пронизывали молнии противоречивых чувств; их появление Луйзи давно предвидела, хотя юноша упорно молчал. Именно из-за этого молчания Луйзи охватывала мучительная, безнадежная зависть к какому-то смутному, неизвестному сопернику, который был невидим, неуловим и оттого еще более опасен.

Иштван в концертах редко оборачивался к Луйзи; его смущало то преданное, отважное внимание, с каким она слушала музыку, и сознание, что она это делает для него.

От неприятного ощущения, что перед его мысленным взором то и дело встает Луйзи с ее озабоченным, мучительно вопросительным, укоризненным взглядом, он еще больше замыкался в себе. В то же время он вспоминал, как часто обменивались насмешливыми взглядами Или и ее мать, когда он рассказывал им о своих любимых книгах и музыке. Нечего и думать, Или никогда не пыталась бы разгадать тайну серьезной музыки, как это делала Луйзи. И все-таки — как был бы Иштван счастлив, если бы здесь, рядом с ним, сидела Или! Его грудь, наверно, разорвалась бы от головокружительной, глубокой радости, что она вместе с ним слушает чудесные звуки, что он может вместе с нею пережить то властное волшебное чувство, которое переполняет его в эти мгновения.

Не болен ли он, что никак не избавится от этой любви? Или была с ним всегда, даже когда он о ней не думал; теперь, когда его хотели оторвать от нее, он тянулся к ней с еще большим упорством.

Луйзи, борясь за любимого человека, желая связать его с собой навсегда, постепенно проигрывала битву. Смутно догадываясь о своем

поражении, она решила ограничиться поцелуями, не настаивая на объяснениях. Может быть, тогда Иштван сделает то, что давно должен был сделать — пойдет к ее родителям, и те с радостью узнают, что он любит их дочь? Может быть, дело дойдет до свадьбы? В кругу доброй, любящей семьи, не очень счастливые и не очень несчастные, они прожили бы вместе всю жизнь.

Она все реже и реже заводила разговор об их общем доме, все меньше с милой хвастливостью говорила об умении готовить и вести домашнее хозяйство. Смиренно, как бы прося извинения, но с неотступной настойчивостью она искала путь к сердцу Иштвана.

Когда она коснулась сиротства юноши, ее, словно ножом, полоснул по сердцу холодный, оскорбительный ответ. Но она не остановилась, хотя подозревала, что ее жалостливый голос отталкивает Иштвана. Она добивалась, чтобы он понял, как ей больно оттого, что его никто не любил.

— Если б я была тогда рядом с тобой, я могла бы... я утирала бы твои слезы...

Луйзи робко замолчала, чувствуя, что говорит не то, что надо. Действительно, Иштван так холодно взглянул на нее, что душа ее содрогнулась.

— Я никогда не плакал,— скупо заметил он, останавливаясь среди скользких, поблескивавших от влаги прибрежных камней. Луйзи остановилась рядом. Она смотрела на свинцовую воду, на неутомимо исчезавшие и поднимавшиеся волны с белой пеной на гребне. Эта пена, то и дело рождавшаяся, умиравшая и вновь появлявшаяся, толкнула ее на мысль, которая точно так же притаилась в ее душе, то утопая, то выходя на поверхность. И когда Иштван, как бы прося прощения за холодные, обидные слова, ласково сжал ее локоть, она подняла к нему покорно улыбавшееся, печальное лицо и тихо сказала:

— Если бы я знала, из-за кого страдаю...

Иштван даже вздрогнул. Его поразили эти слова. Луйзи метко и верно коснулась раны, о которой он не мог, не хотел говорить. Он никогда еще так не жалел эту красивую, чистую девушку, как сейчас.

— Не сердись на меня, Луйзи, не сердись. Я гадкий, злой и жестокий, а ты милая, добрая и заслуживаешь любви. Не сердись, я ведь все понимаю — у меня сердце болит за тебя.

Но его лицо оставалось неподвижным, и, кроме этих ласковых слов, он ничего не мог сказать, опасаясь, что Луйзи воспримет все другое, как дар любви.

Они долго стояли рядом на берегу; девушка, все еще надеясь на чудо, ждала от него слов любви, застенчиво повторяя их про себя. Тишину нарушал лишь глухой всплеск волн. Казалось, что берег, отбрасывая воду, причиняет ей жгучую, неутолимую боль.

— Проводи меня домой,— едва слышно прошептала Луйзи, стыдясь, что так долго ждала слов, которые никогда не будут сказаны. Она взяла Иштвана под руку, и они пошли назад по мокрой, скользкой дороге.

На четвертый день замужества Или проснулась, разбуженная поцелуем и приторным голосом мужа.

— Поторапливайся, женушка! В контору опоздаешь!

Или, полусонная, потянулась — еще полежать бы минутку! — но слащавый голос мурлыкал в самое ухо:

— Пора вставать! Пора вставать!

Или была разочарована. На следующее утро после бегства из дому она позвонила в контору и просила освободить ее на три дня: она надеялась, что Карои не станет посылать ее на работу. Ей казалось, что вместе

с ним она вошла в такой мир, где может делать все, что хочет; разве не предстояло ей узнать подле него какую-то особую жизнь, о которой, впрочем, она имела самое смутное представление. Но Карои, как оказалось, вовсе и не думал о какой-то особой жизни для Или. Разбудив жену, он весьма настойчиво поторапливал ее подняться без кокетства и потягиваний. Она смущенно схватила халат, поспешно оделась. С ее губ так и рвался вопрос — для чего это нужно, ведь Денеш не нуждается в ее деньгах? Но задать этот вопрос она не посмела.

Под вечер она, как было условлено заранее, встретилась с мужем в одном из увеселительных заведений Буды, где Карои ждал ее в обществе двух мужчин и двух дам. Или была очарована изысканностью ресторана, тихой музыкой, полумраком, бесшумным прислуживанием официантов. Компания приняла ее непринужденно и весело. Мужчины и дамы, не скрывая интереса, изучали ее лицо и фигуру. Или ждала более торжественного приема — ведь друзья Карои должны были знать, что она всего три дня назад стала его женой. Но об этом говорилось только вскользь, отпускались двусмысленные шуточки. Или пыталась скрыть смущение, заглушить в себе чувство, что она переживает особенные, неповторимые в ее жизни дни и все должны относиться к ней с любовью и лаской. В ее стремлении казаться непринужденной была какая-то бросающаяся в глаза неумелость. Это подтверждала снисходительная улыбка Карои и то, как он изредка спрашивал своих друзей, видят ли они, какая у него очаровательная жена.

Или поняла, что ведет себя иначе, чем остальные женщины,— те себя чувствовали здесь как дома. Воспитанная Илоной в убеждении, что она лучше всех, Или рядом с этими светскими и, как видно, видавшими виды дамами утратила всю свою самоуверенность. С пылающим лицом она восседала во главе стола, улыбалась от сознания своей красоты, радовалась, что на нее обращают внимание, но внутри ее точил червячок зависти и в любезности сквозила натянутость. На испытующие взгляды двух женщин она отвечала гордой, счастливой и в то же время немного смущенной улыбкой.

— На тебя все смотрят, ты вызываешь сенсацию! — шепнул ей Карои, окидывая жену жадным взглядом. Или заметила обращенные к ней взоры, и ее хорошее настроение стало почти лихорадочным.

— Я люблю тебя! — прошептала она на ухо Карои и горячими пальцами сжала его руку. Ее захлестнуло счастье. Теперь не надо никому давать отчета ни в словах, ни в поступках — она свободна! Наконец-то она может быть самою собой, не испытывая неприятного чувства, будто от нее чего-то ждут. Ее не беспокоит больше внимательный, озабоченный, молящий взгляд матери. Она сбросила с плеч огромную тяжесть — тащить ее уже не было сил. Так было суждено!

Время шло быстро. По вечерам серебристая машина мчала Или в кафе или ресторан. Она познакомилась со множеством новых людей, среди которых было больше мужчин средних лет, чем молодых. Это ее не удивляло — ведь Карои перевалило за сорок. Вначале ей льстило, что муж так остро реагирует на обращенные к ней восхищенные взгляды, но мало-помалу это стало доставлять ей все меньше и меньше радости.

— Почему тебе сегодня не говорят комплиментов? Почему не любуются тобою, как прежде? — с упреком спрашивал Карои, испытующе глядя на нее из-под густых бровей.— Ты должна быть такой, как в первые дни, тогда будешь нравиться мне и другим.

Приказание, звучавшее в этих словах, пугало Или. Невольно она стала подражать самой себе, какой она была в первую неделю замужества. Копировала свое неловкое, ярко-обольстительное очарование, притворялась беспомощной и смущенной. Это удавалось с трудом: позы,

которые она принимала, стесняли, как узкое платье, скроенное не по фигуре. Она старалась не замечать всей унизительности своего притворства. Если муж любит ее, разве не естественно его желание, чтобы она всегда всем нравилась?

— Человеческая свобода, свобода личности — величайшее дело в мире! — не раз восклицал Карои; Или горячо соглашалась с ним. Однако она не решалась спросить, на какие средства живет ее муж — она только догадывалась, что с друзьями он связан деловыми отношениями. По вечерам, когда они сидели где-нибудь в увеселительном заведении, их, как правило, угощали другие; Карои тратился очень обдуманно и экономно. Однажды он сам заговорил с Или на эту так сильно интересовавшую ее тему.

— Разумеется, ты размышляла о том, чем я занимаюсь? — сказал он, откидываясь на спинку стула.— Знаешь, что ответил аббат Сийес, когда его спросили, что он делал во время революции?

— Нет... — ответила Или и покраснела: она не знала, кто был этот святой отец и при какой революции жил.

— Вот что он ответил: я остался в живых. Довольствуйся и ты тем же, моя королева! — Карои долго смотрел в пространство, в виде пояснения несколько раз пошевелил пальцами и тихо засмеялся, как смеются люди, очень довольные собственным остроумием.— Самое большее, что я могу,— это немного изменить слова аббата. Вот так: я живу! Важно не то, как добываются деньги,— продолжал Карои, глядя в пространство, словно ища оправданий.— Все способы добывания денег унижают свободного человека. Нам следовало бы жить так, чтобы никогда не касаться руками денег. Ибо дух...

Он не закончил. Смутился, что не может ничего придумать, и глубокомысленно повторил:

— Ибо дух, человеческий дух...

Или по-прежнему не знала, что сказать. Когда Карои вопросительно обернулся, она восторженно смотрела на него, искренне восхищенная этим непостижимым для нее умом. Или ничего не понимала в разглагольствованиях Карои, но быстро угадала, что он ждет ее одобрений. Именно потому, что она чаще всего не понимала смысла речей мужа, она оставалась в состоянии изумленного, робкого восхищения. Чувство превосходства, которое позволяло ей в былые дни командовать матерью, Иштваном и прежними своими поклонниками, теперь исчезло бесследно. Она покорно признавала, что из них двоих — муж в доме главное лицо и что только считаясь с его настроениями и желаниями, она может поддерживать равновесие в их отношениях...

Захваченная порывом страстной нежности, Или опускалась подле него и, подперев руками лицо, шептала ему тысячу нежных и ласковых слов. Карои слушал, закрыв глаза, вокруг его крупного рта блуждала странная, страдальческая улыбка... И вдруг, прищурив глаза, он со стоном отталкивал Или, словно она его обманула.

— Нет, нет... ты не можешь сопутствовать мне... туда... туда... — бормотал он с таким выражением лица и так подчеркивая слова, как будто за ними скрывался несказанно глубокий смысл; рукой он делал неуверенный, надломленный жест, показывая куда-то ввысь и вдаль...

Или невольно вспоминала о тех днях, когда Карои еще ухаживал за нею, о прогулках в машине, когда он словами и простой лаской будил в ней любовь. Как обманулась она в своих ожиданиях! Или с каждым днем все яснее и безотраднее угадывала, что напрасно осаждает Карои своей любовью. В любви он думал только о себе.

Она еще кокетничала своими успехами в обществе, еще входила вечерами в увеселительные заведения и рестораны с видом женщины, наслаждающейся всеми благами и блеском утонченной жизни, но за ее горделивой улыбкой теперь постоянно скрывался ужас, с которым она думала об уродливых, унизительных ночах.

Такими ночами она долго не могла уснуть. Буквально содрогаясь от одиночества, силилась она отмахнуться от всплывавшего перед нею образа матери. Но мать незримо стояла за всеми ее мыслями и переживаниями, и это означало ее, материнскую, победу. В ночной темноте, когда ослаблен контроль рассудка и гордости, когда все чувства и мысли становятся бесформенными, Или — стоило ей закрыть глаза — видела перед собой лицо Илоны. В глазах матери стоял печальный упрек. Или тщетно искала то сияние, которым всегда светилось лицо, как бы отражавшее красоту дочери. Усталое лицо матери было озарено каким-то грустным торжеством, и Или, чтобы спастись от ответственности, настойчиво, со страхом шептала:

— Нет! Нет!

Протест помогал на миг — видение затуманивалось; и все-таки влияние матери сказывалось даже тогда, когда Или совсем о ней не думала.

Однажды в зимний ветреный день Карои повез жену на одну из центральных улиц города. Они позвонили у дверей под черно-белой вывеской «Дамский мир». Или обрадовалась, решив, что Карои задумал сделать ей приятный сюрприз. Кроме пустячных, маленьких сувениров, она еще ничего от него не получала и, не осмеливаясь просить о чем-нибудь, носила свои девичьи платья и туфли. Если же случалось, что она позволяла себе неуклюжий и робкий намек, то тут же сама превращала все в шутку: «Ничего мне на свете не надо, кроме твоей любви!» В ответ Карои, прищурив глаза, подносил к губам сигарету и, посматривая на Или из-под загнутых, длинных ресниц, принимался говорить, что с величайшим удовольствием провел бы ее нагишом по улицам для услады людей. При этом он длинно рассуждал о языческой красоте такой сцены, наслаждаясь подробностями и сравнениями. Казалось, он не столько упивался изображением Или, хотя рисовал ее всегда пышно и восторженно, сколько собственными словами. Вначале это воспевание ее красоты захватывало и почти гипнотизировало Или. Она видела в этом проявление любви и гордилась сравнениями с античными богинями и языческими жрицами, о которых прежде никогда ничего не слыхала; к тому же рассуждения Карои убеждали Или, что муж ее — существо высшего порядка и любит ее необычным для других образом. Но муж стал повторять и повторять эту игру, предоставляя все большую волю своей разнузданной фантазии. Или то мучилась жгучим стыдом, то раскаивалась в своей «мещанской стыдливости», считая себя некультурной и невежественной по сравнению с Карои, и, опустив голову, изредка механически и покорно улыбалась, помня, что муж ожидает ее восхищенного внимания.

Обо всем этом думала Или, стоя у дверей с черно-белой вывеской «Дамский мир». Дверь ателье отворил элегантный молодой человек, зорко оглядевшийся по сторонам. Он был одет в самый модный костюм, на шее у него болтался сантиметр. Бесшумно ступая толстыми подошвами, он пошел вперед, указывая дорогу. Помещение, куда они вошли, было залом с широкой, выходящей на улицу стеклянной стеной. Заставленное обтянутыми шелком пуфами, с маленькими возвышениями в виде подмостков, с цветной легкой мебелью, оно походило на сцену, приготовленную для какой-то неизвестной церемонии. В одном углу на крохотных столиках рядами стояли дамские туфли из редкостной кожи и шелка. Пожилой лысый человек, с тихой и плавной речью, извиваясь,

как змея, показывал эту дорогостоящую обувь двум великолепно одетым, надушенным женщинам. Обуреваемые жаждой покупать и все-таки смущенные ценами, они вполголоса обменивались своими сомнениями.

В другом углу перед зеркалом стройная молодая девушка примеряла пальто. Маленький старичок продавец так и вился вокруг нее, по временам оборачиваясь к наблюдавшим за примеркой двум молодым людям, словно ждал решающего слова не от девушки, а от ее спутников. Немного дальше толстая, уже в летах, женщина с крашеными волосами шепталась с мужчиной и доставала из большого ридикюля крокодиловые и змеиные кожи. Или удивилась — никто из присутствующих не обращал внимания на остальных, все были заняты собой и не замечали окружающих.

Она уселась на предложенный мужем пуф; у нее было такое ощущение, что она попала на сборище какой-то загадочной организации. Вдруг, неизвестно откуда, вынырнул пожилой плешивый человек. Карои кинулся к нему с угодливой любезностью. Завязался тихий и таинственный разговор, к которому вскоре присоединился элегантный молодой человек, явно поддерживавший Карои. Или отлично видела, как ее муж достал сверкающее бриллиантовое колье и передал лысому незнакомцу. Тотчас начался упорный, негромкий, но очень энергичный спор. Или была ошеломлена — ее муж легко произносил земные, будничные слова, ловко и умело восхваляя достоинства колье, и вообще перестал быть парящим в облаках, надломленным существом иного, высшего духовного мира. Иногда он бросал на Или взгляд; в глазах его вспыхивал незнакомый огонек, как бы призывающий и других полюбоваться красотой его жены. Или сидела неподвижно, чувствуя, что это какая-то проба, что ее испытывают. Ей было нехорошо и стыдно оттого, что она оказалась свидетельницей унизительного торга, в котором Карои внезапно раскрылся как мелкий маклер. Ее вдруг охватил ужас перед множеством чужих людей, о которых она ничего не знает, кроме того, что все они что-то продают и покупают. Они говорили, брали, предлагали, двигались вокруг нее, напоминая ожившие восковые фигуры из какого-то паноптикума. Или стало противно, что ее муж принадлежит к их числу; когда они наконец вышли за дверь, Или молча, с опущенной головой зашагала рядом с ним.

Карои тотчас заметил, что происходит с нею. Он взял Или под руку, прижал к себе и, коснувшись губами ее уха, заговорил:

— Ты должна мне помочь, моя королева. Ты покоришь красотой лысого скрягу, и он заплатит втрое дороже за драгоценность, которую я ему предложил. Если говорить правду, она должна бы украшать твою прелестную шейку. Но ты и так восхитительна — любовь тысяч мужчин украсит тебя лучше, чем самый драгоценный жемчуг.

Или выжидательно молчала, и он продолжал:

— Я поступаю так же, как они... Ты ведь видела, как я блестяще торговался. Если я не хочу, чтобы меня привязали к письменному столу, я должен выглядеть похожим на обычных людей. Такова цена свободы и независимости. Но мне нравится, что я хитрее их. Мне нельзя...

Объяснение нисколько не удовлетворило Или: она увидела Карои совсем в ином свете, чем до сих пор. Слишком долго она признавала за ним превосходство, слишком много подчинялась и унижалась, подавляя естественную стыдливость, чтобы простить сегодняшнее оскорбление. Сидя безмолвно, как кукла на витрине, в этом странном салоне и поняв теперь из слов мужа, что вдобавок ко всему должна служить приманкой для старика спекулянта, она не на шутку испугалась. Снова всплыл перед нею образ матери. Она задрожала от желания броситься к ней на грудь. Или была слабым беззащитным существом; мать слишком оберегала ее от столкновений с суровыми сторонами жизни. Теперь, почувствовав себя

одинокой и несчастной, Или устремлялась мысленно в объятия матери, о которых думала уже, как о самом дорогом и навеки утерянном счастье. Пока она размышляла о том Карои, который раскрылся перед ней сегодня во время торга в салоне, сердце ее сжалось от страшного опасения: да есть ли вообще между ними любовь? В самом деле, любовь ли то, что она изредка — все реже и реже! — бывает очарована своим мужем, а все чаще и чаще унижена и оплевана; что, не понимая ни источника, ни причин его поведения, признает какую-то необыкновенную исключительность Карои.

С этого дня она начала внутренне сопротивляться.

Она уже не была прежней восхищенной слушательницей туманных разглагольствований Карои; с лица ее сошел блеск; широко раскрытыми глазами она смотрела на мужа, словно не слушала, что он говорит, а упорно старалась выяснить, что скрывается за его словами. В такие минуты Карои умолкал и бросал на Или дикие, враждебные взгляды — она мешала свободному полету его извращенной фантазии, лишала уверенности, что он может покорить рассудок другого человека, заставить склониться перед его властным разумом.

— Ну? Ну? — беспокойно спрашивал он и, блестя глазами, наклонялся к молодой женщине, чтобы заставить ее соблюсти их неписаный уговор. Но по лицу Или не скользил обычный свет, она отвечала насмешливой улыбкой, и он с досадой умолкал.

Однажды в декабре Карои попросил Или отнести маленький пакетик в одно из городских кафе и передать мужчине, что будет сидеть у столика рядом с колонной. Или знала, что в пакетике ценные ювелирные изделия, продажа которых запрещена, но отказаться не посмела. Карои, который так охотно говорил о свободе духа и своей принадлежности к существам высшего порядка, в денежных делах не терпел возражений.

Вернулась она из города дрожащая, с пылающим лицом. Карои начал расспрашивать, получила ли она деньги, но Или, не слушая его, бросила шляпу и сумку на стол и, ломая пальцы, принялась ходить взад и вперед по комнате. Карои внимательно посмотрел на жену; рука, которой он подносил ко рту горящую сигарету, и длинные полуопущенные ресницы дрогнули.

— Что с тобой случилось? — спросил он тихо, с напряженным ожиданием.

— Твой приятель сказал,— гневно крикнула Или,— что он дал бы за драгоценности больше, если бы я была с ним мила. И к такому человеку ты посылаешь меня... меня, свою жену?!

Карои не шевельнулся, но глаза его блеснули.

— Та-ак,— протянул он и оглядел Или с головы до ног странным взглядом,— значит, ты понравилась ему?

По лицу его пробежала гримаса, он с усилием собрал мускулы лица, словно удерживаясь от радостного смеха. Поднявшись, он обошел вокруг жены с таким видом, будто сквозь призму желания другого человека впервые разглядел ее красоту, и с обычным своим поясняющим жестом проговорил:

— Ты все еще не научилась понимать сложные явления жизни... Надо радоваться: твоя красота пробуждает желания... Древние жрицы считали желание самым священным и между дивными церемониями с языческой радостью жертвовали себя всем-всем, кто их желал, потому что наслаждение...

Он указал вверх, устремив на Или якобы восхищенный, а на самом деле подстерегающий взгляд, и рука со сжатыми пальцами остановилась

в воздухе, словно слишком много недоступного словам надо было ему выразить этим неопределенным жестом.

Или повернулась к нему с неестественно широко раскрытыми глазами. Она тоже глядела сейчас так, словно в первый раз видела Карои. С отрезвляющей брезгливостью, вызванной его словами, она увидела жалкую душевную и телесную бедность мужа. Уже не веря ни одному его слову, Или думала о том, что для Карои стала необходимостью эта унизительная и постыдная игра. Она поняла, что, притворяясь существом высшего порядка, он играет комедию только для себя самого; ее красота и чистота были важны и ценны потому, что возбуждали его убывающие силы.

Теперь Или знала, что, если откажется участвовать в том, что Карои называет искусством любви, он не простит ей своего поражения. Никогда еще она так остро не чувствовала, что ее обманули, одурачили. Сыграли унизительную, позорную комедию... мерзкий фарс... Надругались над ее доверчивостью, простодушным тщеславием, над сердцем, жаждавшим чистой, все существо наполняющей страсти.

Ее обжигала мысль, что она на всю жизнь запачкана и не сможет больше уважать себя. Она с отчаянием ощущала свое сиротство, свое одиночество и ужас перед неопределенным будущим. Ноги ее ослабели, она прикрыла лицо руками и медленно соскользнула на пол у стены.

Она задержала дыхание, положила пальцы на горло, чтобы втиснуть обратно слова, что рвались у нее из сердца, но не могла их остановить. Со стоном и жалобой у нее вырвалось:

— Мамочка! Мамочка!

Карои гневно, почти с ненавистью взглянул на безутешно рыдающую жену. Ее слова вызвали в его памяти женщину с тонким, бледным лицом, так отчаянно боровшуюся за свою дочь и так открыто высказавшую ему в лицо свое мнение, которого он не мог ей простить, потому что в глубине души чувствовал ее правоту. Теперь, через Или, которая была сейчас не женщиной, а трепетно и одиноко плачущим ребенком, мать, назвавшая его старым, нечистым эгоистом, все-таки победила.

Но Карои не желал признавать этой победы, разрушавшей его представление о самом себе.

Он прошелся несколько раз перед Или и с тихим смешком сказал:

— Ты все-таки тянешь меня назад... И ты... ты большая мещанка. Настоящая жизнь — не такая, как ты думаешь... Конечно, мало кто обладает необходимой свободой духа...

Или в ужасе слушала отрывисто падающие слова. Она не смотрела на Карои. Она и так знала, что он, уперев руку в бок, разгуливает взад и вперед по комнате, движением пальцев другой руки придавая словам недостающую полноту. Она читала на его лице жалкое самодовольство и желание обмануть самого себя.

...Снова перед ней возник образ матери, и слезы медленно потекли из глаз.

«Видишь, как я несчастна?» — спросила она мысленно у Илоны, и слезы заструились еще горячее. Ее грызло постыдное воспоминание о том, как легко и холодно оттолкнула она от себя безграничную материнскую любовь, об одной капле которой Или мечтала теперь, в темноте ночи, полной угроз. И все-таки мысль о действительной встрече с матерью она отбросила в ужасе. Посмотреть ей в глаза? Признаться в муках и позоре своего брака? Ни за что, ни за что. Она скорее призналась бы любому другому, только не Илоне, чей душевный мир был невозмутимо чист и ясен.

Этой ночью, дрожа от одиночества, она отчаянно искала те силы, которые помогли бы ей подняться из грязи, затянувшей ее душу.

Внезапно она встрепенулась и села, забыв, что может привлечь внимание Карои, который, наверно, тоже не спит и следит за нею. Не о Карои думала она сейчас. В ночной темноте перед Или возникло голубое сияние, и она вновь ощутила счастье, как в то июльское воскресенье, когда шла с Иштваном к блистающему, будто звенящему свету. Словно все выше и выше поднималась бегущая под ногами широкая и ясная дорога. Ослепительная синева неба, непрерывно колыхаясь вдали, звала их к какой-то незнакомой красоте, к осуществлению всего, чего жаждали их молодые и чистые сердца.

Да, в то воскресенье, в молчании невысказанных слов, в готовой излиться ласковой и милой нежности, возникла перед нею любовь. Еще не осознав этого, Или была счастлива, так счастлива, что, возвратясь домой, чуть не задушила мать в объятиях. Но Карои своей вкрадчивой властностью опять заслонил весь мир от ослепленной тщеславием Или.

Минувшие дни, словно звенья цепи, мелькали теперь в ее воображении. Никогда, кажется, не видела она Иштвана так отчетливо, как сейчас, когда он был от нее недосягаемо далек. Она видела его лицо, всегда обращенное к ней, его глаза, всегда излучавшие любовь и одновременно такие грустные. Или теперь читала на этом лице так, как читают надпись, начертанную неизвестными знаками, где каждый штришок раскрывается ценою горьких усилий. Она поняла, что предчувствие большой и неизменной любви всегда жило в ее душе, и, думая о матери, она одновременно думала об Иштване. Эти два одинаково сильных чувства, как две крепкие руки, поддерживали ее, чтобы она не погрязла в своей новой, непрочной и нечистой, ломающейся, как тонкая ледяная корка, жизни. Под этой тонкой коркой скрывалось удушливое одиночество, как под ледяным панцирем канавы — грязная вода и гниющие травы.

Она искала опору, за которую могла бы ухватиться, и вдруг вспомнила, что в первую ночь, проведенную в доме Карои, ей приснился Иштван. Сейчас, в момент отчаянного, скорбного, холодного одиночества, это воспоминание явилось перед ней во всей своей прелести, показывая, что́ она утратила, и одновременно утешая и придавая силы.

Прислонившись к спинке кровати, сжавшись в комочек, чтобы не напоминать о себе, спрятав лицо в раскрытые ладони, она просидела неподвижно до рассвета. За долгие часы бодрствования чувство полного одиночества не исчезло. Или страшилась грядущих дней, взглядов мужа и его друзей, которые вызывали у нее стыд и брезгливость. Но в глубине ее души возникло и укрепилось чувство, придававшее силы ее попыткам борьбы и сопротивления.

Так одинокое дерево освежает воздух и одним лишь своим присутствием придает смысл голому пейзажу, который без него представляет собой неутешную, скорбную, унылую картину.

К рассвету в душе Или укрепилось спокойствие. Правда, она еще нерешительно, со страхом смотрела на мир. Но уже знала, что несет в себе что-то новое и, если она хочет жить по-человечески, это новое нужно защищать. В эту ночь Или перестала быть ребенком и превратилась в женщину.

Карои тоже с трудом уснул в эту ночь. Ему пришлось заглянуть себе в душу, хотя он всегда старательно избегал этого. Будучи восприимчивым и умея анализировать не только чувства других людей, но и свои чувства, он, однако, уклонялся от таких наблюдений, направляя все

внимание на других, словно собственные обнаженные мысли напоминали о том, чего ему хотелось бы не знать.

За сопротивлением Или трудно было не почувствовать отчаяния и брезгливости. В глубине души Карои понимал, что Или уже боится его. Но, признаваясь в этом, надо было признать свое духовное и физическое банкротство. Он увильнул от отчета перед собой, но и в эту ночь, и впоследствии, когда с невольной трезвостью он думал о прошлом, один вопрос терзал его: где же он ошибся? Не обманул ли его теперь тот инстинкт, что так верно вывел Карои из бедности и нищеты?

Отец Карои — бедный железнодорожный путевой сторож — мечтал, чтобы сын стал начальником станции. Начальник в синей форме, который распоряжается в тесной конторе маленькой станции, в полдень этажом выше за кружевными занавесками съедает свой обед, охотится вместе с окрестными помещиками на зайцев и бекасов — такой начальник для людей, живущих на гроши, был живым воплощением знатности и власти. Денеш старался учиться, учитель восторженно хвалил его острый ум и восприимчивость. Мальчик окончил с отличием гимназию в ближайшем городе и оттуда, при поддержке директора гимназии, а точнее — его жены, попал в университет, в Пешт. Сначала он давал уроки, чтобы немного округлить маленькую сумму, получаемую из дому. Позднее деньги стали ему доставаться иными путями, очень легко.

Карои интересовал философский факультет, но выбрал он юридическую карьеру. Его побудило к этому яростное желание выбиться в люди. Вопреки своей склонности к философствованию, Карои рано понял силу денег и рассудил, что в качестве юриста быстрее заложит основы своей материальной независимости.

В университете Карои старался избегать необеспеченных студентов. Он относился к этим беднякам с участием чувствительного человека, но, испытав на собственной шкуре, что значит из года в год голодать, ютиться в нищенских меблированных комнатах, отказывать себе во всем, не желал соприкасаться с бедностью. Он упорно старался попасть в компанию богатых юношей, в круг аристократов. Однако они отстранялись от него, так же как он — от себе подобных. Карои не смутился. Он понимал — надо как-то выделиться из общей массы студентов, заставить обратить на себя внимание, и достиг этого путаными, но многозначительными проповедями о свободе духа, личности и любви. Он быстро наловчился изумлять приятелей манерной изломанностью поз и речей, глубокомысленной задумчивостью, туманными рассуждениями о свободе личности и языческих радостях жизни. Ему хотелось в качестве равноправного члена общества участвовать в развлечениях высокомерных и беззаботных юношей — на самом деле он стал для них своего рода шутом. Закрывая глаза на свое унизительное положение, Карои тешился тем, что он художник, творит в кругу восторженных слушателей, причудливо рисуя картины новоязыческого общества, где торжествует свобода человеческого духа.

В ту пору он еще верил в свои многообразные таланты. Он пробовал все. То делал эскизы странных картин в китайском и японском стиле, о которых нельзя было сказать — закончены они или нет. Первые две привлекли внимание зрителей, воображение которых дополнило неопределенные, теряющиеся в пространстве, расплывчатые линии. Но десять близнецов, десять повторявших друг друга полотен выглядели как оборвавшаяся тропинка, которая никуда не ведет, а только удручает и лишает мужества доверчиво шагающего по ней путника.

Отказавшись от живописи, Карои с невиданной быстротой научился играть на рояле. Часами он сидел за инструментом в квартире то одного, то другого приятеля; пальцы его мечтательно перебирали клавиши.

Полагая, что подражает великим композиторам, он наигрывал приятные, ускользающие мелодии. Однако, занесенные на нотную бумагу, эти маленькие импровизации теряли все свое очарование и легкость.

Больше всего Карои верил в свой писательский талант. Однако, когда он пробовал сосредоточиться и записать свои мысли — они внезапно разбегались из-под пера. То, что оставалось на бумаге, оказывалось вымученным оригинальничанием. Карои долго не сдавался, верил, что в нем что-то складывается, созревает и в счастливый момент неожиданно прорвется наружу. На эти формирующиеся, готовые вот-вот родиться откровения он часто намекал своим друзьям в неопределенных полуфразах, которые обладали всеми свойствами дыма: колыхались вокруг расширяющимися кольцами и бесшумно таяли в воздухе.

Аристократические друзья Карои относились к нему со снисходительным презрением; многие, впрочем, находили его забавным. Среди уличных женщин он выискивал для них наиболее интересных, которых представлял в словах, полных почтения, целуя край их платья и говоря с ними, как с приносящими жертву жрицами любви. Его самого восхищала и опьяняла собственная фантазия, а вольные выражения Карои развлекали его слушателей.

Приятельские отношения с богатой молодежью приносили Карои весьма практические плоды. С помощью своих обеспеченных друзей он завязал полезные знакомства и был принят в нескольких домах, где легко добился милостей немолодых, но влиятельных женщин. Элегантную внешность и интересное лицо юноши замечали многие дамы. Соразмерно своим успехам он начал располагать все большими и большими деньгами. Однако он еще долго не отказывался от родительской помощи.

Временами он наезжал домой. Со странным интересом наблюдал за родителями, рано постаревшими, изломанными работой людьми, с которыми его уже ничто не связывало. Впрочем, он искренне сожалел, что они живут в такой бесконечной дали от его чувственного и духовного мира. Стариков приводило в замешательство испытующее, жалостливое внимание сына. Они чувствовали, как увеличивается расстояние между ними, и не находили этому ни причин, ни объяснений. Они лишь вздыхали: было бы приятнее, если бы вместо образованного, но чужого человека, вслух анализирующего тайны их несовершенного ума, в гости домой приезжал добрый сын, который с естественной простотой входил бы в их жизнь.

К концу университетского курса, после тысячи попыток, Карои понял: никогда и ни в какой области из него не выйдет художника. Напрасно он пытался проникнуть в искусство кистью, нотными знаками, пером: волшебный и желанный мир не открывался. Но и юристом он был плохим; несмотря на сильно развитое практическое начало, было в Карои нечто расплывчатое, смутное, какая-то непреодолимая нерешительность, которая отпугивала бы будущих клиентов, ищущих в юрисконсульте совсем иные качества. Зная за собою все это и пытаясь спасти чувство собственного достоинства и духовного превосходства, Карои принялся создавать для себя новую жизненную философию.

Истинный художник, говорил он, тот, кто делает произведением искусства собственную жизнь, кто рассматривает, наблюдает, каждую минуту ощущает бесконечность и великолепие своего сложного, многогранного существа. Но даже эта сомнительная философия пригодилась Карои лишь для того, чтобы сложить ее к ногам своих стареющих приятельниц...

Не доучившись в университете последний семестр, Карои попал в министерство иностранных дел. Его должность была невелика, но он ловко справлялся с некоторыми делами о гражданстве, и у него всегда

водились деньги. Войну, по словам самого Карои, он пережил как страдающий гуманист, однако в полной безопасности, не отказываясь от удобств и развлечений. В начале войны он женился; жена, старше его на десять лет, происходила из весьма высокопоставленной семьи. У жены была возможность освободить его от военной службы.

Шло время, и становилось ясно, что война закончится полным поражением фашизма. Карои был умен и осведомлен. После окончательной победы Советской Армии он начал находить свою высокопоставленную жену неудобным, висящим на шее грузом. Он опасался за свою должность в министерстве, опасался потерять те преимущества, которые давало ему его рабочее происхождение. Можно было напомнить и о бесконечных разглагольствованиях насчет свободы человеческой личности — пусть это говорилось в другом смысле,— чтобы теперь легко признать себя сторонником пролетарской диктатуры. Кстати, он готов был находить ее прекрасной, он восторгался красотой ее законов, исправляющих общественную несправедливость, он принимал ее полностью при одном условии, однако: на него самого все это не накладывает никаких обязанностей! Жена Карои, испуганная неопределенностью своего положения, попыталась смиренно приспособиться к нему, но Карои это совершенно не устраивало. Он сделал еще одно или два не слишком джентльменских усилия и добился того, что женщина не выдержала и ушла, оставив ему новую, более скромную по сравнению с прежней, но все же исключительно удобную квартиру. Из министерства Карои все-таки удалили. Он не испугался, только решил быть осторожнее и заранее прикрыть себя хорошими связями и справками.

Он немного постарел и истрепался. В скверные дни мелькала тоскливая мысль о том, что при другом образе жизни и из него могло бы что-нибудь выйти в этом новом мире, опирающемся на народную власть. Впрочем, он не позволял себе размышлять об этом и сохранял позу человека, свободного духом и наслаждающегося жизнью. Правда, он растерял большую часть восторженных зрителей, необходимых ему, чтобы не упасть с высоты, на которую он себя вознес, а деловые партнеры знали его совсем в другом качестве. Противоречие между показным артистизмом Карои и его поразительно трезвой практичностью в деловых отношениях вызывало у них понимающие, но пренебрежительные улыбки. Они считали Карои комедиантом, хотя, как и он, жили посредничеством от продажи драгоценностей и контрабандных товаров.

Женщины, которые раньше так много и охотно помогали Карои, постепенно освобождались от власти его обаяния. Он не желал замечать угрожающих признаков ранней старости; ему был необходим безусловный восторг и восхищение. Страх, что он в конце концов окончательно потеряет молодость и предстанет перед женщинами как жалкий болтливый паяц, еще больше обострял его самомнение.

Именно в это время он встретился с Или. Опытным взглядом и тонким чутьем он сразу угадал кроющиеся за ее красотой и гордостью наивное невежество и невинность. Эта нетронутость захватила Карои. Он почувствовал себя скульптором, который может вылепить из мягкого, прекрасного, послушного материала все что захочет. Красота и чистота Или зажгли в нем огонь, суливший вернуть растраченную молодость. Все то, что в этой победе над наивной девочкой следовало считать безобразным и низким, Карои прикрывал перед самим собой рассуждениями о том, как он, зрелый мужчина, с королевской щедростью обучит эту молодую девушку истинной, тонкой и сложной, многообразной науке любви. Он сначала колебался, связывать ли ее жизнь со своей. Он был скуп, привык тратиться лишь на себя, и внебрачная

связь, не накладывавшая на него никаких обязательств, устраивала его наилучшим образом. Но после знакомства с Илоной он изменил свое решение.

В этой тихой, увядшей женщине, его ровеснице, он почувствовал врага. Мать, несмотря на всю свою неопытность, материнским инстинктом почувствовала, что Или попала в опасные руки. Она открыто объявила, что считает Карои старым и недостойным своей дочери. Это неприкрытое, упорное сопротивление вызвало у него желание отомстить. С любопытством проверяя свое знание людей, он вступил в поединок с наивной матерью и легко победил ее. Чтобы доказать этой женщине, насколько он сильнее, Карои, в конце концов, с тайным раздражением и внешним удовлетворением окончательно отобрал у нее дочь. Впрочем, брак этот не взвалил на него никакого груза. Или, чудом попавшая ему в руки, ничего ему не стоила, он мог на нее не тратиться.

Однако та самая неиспорченность, которая очаровала Карои, теперь угрожала его счастью. Невозможно было не заметить, что Или не считает его больше существом высшего порядка и намерена вырваться из той искусственной атмосферы, без которой сам он уже не мог существовать. Он с ужасом думал, что, если он потеряет Или, сломается и его мир и он окончательно опустится до роли жалкого, старого комедианта, кривляющегося перед самим собой, когда у него нет публики...

После разговора с Анной Илона несколько дней жила в странном отупении. Едва осмеливаясь взглянуть на девушку, она теперь все чаще ловила на себе ее взгляды и много думала о ней дома. Иногда Илоне казалось, что Анна оклеветала себя. Но стоило только вспомнить ее горящие темной ненавистью глаза, ее дрожащие губы и рвущийся из глубины прерывистый голос, как становилось ясно: все сказанное — правда. Она чувствовала себя неопытной рядом с этой худенькой девочкой, ей было стыдно, что она так плохо знает жизнь. Пожалуй, лучше всего отстраниться, не добиваясь больше доверия Анны. Впрочем, и останавливаться на полпути, обладая печальным признанием девушки, было немыслимо. Надо действовать, надо действовать! Но как?

То, что теперь Илона владела тайной Анны, с часу на час усиливало ее беспокойство. Ей казалось, что, размышляя, она теряет время и упускает что-то очень важное. Не поговорить ли с Селлнэ? Но ведь Анна призналась только ей; она не вправе стряхивать со своей души этот тяжелый, гнетущий груз.

Наблюдая в цехе за Анной, Илона замечала, что та просто возненавидела ее теперь, когда она невольно узнала ее тайну. Нет ни малейшей возможности подойти к ней, вступить в разговор. Впрочем, иногда Илона вспоминала высокий дрожащий голос, сопровождаемый всхлипыванием, и снова слышала горький вопрос: «Что вы хотите от меня? Вы тоже хотите меня обидеть?» И этот голос, и упрямство, с которым Анна бежала от человеческого участия, были, пожалуй, только защитной маской, за которой билась большая детская тревога.

Илона снова начала следить за Анной, которая в свою очередь наблюдала за ней. Эти взаимные беглые взгляды показывали, что между ними остались нерешенные вопросы. Но решить их было непросто. У Илоны ныло сердце, когда Анна секретничала с Рози, торжествующе и с издевкой поглядывая в ее сторону. В обеденный перерыв она исчезала, и Илона знала, что она вместе с Татаром пропадает на складе песка, за деревянным забором. Илону все сильнее мучил страх, будто она упустила что-то важное.

В конце недели в цехе заговорили о том, что не мешало бы навестить старого Данко — он уже третий день хворает. Илона удивилась, только в эту минуту сообразив — ведь уж несколько дней другой рабочий подносит ей материал и увозит на тачке отходы. Правда, она не любила старика и за несколько месяцев работы едва перекинулась с ним десятком слов. Ее почему-то охватывало неприятное чувство, когда она глядела в невыразительное лицо и мутные глаза Данко. Однако она ничего не сказала, когда женщины решили, что навещать его пойдет она. Илона понимала, что для других это непосильная нагрузка. Ведь многие после смены спешат к отходящему точно по расписанию поезду, другие бегут покупать продукты, готовить обед или торопятся в детские сады, ясли. Селлнэ, которая охотно навестила бы старика, надо было бежать за внучкой. Одна Илона была одинока, ее не ждали ни семья, ни муж, ни дети, ни внуки; естественно, что навестить больного поручили ей.

Она отправилась после смены. Купила небольшой пакетик печенья, положила в сумку и, зябко поеживаясь, села в трамвай. Стемнело. Из мягких, серых туч крупными хлопьями падал снег и, будто скользящая по лицу слеза, неслышно таял на блестящей, мокрой мостовой.

Данко жил на окраине города, в Пештэржебете, в побеленном по-деревенски домике, окруженном цепкой грязью. Все строения здесь были разбросаны как попало, повернуты друг к другу то боком, то задней стеной, словно, запутавшись, потеряв цель и направление, они вслепую спасались от приближающегося города с его играющими в электрическом свете рельсами, заводскими трубами и многоэтажными зданиями.

Поколебавшись, Илона вошла во двор. Она нажала щеколду двух дверей, но ни одна не поддалась. Никого не было дома. В глубине двора одиноко жался крохотный домишко; из его маленьких окошек падал неверный тусклый свет, похожий на взгляд старчески-слезящегося глаза. Илона почувствовала, что Данко надо искать именно здесь.

Перешагнув порог, она сразу очутилась в комнате. На покореженном дощатом полу у нее подвернулась нога. При слабом свете электрической лампочки она увидела черную железную печурку, низкий крестьянский комод, потемневшую деревянную кровать, на которой под полосатой периной неподвижно лежал старый Данко и, казалось, даже сейчас смотрел на нее недоверчиво и с упрямой антипатией. Илона не вытерпела; едва поздоровавшись, она взобралась на деревянный стул и перчаткой стерла пыль с лампочки. Стало заметно светлее. Старик на секунду прикрыл глаза, словно с трудом вынося усилившийся свет. Илона только теперь заметила прикрепленную к стене полку, на которой стояла кастрюля и лежало несколько крышек. Вся остальная посуда валялась немытая у печки.

Из мебели в этой маленькой комнате было лишь самое необходимое. Едва войдя, Илона начала мерзнуть — уж очень тут было неуютно. За железными стенками черной печурки не горел огонь. Грязные горшки, тарелки, чашки — все, казалось, было здесь сдвинуто с места. От покосившихся стен и старой мебели, от беспорядочной груды домашней утвари исходило сжимающее сердце унылое одиночество.

Она не знала, что сделать, с чего начать. Неловко, застывшими от холода пальцами открыла пакетик с печеньем, положила его на угол стола и с негнущейся спиной села на стул, пододвинув его к крепкой, короткой кровати.

Прикрытый до плеч Данко лежал под периной. Тусклые, безжизненные волосы, даже теперь словно полные пыли, обрамляли его изборожденное сухими морщинами лицо. Рот под усами слегка растянулся;

приоткрылись основания почерневших, щербатых зубов. Глаза под морщинистыми веками подозрительно уставились на гостью.

— Что с вами, дядюшка Данко? — спросила Илона, невольно переходя на фамильярное, такое обычное в цехе обращение.

Данко некоторое время не отвечал, словно раздумывал, стоит ли разговаривать с этой чужой женщиной, затем едва слышно вздохнул.

— Ревматизм... ломает всего...

— А врач? Был врач? Что он сказал? Ничего не прописал? — быстро спросила Илона, чтобы не потерять тему, подвернувшуюся для разговора.

Данко ответил лишь пожатием плеч и, казалось, под периной махнул рукой, как человек, уже перепробовавший самые разнообразные лекарства и ни в одном из них не видящий пользы.

Илона молча смотрела на незнакомого маленького старичка, в глазах которого теперь вместо горькой, пугающей ненависти виднелся немой, беспокойный упрек. Тусклый, неопределенный взгляд осторожно ощупал ее с головы до ног, оставив ощущение, будто по лицу проползла больная божья коровка. Данко с трудом вздыхал, словно на груди его под периной лежал камень в центнер весом. Подавленная этим безнадежным молчанием, Илона уже хотела подняться, но почему-то осталась и даже попыталась найти слова, чтобы нарушить холодную тишину.

Она снова огляделась, и ее опять поразила исходящая от стен комнаты, от покрытой серым бельем кровати печаль одиночества. Она почувствовала вдруг каменную тяжесть, что давила, сжимала грудь старика. Встав со стула, она сделала беспокойный круг по комнате, в которой, как отдаленное эхо, прошуршала ее юбка, затем снова села у кровати и, наклонившись к Данко, тихо спросила:

— У вас никого нет?

Старик закрыл глаза, тем самым сказав «нет», будто словами невозможно было выразить такое полное одиночество. Когда он снова взглянул на Илону, в его взгляде светилось странное ожидание.

— А соседи... у вас нет соседей?

Данко пожал плечами.

— Одна женщина... но вроде гулящей... ее никогда нет дома.

У него еще больше перекосилось лицо, голова беспокойно шевельнулась на подушке.

— Очень ломит? — с участием спросила женщина.

— Я привык... — ответил Данко хриплым голосом, в котором снова зазвенел невыразимый упрек. — Каждый год на меня нападает, потом снова проходит.

— Вам нужна теплая комната!

Она неслышно встала, опустилась на колени перед печуркой и развела огонь. Вспыхнувшее пламя осветило напряженно-внимательное лицо Данко, окрасив розовым светом безжизненную бледность желтой кожи. В потеплевшем воздухе стал ощутим запах грязной посуды. Илона схватила эмалированное ведро, принесла со двора воды и поставила ее в миске на печурку; теплой водой вымыла тарелки, чашки, кастрюли. Помещение наполнилось ее движениями и сверканием выстроившейся на полке красной, синей, белой посуды.

В маленькой коробочке она нашла чай. Снова поставила воду на огонь и, сплетя руки, принялась ждать, когда она закипит, чтобы заварить чай.

— Была у меня жена, была... — проговорил неожиданно Данко таким тонким, дрожащим голосом, что Илона удивленно подняла голову. — Уж шесть лет как умерла, шесть лет.

Женщина налила чай в кружку и, подойдя к больному, после легкого колебания подложила ему ладонь под затылок.

— Пейте, — сказала она и поднесла кружку к его губам.

Данко медленно глотал. Глаза его, наблюдавшие за Илоной, несколько раз прикрылись. Потом, снова откинувшись на подушку, он повторил:

— Шесть лет как умерла.

— Значит, — глянула на него женщина, — вам не только от ревматизма больно.

Данко шевельнулся, словно пальцы врача неожиданно коснулись раны, которую он скрывал; тем не менее то, что ищущие, тонкие пальцы наконец нашли эту рану, принесло ему облегчение.

— Она была очень хорошей женщиной, — проговорил он,— очень хорошей женщиной.

Пламя взметнулось в печке, осветило дрожащим светом лицо Данко, на котором было странное, почти умоляющее выражение.

— А... какая она была? — спросила Илона, ясно почувствовав, что он хотел от нее услышать именно этот вопрос.

— Тридцать восемь лет я знал ее, — ответил Данко быстро, и речь его с трудом протискивалась сквозь щербатые зубы. Вертя головой, он задвигался, беспомощно ища слов, которые бы точно выразили его мысли.— Тридцать восемь лет, — повторил он с ударением, чтобы заставить ее почувствовать, как долго они жили вместе и на основании какого длительного опыта он говорит о жене те слова, больше и прекраснее которых сказать не может.

Он посмотрел на потолок и вдруг снова заговорил, торжественно и серьезно:

— Она была деревенской девушкой и умела очень красиво петь...

Данко вытащил тощую, жилистую руку из-под своей перины и беспокойно потер морщинистый лоб. Только теперь Илона заметила, что на нем надета лишь тоненькая рубашка. Она подошла к комоду, открыла ящик и принялась перебирать все, что там было. В конце концов она нашла одну рубаху с подшитыми рукавами и старомодные, длинные кальсоны.

— Одевайтесь, ну-ка, одевайтесь! — ободряюще сказала она. — Я помогу вам, если не справитесь один. Ночью комната выстудится, вам надо быть в тепле.

Данко смущенно глядел на нее и не двигался. Илона тоже почувствовала неловкость и замешательство, она давно отвыкла от хлопот и забот о мужчине. Но нерешительность старика ее растрогала. Она улыбнулась и усадила его, как ребенка.

— Ну-ка, раз-два, сейчас нечего стыдиться.

Ловкими, проворными пальцами она натянула на него теплые вещи. Данко, охая и вздыхая, поднимал свои жилистые руки, покорно поворачивал иссохшее тело, показывая белые голени, испещренные синими веточками разбухших кровеносных сосудов.

Когда он, довольный, откинулся на спину, в уголке его рта пряталась лукавая, как у ребенка, улыбка. Это сделало лицо старика особенно беспомощным. Илона тоже улыбнулась. У нее было легко на сердце, она присела возле кровати, тишина и молчание уже не казались гнетущими.

Илона не знала, сколько времени просидела она у кровати старика. Наконец она поднялась, чтобы идти домой. Перед уходом собрала грязное белье, связала в узелок и повесила себе на руку.

— Я выстираю, — сказала она и взялась за ручку двери.

Данко неподвижно глядел на нее, в глазах его стоял неприкрытый испуг.

— Я приду в воскресенье, — тихо, ободряюще сказала Илона.

По дороге домой она ощущала ту легкую приподнятость, которая охватила ее еще у постели Данко. Теперь ей было странно, что она до сих пор не понимала застывшей в глазах старика боли и не находила слов, чтоб нарушить его горькое молчание.

В воскресенье, в обеденное время, Илона снова появилась в комнате Данко с корзиной в руках. Она принесла мясной суп и вареное мясо под соусом. Напряженно-внимательное лицо Данко прояснилось, посветлело, когда Илона открыла дверь; видимо, он лишь наполовину верил в ее обещание прийти и теперь почувствовал облегчение, что его не обманули.

Илона с удивлением обнаружила, что в маленькой печурке весело полыхает огонь, отбрасывая золотые блики на пол. Она вопросительно повернулась к Данко, на лице которого еще больше разбежались морщинки, а усы шевельнулись в улыбке.

— Я растопил, я сам.

— Значит, вам гораздо лучше! — вскричала, обрадовавшись, женщина.

Она хотела сесть у кровати в ожидании, пока на печурке подогреется суп, но глаза Данко остановили ее. Он пристально, не отрываясь, смотрел в одном направлении, и Илона невольно проследила за его взглядом. На уголке стола, накрытого на этот раз скатертью, в розовой папиросной бумаге лежали два пирожных с кремом. Данко вытащил руку из-под перины, указал костлявым пальцем на пирожные и торжественно сказал:

— Это вам!

Илона не знала, как попали сюда добела обсыпанные сахарной пудрой пирожные. Возможно, их принесла соседка или за ними сбегал заглянувший к старику соседский ребенок. Но она не спрашивала. Она заботливо прикрыла их папиросной бумагой, колеблясь, принять подарок или нет. Но Данко, глядя на нее сияющими от радости глазами, проговорил:

— Кушайте!

Не отрывая взгляда от женщины, он следил, как она отщипывает двумя пальцами осыпающиеся кусочки, как справляется с вываливающейся начинкой. И несколько раз повторил, качая головой в такт собственным словам:

— Вкусное пирожное. Говорят, это самое вкусное, какое только есть в кондитерской.

— Ну, а теперь я буду вас угощать, — улыбнулась женщина. Чистым полотняным платком она покрыла перину, поставила на нее тарелку.

— Ешьте.

Данко, собрав морщинами лоб, медленно подносил ложку ко рту и хлебал суп.

— Очень хороший суп, — сказал он, откинувшись на подушку. — Вы варили?

— Я.

— Я так и знал, — ответил Данко. — Давно не ел такого супа, давно, — и, словно это было естественным продолжением фразы, после маленькой паузы продолжал: — Вот ломаешь себе голову, как это бывает: ходит, хлопочет жена, а на другой день ее уже нет, совсем нет. Нигде. И не с кем добрым словом перемолвиться. Потому что каждый занят своим, а одиноких людей и не замечают, будто их и нет.

Илона встряхнула головой и улыбнулась старику.

— А если и другой ждет доброго слова? — спросила она.

— Да, да, — кивнул старик и, нахмурив брови, задумался над ее словами. Пока Илона наводила в комнате порядок, мыла посуду, он снова заговорил таким же тонким, как вчера, дрожащим голосом:

— Я хотел стать квалифицированным рабочим, да не вышло. Не было у меня настойчивости, чтобы учиться. Быстро нужны были деньги,

много было братьев и сестер, старики мои не могли одни выдержать, нуждались во мне. Ну, после войны мне говорили: иди, Данко, учись, — да стыдно показалось. Куда, мол, старику за книжку садиться! А сейчас я действительно постарел и горько жалею, что не учился. Плохо, когда из человека ничего путного не выходит. Ну, да теперь уж все равно, как-нибудь пройдет года два...

Он замолчал и после глубокого вздоха, отвернувшись к стене, высказал мысль, до краев переполнявшую его:

— Если б моя жена была жива...

Илона неслышно села на край постели. Она думала, что старик плачет, и боялась побеспокоить его. Но Данко почувствовал ее близость и повернулся к ней. С глаз его словно сошла муть, он ясно, спокойно и приветливо взглянул на Илону.

— Какой человек был ваш муж? — спросил он тихо, совсем мягко.

Илона поняла, что он задал этот вопрос из благодарности. Он давал возможность ей, вдове, поговорить о своем горе, пожаловаться и выслушать обычные, простые, но приятные и облегчающие слова утешения. Она это поняла, но все же вопрос ударил ее прямо в сердце. Из мглы прошлого выплыло лицо слесаря Антала Мерли, костистое, бледное, неясное и все-таки знакомое, и ей снова показалось, что он похож на Мартона Данко, хотя у них не было ни одной общей черты лица.

— Он был хорошим человеком, — невольно сказала она и медленно вздохнула. — Очень хорошим был человеком.

— Человек привыкает к горю, — ответил Данко. — Привыкает...

Он протянул ладонь. Илона поняла, что он ищет ее руку. Неловко и смущенно она отодвинулась подальше, но старик не заметил этого движения и легко сжал ее тонкие пальцы. Неподвижно и бережно держал он их в жестких, шершавых, мозолистых ладонях, торжественно переживая это редкое мгновение счастья, когда он чувствовал, что уже не одинок, что его могут утешить и он может утешать. Илона снова придвинулась поближе, чтобы ему было удобнее держать ее пальцы, и больше не шевелилась, хотя рука и поясница ее заныли от неловкой позы. Но она забыла об этом, потому что мысли ее витали в прошлом, она думала о муже, о котором за годы своего вдовства так мало вспоминала.

Теперь она отчетливо видела перед собой большого человека с сутулой спиной, который исчез столь же тихо и незаметно, как и жил подле нее.

Он женился на ней по любви, заранее примирясь с тем, что ничего не получит взамен. Внешне Илона была заботливой женой, аккуратно следила за его бельем, неизменно ждала со вкусным обедом и ужином, но душа ее всегда замыкалась перед ним. И теперь, пока ее рука лежала в ладонях старого Данко, ей вспомнилось, что муж никогда не спрашивал, почему она такая тихая, грустная, и она не знала, о чем он думал, когда, сплетя костлявые пальцы, сидел в углу или у стола, наблюдая за ее неслышной суетой. Она жила рядом с ним, едва зная его, и следила лишь за тем, чтобы муж не узнал о давней любви, скрыто, но неугасимо жившей в ее сердце.

Илона отклоняла все высказанные и невысказанные слова, которыми он хотел коснуться ее сердца. Много раз она замечала его взгляд, похожий на взгляд Данко, только у мужа он был мягче, покорнее. Но она не могла и не хотела понять его. Предоставила его самому себе и сама осталась одинокой. Даже помешала ему быть счастливым отцом — ведь она любила Или как избранное существо, словно та была рождена от Лали, и в конце концов сама поверила в это. Муж едва осмеливался вынуть дочку из колыбели своими большими руками, как будто та была маленькой принцессой, которую нельзя попросту приласкать.

У кровати Данко Илона окончательно поняла, что в ее затаенной любви было что-то надуманное, фальшивое. Теперь ей было ясно, что не только запрет отца удерживал Лали от женитьбы на ней, но и его собственный эгоизм. Он не захотел уйти из своей среды, чтобы примкнуть к тому классу, к которому принадлежала она. Больше того, уже решив порвать с нею и даже назначив день разрыва, Лали склонял ее пожертвовать ради него честью.

Впервые у нее возникла презрительная жалость к Лали. Еще страдая, но уже все поняв, она по собственной воле освобождалась от чувства, замкнувшего ее в долгом одиночестве. Словно после длительного пути она вернулась домой, к собственной жизни, к подлинным воспоминаниям прошлого. Неизвестное доселе чувство, привязывавшее ее к Селлнэ, Данко, Луйзи, Анне и другим товарищам по цеху, пробудило эти потускневшие воспоминания и заставило переосмыслить прожитую жизнь. Илона еще не знала, каким именем назвать возникшее в ней ощущение, но не ломала над этим голову. Она лишь знала, что в душе почувствовала умершего мужа таким близким, как никогда при его жизни. Впервые после долгих лет на глаза навернулись слезы, пока она вспоминала о его доброте, о тихом терпении и невысказанных словах любви.

Когда Илона подумала, что старика Данко сморил сон, она неслышно надела пальто и взяла в руки корзину с порожней посудой. Но Данко не спал. Он внимательно следил за каждым ее движением. Илона, шепотом пожелав спокойной ночи, уже открыла дверь. С усилием приподняв голову и опершись на локти, Данко сказал ей те же слова, которыми отзывался о покойной жене:

— Вы хорошая женщина! Очень хорошая женщина!

Анне, выросшей в приюте, было девять лет, когда она попала к Бела Кантору и его жене. Она смутно помнила своих покойных родителей, и даже не их лица, а голоса, прикосновения, жесты. Вспоминая о них с закрытыми глазами, она ощущала какое-то несказанно-хорошее тепло, которое одинаково ласкало душу и тело. Собственно, Анна не считала себя несчастной, но она всегда бессознательно искала это тепло, чтобы погрузиться в него и забыть о невыразимой, страстной тоске, от которой она не могла избавиться с самого раннего возраста.

Когда руководительница приюта показала девочку Канторам и те начали вертеть ее, ощупывать волосы, лицо, руки, у Анны от волнения сжалось сердце. Она очень хотела, чтобы и у нее были родители, была мать, как у тех девочек, вместе с которыми она ходила в школу и которых ждали на улице после уроков.

Во время этого осмотра она старалась задержать дыхание и покорно крутилась с робкой, льстивой, услужливой улыбкой. Любой ценой ей хотелось понравиться. Она пыталась сделать это с неловкой хитростью. Заведующая похвалила ее серьезность, послушание. Из-под полуприкрытых, дрожащих ресниц Анна смиренно и жадно следила за пришельцами, а на лице ее прочно застыла будто нарисованная, скромная улыбка. Затем Канторы отошли и начали шептаться, поглядывая на Анну, но не замечая ее улыбки, словно обоих интересовало не лицо их будущего ребенка, а что-то совсем другое. Они ушли, ничего не сказав девочке, и Анна впервые испытала горькое разочарование. Она стала угрюмой, пасмурной, какой ее еще никогда не видели в приюте. И до появления Канторов она не очень-то верила в себя, а тут в ней надломилась затаенная надежда, что и ее можно любить так, как любят других девочек их отцы и матери. О том, какими людьми могут оказаться Канторы, она совсем не думала. Низкий лоб мужчины, его седоватые волосы, тупой нос, большой, высту-

пающий вперед подбородок, морщинистое, потасканное лицо и жалобный голос женщины не отпугнули ее. Когда она стояла перед ними, ее охватило счастливое смирение. Она уже ничего не видела, кроме новых отца и матери, которых готовилась полюбить всем сердцем.

А через несколько дней Канторы пришли вновь, чтобы увести ее с собой, и от счастья у нее закружилась голова. Она торжественно шагала между ними по улице. Пальцы ее онемели от волнения, но она ни на мгновение не выпустила рук своих нареченных родителей, а согнутые в локтях руки держала неподвижно, так, как держат свои наполовину раскрытые, неуклюжие крылья пробующие летать птенцы.

Маленькая чистая квартира на третьем этаже дома по улице Кавич, состоящая из комнаты и кухни, совсем обворожила ее. Она восторженно разглядывала старомодную мебель, две большие сдвинутые вместе деревянные кровати, зеркальный шкаф, стол, стулья с жесткими спинками, покрашенную серебряной краской печку. Тонкими, осторожными пальцами дотрагивалась до плюшевой скатерти, диванных подушек и дрожала от волнения, думая, что будет здесь жить.

Уже в первый день где-то в глубине души она почувствовала, что ее жизнь теперь не будет принадлежать ей. Но она не протестовала, ведь она всегда страстно желала одарить кого-то своей преданностью и теперь с великим старанием начала службу, которую от нее требовали.

Канторнэ было пятьдесят четыре года, но, страдая какой-то женской болезнью, она выглядела значительно старше своего возраста. В глазах ее постоянно таился страх, и, готовя обед или праздно сидя в комнате, она тихонько стонала. Она боялась мужа, боялась, что, когда ей станет плохо, около нее не будет никого, кто мог бы помочь ей; поэтому Анне, когда та возвращалась из школы, всегда надо было находиться поблизости от новой матери. Вставала девочка рано утром, согревала воду для умывания Канторнэ, готовила для всех завтрак и только после этого с сумкой за спиной отправлялась в школу.

Взрослые заботы отдалили ее от детей. Она непрерывно думала, есть ли дома соль, паприка, мука, не надо ли приемной матери тащиться по лестнице с третьего этажа в магазин. Очень редко случалось, что недоставало редьки к супу или горчицы к мясу. Но в такие минуты Кантор багровел, его широкое, твердое, с мясистым носом, с седоватыми щетинистыми усами лицо почти пылало, он ударял по столу кулаком и сквозь желтые от табака зубы негромко, но ясно, с опытной уверенностью разбрызгивал отвратительные ругательства. Канторнэ заикалась и дрожала, пока ее муж маленькими, сверлящими глазами пристально глядел на нее, словно следя, попадают ли в цель его гнусные слова. Анна слушала, не поднимая век. Ей было жаль мать — она знала, что та больше всего боялась таких сцен. Потом Анне всегда приходилось повязывать ей на голову мокрую тряпку. Но Анна жалела и отца, которому, как ей казалось, еда доставляет очень большую радость. И как же мало нужно, чтобы после тяжелой работы он эту радость ощущал!

Кантор никогда ее не бил. Все же она боялась его, потому что смутно догадывалась о могучих, готовых прорваться страстях, и не только тогда, когда он взрывался из-за мелочей. Она боялась его и в то же время жалела, сердцем угадывая, что этого сильного, по-военному властного человека, который дома одним словом, одним взмахом руки приводит их в трепет, — где-то, кто-то обижает и унижает.

Вечерами и по воскресеньям Кантор одевался совсем по-другому, нежели в будни. Когда у него появлялось желание уйти, он надевал черный, безупречно чистый костюм и белоснежную рубашку. Но даже в этой праздничной одежде он оставался солдатом, и не только потому, что лихо закручивал седеющие усы. Во всем его существе, походке, интонациях

было нечто такое, что указывало на его солдатскую выправку. Идя на работу, он надевал запятнанный солдатский китель. Когда однажды жена робко заметила ему, что зеленовато-коричневая материя слишком поношена, Кантор заворчал на нее, как рассерженный лев, которого хотят лишить украшающей его гривы. Анна тогда поняла, что китель, даже изношенный, чем-то слишком дорог отцу, чтобы он мог от него отказаться. На толстых короткопалых руках Кантора она хорошо видела следы тяжелой физической работы. Но о деятельности, запечатлевшей на его ладонях такие очевидные знаки, никогда речи не заходило, и Анна еще больше укрепилась в уверенности, что ее отца незаслуженно унижают. Иногда, передавая ему хлеб, нож или вилку, робко, украдкой, она гладила эту красную, толстую руку. Кантор взглядывал на нее, но его холодное лицо не менялось. Анне было больно ощущать это равнодушие, но как ни странно, чувства ее, оставшиеся безответными, нисколько не уменьшались.

К матери ее привязывала та же трепетная жалость. Канторнэ была очень слабой и больной женщиной, и Анна почти поминутно была ей необходима. Девочка знала это и всячески старалась угодить матери. Та принимала все услуги, но сама к Анне тоже оставалась равнодушной. Она привыкла, сидя на стуле у выходящего на улицу окна или в маленькой кухне, мутным взглядом поторапливать Анну, ожидая, когда та закончит уроки и начнет ее обслуживать. Так как она не могла наклоняться, Анна мыла ей ноги, натягивала на них чулки и высокие ботинки со шнуровкой. Она готовила ей сидячую ванну и тонкими пальцами легко и бережно массировала дряблое, рано постаревшее тело, на которое она, что было очень важно для Канторнэ, смотрела благоговейно.

Мать нуждалась в ней, и это было ей очень приятно. Но хорошо бы получать за это что-то кроме хлеба, еды и платьев, нечто невесомое, незримое, но целиком принадлежащее ей. Бывало, она намеренно, с особой заботой мыла Канторнэ ноги, возясь с каждым кривым пальцем в отдельности. Или ночью, когда женщина поднималась по нужде, Анна, у которой слипались глаза, спрыгивала с постели и помогала матери идти в кухню. Затем она стояла перед женщиной, покраснев, моргая ресницами, как нищий, что молча выставляет напоказ свое убожество. Бывало, мать в таких случаях слегка пренебрежительно, слегка смущенно улыбалась. Сердце Анны наполнялось тогда пугающе-хорошим, большим чувством, и она несколько дней бродила в полусне, непрерывно вызывая в памяти эту улыбку.

У нее не было своей кровати. Спала она между отцом и матерью на двух сдвинутых кроватях, там, где соприкасались жесткие деревянные боковые доски. Засыпая, она бессознательно искала руки родителей. И если удавалось найти слабые пальцы женщины или толстые, грубые ладони мужчины, она засыпала, одурев от счастья.

Ее товарки по играм никогда не могли приходить к ней, чтобы не нарушить образцовый порядок квартиры и покой больной матери. Вся мебель в комнате, даже мелкие предметы должны были стоять так, как их расставил отец. Впрочем, дети и сами отстранялись от Анны. Они ее не дразнили, но и не тянулись к ней, потому что чувствовали, что она живет в другом, полном мучительных и неизвестных забот мире. Регулярно, раз в неделю, ей разрешалось спускаться к живущей на первом этаже девочке-калеке. Это были самые грустные часы, когда против своей воли ей приходилось развлекаться с парализованной девочкой, которая пальчиками, напоминающими птичьи лапки, медленно и неловко складывала игрушки и большими глазами с грустным упреком смотрела на здоровую подругу.

По воскресеньям всей семьей ходили в церковь. Этому Анна радова-

лась больше всего, потому что все видели, что у нее есть отец и мать. Она шла между ними с благоговейной торжественностью, как в тот первый день, когда ее привели из приюта. Судорожно сжимая их руки, она держала голову высоко и неподвижно, так что праздничная лента, как сиротливый парус, лишь изредка покачивалась на ее волосах.

Часто Кантор отсутствовал до полуночи. В такие вечера Канторнэ ломала руки, молилась богу и туманными загадочными намеками говорила Анне о страданиях женщины в браке, но мужу не осмеливалась сказать ни слова упрека. Наоборот, когда он, наконец, переступал порог дома, она кидалась к нему со смиренной готовностью, дрожащими руками подавала еду и заставляла Анну так же поспешно приносить отцу домашнюю куртку и тапочки. Маленькие глазки Кантора удовлетворенно и, как казалось Анне, насмешливо поблескивали, но Канторнэ опускала взгляд и делала вид, что не замечает этого.

Однажды, когда отец явился домой далеко за полночь, Анну разбудил быстрый, возбужденный шепот. Впервые мать говорила обвиняя, с упреком.

— Ты уже старый человек, не стыдно тебе, все на свете знают! И как ты от стыда не сгоришь?

Кантор злобно заворчал. По его нетерпеливому тону Анна поняла, что мать повторяет одно и то же.

— Замолчи уж, — грубо перебил он жену, и в его хриплом голосе прозвучало торжество и жажда мести,— ты отлично знаешь, что мне это нужно, а ты даже на то не годишься, чтобы...

Спокойно, громко и так медленно, словно желая, чтобы слово навсегда врезалось в память женщине, он закончил фразу безобразным, похабным ругательством.

Наступила тишина. Женщина сжалась, как от удара хлыста. Едва слышно всхлипывая, ломая руки, она осторожно, чтобы не разбудить мужа, глубоко вздыхала:

— Ох, господи, боже мой!

В эту ночь Анна не могла больше заснуть. Широко открытыми глазами она глядела на невидимый потолок, и сердце ее страшно колотилось. Грубые слова отца были ей непонятны, но она догадывалась, что смысл их связан с таинственной жизнью взрослых, о которой она, живя одиноко и замкнуто, очень мало слышала. Ей казалось, что мать каким-то образом опозорилась или по крайней мере действительно виновата перед отцом и потому так смиренно, с такой угодливостью обслуживает мужа, чтобы заставить его забыть эту вину. И в самом деле, утром мать с такой же тревожной, как обычно, старательностью суетилась вокруг Кантора и еще нетерпеливее обычного понукала Анну, чтобы та приготовила отцу поджаренный хлеб и чай. Больше никаких упреков и разговоров Анна не слышала, но иногда, взглянув на смиренное лицо Канторнэ или заметив презрительный, насмешливый или гневный взгляд Кантора, она невольно вспоминала безобразные слова отца, и ее охватывал мучительный стыд.

В двенадцать лет она бросила школу и с тех пор полностью превратилась в рабыню Канторнэ. Теперь одна Анна вела домашнее хозяйство. Она покупала, варила, убирала и одновременно ухаживала за женщиной, которая постоянно с истерическим нетерпением ждала ее возвращения с рынка, из магазина, из молочной. Жизнь города пульсировала где-то в едва осязаемой дали. Здесь же, среди четырех стен маленькой квартирки, важно было лишь — растет ли опухоль в теле приемной матери, какой у нее был стул, какая самая приятная температура для сидячей ванны. Обо всей этой телесной немощи, многочис-

ленных ваннах и притираниях Кантор должен был по возможности меньше знать и всегда получать то, что ему требовалось.

Женщина тянула жизненные силы из тоненькой девочки и, если б только было можно, совсем не отпускала бы ее от себя. Она всегда находила для нее работу. Три раза в день она заставляла ее стаскивать с опухших ног высокие шнурованные ботинки и с жалобными стонами отдавала спину и поясницу в распоряжение узких рук и маленьких кулачков.

Но с какими бы удобствами она ни жила, как ни следила за собой, все же ей не удалось избежать операции. Некоторое время Канторнэ терпела приступы усилившихся болей, но врач, в конце концов, припугнул ее: если она не решится на операцию, то умрет. Дрожа от страха, она готовилась к больнице. Ее мучил ужас не перед операцией, а мысль, что, пока она будет лежать в больнице, какая-нибудь женщина окрутит ее сангвиника-мужа, выгонит ее из квартиры, и тогда настанет конец беззаботной жизни, хорошему питанию, удобствам и она погрузится в безнадежную, безысходную бедность. Готовясь к больнице, она ухаживала за мужем лучше, чем когда-либо. Она следила за его лицом, не блеснет ли на нем радость или свет какого-то скрытого намерения. Анне она поручила ухаживать за отцом так же заботливо и при этом ежедневно навещать ее в больнице, а так как больничная пища, вероятно, не будет удовлетворять ее, то каждый раз приносить ей еду.

Анна от всего сердца клялась, что будет еще лучше и прилежнее, чем когда-либо. В душе ее скрывался источник такой самоотверженной, страстной любви, она так хотела быть необходимой, так жаждала заслужить довольную, благодарную улыбку матери, что Канторнэ не о чем было беспокоиться.

Она одна проводила Канторнэ в больницу. При расставании поцеловала ей руку и вдруг заплакала с такой силой, словно приемная мать нашла, наконец, и сказала ей нежные, полные любви слова прощанья. Канторнэ некоторое время в замешательстве глядела на Анну, затем потрепала трясущиеся от рыданий узкие плечи и, уступая эгоизму, с помощью которого всегда чуяла, как сделать свое положение более приятным и удобным, неожиданно шепнула:

— Завтра принеси немножко легкого мясного бульона...

Анна осталась в квартире одна с отцом. Целый день она убирала, мыла шваброй пол, гладила, варила. Вечером взволнованно ждала домой Кантора. Она и себе не хотела признаться, что почти радуется отсутствию матери: уж теперь-то она сможет показать, как много умеет, какая ловкая, как необходима в доме. Часами она рылась в поваренной книге и, волнуясь, готовила новые, непривычные блюда, а вечером торжественно подавала их отцу. Взобравшись на табуретку, с бьющимся сердцем она следила издали, нравится ли ее готовка.

Сначала Кантору недоставало смиренной, непрерывно топчущейся вокруг него, следящей за его невысказанными желаниями жены. Он всегда хотел, чтобы окружающие его боялись, и привык к этому; теперь это ему было нужнее, чем когда-либо. На работе он мучился, испытывал беспрерывные унижения и мелкие уколы самолюбия. Только дома он мог почувствовать себя человеком, таким, каким был до тех пор, пока с него не сняли военную форму.

Кантор родился от брака деревенского строительного рабочего с бедной крестьянской девушкой. Он выделялся в семье упорством и целеустремленностью. Пока другие, внутренне бунтуя, покорно несли гнет бедности, он решил, что любой ценой вырвется из этого тихого мирка и устроит свое счастье. Завистливо и жадно разглядывал он появляв-

шихся в деревне жандармов. Вид у них был великолепный: петушиные перья на касках, блестящие штыки, форма с золотыми пуговицами — разве все не было дивным символом могущества? Кантор и тогда не рассердился на этих парней, яростно орудовавших кулаками, когда они однажды из-за какой-то ссоры в корчме основательно отколотили его. Его приятели, которым тоже досталось, сыпали проклятья. Однако он, ощупывая окровавленное лицо, с уважением произнес:

— А, елки-палки! Эти умеют бить... Понимают свое ремесло!

В двадцать три года, отслужив положенный срок в солдатах, он остался в армии и дотянул до фельдфебеля. Новобранцы страшно боялись его. В нем развилась какая-то мрачная жестокость; он наслаждался, запугивая беззащитных людей, и чем быстрее приближалась война, тем безграничнее становилась его жажда власти. Когда Венгрия вступила в войну, он окончательно возликовал: настало его время! Как фельдфебель-инструктор он был ужасен. С хитроумной изобретательностью издевался над попадающими ему в руки новобранцами из бедных крестьян и рабочих, как бы мстя за то, что и сам происходит из их среды. Во всяком случае, к юношам из барских семей он был куда снисходительнее. Ему казалось, что форма наделяет его безграничной властью. Рыча, направо и налево он раздавал оплеухи и наказания. Когда по его команде «ложись!» множество молодых людей с изодранными в кровь коленями и ладонями падали, запыхавшись, в грязь, он стоял среди них торжествующий, с закрученными усами, в безукоризненно выглаженной форме, и ему казалось, что прекраснее жизни нет и не может быть.

Испугался Кантор после войны. Он видел, как рождается народная власть в Венгрии, и стал очень тихим. Притворяясь смиренным и покладистым, он приложил все усилия, чтобы удержаться в армии. На первых порах ему это удалось, форму он сохранил.

Вместе с формой к Кантору вернулась былая самоуверенность. Он всегда безропотно подчинялся властям и потому сейчас, не задумываясь, повторял демократические лозунги. Однако через некоторое время ему все-таки пришлось расстаться с армией. Лишившись формы, которая одна давала ему уверенность, он проникся неугасимой ненавистью к народной власти, швырнувшей его обратно в ту среду, откуда он выбивался так решительно и упрямо. Отчаяние, запрятанное в самой глубине сердца, грызло и ожесточало его; он понимал, что уже никогда не вернет утраченного.

За несколько недель он перепробовал многое, но ничто его не удовлетворяло. В конце концов, покорившись судьбе, он устроился грузчиком на одном транспортном предприятии. Большая физическая сила помогла ему выделиться среди других, он хорошо зарабатывал, но власти у него не было. Наоборот, он—которого раньше боялось столько людей!—теперь вскакивал по слову каждого конторщика или бригадира. Без всякой необходимости он лебезил и унижался перед своим новым начальством лишь для того, чтобы сильнее разжечь свою ненависть.

Среди грузчиков Кантор ни с кем не дружил. Не потому, что не нашел бы среди них одного-другого подходящего человека, а потому, что считал нужным поддерживать отношения только с людьми более высокого ранга. Поэтому же он не разводился с больной и нелюбимой женой; она была дочерью фельдфебеля и происходила из того круга, который неудержимо привлекал его. К тому же ее слабость давала ему повод, хотя и в узких рамках, но чувствовать себя сильным и грозным. Гордился он и тем, что они взяли из приюта Анну. Болезнь жены не позволяла ей выполнять физическую работу. Кантор не только не жалел ее, но даже злорадствовал, что у него есть еще одна причина для унижения

Канторнэ, которая не годилась уже и как прислуга. Однако спесь его восставала против того, чтобы соседи видели, как больная жена бывшего фельдфебеля надрывается, моя пол, стирая или гладя белье.

Вот почему и попала к Канторам Анна, на которую они взвалили всю домашнюю работу. Постепенно они оба привыкли к девочке, а главное к той молчаливой и смиренной покорности, с какой она выполняла их приказы. Но все же они не удочеряли ее, не желая принимать на себя обязательства, связывающие на всю жизнь.

Сначала после ухода жены в больницу квартира показалась Кантору пустой. Даже его отлучки лишились настоящего вкуса, потому что ему недоставало тревожного, следящего взгляда жены.

Но вскоре он с изумлением заметил, что Анна никогда не ложится спать, пока он не вернется домой. Едва дверь приоткрывалась, она, как привязанная к щеколде, живо соскакивала с табуретки в кухне и принималась с широкой улыбкой греть, помешивать, подавать блюда. С нахмуренным лбом он жадно ел, а она сидела против него, устремив покорный, ожидающий взгляд, не шевелясь, будто побуждая его попросить у нее еще о какой-нибудь услуге. Если ему случалось небрежно похвалить ее стряпню, она опускала лихорадочно блестящие синие глаза, а узкие розовые губы ее слегка вздрагивали. Кантор стал приходить с работы без задержек, потому что его притягивало это свежее и невинное волнение хозяйки дома, которое исходило от Анны. Его охватывало какое-то приятное чувство при виде ее покрасневшего лица с остреньким маленьким носиком, покрытым горящими веснушками, при виде неуклюжих и все-таки ловких движений ее еще по-детски тоненьких рук.

Однажды вечером, когда ужин особенно хорошо удался, Кантор погладил девочку. Толстая рука долго задержалась на бледном, тонком лице Анны, которое под его прикосновением запылало, почти сжигая его ладонь. В Канторе, несмотря на то, что он был сыт, промелькнуло странное, похожее на голод чувство, наполнившее его неясным беспокойством. На другой день утром он вошел в кухню раньше обычного. В это время Анна всегда умывалась. Полуобнаженная, она стояла над белым эмалированным тазом и мылась до пояса. Она не была красива. Но в ее тонкой, худенькой фигурке была какая-то угловатая прелесть. Кантор вышел, но из-за двери жадным взглядом маленьких увлажнившихся глазок еще раз оглядел тонкую, хрупкую фигурку девочки.

Анна спала между родителями на прежнем месте. Ей и в голову не приходило теперь, в отсутствие Канторнэ, хотя бы на короткое время, занять постель матери. Раньше Кантор, стоило ему дотронуться головой до подушки, тотчас же погружался в глубокий, без сновидений сон. Теперь, в этом странном и волнующем одиночестве, он то и дело просыпался, лицо и тело его горели, а воображение, когда-то изобретавшее наказания дрожащим новобранцам, рисовало возбуждающие картины.

Однажды ночью он неуверенно протянул свою толстую лапу и нащупал тонкие, длинные пальцы девушки. Анна не проснулась, но и во сне почувствовала прикосновение отцовской руки. Она притянула руку Кантора к талии, он ощутил тепло ее кожи, и у него закружилась голова от ритма ее тихого, равномерного дыхания, которое через руку распространилось по всему его телу и не позволило ему снова уснуть.

Эта непривычная, повторявшаяся ночами ласка наполнила Анну удивительным счастьем. Если она смотрела в молчаливое, мрачное и все же взволнованное лицо отца, если надтреснутым, жестким голосом он делал ей за что-нибудь выговор, она уже не пугалась. Стыдливой, покор-

ной, лучащейся от радости улыбкой она напоминала, что у них есть общая милая тайна и она не боится его, так как уверена в его любви.

Несколько дней спустя Кантору на работе преподнесли неприятный сюрприз. Из бригады, в которой он до сих пор работал, его перевели в другую. Было известно заранее, что вначале, пока он не сработается с остальными, заработок его снизится. В этом перемещении, хотя оно и было вызвано болезнью двух рабочих, Кантор усмотрел новое унижение. Протестовать он и не пробовал, потому что бригадир был человеком твердым, которому он не хотел бросать вызов. Но от гнева и ненависти Кантор просто задыхался. Дома он всем был недоволен и так ужасно и долго сквернословил, что Анна совсем сжалась в комочек, стараясь скрыть свою молящую улыбку, которая теперь невольно возникала у нее на лице при виде отца.

В этот вечер Кантор долго не мог уснуть. Наконец раздался торопливый, короткий храп. Но к полуночи он проснулся. Тело его горело, на лбу и у корней седоватых волос выступил пот. Эту лихорадку одновременно питало вороватое, понукающее желание и сознание собственного унижения. Внезапно он повернулся к Анне, полотняная рубашка, голые руки и плечи которой белели во тьме. Анна сонно улыбнулась ему и, не открывая глаз, привычно поискала руку отца. Кантор смутно почувствовал, что смиренная радость девочки исходит из ее ужасного одиночества и большой детской жажды любви, но не захотел замечать этого.

Анна с радостью взяла его руку, но спустя несколько мгновений ее охватил бешеный страх. Она уже понимала, что эта близость — не новая форма осчастливившей ее отцовской милости, а нечто другое, нечто ужасное, о возможности чего она и не догадывалась, и что погубит ее тело и душу. Грубая сила бывшего фельдфебеля-инструктора воскресла в эту ночь. Толстая ладонь звонкими, обезоруживающими пощечинами заставила девочку замолчать, сдавленный, угрожающий голос потряс бедное, сломанное тело:

— Если еще пикнешь, если кому-нибудь расскажешь, убью!..

На другой день было воскресенье, и они вместе пошли в церковь. Молча шагали они рядом. Анна, как марионетка, деревянно передвигала тонкие ноги, ее тошнило, бледные губы кривились. В блестящих светлых волосах шевелилась широкая, выглаженная лента, развеваясь от шаловливых наскоков весеннего ветра, будто сиротливое знамя растоптанного детства.

Пока пастор читал проповедь, Анна искоса разглядывала жесткое, мясистое лицо приемного отца, его тупой нос, большие усы и бормочущие молитвы губы. Ее изумляло, что никто не догадывается, никто не замечает беды, происшедшей с ней. Противоречие между внешней благоговейной тишиной и внутренним смятением Анны было настолько велико, что почти оглушило ее. И так как она чувствовала свою беззащитность и беспомощность, у нее появилось убеждение, что все эти взрослые, пожилые люди, столь достойные с виду, все в заговоре против нее, все сговорились обобрать ее, надругаться над ней, лишить ее жаждущую любви душу светлого чувства радости. Ненависть к седым волосам, усам, морщинам, возбуждающим уважение, и к пристальным взглядам крепко овладела Анной.

Домашнюю работу она теперь выполняла без всякого удовлетворения. Монотонно сменяющие друг друга часы, со свирепой быстротой

исчезающие в бесконечности и приближавшие вечер, были наполнены страхом предстоящего возвращения отца домой.

Кантор молча садился за стол ужинать, но его маленькие глазки непрерывно шныряли по Анне. Его жадный и одновременно растроганный взгляд внушал девочке ледяной ужас. Лихорадочно заикаясь, она молила о пощаде, но Кантор никогда не щадил ее.

Десять недель спустя он с раздражением узнал, что жену, которая после операции поправилась, выписывают из больницы.

Все это время Канторнэ была целиком поглощена операцией, тысячью тревог, связанных с выздоровлением, мучительным, напряженным ожиданием своей участи. Во время коротких посещений она не замечала новых черт ни в лице, ни в поведении Анны. Но едва вернувшись домой, разглядела необычную бледность девочки, ее подавленное состояние. Она испугалась, что Анна заболевает и, значит, ей, Канторнэ, придется лишиться заботливо приготовленной специальной пищи, к которой так привык ее капризный, падкий на лакомства желудок. Но вскоре она обнаружила, что бледность девочки вызвана не заболеванием, а дурным настроением, причины которого Канторнэ неизвестны.

В первый же день своего возвращения Канторнэ почувствовала, что произошло нечто, о чем она не знает. Муж нехотя принимал ее услуги и как бы давал почувствовать, что ее только терпят, что она лишняя. Но еще больше ее волновала напряженность, наполнявшая квартиру. Вибрирующее, нервное беспокойство исходило от вещей, от мужа, от Анны. Больше всего это сказывалось перед сном. Анна долго не засыпала и, лихорадочно дрожа рядом с ней, судорожно цеплялась за ночную рубашку Канторнэ, как пять лет назад, когда ее только привели из приюта. Муж тоже беспокойно ворочался, словно не мог найти себе места, и то принимался яростно скрипеть зубами, то грубо орал на жену, чтоб она перестала стонать, потому что мешает ему заснуть. Женщина пугливо поеживалась, сдерживая жалобные стоны, чтобы не раздражать его еще больше.

Она догадалась, что у мужа появилась новая женщина, опаснее прежних, потому что ее сила и влияние коснулись семьи и могут испортить, разрушить спокойную до сих пор жизнь. Она подумала, что изменения, происшедшие в Анне, связаны именно с этим. Пожалуй, девочка догадывается или знает что-то, это расстраивает ее и делает такой молчаливой, вялой. Через неделю после возвращения домой Канторнэ взялась за расследование. Осторожно, хитро она выспрашивала девочку. Некоторое время Анна молчала, упрямо, неподвижно уставившись в землю. Ненависть и страх, еще тогда, в церкви, поднявшиеся на поверхность ее души, затуманили и любовь к матери. Но она все же страстно жаждала нежности, а тихие, убеждающие вопросы Канторнэ и поторапливающие, ласковые поглаживания победили страх и недоверие. Вдруг решившись, Анна припала к плечу матери и, спрятав лицо, заикаясь, лязгая зубами, как в лихорадке, прерывистым голосом призналась во всем, что произошло той ночью. Она смутно помнила ужасные пощечины и угрозы: «Если расскажешь кому-нибудь, убью!». Но желание облегчить душу пересилило страх перед побоями. И признаваясь, она с упрямой настойчивостью все повторяла умоляюще:

— Мамочка, спите вы посредине! Спите теперь вы посредине, мамочка!

Слушая тоненький, прерывистый, дрожащий, почти невнятный голосок и уступив неожиданно возникшей растроганности, Канторнэ сухими пальцами копошилась в коротко остриженных волосах Анны, нерешительно поглаживала ее худые плечи, спину. Но вдруг она оттолкнула от себя девочку и начала ходить по кухне и комнате непривычно быстрыми,

сильными шагами. Дрожащими руками она то оправляла покрывало на кровати, то приподнимала крышки с булькающих горшков и кастрюль. Сняла зачем-то кружевную скатерть и стакан, а в следующий момент вернула все на место. Словом, Канторнэ не знала, что делает, и пришла в полное замешательство; все, что она услышала от Анны, надо было переварить.

Прежде всего она почувствовала отвращение к старому безобразнику, который настолько не владел собой, что напал на эту худенькую девочку-ребенка и внес в их общий дом ту ясно видимую, мерзкую опасность, которую до сих пор всегда удавалось держать за дверьми. К гневу на старика примешивалось раздражение; Анна, если ее не успокоить, уже не будет той точной, как автомат, прислугой, какой ее воспитывали. Канторнэ чувствовала себя обманутой не столько в своем женском достоинстве, сколько в том, что ее лишили удобств и спокойствия. За всеми этими мучительными, тревожными заботами у нее возникла новая мысль, которая вначале испугала. Но мысль эта за те два дня, что она постигала тайну Анны, все настойчивее приковывала к себе внимание Канторнэ...

Однажды, когда девочка с пылающим лицом, дрожа, вбежала в комнату, Канторнэ, складывая скатерть, с опущенными глазами, укоризненным голосом, словно речь шла о мелком, незначительном непослушании, сказала ей:

— Чего уж теперь ты сопротивляешься ему?

Анна остановилась. Ее синие глаза неестественно широко раскрылись, и она, остолбенев, уставилась на Канторнэ, будто увидела ее впервые. В это мгновение в душе ее рушились последние остатки веры, еще сохранившейся чудом после ужасной ночи. Тогда она потеряла отца, теперь — мать, оказавшуюся чужой, капризной, страшной и скверной старухой. Анна еще не обдумала это до конца четко и ясно, но тяжесть потери и разочарования была так велика, что она бросилась на пол и забилась в конвульсиях, как в припадке падучей.

Канторы молча смотрели на нее. Женщина бесшумно меняла тарелки перед мужем, руки ее дрожали, пока она вынимала вареные овощи из красной эмалированной кастрюли. В глазах мужа она прочла ненависть за то, что осмелилась выздороветь, вернуться домой и помешáть его развлечениям...

...Когда стало ясно, что Анна беременна, Кантор почти всерьез поверил словам жены, которые она умно и хитро говорила соседям:

— Напрасно я воспитывала в ней порядочность. Не успела я шагу ступить из дома, как она уже спуталась с мальчишками.

В том, что Анна сохранит тайну, оба были уверены. Они ошибались, думая, что только страх перед Кантором закрывает рот девочки. Нет, она не выдала бы Кантора, если б даже ее били кнутом. Ей казалось, что она умрет, если выговорит слова правды. Ведь тогда выяснится, что она действительно сирота и не сумела стать дочерью своим приемным родителям.

Девочка и теперь аккуратно обслуживала их, но без восторженной радости и молящей о любви улыбки прошлых лет. Канторнэ сердилась на нее за это, злилась, что не видит больше на лице Анны прежнего сочувствия, словно бесстрастие девочки снижало значение и важность болезней матери.

А Кантор холодней и холодней обращался с девушкой, фигура которой становилась все более уродливой. Под влиянием сожалеющих или презрительных взглядов соседей он тоже начал считать, будто Анна из-за своей развращенности свернула с правильного пути. Случалось, он даже разглагольствовал перед ней о чистоте нравов и о том, что с той

девушкой, которая сама не захочет и не согласится, нельзя сделать ничего плохого.

Анна теперь не очень-то слушала отца. Она жила в новом мире, рожденном ненавистью и отвращением, и с ужасом наблюдала за происходящими в ее теле изменениями, связывавшими ее с отцом лишь в том смысле, что являлись продолжением надругательства, которое он совершил над ней. Рожала она в больнице, и на следующий день ее мальчик умер. Она видела его всего несколько минут, так и не поняв до конца, что это крошечное существо отделилось от ее тела; все же в ней возникло горячее чувство жалости к ребенку, и она протянула к нему тонкие руки.

Две недели спустя она вернулась на улицу Кавич. Вынужденные приготовления к материнству, муки родовых схваток и близость смерти сделали ее взрослой. В ней сложилось и окрепло решение пойти работать, хотя бы для того, чтоб не проводить все минуты своей жизни у Канторов. Она еще не думала об окончательном разрыве с ними. Для этого слишком сильными были в ней болезненные воспоминания о том, с какой жаждой она искала когда-то родителей. Но она уже хотела независимости и самостоятельности. Канторы удивительно быстро согласились с ней, только оговорили, чтоб она на рассвете ли, ночью ли, но выполняла всю обычную домашнюю работу. Так Анна стала работницей Вагоностроительного завода.

Новая обстановка понравилась Анне уже потому, что обучение, шум, множество людей временами отрывали ее от однообразного, мучительного водоворота мыслей. Но рана в душе не заживала, непрерывно горела и пульсировала. Анна не приживалась в коллективе, ее страх и подозрительность не исчезали. На молодежь она смотрела с болезненной завистью, полагая, что ее позорная тайна легла неодолимой пропастью между нею и ее ровесниками. Преследуемая этой мыслью, она так держалась со своими сверстницами, что те не могли ее полюбить. Если же пожилые рабочие, мастера доброжелательно трепали ее по спине или брали за руку, Анну охватывал настоящий ужас; за сединами и морщинами она видела только подлые, отвратительные намерения; в памяти ее с пугающей живостью вставали омерзительные картины. Она начинала дрожать, с яростью бросая людям в лицо безобразные слова.

Женщинам она также не верила, холодно отвергая их доброжелательность. Она все еще боялась той силы, которая тянула ее к старшим. Между тем, она жаждала любви, как никогда раньше. Если ее учили, указывали на ошибки, ей казалось, что ее никто не защищает, никто не любит и ей не к кому обратиться за помощью. Так как она ни с кем не дружила, то простые предостерегающие слова товарищей в сиротливой пустоте ее души превращались в невыносимые обиды. Иногда она выслушивала выговор с опущенной головой, но чаще, гораздо чаще, чтобы защититься от воображаемых обид, сама начинала оскорблять, плача и гневно крича что-то невразумительное и с горьким удовлетворением видя, как люди, читавшие ей наставления и упрекавшие за ошибки, испуганно уходят прочь.

После нескольких неудачных попыток сблизиться с Анной женщины отвернулись от нее, хотя многие жалели девушку и смотрели на нее как на больную.

На второй год работы, осенью, она познакомилась с Татаром. Этот здоровый горячий парень всегда испытывал голод по женщинам. Настоящей любви он не знал и желал всех; особенно влекли его к себе те, у кого были худенькие, хрупкие фигурки. Его жена, к несчастью, была такой же большой и сильной, как он сам. Татару пришлось жениться, потому

что она забеременела от него, а ее отец и братья объяснили, что шутить не любят.

Анну он заметил во дворе. Она одна сидела у деревянной стены песочного склада и грелась в лучах осеннего солнца. Инстинктивно он сразу почувствовал беззащитность девушки, ее сиротливое одиночество. После нескольких слов, по привычке уступая своим желаниям и обычному для него соблазнительному возбуждению, он фамильярно прижал ее к себе, но при этом с фальшивой чувствительностью глядел на девушку выпученными глазами, будто не умея или не смея произнести какие-то важные, многозначительные слова.

И Анна, которая столько раз упрямо сопротивлялась неловко или грубовато проявленному истинному участию, попала в сети примитивного и пошлого обольстителя. Татар не возбудил в ней ни отвращения, ни страха, и этого уже само по себе было достаточно для того, чтобы в ней забрезжила какая-то надежда. Анна беззаветно, ненасытно жаждала любви, а на лице Татара ясно можно было прочесть почти страдальческое желание, которое при наивности девушки вполне сходило за признак любви. К тому же с первого дня их знакомства ею овладела странная лихорадка. На этот раз Анна не хотела замечать ничего дурного. Ночью, если ей не спалось, она представляла себе страдающее, жаждущее лицо Татара, и горло ей сжимала непривычная растроганность. Она нетерпеливо ждала следующего дня, чтобы мимолетно обменяться пожатием рук, схватить взгляд, который как будто непрерывно призывал ее.

Гарашнэ, которую Татар несколько раз тискал по углам и однажды навестил дома, быстро заметила возникновение новых отношений. Она была опытной женщиной и отлично знала, что хитростью заставила этого большого, сильного парня обратить на себя внимание. Впрочем, на большее она уже давно не рассчитывала, привыкнув довольствоваться крохами. Гораздо интереснее ей казалось направить и завершить его новую любовь, знать все подробности, носить волнующие весточки, извлекая из всего этого прямую выгоду для себя — за сводничество она уже привыкла получать плату.

В тупом мозгу Татара с трудом рождались красивые слова, которых ждала Анна. Но он понимал, что без всей полагающейся в таких случаях прелюдии девушки не получишь, и с радостью прибегал к посредничеству Рози. Испытанный метод весточек должен был привести к победе. И Татар поручил Рози сказать Анне все то, что ослабит ее сопротивление.

Весточки придали их знакомству романтический характер. Опыт и находчивость Рози изливались на Анну потоком любовных, медовых, липких слов. Дрожа, с опущенной головой она слушала шепот женщины. Слова, произнесенные Рози, странным образом гораздо больше трогали ее, чем если бы она слышала их из уст Татара. Так они звучали почти таинственно, и, если Анна хотела, Рози охотно повторяла сказанное, приукрашивая слова, делая их еще более яркими; успех расцвечивал и без того богатое воображение этой женщины.

Она твердила, что жена Татара бессердечная, скверная баба, которая превращает в ад жизнь бедного парня. Ничто, кроме общей крыши, не объединяет их, и Татар ждет от Анны лекарства для своего разбитого сердца.

Анна ходила как в чаду, плохо спала ночами. Страстное желание любви смешалось с чувством новой, никогда не испытанной лихорадочной, вызывающей слезы, гордости: вот и она кому-то нужна! Встречаясь с Татаром, она вспоминала речи Рози и, расчувствовавшись, глядела в лицо парня, неуклюже, неловко улыбаясь, а губы ее дрожали, словно

она хотела заплакать. Ожидая чего-то, вся трепеща, она разрешила Татару брать себя за талию, а он, заикаясь, шептал ей умоляющие слова, жадно лапая большой, сильной рукой тоненькое, гибкое тело девушки.

Он уже договорился с Рози, сколько даст ей за посредничество и за комнату, которую она предоставит для любовного свидания, когда настанет время. Но дни шли, а время все не наставало. Даже Татар с его тупым умом и жалкой душонкой догадывался, что, если будет слишком спешить, потеряет все и что Анна, хотя и терпит безвольно его любезности, все же отличается от женщин и девушек, повинующихся по первому слову. В своем вынужденном ожидании, которое еще больше его воспламеняло, он обвинял Рози и даже пригрозил ей, что сократит оговоренную сумму, если она не будет лучше стараться.

Анна с возрастающим беспокойством чувствовала, что Татар требует от нее все больше и больше, может быть, хочет того же, что приемный отец. Но страх и желание смешались в ней, слились воедино в жажду любви и самопожертвования. Она боялась, что обманется, и вместе с тем отбрасывала этот страх. Когда Гарашнэ направлялась к ней из глубины цеха, у нее колотилось сердце; она с жадностью впитывала льстивые, сладкие и цветистые слова.

Странно, но она никогда не чуралась Гарашнэ. Может быть, потому, что не находила на ее лице признаков благообразной старости, под прикрытием которой ее приемная мать так ужасно и незабываемо предала дочь. Гарашнэ с ее огненными глазами, глубокими тенями на лице, щербатым ртом и кипучей, неспокойной жизнерадостностью была и молодой и старой, безвозрастной. Она не страдала деликатностью, ее невозможно было отпугнуть. Но главным было то, что она произносила такие слова, на какие Анна только в мечтах и надеялась.

Именно тогда в ее жизнь вошла Илона. Сначала Анна ненавидела ее, потому что боялась. Она не верила чистому лицу и седым прядям в светлых волосах. Ей было непонятно, какие намерения скрываются за спокойными словами. Позднее она испугалась, потому что голос Илоны дошел до ее сердца, вновь пробуждая сомнение и тревогу, возникшие еще в начале знакомства с Татаром. Анна сердилась на Илону за вторжение в лихорадочный и туманный мир, окружавший ее теперь, за то, что Илона хотела вынудить ее, Анну, поддаться не только влиянию инстинкта и желания, но и разума. Рози и Татар тянули ее в одну сторону, Илона — в другую; и она терзалась от груза сомнений, беспомощности, боязни обмана. Тихий голос шептал ей, что Илоны не надо бояться, но она не понимала целей этой женщины. В то, что Илона интересуется ею просто по доброте, она не хотела, не могла верить. Гарашнэ словоохотливо, громко и ясно признавалась в своих не слишком благовидных намерениях. Илона была немногословна, но предостерегала от того самого, на что Анна не хотела обращать внимания, уступая желанной любви. И однажды эта упорная, кроткая и серьезная женщина сказала ей:

— Человек по-настоящему не сердится на того, кого любит.

Эти несколько слов подействовали на Анну, как удар грома. Она задрожала от внезапной радости, но в то же время всем существом приготовилась к защите. Она догадывалась, что Илона говорит не о такой любви, как Гарашнэ и Татар, а о другой, о которой она всегда мечтала, как только начала мыслить. Невольно она увидела западню, которая была так близко.

Все это расстраивало и терзало ее. Она уже отважилась на что-то, и вдруг путь раздвоился; надо было снова решать, куда повернуть, кому довериться.

Мучительная растерянность владела Анной. Что если эта женщина с ясными глазами и материнским лицом, преследуя какую-то непонятную цель, хочет надругаться над нею? Так пусть знает все! Она швырнула в лицо Илоне свою страшную тайну, чтобы оттолкнуть ее от себя. Но это не принесло успокоения. Наоборот, думая, что с Илоной покончено, она испытывала обидное чувство, будто выбросила прочь редкое сокровище, о цене которого начала догадываться лишь тогда, когда потеряла его.

В понедельник утром Илона приступила к работе, ощущая непривычную бодрость. Хорошее настроение так и просилось наружу, она невольно начала напевать. Что-то окончательно оттаяло в ней, и она работала с той же праздничной легкостью, как в те далекие времена, когда была подносчицей кирпича.

Перебирая мысленно события и происшествия воскресного дня, Илона вспомнила взволнованный голос Данко, когда он назвал ее хорошей женщиной. Она всем сердцем жалела одинокого старика, но, странно, воспоминание о нем создавало веселое и безоблачное настроение. Она отдала что-то Данко, и теперь в душу ее хлынула новая, незнакомая сила.

Она смотрела на Анну и не чувствовала больше испуга, сковавшего ее, когда девушка бросила ей в лицо горькое признание. Она испытывала теперь только жалость, глубокое, горячее сочувствие и желание приласкать девушку. Когда взгляды их встречались, Илона уже не отворачивалась, а серьезно и спокойно смотрела на Анну, словно хотела передать той новую, рожденную в ее душе силу.

Гарашнэ в это утро пребывала в мрачном настроении. Татар упрекал ее за чрезмерно долгое ожидание. Он грубо изругал Рози. Гнев его подогревался мыслью, что один он не в состоянии победить колебания этой девушки, вздрагивающей даже при его приближении. Своим чутьем привычного соблазнителя он уже понял, что здесь нужны слова особенной силы, но не находил их. Между тем, он все больше и больше желал эту тоненькую, испуганную девушку, но его положение женатого человека мешало ему. Он не мог постоянно ходить за ней по пятам, трудно было выносить недвусмысленные намеки и осуждающие, презрительные взгляды товарищей по цеху. Татар торопил Гарашнэ; он был уверен, что, если удалось бы затащить Анну на квартиру Рози, все остальные препятствия тотчас исчезли бы.

Однако Гарашнэ, которая испытывала одни осложнения, потеряла охоту к этому делу. Ей казалось, что слишком много времени потрачено на Анну. Изобретательность, работающая только в одном направлении, иссякла. Она смутно догадывалась, что в Анне живет такая жажда, которую Татар не в состоянии утолить, и колеблется девушка не от естественного девичьего сопротивления и тем более не от расчетливости. Все это было слишком сложно для Рози. Кстати она заметила, что в Илоне нашла врага, который преградил ей путь и по неизвестным причинам борется за девушку. Побуждения Илоны были совершенно недоступны ее пониманию. А в это утро она озлобилась еще и потому, что обещанная Татаром сумма за посредничество и разрешение использовать квартиру оказалась в опасности. Надо было во что бы то ни стало довести дело с Анной до конца!

Рози решила вызвать у Анны ревность. Ее соседка, молодая разведенная женщина, восхищенно смотрела на красное лицо и широкие плечи Татара, когда парень, уступив уговорам Рози, однажды заглянул к ней. Она даже намекнула сегодня об этом Татару, но тот, подумав, что Рози хочет уйти от взятых на себя обязательств по поводу Анны, грубо отверг новое предложение. Однако Рози не сомневалась, что, если сведет соседку

с Татаром, все обойдется как нельзя лучше. Тут она может ожидать лишь обычных, просто разрешаемых затруднений.

В начале обеденного перерыва она подошла к Анне.

— Там ждет тебя этот бедный парень, совсем извелся от любви. Ты мучаешь его, а ведь одно твое доброе словечко сделало б его счастливым! — зашептала она.

Анна послушно выскользнула из цеха. Татар ждал ее у склада с песком. В сарае было холодно, сквозь щели дощатой крыши во многих местах капал растаявший снег. Но Анна не чувствовала холода. Она лихорадочно ждала, что Татар победит в ней мучительные сомнения, разбуженные словами и взглядами Илоны. А Татар думал лишь об одном...

Анна с горящими на щеках пятнами вернулась в цех. Она не сопротивлялась ищущим рукам Татара, даже сама обняла его за толстую шею, но душа ее почему-то остыла. Душа ждала радости, а радости не было. И слова, и действия Татара требовали не душевного, а совсем иного утешения. Впрочем, Анна уже решила, что и это, иное, утешение отдаст ему в дар вместе с нежностью и никогда еще не высказанными словами, со слезами, которые так жадно ждут одного лишь тайного знака, чтобы наконец прорваться и очистить душу. Да, так, и только так можно было отдать это «иное».

Томясь, Анна стояла у станка. Она боялась расстаться со своей мечтой о Татаре, без которой чувствовала бы себя безнадежно ограбленной и опустошенной. Хорошо бы, не размышляя, с закрытыми глазами броситься в темную глубину, куда ее тянул Татар. Но перед закрытыми глазами возникало лицо Илоны, и сердце Анны начинало метаться между двумя противоборствующими силами, разобраться в которых девушка не могла.

Гарашнэ подошла к ней со своей обычной льстивой улыбкой именно в минуту этого душевного разлада. Как всегда, она принесла медовые слова, которые якобы поручил передать Татар и которых Анна напряженно ждала.

— Совсем пропадает из-за тебя,— шептала Рози, облизывая губы; взгляд ее черных, обведенных темными кругами глаз блеснул.— И днем и ночью все только по тебе тоскует!

Она посмотрела на Анну, которая слушала, прикрыв веки, словно взвешивая услышанное. Рози вдруг охватило раздражение. Она сводничала с увлечением, пока Анна жадно внимала ей, но теперь, почувствовав в ней недоверие и некоторую отчужденность, Рози рассердилась.

— Нехорошо в таких случаях слишком уж заставлять мужчин ждать,— сказала она, подмигнув и сильно нажимая на слова «в таких случаях».— Ты что думаешь, до каких пор он будет канителиться с тобой?

Анна вздрогнула, как от удара. А Рози, раздражаясь все больше, враждебно обратилась к хилой девчонке, которая своими бесконечными колебаниями отбивает у нее верный заработок.

— Ну, и что же это будет? — грубо спросила она.— Не строй из себя принцессу-недотрогу. Знай,— быстро добавила Гарашнэ, пристально глядя в глаза Анне,— у меня есть подруга, она влюблена в Татара и говорит, что очень хотела бы познакомиться. Мне сегодня надо знать: согласна ты, наконец, или не согласна? Он сказал, что больше ждать не будет. А если ты не желаешь, я отведу его к подруге, пусть утешит беднягу!

Рука Анны, опиравшаяся на блестящую поверхность машины, начала дрожать, как от холода. Слова Гарашнэ теперь безжалостно

обнажили то, чего она не хотела видеть. Впрочем, Рози впервые высказывалась так ясно и недвусмысленно.

Анной овладел болезненный, отчаянный гнев, гнев вконец ограбленного человека, который самоистязанием еще больше усиливает свое несчастье.

— Уходите отсюда,— прохрипела она сдавленным голосом,— уходите, потому что, если вы не уберетесь, я такое сделаю... такое сделаю...

Речь ее прервалась. Ненависть, накипевшая в ней против всех и вся, не находила выхода в словах и точно горячий пар сотрясала ее худенькое тело.

Рози не испугалась. Ссоры были такой же ее стихией, как и любовные интриги. Она встала, оправила юбку и спокойно, наслаждаясь местью, бросила Анне в лицо:

— Ну так что ты со мной сделаешь, ты, худышка, чем заплатишь за мою доброту? Знай, если б не я, этот красивый, славный парень Татар и не плюнул бы в твою сторону!

Гарашнэ намеренно искажала правду, но должна же она была получить хоть маленькое удовольствие?! Рози с полным удовлетворением увидела, как Анна окаменела и в глазах ее отразился ужас.

А девушка действительно и мгновенно поверила всему, что в порыве злости бросила ей в лицо Рози. Даже воспоминания об умоляющем голосе Татара, о жадных прикосновениях его рук ничего не опровергали. Слишком мало верила в себя Анна, слишком зыбкой была та почва, на которой строилась эта вера, чтоб обидные слова Гарашнэ не ударили ее в самое сердце.

Анна села у станка и уставилась в открывшуюся перед ней пустоту, откуда исходил знакомый холод сиротства. Узкие ее плечи придавила страшная тяжесть. У каждого в мире было свое место, у каждого был кто-то, рядом с кем можно было спрятаться от леденящего одиночества, и лишь она, Анна, шаг за шагом теряет всех, кого так жадно и преданно хочет любить.

Вдруг она испытующе глянула на Илону, на ее тонкое, страдальческое и все же спокойное лицо. С губ Илоны взгляд Анны опустился, было, на подбородок, но тотчас вернулся назад, к прямому, немного короткому носу и, наконец, остановился на маленьких, затемненных ямках в уголках рта. Казалось, Анна пробовала нащупать, что таится в глубине тонких морщин, какие скрываются там чувства, какие намерения. Впрочем, она очень быстро оторвала свой взгляд от Илоны и даже отвернулась всем телом, как бы воздвигая преграду между собой и ею, чтобы спастись от окончательного и самого ужасного разочарования.

Однако Илона успела заметить, что Анна взглянула на нее. Она подняла голову и увидела девушку, сидящую, скорчившись, у станка и неподвижно глядящую в пустоту. Сердце ее дрогнуло: что-то произошло! Как назло, работа была срочной, и все-таки Илона остановила станок. Пока она вытирала руки о передник, сердцебиение утихло. Оно сменилось спокойствием, которое приходит тогда, когда точно знаешь, что надо делать. Ей было хорошо знакомо такое безнадежное состояние, когда человек чувствует, что стоит на самом краю над ужасной, зияющей глубиной, от которой рано или поздно закружится голова и придется упасть, потому что не за что удержаться.

Не доверяя окончательно самой себе, Илона сначала подошла к Селлнэ и молча указала на Анну. Селлнэ рукой отерла лицо, пригладила разлетающиеся пряди волос, затем наклонилась к Илоне и, стараясь перекрыть шум цеха, прокричала ей в ухо:

— Она недавно с Рози говорила. Я не расслышала ни слова, но видела, что они поссорились. Уж больно та, бестия, рот разевала! А девушка с тех пор сидит, словно себя не помнит.

И движением руки сильно, но ласково и ободряюще Селлнэ подтолкнула Илону к станку Анны.

Илона легкими, быстрыми шагами поспешила туда. Она еще не знала, что скажет Анне, какие найдет слова, чтоб утешить ее и привлечь к себе. Когда Илона была уже совсем близко, девушка внезапно подняла на нее свои синие глаза. Они выражали такую безутешную муку, такой неприкрытый страх, что на мгновение Илона отвернулась со странным ощущением стыда и вины. Затем, прежде чем подумать, что надо сделать, она опустилась рядом с Анной на низенькую табуретку и взяла ее узкую, застывшую, холодную руку.

— Какая беда стряслась? — спросила она, наклонившись к Анне.

Теперь отвернулась Анна, пробуя выдернуть пальцы, но движение было бессильным.

— Оставьте меня, что вам от меня надо? — прошептала она хрипло, упрямо и все же беспомощно. В ее голосе, как и в движениях, не чувствовалось силы, скорее только жалоба и робость, как будто уже не стоило защищаться, как будто она решила отдаться на волю судьбы и ждать новых, неминуемых разочарований.

Илона погладила холодную руку девушки и, чтобы согреть, инстинктивно прижала к груди.

— Я много размышляла над тем, что ты прошлый раз сказала,— спокойно произнесла она. — Думаю, плохо тебе живется дома, правда?

Илона ласково приподняла опущенный подбородок девушки, чтобы посмотреть ей в глаза.

Анна снова задрожала. Она собрала все силы, чтобы не уступить, кусала губы, но дрожь становилась все сильнее. Заикаясь, стуча зубами, Анна шепнула:

— Я не могу больше оставаться дома.

Слова эти, высказанные ею самою вслух, невыразимо удивили Анну. Она даже подняла голову и широко раскрытыми глазами посмотрела куда-то в сторону, точно сказанное может оставлять в воздухе след. Но след жил в ней самой, в ее ушах и сознании. Да, она не может больше оставаться дома! Если б Татар оказался тем, в кого она верила, тогда другое дело. Но теперь, потеряв все,— невозможно! Уйти, уйти, уйти...

Илона почувствовала, как внезапно все тело девушки судорожно напряглось, готовое выгнуться в истерических конвульсиях, и быстро принялась гладить Анну по спине, по плечам, по голове. Легко и естественно, как будто и не в первый раз, она сказала:

— Если ты не хочешь оставаться дома, приходи ко мне. Я живу на улице Хаттю, дом четыре.

Анна не ответила. Закрыв глаза, она дрожащими пальцами водила по лицу.

Илона встала, оправила передник и спокойно продолжала:

— Некоторое время ты поживешь у меня. Не бойся, я не собираюсь на тебе выгадывать, платить будешь, сколько сможешь, из зарплаты. А потом, если захочешь, вместе подыщем для тебя квартиру.

И прежде чем уйти, притянула к себе девушку за плечи и тихо, с материнской жалостью шепнула:

— Я тебя жду.

Когда Илона шла к Анне, у нее и в мыслях не было брать девушку к себе. Но теперь ей казалось, что ничего другого она и не хотела.

С непривычным волнением она ждала вечернего гудка. И напрасно пыталась перехватить взгляд Анны — та ни разу не посмотрела на Илону. Анна намеренно стояла у станка так, чтобы быть спиной ко всем. Но несмотря на это, Илона не сомневалась, что Анна придет.

Сварив кофе и сняв со сковородки подрумянившийся сдобный хлеб, Илона села в кухне на табуретку. Ждала. Это привычное ожидание и тишина, полная картин и голосов прошлого, вдруг вызвали образ Или. Напрасно здравый смысл Илоны боролся против этого; материнскому сердцу чудилось, что за дверью вот-вот застучат знакомые каблучки. Она просто видела, как Или заворачивает за угол. Светлые, мягкие волосы разлетелись, на гладком лбу тают крупные пушистые снежинки, и сама Или улыбается от сознания своей молодости и красоты.

Послышались шаги под сводами ворот, затем ближе во дворе. Два каблучка постукивали вразнобой, тяжеловато, с большими перерывами. На дверной занавеске колыхнулась, сжалась и снова появилась бесформенная тень. Илона встала и нажала ручку двери. Мираж продолжался тысячную долю секунды. На пороге стояла Анна, готовая в любое мгновение повернуться и убежать.

— Входи,— сказала Илона мягко и потянула ее за руку.

Анна робко остановилась посреди светлой кухни. Ее обдало запахом сдобы и домашнего уюта, который был ей незнаком. На лице все напряженнее проступало выражение детской надежды и робости.

Илона сняла со своей гостьи пальто и шляпку, а затем, взяв за руку, потянула к стулу.

— Ну, садись,— проговорила она, улыбаясь,— не заставляй себя упрашивать, ты же дома.

Анна неловко попятилась и с таким трудом опустилась на стул, точно ее худенькое тело весило, по меньшей мере, сто килограммов. Илона поставила перед ней кофе, от которого шел пар, и издававшую приятный запах сдобу. Анна только глядела, но ни к чему не притрагивалась.

— Спасибо, я не голодна,— хрипло прошептала она.

— Но все же попробуй, — подбодрила ее Илона, чтобы избавить от замешательства первых минут.— Увидишь, как проглотишь!

Анна смотрела на чашку и толстый ломоть сдобного хлеба. Первый раз не она обслуживала других, а перед ней поставили готовую еду. Такая большая, захватывающая сила была в этом мгновении, что она буквально потрясла все существо девушки и как бы приоткрыла перед нею тот мир добра и нежности, о котором она знала, но порога которого никогда не удавалось переступить. Пар, шедший от чашки, заставил задрожать ее ноздри. Она и в самом деле почувствовала голод, но не желудком, а сердцем, душой, всем своим худеньким телом и в этом запахе кофе угадала невыразимо нежный и ласковый аромат семейного уюта.

— Кушай, Аннушка, — услышала она голос женщины.

Анна взяла в руку ложечку. Она держала ее деревянно, неловко и оттого расплескала. Но не заметила. Торжественная радость разливалась в ней. Несмелыми пальцами она отломила маленький кусочек сдобы. Крошки упали ей на колени, соскользнули на пол. Она и этого не заметила.

— Не могу больше сейчас, — сказала она тихо и, откинувшись, словно у нее закружилась голова, улыбнулась дрожащими уголками рта.

Тогда Илона отвела ее в комнату. Не решившись тронуть тахту Или, она приготовила местечко на своей постели с отдельной подушкой и одеялом.

Анна покорно разделась. Она, которая с девяти лет справлялась со всеми заботами по домашнему хозяйству Канторов, она, что так живо вертелась перед ними с восторженной готовностью услужить, сейчас едва сумела расшнуровать ботинки и сложить снятое платье. Илона подошла к ней, когда Анна, вытянув напряженное, все еще наполненное внутренней дрожью тело, уже лежала под одеялом. Наклонившись над девушкой, Илона подоткнула одеяло с боков и в ногах. Казалось, ничего не могло быть проще. Но этот естественный, материнский жест как бы открыл Анне все, что произошло с ней у Канторов, все, в чем ее обманули и что у нее отняли. И внезапно, с пугающим воплем она зарыдала.

Она не помнила времени, когда плакала в последний раз, а теперь все годами сдерживаемые слезы, казалось, пожелали излиться. Они затопили ее лицо, грудь... но она не замечала этого. Слезы приносили странное облегчение, будто освобождали Анну от какой-то судороги, которая всегда сжимала грудь, мозг, сердце. И чтобы окончательно сбросить груз, который был ей больше не под силу, она схватила Илону за руку и, заикаясь, пылая от стыда, умоляя о милосердии, жалуясь и обвиняя, рассказала ей историю восьми лет, проведенных у Канторов.

Илона молча сидела на краю кровати. Она и не представляла себе таких страданий, такого надругательства над беспомощным и слабым ребенком. Все это было несравнимо унизительнее и страшнее того, что выпало на ее собственную долю. Даже боль от потери дочери бледнела перед муками этой девушки. Теперь Илона стыдилась, что так много значения придавала своим бедам. Она стыдилась и вместе с тем радовалась, что ее материнское горе помогло ей вырвать эту девушку-ребенка из каторжной жизни.

Радость распирала грудь Илоны и мешала ей заснуть. Анна, наоборот, утомившись и выплакавшись, уснула необычайно быстро, с детской улыбкой на губах. Илона вышла в кухню и быстрыми, беспокойными шагами принялась ходить взад и вперед, будто размышляя о каких-то важных, неотложных делах. И действительно, несколько минут спустя обозначился беспокоивший ее вопрос, который одна она могла выяснить и разрешить. Этот вопрос смутно возник в глубине ее души еще тогда, когда она слушала бурную, отрывистую исповедь Анны. Он возник тогда, а теперь ясно и неотступно требовал ответа.

Почему она смогла завоевать эту запуганную, такую упрямую в своей беспомощности, недоверчивую девушку? Почему она смогла и осмелилась направлять ее судьбу, она, которая перед Или даже в самых мелких делах не решалась высказать собственного мнения, своей воли? И откуда идет та новая сила, что наполняет ее уверенностью и дает чувствовать неизведанную раньше радость жизни?

Она села на стул. Мир замолк и отдалился. С напряженным вниманием, нахмурив лоб, Илона неподвижно сидела на месте, стараясь найти ответ на свой вопрос. Перед ее внимательно застывшими глазами появился цех со знакомыми женщинами, с Селлнэ, Луйзи, Анной. Потом возникло лицо Данко, лежащего под полосатой периной и с улыбкой произносящего слова, лучше и прекраснее которых он не умел придумать: «Вы хорошая женщина, очень хорошая женщина!»

Илона вскочила и снова принялась ходить по кухне, натыкаясь на стулья, углы стола, шкаф с посудой. Вдруг она даже остановилась от изумления. Ответ пришел сам, пришел неожиданно.

Как, в самом деле, могла она вести Или по жизни верной рукой, когда у нее самой не было твердой почвы, не было товарищей, не было точки опоры? Она пренебрегала теми, от кого произошла, и в то же время хотела, чтобы Или уважала ее. Она жаждала ее любви и вместе с тем воспитывала дочь в убеждении, что она лучше отца и матери, лучше своего класса, из недр которого происходит. Больше того, она, мать, понуждала дочь стряхнуть с себя все приметы своего происхождения. Как могла эта девушка, гордящаяся своей выдуманной избранностью, любить мать, которая каждую минуту их совместной жизни просила у нее прощения за то, что девочка родилась в простой семье? Разве не потому, что сама Илона чувствовала себя жалкой, бедной и недостойной своей дочери, разве не поэтому она тщетно молила и выпрашивала ту любовь, которая ей полагалась по праву? Поэтому Или и стала тщеславной, поэтому порвала с домом: ведь ей пришлось стыдиться матери, которая и сама стыдилась и презирала себя.

Как поздно, как обидно поздно, совершив столько непоправимых ошибок, поняла и узнала Илона, где ее место! Тот, кто отказывается от почвы, питавшей его корни, не может быть сильным. Только теперь начала она постигать смысл собственного существования.

Открытие изумило ее и вызвало неодолимую потребность поделиться с кем-нибудь новыми мыслями. Ей казалось, что она не может сейчас молчать, не может сдержать в себе слов. Она накинула платок на плечи. Не взглянув на часы, показывавшие уже половину двенадцатого, Илона выбежала во двор и нажала кнопку звонка к Иштвану. Несколько мгновений спустя послышалось шарканье и в приоткрывшейся двери с испуганным лицом появился хозяин квартиры, в которой жил Иштван. Илона молча отстранила изумленного старика и без стука вошла в комнату Иштвана. Здесь было темно, но почти мгновенно зажегся свет, и Иштван, протирая глаза, сел на своей низенькой кушетке. Лицо его, когда он узнал Илону, стало напряженным.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

В Илоне, навестившей его в столь необычный час, было заметно что-то новое, и Иштван немедленно поставил это в связь с Или. Но затем тряхнул головой и снова внимательно взглянул на Илону, резко отличавшуюся теперь от той женщины, которую он когда-то просил убирать его комнату. Все ее лицо светилось изнутри, глаза блестели, фигура выпрямилась; казалось, женщина даже стала выше ростом, а главное — радостная легкость излучалась от нее, словно большой подарок, о котором она и мечтать не смела, упал ей в руки.

— Что случилось? — еще раз спросил Иштван и, завернувшись в одеяло, приготовился слушать.

Илона, хотя и прибежала, чтобы высказать все рвущееся из сердца, теперь вдруг заколебалась, не зная с чего начать.

— Анна у меня,— сказала она наконец, непривычно сияющими глазами глядя на юношу, и в ее голосе зазвенело торжество.— Она ушла от этих негодяев, от приемных родителей... Я сама устрою все ее дела в опекунском совете... А пока она поживет у меня.

И так как Иштван с недоумением глядел на нее, она с лихорадочной быстротой рассказала ему историю, которую часом раньше услышала от девушки. Голос ее дрожал от возмущения, но за всем этим юноша чувствовал ту же радость, которая светилась на ее лице.

Иштван, глядя в пол, с потемневшим лицом слушал историю Анны. Он жалел и все-таки сторонился ее, угадывая, что их судьбы похожи. Теперь, когда ее тайна стала ему известна, он почувствовал

даже брезгливость. Все, что он видел в их судьбах общего — жажда любви и семьи,— наполнило его трепещущим беспокойством: а вдруг он так же жалок, как эта хилая девушка с темным взглядом? Он стыдился своей брезгливости, а поэтому подчеркнуто и категорически сказал Илоне:

— Вы хорошо сделали, что взяли ее к себе. Очень хорошо сделали.

Женщина невольно улыбнулась. Она совсем забыла, где находится. И — как у себя дома — принялась ходить по комнате с неопределенной улыбкой на губах, словно заглядывала куда-то в глубь своего сознания, ища невысказанные мысли.

Иштван, когда она очутилась перед ним, взял ее за руку и остановил.

— Я вижу, вы хотите рассказать мне еще что-то,— сказал он с нежностью взрослого, говорящего с ребенком.— Человек обычно не может уснуть, когда у него большая беда или радость. Я тоже расхаживал вот так всю ночь напролет, когда мне сказали, что я буду учиться.

Илона посмотрела на него.

— Почему? — спросила она.— Потому что благодаря этому вам удалось уйти от приемных родителей?

— Нет, — ответил Иштван. — Нет, не поэтому. Я почувствовал, что все то, что дает учеба, станет целью и смыслом моей жизни. Я не думаю, что есть откровение, которое потрясает больше, чем то, когда ты, наконец, понимаешь, зачем живешь.

Илона поняла его слова скорее сердцем, чем разумом. Размышляя над тем, что услышала, наморщив лоб, она с робким беспокойством спросила:

— А если у кого-нибудь... не хватает ума, чтобы... чтобы найти истинный смысл жизни?

— Это зависит не от ума, — серьезно ответил юноша. — Мне кажется, это меньше всего касается разума. Просто нельзя отворачиваться от того, что направляет человека на истинный путь,— пояснил он, улыбнувшись напряженно внимавшей ему женщине. — Если сердце не глухо, оно обязательно услышит призыв...

— А если сердце... до конца остается глухим? — едва слышно спросила женщина.

Иштван встряхнул головой.

— Я верю, что человек, — медленно, словно впервые говоря об этом вслух, сказал юноша, — пусть поздно, пусть даже в старости, но в конце концов уясняет, какова, собственно, цель его жизни. А кто уже смолоду знает это, тот никогда не будет несчастлив...

Илона перебила его.

— Да, да, ты прав, ведь я и пришла, чтобы поговорить с тобой об этом, — быстро, взволнованно сказала она, не заметив, что назвала Иштвана на ты, а он опустил голову, чтобы скрыть невольную улыбку.

Женщина на мгновение остановилась, поняв, что действительно только для того и пришла к юноше, чтобы рассказать ему, каким невыразимо хорошим чувством наполнило ее поразительное открытие.

И медленно, отчетливо произнося слова, точно удивляясь, что лишь сейчас напала на глубину скрытого в них смысла, она объяснила:

— Сегодня я поняла, что тот, кто думает лишь о себе, не может быть счастлив. Он даже не может по-настоящему любить своего ребенка, если не любит других людей.

Она оперлась о стол с утомленным и счастливым жестом человека, который после долгих блужданий вышел наконец на верную дорогу.

Иштван, по-прежнему сидя на кушетке, взглянул на Илону и поразился, как молодо выглядит она, несмотря на морщины и седые волосы. Отвечая на ее вопросительный взгляд, он сказал:

— Да, уметь любить — самое большое счастье. И любовь — это самое лучшее, что человек может дать другому.

Луйзи нерешительно остановилась перед домом номер четыре по улице Хаттю. Она пришла сюда, чтобы поговорить с Илоной. Ей хотелось и пожаловаться, и посоветоваться, и услышать слова сочувствия, и получить ответ на вопросы, от которых изнывало ее сердце. Дома в глазах матери она читала ожидание и стеснялась признаться в том, что ждать больше нечего. В душе она уже давно знала, что родители ее надеются напрасно: с Иштваном ничего не выйдет. Она даже попыталась преуменьшить перед отцом и матерью значение Иштвана в ее жизни, говорила о нем как об одном из многих, которые ухаживают за ней на заводе. Но мать было нелегко обмануть; и Луйзи часто перехватывала материнский тревожный и сочувственный взгляд. Тут-то бы и рассказать все как было! Но ложный стыд удерживал Луйзи. А от Илоны не надо было таиться. Ведь это она помогла ей сблизиться с Иштваном. К тому же юноша жил с Илоной в одном доме, и Луйзи поэтому немного отождествляла их обоих.

Больше всего ее мучил вопрос, чем она испортила отношения с Иштваном. Она знала, что Иштван умнее ее. Но это еще не беда, это даже в порядке вещей — ведь и отец Луйзи был умнее матери; с самого раннего возраста она уверилась, что так и должно быть. Но в Иштване она угадывала не отцовскую опытность, идущую от трезвого знания жизни, а нечто значительно большее. Это большее рождалось в постоянном внутреннем напряжении, в непрерывной работе мысли. Ум Иштвана, делавший его непохожим на окружающих, пробуждал в Луйзи уважение и самоотверженное желание подняться до того же уровня. Безнадежность таких попыток обнаружилась очень быстро, хотя Луйзи не хотелось признаваться в этом даже самой себе. В то же время она поняла: их разделяет не столько разница умственного уровня взглядов, сколько упрямое сопротивление, с которым Иштван не позволяет ей — преданной, любящей, готовой на все жертвы — приблизиться к нему.

Пока Луйзи стояла перед воротами дома номер четыре по улице Хаттю, у нее внезапно появилась мысль, наполнившая надеждой все ее существо. Что будет, если она позвонит не в дверь Илоны, а в дверь Иштвана? Если вдруг навестит его дома? Приди эта мысль в голову Луйзи раньше, она самолюбиво и негодующе прогнала бы ее. Но здесь, у ворот, самая неожиданность, с какой эта идея возникла, и то, что Луйзи шла сюда совсем с другой целью, освобождали ее от неловкости.

В воображении Луйзи быстро нарисовала себе Иштвана, отворяющего ей дверь. Она увидела его смущенным, с сияющими глазами, с теми словами на устах, которые она всегда хотела от него услышать. В этот момент она была почти уверена, что неожиданность встречи сразу прояснит их отношения.

Она не хотела больше размышлять. Вечер наступил. Черные ворота бесшумно и бесследно поглотили ее фигуру, и во дворе ее сразу окутала темнота. Из кухни Илоны Луйзи не раз долго и неподвижно смотрела на дверь Иштвана. Теперь она позвонила.

Худой, лысый старик появился на пороге. Это смутило Луйзи, так как не совпадало со сценой, уже разыгравшейся в ее воображении. Опустив глаза, чтобы не видеть любопытного взгляда старика, она прошептала имя Иштвана и приоткрыла дверь в его комнату.

Юноша сидел за столом: подперев виски кулаками, он читал. Он поднял голову не сразу, словно с трудом оторвался от того мира, в который был погружен, и на его смуглом лице проступило удивленное выражение.

— Луйзи! Так это ты? — проговорил он спокойно и, шагнув к ней, протянул обе руки.

Луйзи стояла у двери, и недавняя обманчивая надежда, толкнувшая ее на этот шаг, теперь, как изменивший друг, покидающий в беде, бесследно исчезла. Спокойствие Иштвана заморозило ее, потому что за этим спокойствием не было ничего — ни смущения, ни радости, ни общей тайны. Оставалось только постыдное для Луйзи ощущение, что она навязывается Иштвану.

Девушка впервые была в этой комнате со старомодной мебелью, с чужими семейными фотографиями, с вышедшей из моды скатертью. И все-таки комната показалась ей знакомой, потому что была наполнена присутствием Иштвана, его книгами, его открытой и ясной улыбкой. Но свет этой улыбки не грел ее, ибо это была улыбка дружбы, а не любви, которой она ждала так страстно. И Луйзи сжалась, желая исчезнуть, раствориться, стала неловкой, неуклюжей.

— Ну, садись же, — ласково, но с невольной жалостью сказал юноша, — не бойся, я не обижу тебя.

— Знаю, — тихо ответила Луйзи с бледной улыбкой. Да, она чувствовала, что бояться действительно нечего, и именно поэтому окаменела, именно поэтому невыносимо стыдилась, словно бедняк, обратившийся за подаянием туда, откуда его постоянно гонят.

Юноша взял ее за руку и усадил. Он понимал, что она пришла к нему с намерением доказать свою любовь. Поникшие плечи, покорная и просящая улыбка девушки пробудили в нем угрызения совести, тотчас перешедшие в раздражение, которого он хотя и стыдился, но подавить не мог. Преданный, милый, но непрерывно просящий и упрекающий взгляд Луйзи требовал от него того, чего он не мог дать. Иштван обратился к девушке ласково, как к беззащитному ребенку:

— Ты хочешь поговорить со мной?

Луйзи прочла в его голосе сочувствие и отвернулась.

— Да, да, это хорошо, — продолжал юноша, — необходимо, в самом деле, выяснить наши отношения. Видишь ли, Луйзи, я долго размышлял в последнее время и знаю...

Он осекся, потому что поразился той жестокости, с которой хотел высказать правду. Но Луйзи и не слушала больше. Быстрым движением она положила пальцы на его губы, чтобы помешать говорить. Желание спасти юношу от мучительной неловкости и, даже в горький час разрыва, готовность жертвовать собою ради него и ради любви вернули ей былую непосредственность. Движения обрели свободную естественность.

— Не говори! — сказала она и порывисто встряхнула головой. — Ты в этом не виноват. Я... я хотела и не смогла сблизиться с тобой, а ты никогда... я это хорошо знаю. — Она улыбнулась юноше и тихо, точно утешая, шепнула, склонившись к нему: — Ты не виноват, что не любишь меня. Я затем и пришла, чтобы сказать это.

Последняя фраза снимала постыдную унизительность ее незваного прихода, Луйзи вдруг стала спокойной, даже повеселела.

— Мне стыдно, — ответил Иштван и сжал крепкие пальцы девушки. — Ты действительно такой человек, который...

— Нет, ничего не говори, — шепнула Луйзи и снова тряхнула головой. — Какая б я ни была, я тебе не подхожу...

На мгновение и она сжала, а затем оттолкнула руку юноши. Улыбнулась еще раз и вышла из комнаты. Она уже не боялась, что ее кто-нибудь увидит. На дворе она остановилась, взглянула на небо, в темном

квадрате которого сияла, выглянув из-за туч, единственная холодная звезда. Эта дальняя, одинокая звезда напомнила Луйзи о горе, первом, которое постигло ее за двадцать лет. Молодое горе было безграничным, как небо, чистым, как звезда; душа Луйзи не болела, а лишь окуталась тенью. Стоя с поднятым ввысь лицом, она улыбнулась; развязка породила в ней спокойствие.

Кухня Илоны встретила ее теплом и светом. Сама Илона возилась около плиты. Поднимала крышки, внимательно помешивала деревянной ложкой готовящуюся еду, сыпала соль, паприку, дула на закипевшее молоко. Движения ее были уверенными и ловкими и показывали, что женщина занимается своим делом не случайно, а должна обязательно приготовить кому-то ужин.

Все четыре дня, с тех пор как Анна поселилась у нее, Илона радостно возилась в кухне. И в то же время никогда она не думала столько об Или, как в эти дни. Материнская заботливость и любовь, что доставались на долю Анны, были только отражением той огромной и горячей любви, которую несла в своем сердце Илона. Ей приходилось то и дело встряхивать головой, чтобы отделить эти два готовые переплестись чувства и чтобы ожидание Анны не сливалось с другим вечным ожиданием, которое теперь, когда она снова чувствовала себя матерью, с неумолимой силой нахлынуло на нее.

Увидев на пороге Луйзи, она улыбнулась ей:

— Хорошо, что ты пришла, Луйзика. Поужинаешь с нами.

Но Луйзи не улыбнулась в ответ. Она огляделась и указала подбородком на комнату.

— Анна дома?

— Нет, — ответила Илона. — Я послала ее немного подышать воздухом, пока сготовлю ужин.

— Что вы готовите, тетушка Илона? — рассеянно переспросила Луйзи, но опять не обратила внимания на ответ. Она села на стул, лицо ее стало грустным и задумчивым. Горе, которое недавно было безграничным и безбрежным, как темный небосвод, теперь как бы сжалось, поместилось в кухне и оттого стало ближе и тяжелее.

Илона глянула ей в лицо, подернутое грустью, и перевела взгляд на дверь Иштвана.

— Что случилось? — спросила она ласково.

Луйзи неловко улыбнулась.

— Ничего, а только всему конец. Мы разошлись.

Илона замерла с деревянной ложкой в руке. Она давно догадывалась, что в отношениях Иштвана и Луйзи не все в порядке. Луйзи потеряла былую беззаботность, стала задумчивой, рассеянной и то очень веселой, то грустной. Илона чувствовала себя ответственной за Луйзи и поэтому пришла в полное замешательство.

— Не понимаю... Иштван не такой человек, чтоб играть чужими чувствами... — сбивчиво заговорила она.

— Именно поэтому мы и разошлись, — ответила Луйзи, подняв на нее широко открытые, печальные глаза. И с мучительной убежденностью впервые высказала вслух догадку, которая давно уже таилась в глубине души: — Он не позволяет мне любить себя, потому что любит другую. Я знаю, хотя он никогда не говорил. Любит кого-то и не может, не хочет забыть...

Илона машинально помешала в кастрюле и тяжело опустилась на стул. Перед ее опущенными глазами быстро-быстро замелькали картины прошлого.

Вот Иштван, наклонившись вперед, сжав руки между коленями, глядит на Или так внимательно и серьезно, как можно смотреть лишь на человека, составляющего для тебя смысл жизни. Летом или зимою, ходил ли он в костюме или в белой легкой рубашке, а взгляд его узких глаз оставался одинаковым. Он не сводил их с Или, а если ее не было рядом, говорил о ней, словно у него не было иных забот.

Как могло случиться, что Илона не заметила этой верной и неизменной любви? Впрочем, чему удивляться! Иштван принадлежал к тем, от кого она хотела оторвать Или, кого, как и себя, вечно унижала и чью восхищенную преданность считала естественным проявлением восторженных чувств человека низшего сорта перед существом избранным, вроде Или. Подумать, с какой бесчувственностью выкладывала она Иштвану свои тщеславные мысли об Или и рассуждала о неслыханных достоинствах того человека, который осмелится претендовать на ее руку и сердце. Пока Илона гадала, откуда должен был явиться этот сказочный принц, она, мать, прозевала действительно достойного человека, которому спокойно могла бы доверить свое дитя.

Илона пристально вглядывалась в прошлое, и в глубине ее памяти внезапно возникло воскресенье, когда Или с Иштваном по ее же собственному замыслу ездили на прогулку в горы. Сама она тогда заполнила пустоту одинокого праздничного дня глаженьем. Белье, снятое с веревки, еще не совсем высохло, но работой можно было заглушить боль от того, что Или никогда не задумывается над ее одиночеством. Потом она улеглась спать, но не заснула, а все размышляла об Или и смежила веки лишь в момент, когда Или отворяла дверь комнаты. Лежа с закрытыми глазами, Илона страстно ждала одного ласкового слова, движения, прикосновения, которое рассеяло бы щемящую боль. И вдруг произошло чудо: Или на цыпочках подошла к кровати, склонилась над матерью и обняла ее. Илона почувствовала, что дочь переполнена радостью и это заставляет ее нежно шептать на ухо:

— Мамочка! Мамочка моя!

Что происходило тогда с Или? Может быть, девушка и сама не знала. Но если только один день, проведенный в обществе Иштвана, сделал Или такой сердечной и счастливой, то какой же прекрасной могла бы стать вся ее жизнь, если б мать вовремя научила дочь замечать и ценить настоящие чувства и настоящих людей!

В эту минуту прозрения Илона вдруг поняла, что она одна полностью отвечает и за эгоизм Или, и за плохой выбор, сделанный Или в жизни. Ведь это она учила дочь оценивать людей по внешнему положению. Она и сама так различала окружающих, пренебрегая всеми подлинно человеческими качествами, смолоду ослепленная фальшивым блеском своей несбывшейся мечты.

Теперь, когда разделявшая их стена рухнула, Или показалась ей бедным, предоставленным самому себе ребенком, который отдалился от матери только потому, что та сама бросила его. Может быть, порванные нити никогда нельзя будет связать. Но за то, что они порвались, ответственна не Или, а она одна.

— Не надо так унывать, не бойтесь, тетушка Илона, я не падаю духом, — услышала она вдруг голос Луйзи.

Илона взглянула на бледно улыбнувшуюся Луйзи и прижала к груди ее склоненную голову. Гладя легкие, слегка разметавшиеся волосы, шепнула:

— Не сердись! Не сердись!

Она не знала, к кому, собственно говоря, обращается: к Луйзи, Иштвану либо Или. Но ее дрожащие губы много раз повторили:

— Не сердись!

После разрыва с Луйзи Иштван почувствовал такое облегчение, словно избавился от опасности. В то же время совесть мучила его. Вопреки своим взглядам, вопреки желанию, он обидел слабого. Он всегда презирал тех, кто злоупотреблял своей силой — именно такие люди искалечили его детство. А теперь он был жесток с этой милой девушкой, которая с такой готовностью и самопожертвованием отдавала ему свое юное чувство. Но беспокойная совесть все же не заглушила ощущения, что он свободен, ничем не связан с Луйзи, что его внутренний мир принадлежит только ему и что связать свою жизнь с жизнью Луйзи было бы непоправимой ошибкой.

Пока у него не завязалось знакомство с Луйзи, он почти не думал об Или. Мысли о ней были похоронены так глубоко, что, казалось, их невозможно воскресить. Воспоминание об Или было похоже на приснившийся в детстве сон, о котором знаешь, что он был, но восстановить его уже невозможно. Однако под влиянием встреч с Луйзи воспоминание об Или воскресло. Вначале Иштван не замечал этого, но она уже незримо присутствовала при их первом поцелуе; и оттого бледными, жалкими и мелкими казались каждое слово, каждый поцелуй, которыми они обменивались с Луйзи. Иштван делался все беспокойнее: помимо его воли новая привязанность всегда как бы спорила со старой и неизменно терпела поражение.

В молчаливой борьбе, когда он сопротивлялся смиренной, но упорной осаде Луйзи, стойкость и твердость Иштвана питались его самолюбием. Именно самолюбие не позволяло ему отказаться от самого себя. А когда он расстался с Луйзи, началась новая борьба — на этот раз с воскресшей в его сердце Или. Он мечтал о спокойствии, о чувстве непоправимой потери, которое испытал, когда узнал, что девушка вышла замуж и порвала с матерью. Но почему-то этого спокойствия никак не удавалось восстановить. Словно движение, которым Луйзи навсегда захлопнула за собой дверь, одновременно открыло какие-то шлюзы в его душе.

Его охватило неудержимое желание увидеть живую, настоящую Или, чтобы сравнить ее с тем сияющим образом, который, будто желая наказать его за неверность, теперь ни во сне, ни наяву не оставлял его в покое.

Иштван хорошо знал, где теперь живет Или, и хотя, перелистывая телефонную книжку, всегда старался обойти ту страницу, где значился номер Карои, глаза его мгновенно, с безошибочной уверенностью выхватывали из всех имен только это.

В конце зимы Иштван привык совершать длинные прогулки по городу. Они неизменно приводили его на улицу Резеды к дому номер пять. Раза два он замечал серебристое маленькое авто, молчаливо ожидающее у дома. В таких случаях он поворачивался спиной, словно один вид автомобиля унижал его. Ему казалось, что над маленькой, похожей на гнездо машиной парит атмосфера особого, чужого мира, отстраняющая и выталкивающая всех посторонних так же, как сам Иштван отстранил и вытолкнул Луйзи из своей жизни. Десятки раз Иштван давал себе слово, что прекратит эти прогулки и окончательно покончит с бессмысленной надеждой и постыдной слабостью. Но, хотя и реже, ноги несли его на улицу Резеды.

Однажды в холодный, яркий день конца февраля, когда в беспокойно рвущемся ветре и в ароматах, доносившихся откуда-то издалека, уже таились первые признаки весны, Иштван встретил Или. Вместе с мужем она внезапно появилась в конце улицы. Или приближалась медленно, ступая неровными, нерешительными шагами, немного позади Карои, словно хотела отстать. Всем своим существом Иштван ощутил могучий удар в сердце и на мгновение остановился, предчувствуя нечто решающее в этой долгожданной, столь желанной встрече, которую он представлял

себе совсем по-иному. Его охватило горячее волнение, похожее на физическое недомогание. Он знал, что уже не может повернуть обратно, и, чтобы успокоиться, быстро смерил расстояние, отделяющее его от Или. Только теперь, кажется, он понял по-настоящему, что Или жена Карои, что у этой женщины нет ничего общего с той девушкой, которая живет в его душе.

Все же он был вынужден смотреть на двух приближавшихся к нему людей. Они шли не разговаривая; их молчание, по-видимому, длилось уже давно. Внезапно Или обернулась к мужу и, сказав что-то, быстрым шагом, одна, направилась к Иштвану. Тот оборонительно замкнулся, чтобы встретить ее, как встречают чужих, малознакомых людей.

Или сразу же, мгновенно увидела юношу. Так как эта встреча была для нее как бы естественным продолжением всех тех мыслей и воспоминаний, которые, чтобы чувствовать себя сильной и чистой, она вновь и вновь воссоздавала в памяти, Или не поразилась, не удивилась. Она направилась к юноше со страстным желанием хоть на мгновение вырваться из безнадежной действительности и, уже сознавая свою любовь, посмотреть на Иштвана так, как еще никогда не смотрела. Приблизившись к нему, она на секунду закрыла глаза — так остро было ощущение, что их разделяет целая пропасть. И все-таки она увидела, как в глазах юноши мелькнуло сожаление, похожее на испуг: будто он ясно прочитал в ее лице надломленность и стыд.

Иштван действительно поразился — так велика была разница между теперешней Или и той, которую хранила его память. Бесследно исчезло гордое сияние, исходившее от ее победоносной красоты, молодости, сознания своей исключительности. На похудевшем лице он увидал страдания женщины, растерянность и мольбу о помощи. Это до глубины души потрясло его. Он понял, какие страшные разочарования перенесла Или, какие мечты о жизни, любви, о себе самой пришлось ей безвозвратно утратить. Его собственная гордость, побуждавшая считать эту встречу случайной, а себя — равнодушным, внезапно исчезла, и вместо нее с такой силой возникла нежность, что Иштвану стало физически больно. Или задрожала, почувствовав эту ласковую жалость в лучистом, серьезном взгляде юноши.

Исчезли улица, город, мир. Лишь они двое стояли посреди вселенной, испытывая неодолимое желание проникнуть в сердце друг друга. Или, обычно так боявшаяся выдать свою слабость, теперь бледными губами повторяла единственное слово, которое, казалось ей, может спасти ее от гибели:

— Иштван! Иштван!

А юноша, никогда прежде не позволявший себе подумать о том, чтобы коснуться Или, сейчас, забыв о Карои, стоящем в пятнадцати шагах от них и любопытным взглядом из-под длинных ресниц ощупывающем его лицо и фигуру, схватил руки Или, допытываясь со строгой страстностью:

— Или, почему вы несчастливы?

Или отвернулась. Она пристально вглядывалась вдаль, будто следила за уходящими надеждами. Теперь она понимала, какова может быть настоящая, красивая и чистая жизнь. И, задыхаясь, с глубоким отчаянием Или сказала:

— Я хочу умереть. Я очень хочу умереть!

В глазах ее перемежались страх, стыд, покорность. Ей хотелось попросить у Иштвана прощения, и она слабо улыбнулась. Улыбка вышла бледной, бесцветной, но в ней проскользнуло напоминание о прежней Или и какое-то новое чувство, трепетавшее в невысказанных словах.

— Или! — послышался откуда-то издалека голос Карои. Или повернулась к мужу, лицо ее потемнело. Иштван теперь ясно видел тени под ее глазами и резкие, чужие черточки в уголках рта.

— Иду! — сказала она, наконец, и медленно отняла свои руки. Сделала несколько шагов, беспомощно остановилась и с неприкрытым отчаянием брошенного ребенка посмотрела на Иштвана. Их взгляды скрестились с такой силой, что юноша едва смог отвернуться.

Неторопливым шагом Карои подошел к Или.

— Кто это? — спросил он, подбородком указав на удаляющегося Иштвана, и сам себе ответил: — Он, вероятно, очень любит тебя, я заметил по его глазам. Красивый юноша... и... и... видно, что великолепный мужчина! — признал он с легкой завистью и снова обратил на жену тот странный, испытующий взгляд, будто осматривал ее глазами постороннего.

Или отодвинулась, на лице ее возникло обычное жесткое выражение, и она, защищая недавние минуты радости, прикрикнула на Карои резко, почти грубо:

— Не смей говорить ни слова! Молчи!

Когда Иштван глянул им вслед, они уже скрылись в воротах виллы.

Он медленно пошел вперед, силясь осмыслить происшедшее. Собственно, он только что пережил величайшую минуту своей жизни и получил то, чего больше всего желал. Как же отличалась живая, подлинная Или от Или его мечты! Насколько переполнявшее его чувство было не похоже на ту восторженную радость, которая должна была затопить его! Он нашел другую Или вместо прежней, и счастье его оказывалось не таким, как он себе представлял. Оно не сверкало, не сжимало грудь, хотя иногда он улыбался и останавливался, потому что у него кружилась голова, а бьющий в глаза встречный ветерок приятно охлаждал лоб. Потом он вспомнил тот день своего детства, когда он впервые узнал человеческое сочувствие. Именно тогда стал он тем, кто щедро дает другим любовь, проникнутую сочувствием и нежностью, любовь, которой он всегда жаждал сам.

Теперь, вспоминая болезненно созревшее и все же беспомощное лицо Или, Иштван понял, что девушка всегда была слабее его, иначе не сломилась бы так скоро. Он, всегда благоговевший перед Или, доверчиво подчинявшийся ее высокомерной гордости, теперь увидел, что все это было детской игрой воображения. Искусственно взращенное тщеславие завело Или в западню, из которой ей не вырваться самой. Он не знал, каким был ее брак, ничего не знал об этом. Он знал одно: Или несчастна.

Горячее, острое сочувствие как бы сблизило его с Или. Она, так пленительно излучавшая жизнерадостность и самоуверенность, теперь смиренно, робко просит прощения и помощи. Желание освободить ее от страданий, излечить, заранее простить то, что не ему первому будет принадлежать ее чистая и гордая красота, делало любовь Иштвана еще сильнее. Исчезла с детства мучившая его неугасимая жажда нежности, ласки, заботы, которых он никогда не знал. Тоскливый, молящий взгляд любимой вызвал в его душе желание непрестанно отдавать ей самоотверженную любовь. Трезвое отречение от былой, незапятнанной Или, от романтических снов, которые жизнь осуществить не может, сделало Иштвана в этот вечер зрелым человеком.

Вернувшись домой, он прежде всего постучал к Илоне. Она мыла посуду у кухонного стола. Анна, стоя за ее спиной, самозабвенно начищала медный котелок.

Иштван подошел к Илоне и взял ее за руку.

— Я только что разговаривал с Или, — сказал он спокойно и тихо.— Она очень несчастна. Идите к ней сейчас же и приведите домой.

Илона побледнела и облокотилась о стол. Она почувствовала в Иштване удивительное спокойствие и силу, позволяющую ему не стесняться и не скрывать свое чувство.

— Почему не ты? — едва слышно спросила она, подняв на него затуманившийся взгляд.

— Вы сами должны привести ее домой, — повторил юноша убежденно.

Илона дрожащими руками натянула на себя пальто и вышла на улицу. Она и не подумала сесть на троллейбус или автобус; хотелось побыть в сгущавшихся сумерках наедине с собой и с ветром, который, потеряв дневную силу, мягко обнимал прохожих.

Сердце частыми ударами гулко колотилось в груди. Итак, настал день, которого Илона так страстно ждала! Ожидание, одно ожидание жило за всеми ее слезами, воспоминаниями и думами. Когда она взяла к себе Анну, ее материнское чувство ожило с новой силой.

Переходя мост, она поглядела вниз, на темную воду, поверхность которой отражала береговые огни. Это колеблющееся отражение показалось Илоне похожим на ее собственное состояние. Она со стыдом чувствовала, что счастлива и что ее переполняет гордость победы. Нет, она радовалась не тому, что оказалась права — Или сделала плохой выбор и теперь несчастна, — а тому, что у нее есть силы пойти за дочерью. Она не боится ничего и никого, ни Карои, ни даже собственной слабости!

На улице Резеды она остановилась у дома номер пять. На краю тротуара бледно светилась маленькая серебристая машина, словно остывшая луна, упавшая на мостовую. Илона с ненавистью посмотрела на автомобиль — ведь машина принадлежала Карои и была средством смутить Или!

Из окон сквозь щели в темных шелковых портьерах пробивался свет. Значит, они дома. Они не подозревают даже, что она уже несколько минут стоит здесь, под окнами. Ей казалось, что даже сквозь стены и портьеры она с удивительной ясностью видит сияющие в электрическом свете волосы Или, ее гладкий лоб, свежее лицо, милые губы, синие глаза. Она чувствовала, что из сердца дочери к сердцу матери тянутся какие-то нити.

Когда Илона шагнула, чтобы открыть дверь, она была спокойна, почти холодна, словно готовилась к этому давным-давно.

Или и Карои ужинали. Он рассуждал о выставке, на которой побывал утром, о том, как в действительности следовало художнику написать картину.

— Да, надо было делать так, как я говорю. Но, конечно, для этого у художника должна быть не только фантазия, а... и воображение, — сказал он и тихо, удовлетворенно засмеялся, ломаными движениями руки обозначая свое понимание разницы между фантазией и воображением.

Но Или не слушала. Она сидела у стола с твердым, замкнутым лицом, будто охраняя в себе то, без чего не могла бы жить, и сосредоточив все свое внимание на этом единственном сокровище. Карои делал вид, что не замечает ее отчуждения, хотя с каждым днем это становилось труднее. Уже несколько недель Или упрямо отказывалась от предложенной им игры, и ее сопротивление все укреплялось. Карои своим безошибочным инстинктом давно понял, что разоблачен. Но он не мог признаться в этом и продолжал вести себя так, как будто ничего не случилось, хотя его отрывистые слова, иронические замечания, тонкие определения не получали отклика, поглощались холодным воздухом квартиры. Чтобы любой ценой сохранить иллюзию, он старался не обращать внимания на унизительность своего положения.

Когда неожиданно прозвучал звонок, Карои сам поспешил в переднюю открыть дверь. Неприятное изумление он ловко спрятал за насмешливой веселостью.

— А, вот и мать-львица! — воскликнул он с низким поклоном.

Или не шелохнулась: от слов Карои она оцепенела и в ожидании напряженно замерла у стола. В мечтах, во сне она много раз переживала встречу с матерью. Но мечты возвращали ее в материнские объятия так, словно те долгие месяцы, которые они провели в разлуке, бесследно исчезли. По утрам эти сны было больно вспоминать именно потому, что в них свершалось невозможное. Сон стирал с души все темное, что прилипло к ней, и от чего — Или знала — полностью она уже никогда не сможет освободиться.

Теперь, наяву, Или едва узнала мать. Она была та же и все-таки иная, чем три четверти года назад. Волосы ее по-прежнему слегка серебрились, под глазами и вокруг рта по-прежнему виднелись тонкие морщинки. Лицо матери было новым, помолодевшим, и все же по-прежнему знакомым и родным. Илона, впрочем, была ошеломлена не меньше и на мгновение ухватилась за косяк двери.

На улице, стоя под окнами, она вспоминала прежнюю Или, ту, что наполняла ее душу светом. Нынешняя Или, медленно поднявшаяся из-за стола и широко открытыми неподвижными глазами смотревшая на мать, была совсем не похожа на прежнюю. Словно неумолимо-беспощадная, безошибочно-верная рука наложила тени на ее молодое лицо, шаг за шагом запечатлев историю всех проведенных здесь дней. Илона отдала бы жизнь, лишь бы не видеть этих знаков на молодом, и все же постаревшем лице.

— Мамочка, мамочка... — хрипло и несмело шепнула Или.

Илона подошла к ней и взяла холодную, дрожащую руку.

— Пойдем, пойдем, — сказала она таким голосом, будто говорила с маленьким ребенком, и ободряюще улыбнулась. — Пойдем, пойдем домой.

Или послушно встала со стула. Ей все еще не верилось, что наступило ее освобождение. Но в глубине души она не удивилась; после разговора с Иштваном она была полна ожидания. Не удивило ее и то, что мать, в которой всегда преобладало робкое смирение, теперь так крепко и твердо держит ее не только рукой, но и глазами, улыбкой, голосом.

— Домо-ой? — протяжно спросил Карои.

С неприкрытым любопытством он смотрел на Илону, в которой сразу же уловил новые черты. Чувствуя опасность, он попробовал защищаться.

— Не можете больше выдержать без Или? — спросил он. — Ну-с, я это понимаю и предлагаю вам мирное урегулирование. Впрочем, я приветствую ту новую и несомненно интересную женщину, которую бывшая Mater Dolorosa родила на свет. И так как я принимал участие в этом деле в качестве повивальной бабки, разрешите мне также поздравить себя.

Он сделал вид, что снял шляпу, и раскланялся с подчеркнутой галантностью.

Но от Илоны отскакивали все эти чужие ей слова. Не смутили ее и театральные поклоны, в которых она улавливала насмешку, но видела при этом в глазах Карои непобедимый испуг.

— Я не понимаю таких разговоров, и мне нет до них никакого дела, — ответила она, спокойно глядя на Карои. — Я пришла за своей дочерью и что бы там ни было уведу ее домой.

— Да, да, я пойду домой, пойду домой,— закричала Или, обращаясь к Карои, и тесно прижалась к матери. — Ты хорошо знаешь, что не сможешь меня удержать. У тебя нет силы удержать меня.

Илона слушала изумленно. У Или был новый, чужой голос. В нем звучала откровенная ненависть, словно детский гнев превратился в горькую боль.

Карои, колеблясь, стоял против нее. Признаться перед самим собой в собственной слабости, в ужасе, охватившем его при мысли, что Или действительно уйдет, уйдет совсем и вместе с нею исчезнет последняя иллюзия того, что он называл прекрасным искусством жизни? Либо, ни в чем не признаваясь, спасать свой воображаемый мир?

Он выбрал последнее, чтобы иметь возможность жить дальше. Выпрямившись и положив руку на бедро, Карои посмотрел на жену.

— Значит, творение хочет сделать себя независимым от мастера? — спросил он; его насмешливый, но по-прежнему жадный взгляд обежал Или.— Ведь ты — мое творение. Формирование живого человека, живое творение, о, это гораздо больше, чем...

Другая его рука колыхалась в воздухе, и с прищуренными глазами он наслаждался собственными словами.

Затем, снова повернувшись к Или, уступая мелкому желанию мести, добавил:

— Только не надломись одна. Потому что я вдохнул в тебя мою душу, а без нее ты тяжела, как камень. Можешь ли ты понять, как ты ничтожна без моей души?

Или с отвращением глядела на него и с внезапно прорвавшейся страстью, в которой таился горький мстительный упрек, бросила ему в лицо:

— Твоя душа... есть ли у тебя душа? Разве ты человек?

Илоне в этих коротких словах почудились такие глубины женского унижения, о каких сама она не имела представления. Теперь Илона была уверена, что именно это болезненно-горькое женское знание погасило в Или свет молодости и покрыло тенью ее лоб и лицо. Но дрожащие пальцы Или с отчаянной просьбой о помощи цеплялись за материнскую руку.

Пока Карои, стоя в неловкой позе у стола, искал слова мести, озлобленно оглядываясь в опустевшей комнате, из углов которой вдруг выступили пугающие признаки одиночества и жалкой старости, Илона с Или вышли на тихую безлюдную улицу.

Совсем стемнело. Небо покрывали мягкие черные облака, словно поглотившие всякое движение; издали едва доносился приглушенный шум города и шорох ослабевшего, усталого ветра. В тишине струился свежий, беспокойный и нежный аромат приближающейся весны.

Но Илона не замечала ничего. Может быть потому, что эти весенние запахи слились для нее воедино с радостью возвращения дочери, может быть потому, что впервые сама она уверенно вела Или к новой жизни. Она тихо говорила с ней, чтобы успокоить и утешить. Рассказывала, какие изменения произошли дома, как она расставила мебель, какую посуду купила, что готовила сегодня, чем угостит ее дома. Или молчала, все сильнее сжимая ее руку и робко улыбаясь, как виноватая девочка, которую простили раньше, чем позволяла ее собственная совесть.

Илона рассказала об Анне, с которой придется теперь делить квартиру, о том, почему она взяла ее к себе.

— Вы хорошо сделали, мама,— быстро и смиренно шепнула Или.— Очень хорошо сделали.

И это смирение лучше всего показало Илоне надломленность дочери. Ей стало тяжко на сердце, но в то же время боль удвоила материнские силы.

— Иликэ, маленькая моя, не бойся, не бойся, — сказала она невольно.

Или внезапно остановилась. Она посмотрела на мать, потом прислонилась лбом к стене дома, около которого они стояли, и заплакала. Сначала сдержанно, приглушенно, потом задыхаясь от рыданий. Ее спина и плечи сотрясались, словно она хотела отстраниться от ласковых ладоней Илоны.

— Мне так стыдно, мама. Я вся нечистая... грязная... Не знаю, можно ли так жить? — прошептала она и подняла на мать отчаянный и одновременно полный надежды взгляд.

— Твоя ноша — моя ноша,— тихо ответила Илона.— Подожди, это потом... Ты поймешь, — и ободряюще добавила: — Мы оба будем следить за тобой, ты увидишь, что выздоровеешь.

Или поняла, что мать говорит об Иштване, и задрожала от радости, что былая жизнь, которую она считала утраченной навсегда, снова открывается перед ней. Но тут же горькие тени омрачили ее душу; по сравнению с Иштваном она казалась себе ничтожной. Она теперь осознала, какое счастье было бы жить вместе с ним, без горького опыта своего постыдного брака.

Мать, словно поняв, что в ней происходит, погладила Или по лицу. Потом, тесно переплетя пальцы, в такт постукивая каблуками, они направились домой.

1956—1957.

Азиз Несин

САТИРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Перевод с турецкого И. Печенева

Рисунки Мих. Милославского

ИСТОРИЯ С ХВОСТАМИ

В деревнях, куда мы заезжали, меня поразила одна деталь: собаки у крестьян огромные и все без хвостов.

Я сказал учителю:

— Известно, что крестьяне обрезают собакам уши, солят их, перчат и все это им же скармливают. От этого псы становятся злее. Но я не знал, что они к тому же обрезают им и хвосты.

— Может, это порода такая...— ответил учитель.

В первой же деревушке, куда мы попали, я спросил старика, который нас приютил:

— Отчего это у вас все собаки бесхвостые? Порода такая?

Старик улыбнулся.

— На это есть своя история. Желаете — расскажу.

И старик поведал нам рассказ. Вот он.

...Волостной начальник издал приказ: «В этом году ваша деревня обязана уничтожить тридцать диких свиней!»

Когда это известие дошло до нас, мы пришли в страшное недоумение.

Крестьяне говорят мне:

— У тебя голова светлая, ты в этих делах разбираешься. Ступай к волостному начальнику, объяснись...

Пошел.

— Бей,— говорю,— я четырнадцать лет служил в солдатах. Был в Йемене, и в Триполи, и в Чанаккале, и на Кавказе...

— Короче! — оборвал меня волостной начальник.— Раз служил, значит заплатил родине свой долг, выполнил свое назначение. Награду ждешь?

— Помилуйте, бей! — говорю.— Я не про то хочу сказать... Когда началась война за независимость, я пошел добровольцем, собрал вокруг себя молодежь, ушел с ними в горы... Мне выдали на руки огромную, как шаль, бумагу, в которой подтверждалось, что я — боевой командир...

— Не отвлекай меня пустой болтовней! — перебил опять волостной начальник. — Из-за тебя страдают государственные дела! Говори: что надо?

А я все продолжаю:

— Слава аллаху, он послал нам победу! Выиграли войну. Я вернулся в деревню изрешеченный пулями, шрапнелью, изрубленный саблями...

Волостной начальник снова оборвал меня:

— Короче, ты хочешь получить пенсию за заслуги перед страной? И не стыдно?! Неужто не видишь, как туго приходится нашему несчастному народу?

— Могу ли я не видеть, бей? Все вижу. Например, на прошлой неделе сборщики налогов конфисковали у меня рыжего быка. Постой, дай сказать... Слава аллаху, государство заплатило мне сполна. Есть у меня медаль на красной ленте!.. Есть у меня раззолоченные грамоты с печатями. Однажды к нам в деревню приехал учитель. Я, между прочим, рассказал ему все свои злоключения. Долгими зимними ночами он выспрашивал у меня подробности, все записывал. Потом, да наградит его аллах, уехал он от нас. Прошло немного времени... Как-то приезжает из города один наш паренек... Он там учится... «Смотри,— говорит,— Чавуш-ага, про тебя в газете написано». Оказалось, учитель продал историю моей жизни в газету. Это был единственный случай, когда моя жизнь что-то стоила. Да и то деньги получил другой. Я ничего ни у кого не прошу. Государство пожаловало меня званием старшего лейтенанта. Прежде на большие праздники нас вызывали в город для участия в параде. А сейчас я уже стар, в строю ходить не могу. Да и пойдет ли теперь к этой седой бороде красивая офицерская форма с саблей?! А потом... мы себе простых штанов купить не можем — где же нам взять деньги на офицерскую форму?.. Почтили меня, уважили, и на том спасибо!

— Хорошо, но что тебе тогда надо? — спросил волостной начальник. — Может, тебя, по-твоему, пашой должны были сделать? Глянь на меня: сколько лет я учился, и все еще лейтенант запаса!..

— Эх, ты не смотри на мое теперешнее положение. Прежде у меня в подчинении было пятьсот конников и тысяча бойцов под ружьем. Сколько вражеских генералов я отправил на тот свет! Жить мне осталось немного, но я никогда не попрошу ни пенсии, ни признания, ни генеральского чина...

— Так, но что же тебе тогда надо?

— Меня прислали крестьяне. Вы приказали убить в этом году тридцать свиней. Потому и беспокою вас. У нас в деревне, кроме меня, никто и свиньи-то не видел. Да и я ее видел только на фронте в Галиции. Был у нас капитан Этем бей... Да благословит аллах его память, если умер, а если жив, пусть и нас помянет... Здоровяк! Двоих таких волостных начальников мог бы удержать на усах. Однажды ночью мы пошли с ним в разведку. Идем, вдруг шальная пуля разорвала мне икру. Разумеется, я шлепнулся на тропинку... «Что с тобой, ефрейтор? — спрашивает Этем бей.— Не ранен ли?» — «Нет,— отвечаю,— все в порядке». В те времена люди были иные. Увидел Этем бей, что я отстал от разведчиков, взвалил меня на спину и притащил в немецкий полевой госпиталь. Там я и увидел свинью в первый и в последний раз. Немцы их специально откармливают. Боялся, что они и меня накормят свининой... Так и не притронулся в госпитале к мясной пище... Прости за болтовню, начальник. Стариковская слабость... Так вот в нашей деревне, кроме меня, никто и не видел свиней.

Как рассердится волостной начальник.

— Я вам задам! — кричит.— Знать ничего не хочу. Требую, чтобы ваша деревня убила в этом году тридцать диких свиней. Кстати, вы и узнаете, что такое свинья!..

— Бей, —говорю,—но в окрестностях нашей деревни свиньи не водятся. И в соседних селах их нет. «Свинья» — для нас только бранное слово.

Осерчает один на другого, кричит: «Свинья!» Еще посильнее разозлится, орет: «Свинья, сын свиньи!» Что же до самих свиней, то мы их и в глаза не видели.

— Ах, невежды! — вспылил волостной начальник и достал из стола толстую пачку бумаг.— Государство о вас так печется!.. Смотри, что оно готовит... Вот здесь все написано. Читать умеешь?

— Нет.

— А еще офицером был!

— Бей,— говорю,— ведь от этого никому не худо.

— Слушай меня,— говорит начальник,— видишь, что написано в этих бумагах?.. «Самые страшные вредители полей и урожая — это дикие свиньи. Поэтому для получения крестьянами еще большего урожая кукурузы...» Ну, теперь понимаешь? То есть, свиней надо убивать в ваших же собственных интересах. Может, вы турецкого языка не понимаете? Свиней надо убивать!..

— Понять это не трудно, бей. Конечно, свиней надо убивать. Но ты нам покажи их, а мы убьем... Кукурузы мы не сажаем. Не сажали ее и отцы наших отцов, и отцы наших дедов тоже...

— Надо сажать! Вместо того чтобы бездельничать, лучше выращивайте кукурузу. Тогда свиньи появятся в ваших местах, и вы сможете их убить. Так и будет выполнен государственный приказ.

— Слушаемся, бей. Сажать кукурузу мы будем, но...

Начальник как крикнет:

— У вас на все есть отговорка! Американцы даже во льдах на Северном полюсе выращивают гвоздику... А ты заладил: «Нельзя, нельзя!..»

Тут уж и я не выдержал, говорю:

— Передайте составителям этого приказа, пусть распорядятся, чтобы в этом году снег не выпадал. Тогда мы посадим кукурузу, к нам нагрянут свиньи, и мы их будем стрелять...

Начальник даже позеленел:

— Что?!. Издеваться над официальными властями во время исполнения ими служебных обязанностей?!. Да за это дают от двух лет и больше!

— Помилуйте, бей... Смеем ли мы издеваться над вашим превосходительством?! Но в деревне свиней нет.

— Он еще возражает!.. Ты мне скажи, кто лучше осведомлен о диких свиньях в ваших окрестностях — ты или составители этого приказа? Ну!.. Отвечай!

— Мы люди темные, ничего не знаем, но в нашем районе свиней нет.

— Составители этого приказа изучают карты, роются в книгах и таким образом устанавливают, что в вашем районе дикие свиньи водятся. Свиньи наверняка есть, а вот вы об этом ничего не знаете, не видите их! Раз вам говорят есть, значит есть. Смотрите в оба!..

— Мы смотрим, бей. Но свиней у нас нет...

— Пустоголовые неблагодарные твари! Мы бьемся ради вашей же пользы, ради того, чтобы сделать вас людьми. А вы даже этого не понимаете... Приказ издан самим министерством земледелия и разослан по всем вилайетам. Губернатору говорят: в этом году требуем от вашего вилайета столько-то свиней... Но ведь не самому губернатору выходить на охоту за свиньями?! Он пишет каймакамам: в этом году убьете у себя в уезде столько-то свиней! Каймакамы строчат волостным начальникам. А уж я — вам. Эх, отсталый вы народ!.. Я поделил число свиней на количество деревень. Вышло тридцать свиней на одну деревню.

— Господин начальник, мы народ темный — это верно, отсталый — тоже верно. Но свиней в нашем районе нет!

Начальник покраснел как рак, хлопнул кулаком по столу.

— Выходит,— говорит,— министр земледелия не знает, что у вас в деревне нет свиней?! Выходит, советники и специалисты, годами обучавшиеся в сельскохозяйственных заведениях Европы, тоже ничего не знают?! И губернатор не знает?! И каймакам не знает?! Сельскохозяйственные чиновники тоже не знают?! И я не знаю?! Одни вы все знаете?! Понимаешь теперь, какая страшная вещь невежество? Видишь, до чего тебя доводит высказанное тобой оскорбление?.. Прежде всего ты оскорбляешь меня, а потом каймакама, а еще дальше и губернатора... Понял, на кого ты руку поднимаешь?

— Помилуйте, бей!..

— Никаких «помилуйте»! — тут волостной начальник вскочил с кресла и снова плюхнулся в него.— Государство не требует, чтобы вы стреляли свиней задаром. Хвосты убитых свиней вы должны приносить мне. Я буду выдавать свидетельства, которые следует представлять в земельное ведомство. После этого вы пойдете в банк и получите по двенадцать с половиной курушей за каждый хвост. Чего вам еще надо? Не понимаете собственной выгоды! Известно ли тебе, что по всей стране идет борьба со свиньями? А ну-ка отвечай, почем вы продаете килограмм пшеницы?

— Банк берет по восемь курушей.

— Вот видишь!.. Один свинячий хвост равняется полутора килограммам пшеницы. Вместо того, чтобы все семьи возились в поле, я бы на вашем месте продавал государству свиные хвосты. Ну, марш отсюда!.. Довольно болтать. Приказ есть приказ. Не станете убивать свиней, пришлю к вам жандарма... Уж он-то вас вразумит!

— Да продлит аллах ваши дни, начальник! — сказал я и вышел.

Вернулся в деревню, сообщил крестьянам подробно свой разговор с волостным начальником.

Кто-то предложил:

— А что если начать разводить свиней? Выкормим, убьем, а хвосты сдадим начальнику.

Однако большинство крестьян не захотело возиться с такой нечистью.

Кто-то из односельчан поведал, что в тех краях, где он служил в солдатах, много свиней.

Тут крестьяне и говорят мне:

— Чавуш-ага, сослужи всей деревне службу. Поезжай в то свинячье место и привези нам тридцать свиных хвостов.

А езды до тех мест двое суток.

— Раз вы так решили,— говорю я крестьянам,— надо не прогадать. За один хвост платят двенадцать с половиной курушей. Купим побольше хвостов, продадим здесь подороже и по крайней мере окупим расходы.

План мой был одобрен. Взяли мы в банке ссуду. Я прихватил два мешка и двинулся в путь.

Короче говоря, через два дня я был уже на месте. Действительно, свиней в местечке тьма-тьмущая. Однако оказалось, не я один на свете такой проворный... Городок наводнили сотни охотников за хвостами. На базаре высятся горы свиных хвостов. Торговля идет полным ходом.

Штука — двадцать курушей!

Начал я торговаться:

— Ведь эдак можно прогореть! Если мы эту мерзость будем продавать государству по двенадцать с половиной курушей, как же оправдать хотя бы дорогу?..

Короче говоря, купил я двести хвостов по пятнадцать курушей за штуку, показал их крестьянам на постоялом дворе, а те и говорят:

— Эх, простофиля! Не видал никогда свиных хвостов?..

— А что такое?

— Да ведь они не свиные, а собачьи!..

Оказывается, предприимчивый плут отрубал у собак хвосты, окунал их в оливковое масло и продавал как свиные.

Спрашиваю у крестьян:

— Что же теперь делать?

— Да ничего,— говорят,— вези их к себе в деревню, там подрежь еще немного, сделай покороче, смажь побольше маслицем и тащи волостному начальнику. Ничего не заподозрит.

Лето было жаркое, путь долгий, начали мои хвосты гнить и попахивать в вагоне.

Пассажиры удивляются:

— Откуда вонь?

Только я появился в деревне — крестьяне говорят:

— Чавуш-ага, теперь у нас идет борьба с воронами. Волостной начальник требует с деревни двести вороньих голов.

— Вороны,— говорю,— это не страшно. Их у нас много, только успевай стрелять и таскать в волость. Но вот боюсь, как бы через месяц не началась борьба с саранчой! Прикажут вам тогда собирать саранчовые головы.

В соседних деревушках прослышали про наши свиные хвосты. Началось к нам паломничество. Мы брали за каждый хвост пол-лиры.

А тридцать хвостов были доставлены волостному начальнику.

— Вот видишь, а ты говорил, что у вас свиньи не водятся,— отчитал он меня.— И посмотри ты на эти хвосты!.. Какие огромные!.. Представляю, что это были за свиньи!

С этого самого дня крестьяне перестали заходить в мой дом. Так как я своими руками трогал нечисть, никто с тех пор не здоровался со мной.

Наконец я не выдержал, отозвал в сторонку наиболее серьезных односельчан и говорю:

— Должен вам кое-что рассказать... Только чем я виноват, если меня надули... Ну и я надул волостного начальника... Те хвосты, что я привез, были вовсе не свиные, а собачьи!..

Так я открыл крестьянам «секрет производства».

Среди нас тоже нашелся предприимчивый делец, который решил воспользоваться случаем.

И вот в деревне не осталось ни одной собаки с хвостом. А наш односельчанин сделался заядлым торговцем хвостами в городке.

Однажды я встретил его и спросил:

— Как живешь?

— Слава аллаху! — отвечает.— На хвостах выезжаю!

Вот вам и весь рассказ.

ДА ПОШЛЕТ ВАМ АЛЛАХ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ!

К вечеру мы добрались до новой деревушки. Сани остановились на маленькой площади, где вовсю кипела работа. Человек тридцать крестьян кирками и лопатами разгребали снег в центре площади. По их глазам, по всему их виду было заметно, что работа им не нравится.

К площади примыкала бакалейная лавка, рядом ютилась кофейня, тут же стояла хибарка, именуемая «советом старейшин».

У кофейни нас встретил староста.

— Очень прошу извинить! — сказал он.— Простите меня. Мы поздно узнали о вашем приезде, а то бы всё успели сделать...

Староста смущенно потирал руки и казался весьма огорченным. Я ничего не понимал.

— Как только мы узнали о вашем приезде,— продолжал староста,— я тотчас мобилизовал народ и приказал очистить памятник от снега. Но они только что приступили...

Крестьяне усиленно разгребали снег в центре площади. Наконец из-под сугроба показались две человеческие головы, а еще минут через десять ясно обозначились контуры всего монумента.

— Что это такое? Что они делают? — спросил я в недоумении старосту.

— Клянусь аллахом, бей, мы поздно узнали о вашем приезде, а то бы все успели сделать...

Входим в кофейню, пьем чай. Потом староста ведет нас к себе.

— Честно говоря, вы не похожи на других чиновников,— признается он.

Завязывается разговор, и староста рассказывает нам историю двуглавого памятника.

Случилось это несколько лет назад. Пришло известие о том, что очень важный человек совершит путешествие в восточные районы страны и посетит некоторые деревни. Ну, как положено, вилайетские власти составили план маршрута, определили места, по которым важный человек проследует. Единственная дорога из уезда, где можно было проехать на машине, проходила через эту деревню. К тому же она была и самой крупной в округе, поэтому решили показать важному человеку именно ее.

В деревню приехали какие-то люди. Завязалась переписка с городом. В центре деревни снесли один из домов и устроили площадь. Затем был издан приказ: «Крестьяне, сооружайте памятник!»

А крестьяне даже не знают, что такое памятник. Отставные армейские служаки, главным образом старики, побывавшие в плену, рассказывали невеждам, молодым парням и женщинам, что такое памятник, как и из чего он делается. Однако крестьяне все-таки ничего не поняли, ибо хотя стало ясно, из чего делаются памятники и каковы они на вид, но даже самые мудрые аксакалы не могли объяснить, для каких целей они сооружаются. Тогда чиновники из уезда заявили:

— Живо собирайте деньги! Мы закажем для вас памятник в городе.

Крестьянам пришлось развязывать свои кушаки и выскребать оттуда всю мелочь. Собранных денег оказалось страшно мало. Сборы проводились раз пять, и все-таки на памятник собрать не удалось. Один из чиновников, в очках, с белым галстуком, распорядился:

— Хорошо, остальные деньги мы добавим сами! Власти и на этот раз окажут вам помощь!

Затем слово взял другой чиновник.

— Свое желание соорудить памятник,— сказал он,— вы должны подкрепить прошением!

Крестьяне и это сделали. В городе было заказано два бюста. Затем в деревню опять приехали какие-то люди. Под их руководством крестьяне нарыли в центре площади большой бугор и засадили его зеленой травкой и цветами. После этого вокруг бугра было воздвигнуто нечто вроде забора из толстых железных прутьев, а в середине соорудили широкий постамент из камня и кирпича. И вот, наконец, из города прибыли два гипсовых бюста. Их установили на постаменте друг против друга, нос к носу. Затем крестьян проинструктировали, как они должны встретить важного человека, где будут стоять они, где построятся школьники. Им рассказали, какие вопросы может задать важный человек, объяснили, как надо отвечать на них. Целую неделю бился сельский учитель с крестьянами, заставляя их зубрить все эти вопросы и ответы наизусть. А тут как назло подоспело время молотьбы. Вечером крестьяне приходили в школу усталые, измученные. Они делали вид, что слушают учителя, а сами засыпали.

— Эй, бараньи головы! Двух слов заучить не можете! — выходил из себя учитель.— Нет, проку от вас не жди!

Жандармский офицер пригрозил всей деревне:

— Не вздумайте ляпнуть что-нибудь сверх того, чему вас научит учитель. Говорите только то, что вам положено. Кто будет умничать — тому зубы поломаю.

Дабы автомобиль важного человека не застрял в пути, крестьяне всем селом были брошены на ремонт дороги. Надо было засыпать ямы, срыть бугры.

Но вот и с этим покончили. День визита важного человека в деревню приближался. Из уезда без конца прибывали автомобили. То-то было радости ребятишкам! Они часами простаивали возле машин.

Однажды вечером крестьянам объявили:

— Завтра в поле не выходить! Проводим репетицию.

Наутро вся деревня высыпала на площадь. В толпе оставили узенький коридорчик для проезда машин. Школьники стояли отдельно. Босых и плохо одетых упрятали назад. Крестьян построили в одну шеренгу. Из школы вынесли стол учителя и поставили возле памятника. Какой-то господин с рыжей бородкой взобрался на стол и прокричал:

— Слушать внимательно! Сейчас сюда въедет автомобиль. Лишь только он остановится, вы разом зааплодируете, как мы вас учили. Но запомните, аплодировать надо от всего сердца, от всей души! Конечно, из автомобиля кто-нибудь выйдет и скажет: «Здравствуйте, крестьяне!», или «Как поживаете?» Вы сейчас же хором в ответ: «Са-ол!» * Затем, когда он подойдет к вам, вы должны пожирать его глазами, провожать взглядом... И при этом не растягивать рот до ушей.

Рыжебородый говорил долго, а под конец спросил:

— Ну, поняли?

Крестьяне хором закричали:

— Поняли!.. Поняли!..

Репетиция началась. На площадь въехал автомобиль и остановился. Раздались аплодисменты.

— Не вышло! Не вышло! — закричал рыжебородый.— Хлопайте посильнее! От души!

Автомобиль попятился назад и через минуту снова въехал на площадь. Снова грянули аплодисменты.

Рыжебородый схватился за голову.

---

* Буквально «будь здоров», распространенная на Востоке форма приветствия.

— Вы нас опозорите, если будете так хлопать. Не получилось! Повторить! От души!

Так продолжалось раз десять. Наконец рыжебородый остался доволен. Очередь дошла до «са-ол». Крестьяне, готовясь прокричать это приветствие, набрали полную грудь воздуха.

Первое, что сказал чиновник, изображающий важного человека, было:

— На площади слишком тесно! Подайтесь назад, крестьяне!

Не успел он закрыть рот, как крестьяне гаркнули на всю площадь:

— Са-ол-л-л-л!!!

Рыжебородый чуть не свалился со стола. Ярости его не было предела. Жандармский офицер тоже вышел из себя. А крестьяне никак не могли взять в толк, за что на них сердятся. Ведь они очень своевременно, очень дружно и очень громко прокричали то, что от них требовали...

Рыжебородый подскочил к шеренге крестьян и схватил впереди стоящего за шиворот.

— Какая грязь! — сморщился он.— Фу, как воняет!

Он отвернул ворот рубахи и тотчас отдернул руку.

— Что это?.. Что это?.. Вошь?

Крестьянин глянул на учителя. Насколько он помнил, ничего не было сказано о том, как надо отвечать на подобный вопрос.

— Я спрашиваю, что это? — рявкнул опять рыжебородый.

Крестьянин понял: напрасно он ждет помощи от учителя. «Говорил ведь что-то, а я запамятовал... Эх, скажу, что помню...» — решил он и забормотал:

— Благодаря вам... Да пошлет вам аллах долгой жизни!..

К крестьянину подскочили жандармы и поволокли в участок.

После этого чиновники по одному взбирались на стол и произносили речи. Школьники пропели молитву. Репетиция окончилась.

Стали ждать приезда важного человека...

Прошли годы. Крестьяне и по сей день ждут.

А двуглавый памятник так и остался стоять на площади. Прилетают птицы, садятся на него. И если бы только садились... Но они вдобавок пачкают его. Однажды из города опять приехали чиновники. Ну и досталось же от них старосте!

Теперь по приказу старосты летом на площади дежурит какой-нибудь мальчуган. Он сгоняет с памятника птиц. По праздникам крестьяне белят памятник известкой. Зимой же площадь заносит снегом.

И вот жандармский офицер издал приказ: «В случае приезда в деревню чиновников, памятник надлежит заранее очистить от снега и побелить».

Прослышав о нашем приезде, крестьяне принялись откапывать памятник, да только не успели...

МЕТРИКА

Вечером мы зашли в деревенскую кофейню. Она была набита битком. Крестьяне нестройным хором приветствовали нас:

— Добро пожаловать!..

— Здравствуйте!

— Рады видеть!

— Присаживайтесь!

Мы попытались поздороваться с каждым в отдельности. На эту церемонию ушло минут десять.

Когда все успокоились, пожилой крестьянин в углу продолжал свой рассказ.

«...Итак, Мевлюд женился, и вскоре аллах наградил его сыном. Однако не прошло и двух месяцев, как ребенок умер. Через год жена Мевлюда опять родила, и снова младенец не выжил.

Мевлюд пригрозил жене.

— Если и третий умрет — разведусь!

Но все было напрасно!.. Сколько детей ни рождалось — все умирали.

Мевлюд сменил четырех жен. Но удачи не было. Дети либо рождались мертвыми, либо умирали вскоре после появления на свет. Были и недоноски. Большинство же отправлялось в рай, не дотянув и до месяца.

Уездный чиновник, ведающий регистрацией новорожденных, объяснил невезение Мевлюда.

— Твои потомки,— сказал он ему,— умирают оттого, что ты не выписываешь им метрик.

Мевлюд внял совету чиновника и, когда очередная жена родила ему сына, первым делом получил для него в городе метрику. Получить-то получил, но и это не помогло: ребенок опять умер.

Горю Мевлюда не было предела. Надвигалась одинокая старость.

— Неужто мой род так и погибнет? — убивался он.— Неужели я останусь без наследника?!

Верхняя полка в шкафу была забита метриками умерших младенцев. Однажды Мевлюд пожаловался на судьбу знаменитому знахарю. Знахарь посоветовал:

— Пусть жена поручит семи престарелым девственницам семь дней плести на заре веревку из хлопка.

Жена Мевлюда так и сделала. Когда веревка была готова, знахарь обвязал ею живот неудачливой матери и сказал:

— Родится ребенок — посвятите его аллаху, имя дайте Сатылмыш...*

Через год жена Мевлюда опять родила сына. На этот раз ребенок не умер. Мевлюд счел лишним выписывать ему метрику, решив так: «В шкафу и без того полно метрик. Подрастет — выберет себе любую».

Дел у Мевлюда было по горло. Надо и по дому кое-что сделать, и в поле успеть, и за плугом постоять, и за овцами присмотреть. Везде нужен глаз. А Сатылмыш еще мал, не помощник. Нанять же работника — дорого. Так и шло время. Наконец Сатылмышу исполнилось два года. Подумал Мевлюд, поломал голову и решил женить сына. Высмотрел он сильную, крепкую крестьянку лет тридцати.

«Такая в дом войдет — у нее работа закипит под руками»,— думал Мевлюд.

Но отец невесты выдвинул условие:

— Брак непременно должен быть гражданским.

Старик боялся, что, не вступив в гражданский брак, дочь его в случае смерти мужа не получит наследства.

* Буквально означает «проданный» (имеется в виду — аллаху).

Мевлюд был согласен и на гражданский брак, но ведь Сатылмыш еще дитя. Решил Мевлюд посоветоваться с адвокатом.

Адвокат сказал:

— Мы увеличим возраст Сатылмыша! — и тут же накатал властям брачное прошение.

А в это время наступил срок призыва в армию умерших сыновей Мевлюда. Как-то утром в дом нагрянул жандарм.

— Эй, Мевлюд,— говорит,— выдай-ка нам своих сыновей. Пятеро не явились на первую поверку, а четверо числятся у нас дезертирами. Ты ведь знаешь, за укрывательство дезертиров влепят больше, чем за дезертирство.

— Будь у меня столько сыновей,— отвечает Мевлюд жандарму,— я бы сам создал свою армию. Вот этот клоп — все, что у меня есть,— и он кивнул головой в сторону Сатылмыша.

— А покажи-ка мне его метрику.

Мевлюд взял из шкафа первую попавшуюся метрику и протянул ее жандарму. Тот взглянул на документ и говорит:

— Мевлюд-ага, а ведь твой ребенок дезертир!

— Этого быть не может! — возразил Мевлюд.— Разве этот карапуз удержит винтовку? Разве он сможет воевать? Он и чашки за собой не вымоет, и штанов не постирает. Мал еще!

В конце концов опять пришлось обратиться к адвокату. На этот раз он сказал так:

— Мы уменьшим возраст Сатылмыша! — и написал еще одно прошение.

Суд затребовал троих свидетелей. А время как раз молотить хлеб. Мевлюд подыскал в деревне трех бездельников, дал им на дорогу денег, продуктов, заплатил вдобавок каждому по пять лир, и свидетели отправились в уездный город.

И вот первый свидетель предстал перед судьей. После обычных вопросов тот осведомился:

— Ну, а сколько же лет Сатылмышу?

— Господин судья,— отвечает крестьянин,— однажды ко мне пришел сборщик податей и сказал: «Твой долг правительству — восемьдесят лир да старая задолженность — сто восемьдесят... Плати!» Столько денег я не набрал, и у меня конфисковали овец. В тот год и родился Сатылмыш.

— Хорошо, а когда у тебя конфисковали овец?

— Овец у меня забрали в тот год, когда жандармы заковали Мемиша в наручники и бросили в тюрьму за неуплату дорожного налога.

— Неужели ты не помнишь даты?

— Как не помнить? Помню... Это случилось как раз в тот год, когда Ахмед вспорол живот одноглазому Иллесу... Дружки поссорились из-за воды для орошения.

— Но когда же это было?

— В тот год случилась засуха, и мы всем селом вышли на молитву в поле.

— Хорошо, но в каком это было году? В каком месяце? Это ты знаешь?

— Как не знать?! В тот год мой покойный родитель вез на осле из лесу вязанку хвороста. Лесники поймали его и посадили...

Оказалось, случай этот был известен судье. Он подтвердил, что Сатылмышу действительно два года...»

Кто-то из крестьян в кофейне спросил:

— Ну, а как с женитьбой Сатылмыша?

Рассказчик продолжал:

«Для женитьбы надо было увеличить Сатылмышу возраст. Во избежание лишних расходов Мевлюд привлек к этому делу тех же свидетелей и решил обстряпать дельце в один и тот же день.

После обеда свидетели снова пришли в суд. Судья спросил первого свидетеля, сколько лет сыну Мевлюда. Советы адвоката не пропали даром, и крестьянин без запинки отбарабанил:

— Господин судья, ни много ни мало, ровно сорок пять лет тому назад, пятого апреля, в пятницу, в три часа восемь минут утра по местному времени, секунда в секунду, я шел мимо дома Мевлюда и услышал какой-то писк...

— Постой, постой,— перебил судья свидетеля,— я не помню таких подробностей о рождении своего собственного сына. Как же ты можешь знать такое о чужом?

— Да вот знаю...

Судья пристально взглянул на него и говорит:

— Послушай, не ты ли утром свидетельствовал, что Сатылмышу всего два года?

— Я,— отвечает крестьянин,— но утром было одно дело, а теперь — совсем другое.

Судья заглянул в метрику свидетеля, да как закричит:

— Ах ты, бесстыдник! Аллаха не боишься! Ведь тебе самому-то всего двадцать четыре года. Как же ты можешь знать о том, что произошло сорок пять лет назад?

Свидетель обиделся:

— Господин судья, вы меня оскорбляете. Я свидетельствую в пользу угодного аллаху дела. Однако я не сказал вам, что видел все собственными глазами. Именно так мой дед рассказывал об этом тетке, тетка поделилась со своим мужем, тот рассказал крестьянам в кофейне, вот и до меня дошло.

Судья вызвал второго свидетеля. Тот тоже выпалил без запинки:

— Ни много ни мало, ровно сорок пять лет тому назад, пятого апреля, в пятницу, рано утром...

Судья обратился к третьему свидетелю. И тот тоже:

— Господин судья, ни много ни мало, ровно сорок пять лет тому назад, пятого апреля...

Судья прогнал всех троих из суда...»

Рассказчик умолк.

Кто-то из слушателей спросил:

— Так и не женили Сатылмыша?

— Как не женили? Женили. Брачный договор скрепил имам. Мевлюд дал отцу невесты калым — двух быков. Да что там, шариат при двух свидетелях невинного повесит! Имам выслушал всех и говорит: «Грех падет на плечи свидетелей!» Так и женил Мевлюд сына на крепкой, как кобылица, девке. Фатьма и в поле ходила, и на мельницу бегала, и дрова с гор таскала, и вдобавок еще стирала мужу штанишки, а ночью баюкала его в люльке.

СТОПРОЦЕНТНЫЙ ШЕДЕВР

— Не вышло, не вышло. Еще раз!..

Загримированный под деревенского парня молодой актер, казалось, был даже доволен тем, что режиссер вот уже в который раз заставляет его повторять одну и ту же сцену. Он предпринял новый натиск на юную, напоминающую цыпленка девушку. Его правая рука дважды обвила тонкий девичий стан. Хрустнули позвонки. Парень впился в губы актрисы, словно это была баранья мозговая кость.

— Опять не вышло! — закричал режиссер в брюках гольф, перекладывая пустую трубку из одного угла рта в другой.

Парень еще раз кинулся к девушке, стиснул в своих объятиях, опять припал к ее губам.

Режиссер снова захлопал руками по бедрам, словно петушок, собравшийся кукарекать.

— Нет, нет, не вышло! Надо целоваться, как опытные супруги с сорокалетним стажем...

Режиссер спохватился, сообразив, что в новом современном мире почти не осталось чудаков, хранящих верность столь длительное время, а те, кто остались, уже не целуются, а поедом едят друг друга.

— Впрочем, нет,— дал он задний ход.— Сравнение отпадает. Представь, будто ты видишь ее впервые. Вы в кино, сидите рядом, свет погашен... Ты объят божественной, бессмертной страстью, современной страстью!.. Ну, обнимайтесь. Раз, два, три!..

Парень сделал еще один заход, но режиссер и на этот раз остался недоволен. Он обернулся к кинооператору:

— Ну-ка, покажи, как целуют женщин!

Кинооператор нерешительно поднес к губам руку девушки, напомнив всем праздничный визит юного внучонка к престарелой бабушке.

— Безобразие! — вскипел режиссер и обратился к пожилому, опытному актеру, стоящему тут же в толпе статистов.

Это был лысый человечек ростом с лилипута. Он проворно подскочил к девушке, встал на цыпочки, вскарабкался по ее стройной фигурке и повис на шее.

— Хватит, хватит! — закричал режиссер.

Однако старый актер, казалось, ничего не слышал. Подбежали четыре статиста и с трудом за ноги оторвали его от девушки. Ветеран сцены с блуждающим взором, тяжело дыша и облизывая губы, отошел в сторону.

Режиссер поискал глазами в толпе актеров и обратился к высокому здоровенному мужчине:

— Ну, а ты как целуешься?

— Пока не жалуются.

— Продемонстрируй.

Здоровенный актер вскинул вверх левую бровь, растопырил руки и, как борец, готовый к схватке, медленно двинулся на свою жертву. Еще немного, и девушка закричала бы от ужаса. Но актер опередил бедняжку, схватил ее в свои объятия и стиснул что было силы... Несчастную едва спасли. Актер же с посиневшим лицом упал на землю.

— Ты целуешься, как рыцарь, — поморщился режиссер. — Все это не то. Сейчас я вам покажу, как целуют женщин, смотрите!

Режиссер раскинул в стороны руки и, как Тарзан, бросился на дрожащую от страха девушку. Казалось, это был первоклассный борец. Он схватил бедняжку «двойным нельсоном» и в мгновение ока поверг на

землю. Девушка была «туширована», не успев даже перейти на «мост». Не теряя времени, режиссер, как хищный беркут, обрушился всем телом на несчастную и впился в ее губы.

Присутствующие не без волнения наблюдали эту сцену. Минут через пять режиссер медленно поднялся с пола.

— Вот как целуют девушек в двадцатом веке! — он обернулся к актеру в гриме деревенского парня.— Ну, ты видел?.. Попробуй-ка теперь!..

Растерзанная актриса была на грани обморока. Еще две такие пробы, и пришлось бы вызывать скорую помощь.

Воспользовавшись паузой, я подошел к режиссеру.

— Извините, дорогой, но ведь это грех...— сказал я.

— Грех? — вскинул брови режиссер.— Какой грех? Просто вы не понимаете, да и никогда не поймете, что значит великая любовь к искусству. Ах, это самопожертвование! Это самоотречение! Только одержимые священной, возвышенной страстью к искусству способны на такие жертвы!.. Вы видите, сколько мы трудимся над маленьким эпизодом, над сценой одного поцелуя? Вы видите, на какие жертвы мы идем?.. Что переносим?!

Режиссер рассердился, пришел в неописуемую ярость. Мне даже почудилось, что сейчас он вцепится и в мои губы. Я попятился назад. А режиссер все никак не мог унять свой гнев. Его башмаки на толстой, в четыре пальца, подошве заскользили, как коньки, в мою сторону, и он боком врезался в мой хилый корпус.

— Простите, маэстро, а какова тема вашего фильма? — решился я направить разговор по другому руслу.

— Это национальный фильм. Наша фирма готовит подарок киноискусству Турции.

— Вот как?!. Кто же написал сценарий?

— Не говори ерунду. Будто ты не знаешь, кто у нас пишет сценарии национальных фильмов?

— Не знаю.

— Ну конечно! И не можешь знать! Ты ведь не имеешь никакого отношения к искусству, к нашему национальному искусству! Эти сценарии пишут национальные писатели.

— Да, разумеется. Но меня интересует тема фильма...

— Я уже ответил — фильм национальный!

— Понятно, эфенди. Национальный-то он национальный, но какова все-таки тема?

— Ты по-турецки понимаешь? Говорю — фильм национальный... Событие происходит в деревне.

— Какое событие?

— Может, ты слепой? Мы только что раз сто повторяли его.

— Ага, значит эта любовная сцена происходит в деревне?

— Разумеется! — режиссер указал пальцем на девушку, бездыханно лежащую на земле. — Она дочь деревенского пастуха.

— Аллах! Аллах!

— Чему ты удивляешься?

— Но у нее туфли из змеиной кожи на пробковой подошве! Чулки — нейлон, платье отделано дорогим мехом, на руках маникюр, на груди колье!..

— Вах, вах, вах!.. Выходит, ты не знаешь, как живет наша деревня? Значит, ты не в курсе нашего экономического прогресса!...

Я потряс головой, чтобы прийти в себя.

— Сейчас,— продолжал режиссер,— каждая крестьянка носит нейлоновые чулки и туфли из замши... Они берут своими нежными наманикюренными ручками фаянсовые кувшинчики и в самых декольтированных нарядах идут к деревенскому источнику наполнять их вином. Там они с утра до вечера и с вечера до утра любезничают с деревенскими парнями.

— О, я очень рад! Конечно, пусть любезничают. Я в восторге! Но... как бы это сказать... в этом и есть все содержание фильма?

— Как это все?! Ты что?.. Это только кульминационный момент. Итак, действие происходит в деревне, в квартире деревенского чабана.

— Простите, не понял.

— Я говорю — роскошный салон в квартире чабана! По случаю дня рождения вот этой девушки устраивается чай.

— День рождения?.. Чай?..

— Ну конечно. На чай приглашены лесник, сторож, другие чабаны, бакалейщик, хозяин кофейни, деревенский имам, словом, все жители деревни. Да, чуть не забыл. Среди приглашенных султаны: Сулейман-законодатель, Орхангази, Ахмед III и Абдул-Гамид...

— Аллах, аллах! Да как это возможно, дорогой?

— Нам ведь надо, чтобы фильм был одновременно и историческим. Так? На чем я остановился? Ага!.. Фрак, смокинг, вечерние туалеты в обязательном порядке! Султанша Хуррем появляется в декольтированном платье, с открытыми плечами. А султан Сулейман-законодатель...

— Аллах мой!

— Ну да... Во время бала виновница торжества пьет слишком много шампанского с султаном Джемом. А в деревне живет очень симпатичный сельский учитель. И вот он...

— Так, так...

— Этот учитель начинает ревновать девушку к султану. Питье бесплатное, и учитель пьет все подряд: шампанское, джин, вермут, коктейль, виски... А на девушку он имеет виды. Вот тут-то и начинается заваруха. Происходит наращивание действия.

— Поздравляю вас.

— Я говорю, приближается развязка. Кроме султана Джема и учителя, в девушку влюблен еще один деревенский парень. Когда учитель, воспользовавшись опьянением девушки, берет ее под руку...

— Простите, а султан Джем?

— Он уже напился до бесчувствия.

— Простите, а султан Сулейман-законодатель?

— Он отправился в поход. Короче говоря, учитель берет девушку под руку, танцуя, завлекает ее в соседнюю комнату и там швыряет в кожаное кресло.

— Простите, я опять не понимаю... Где все это происходит?

— Да в деревне же... И вдруг влюбленный парень замечает исчезновение девушки. Он ищет ее везде: в комнатах, залах, ванной, туалете...

— Ради аллаха, не сердитесь. Я опять все перепутал... Где происходит давешняя сцена с поцелуем?

— А как ты сам думаешь, где она может происходить? Ведь фильм национальный!

— Разумеется, в деревне.

— Спасибо тебе, сообразил наконец. Короче говоря, парень попадает в комнату, где находится учитель с девушкой... И что он видит!

— Ах, лучше бы он ничего не видел!

— Но тогда и фильма не получится... Влюбленный парень сует руку в задний карман и выхватывает... портсигар. Он закуривает, и тут раздается ледяной смех...

— Из зрительного зала?

— Нет, смеется влюбленный парень. Но смех пронзительнее, чем пуля!

— Так, дальше...

— Дальше сцена меняется, появляются цыгане. Обнаженные цыганки пляшут восточный танец.

— Это с какой же стати?

— Другого подходящего случая в картине нет, а танец живота нужен, чтобы захватить зрителя, да и национальный колорит требует. Затем сцена опять меняется, зрители видят султанский гарем, восточную баню... Да, опять чуть не забыл... В фильме демонстрируются виды на Босфор, мы показываем Девичью башню и другие достопримечательности Стамбула.

— А это зачем?

— Рекламируем страну, приманка для туристов, и к тому же...

— Все понятно.

— Потом сцена опять быстро меняется. Перед нами пляж «Флорья», затем пляж «Суадие»... В купальном костюме появляется султанша Хуррем. За ней из кабины в щелку подсматривает султан Абдул-Гамид. После этого действие опять переносится в деревню... Итак, на чем мы там остановились?

— Парень закуривает сигарету...

— Да... Значит, парень улыбается, улыбается, потом вдруг выхватывает из другого кармана пистолет и... бах!.. бах!.. бах!.. Наплыв на пистолет, мы видим, как в течение пяти минут из дула вьется пороховой дымок.

— Господи помилуй!

— Погодите, еще не все. Если бы только это, было бы хорошо! Ну, теперь ты понял, насколько это национальный фильм?

— Как будто начинаю понимать.

— Султан Решад вызывает по телефону скорую помощь.

— Куда?

— В деревню. Но у самого дома чабана под колесо автомобиля попадает камень... Кто-то специально бросил его на асфальт. Скорая помощь переворачивается, специалист по женским болезням доктор Христаки получает тяжелую травму. Отец девушки, старый, болезненный пастух, будучи не в силах вынести все происходящее, падает, сраженный параличом. Сначала у него отнимаются нижние конечности, потом вся правая сторона. Чабан видит — дело плохо! Тогда он зовет дочь и вкладывает ее руку в руку деревенского парня. Старика хватает удар, и он умирает. Девушка так рада помолвке и так огорчена потерей отца, что правая часть лица смеется, а левая плачет.

— Поразительно! Бедная девушка!

— Еще не все. Раненый учитель умирает в доме от потери крови.

— Вах, вах, вах!

— Мать девушки потрясена и сходит с ума.

— Ах, какая жалость! Гибнет вся семья!

— И это не все. Раненый доктор Христаки тоже умирает на асфальте.

— Кошмар! Ну, а султан Сулейман и султан Гамид?..

— Но они уже умерли раньше...

— Ах, да!

— Дочь чабана и ее жених тоже не в силах перенести всей трагедии и принимают решение покончить жизнь самоубийством. Они бегут в кухню и отворачивают кран газовой плиты.

— В деревне газ?!

— В кухне девушка приподнимает тюлевую занавеску. Мы видим, как с гор возвращаются отары овец. Юный чабан играет на свирели грустную мелодию. Звенят колокольчики, блеют овцы. И тут за кадром знаменитые национальные певицы начинают уныло голосить. Конец фильма должен быть жалостливым...

— Еще бы!

— Парень припадает к устам девушки, страстные объятия, и оба умирают. Гибнут, так сказать, во имя любви.

— Не много ли покойников?

— Что делать? Сам Шекспир так поступал. У него в последних действиях на сцене горы трупов.

— Что же в картине еще национального?

— Да почти все! Во-первых, девушку зовут Хатидже, парня — Ахмед... Деревня есть, свирель есть... Девичья башня есть, баня есть, гарем есть, танцы есть, пляж «Флорья», борода Барбароссы... Потом — бах!.. бах!.. бах!.. Потом песни...

— А что за песни, маэстро?

— Вот, например, одна...

Парня зовут Ахмед,
Любишь меня или нет,
Песня звучит на весь свет.
Я-я-я-я! Лели-и-и-и!

— Ну, как?

— Лучше не придумаешь.

Я поблагодарил любезного режиссера и уже хотел было уходить, как вдруг ему подали пакет, облепленный сургучными печатями. Знаменитый режиссер вскрыл его.

— Из министерства юстиции! — сказал он.

— Что им надо?

— Говорят, в фильме не должно быть самоубийства,— и режиссер тут же распорядился: — Самоубийство отменяется. Эту сценку мы сделаем так: целуясь в кухне на полу, молодые люди случайно отворачивают ногами газовые горелки. Священный любовный порыв мешает им разобраться в обстановке, и оба умирают от удушья.

Не успел режиссер закрыть рот, как ему принесли второй пакет.

— А это откуда, маэстро? — поинтересовался я.

— Из управления национальной безопасности. Требуют, чтобы в картине не было стрельбы. Это может возбудить народ. Хорошо! Пистолет заменим луком и стрелами.

Тут подали еще один пакет.

— Это из министерства иностранных дел! Требуют, чтобы мы не задевали в фильме наших зарубежных друзей... Приказываю, доктор Христаки должен немедленно переменить вероисповедание!

Принесли новый пакет.

— Министерство строительства дорог требует, чтобы мы не показывали друзьям и врагам наших скверных мостов и дорог.

— Что будете делать? — спросил я.

— Надо убрать камень с асфальтовой дороги...

Режиссер распечатал новый пакет из министерства просвещения. Письмо гласило:

«Просим, чтобы в фильме не было глупостей по линии народного просвещения!»

— Это легче легкого! — сказал режиссер. — Сцены из школьной жизни в деревне мы заснимем в Стамбульском университете.

В письме из министерства здравоохранения потребовали, чтобы из фильма было изъято все порочащее нашу страну с точки зрения санитарии и гигиены.

Режиссер провел меня в свой кабинет и открыл большой стенной шкаф. Он был доверху набит всевозможными письмами и пакетами. Это были директивы из больших и малых инстанций — министерства лесного хозяйства, министерства земледелия, управления по делам религии, управления коммунального хозяйства и так далее...

— Помилуйте, маэстро,— возмутился я,— да ваш фильм будет похож на подстриженного аиста!

— Пусть хоть на черта, лишь бы он был национальным!

Режиссер вернулся в павильон, ловко преобразованный из большого развалившегося гаража. Дрожащие от холода артисты сбились в кучу. Дырявая крыша почти не защищала их от дождя. Жрецы святого искусства пытались согреть друг друга собственным дыханием.

Актер, играющий старого чабана, нашел свою бороду недостаточно длинной.

— Приклейте мне к физиономии еще несколько килограммов ваты!— потребовал он.

Гример, в прошлом чесальщик хлопка, вытащил из тюфяка ворох ваты и удлинил бороду.

А тем временем доработка сцены с поцелуем шла полным ходом.

— Хочешь, попробуй и ты! — предложил мне режиссер.

Нельзя сказать, чтобы у меня не было желания. Но я взглянул на девушку. Весь ее растерзанный вид, казалось, говорил: «Умоляю, не надо! Хватит!»

Я поблагодарил режиссера за угощение:

— Спасибо! Считайте, что я уже поцеловал...— и покинул студию.

Через полгода появились афиши:

«Стопроцентный шедевр без всякой примеси! Горькие воспоминания! Дитя греха после молотьбы! Трагедия под унылые звуки свирели! Смотрите! Плачьте!»

И мы посмотрели. Помчались кадры... Полчаса — облака... Декорация — с толкучки... Золотой Рог... Трубы затонувших кораблей... Овцы... Ослы... Бубенцы... Восемнадцать килограммов ваты... Двадцать минут — свирель... Ноги снизу... Ноги сверху... Полдюжины трупов...

Вот и все грандиозное... безобразие!

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ССЫЛКИ

В прежние времена, то есть в эпоху султанов, неугодные властям лица отправлялись в ссылку. И все-таки, я считаю, правительство тогда было более мягкосердечно. Ссыльные, как правило, получали в провинции должность и обязательное ежедневное пособие. Например, мне известно, что Ахмед Хильми * получал в ссылке пять курушей в день. А в те времена на пять курушей можно было купить килограмм хлеба, килограмм мяса, килограмм сахару, килограмм рису и еще оставалось на табак.

Однажды власти, переоценив скромные возможности вашего покорного слуги, удостоили меня чрезмерным вниманием, сослав в город Бруссу. Я не получил не то что пяти курушей, но даже пяти пара́. Никто не думал, никого не интересовало, есть ли у меня семья, жена, дети... Ну, хорошо, допустим свою несчастную семью я мог поручить попечению аллаха, соседей, друзей, товарищей, но кому я должен был поручить свой желудок?

И вот, наконец, настал день, когда мне пришлось расстаться со своими двумя золотыми зубами. Деньги я проел очень скоро, и у меня не осталось уже ничего такого, что можно было бы реализовать.

Стояла суровая зима. Вот уже два дня мой желудок был пуст. В брусской библиотеке я имел возможность до отвала читать книги и сидеть в тепле, но утолить свой голод я не мог. Во всей Бруссе не осталось закоулка, куда бы я не заглянул в поисках работы. И все напрасно!.. Стоило мне заикнуться о том, что я ссыльный, — трусливые хозяева сразу начинали махать руками, и дело кончалось неизменным отказом.

Вот уже несколько часов я ходил взад и вперед по заснеженному проспекту. Голод доконал меня вконец. Золотых зубов больше не было. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. «Полицейский!» — подумал я и обернулся. Нет, оказалось, это мой старый школьный товарищ Фахри. Мы обнялись. После взаимных приветствий, коротких, но выразительных, Фахри взял меня под руку и потащил в кофейню.

В кофейне было душно, накурено, но тепло. Мои закоченевшие конечности понемногу отошли, мозг в костях оттаял. Горячий чай отогрел мой замерзший желудок, пустой вот уже два дня, и я снова ощутил чудовищный голод.

«Ах, если бы Фахри повел меня из кофейни в закусочную!» — мечтал я.

Моя голова была занята только едой и закусочной, поэтому на все вопросы Фахри я отвечал односложно: «да» или «нет». Наконец мне даже почудилось, будто я уже сижу в закусочной. Я мысленно составлял меню, выбирал, что бы съесть: шашлык, фасоль с красным перцем или еще что-нибудь...

— Ну, говори, что хорошего? — спросил Фахри.

— Плов с фасолью...

— Что, что? Не понимаю.

— Ах, да... Ничего, все в порядке.

— Что скажешь о развитии нашей страны?

— Лучше фасоль с подливкой.

— Ты все как-то иносказательно выражаешься. Твое мнение о партиях?

— Сладкий компот.

— А зачем ты приехал в Бруссу?

---

* Ахмед Хильми (умер в 1913 г.) — турецкий философ и историк, сосланный султаном Абдул-Гамидом II в Фес (Северная Африка).

Тут я чистосердечно рассказал Фахри, что в Бруссу я приехал не по доброй воле, а в сопровождении двух жандармов, так как министерство юстиции решило, что мне следует «переменить климат».

И вдруг с моим Фахри что-то случилось. Он как-то съежился, сморщился, словно у него начался приступ аппендицита.

— Подожди немного, я сейчас...— сказал он мне и выскочил из кофейни.

Прошел час. В надежде, что Фахри все-таки вернется, я, пытаясь заглушить голод, заказал второй стакан чаю. Прошло еще около часу. Фахри не возвращался.

Я начал роптать на судьбу: «Аллах мой, неужели мало того, что ты оставил меня голодным? Теперь ты вдобавок хочешь еще меня и опозорить! Уж не в автомобильную ли катастрофу вовлек ты Фахри?»

Наконец я понял, что мой товарищ не вернется, и принялся искать выход из создавшегося положения... Улизнуть незаметно из кофейни — невозможно. Хозяин непременно увидит.

Пока я, консультируясь со своей совестью, разрабатывал план побега, в кофейню вошел еще один мой товарищ, Ниязи.

— Я тебя увидел с улицы через окно...— сказал он.

В душе у меня затеплилась надежда на спасение. Я предложил:

— Присаживайся!

Подбежал гарсон.

— Кофе, но покрепче! — заказал Ниязи.

Пока он попивал кофе, я следил глазами за движением чашки, которая металась от стола к губам. Лишь только чашка опустела, Ниязи поднялся:

— Извини меня, я спешу! — и был таков.

Не мог же я кричать ему вслед, что мне нечем заплатить за его кофе.

Так бывает всегда: пришла беда — отворяй ворота! Я забыл даже про голод. Сижу и думаю: «Ну как мне избежать позора? Как мне удрать? Может, признаться чистосердечно во всем хозяину? Объявить, что у меня нет денег?.. Но тогда он наверняка взбесится и завопит: «Ах ты негодяй! Чего же ты без денег лезешь в кофейню? Ну хорошо, пришел, выпил один стакан чаю, но зачем же ты еще второй заказываешь? Ладно, выпил и второй... Но зачем других-то угощаешь?»

И тут я увидел в окно еще одного своего знакомого, Фикрета. Он проходил мимо. Я забарабанил по стеклу пальцем. Фикрет узнал меня и зашел в кофейню.

— Занят, спешу в одно место! — отмахнулся он.

Я продолжал настаивать:

— Прошу тебя, сядь! Выпей чашечку кофе.

Наконец Фикрет сдался и подсел ко мне.

— Что будешь пить? — спросил я.

— Как-то ничего не хочется. Недавно пил...

— Ради аллаха, выпей еще!

Мой план был таков: заказать Фикрету кофе, а самому смыться под благовидным предлогом.

Я начал действовать, подозвал гарсона и сделал заказ.

Но приятель оказался проворнее меня. Он осушил залпом чашку и вскочил на ноги:

— Ну, бегу, опаздываю!

Я решил идти напролом.

— Клянусь аллахом, — говорю, — у меня нет ни куруша!

Глаза у Фикрета округлились:

— Что?!

— Да клянусь тебе, нет...

— Ну, а мне-то что? Выкручивайся как знаешь, — и Фикрет исчез.

Вам эта история кажется неправдоподобной. Я и сам сейчас с трудом в нее верю. Но тогда мое положение было действительно курьезным.

По соседству с моим столом двое мужчин играли в нарды*. Одному из них, усатому, со свирепым лицом, чертовски везло. Выиграв подряд несколько раз «марс» у своего партнера, он зарычал на всю кофейню:

— Ну, кто еще хочет проиграться?

— Если позволите, я сыграю... — мой голос дрожал от голода.

Усатый пренебрежительно посмотрел на меня.

— Ну, давай,— и добавил: — Смелый какой!.. Говори, на что?

Мне ничего не стоило сделать своей ставкой весь государственный бюджет.

— На что хочешь,— сказал я.

Казалось, мой независимый ответ произвел впечатление на самоуверенного усача.

— Хорошо, давай на пачку сигарет,— предложил он.

Не помню случая, чтобы я когда-нибудь выигрывал в нарды. А тут вдобавок у меня от голода рябило в глазах. Я поминутно делал неверные ходы. Усач выиграл «марс». Вторая партия кончилась так же. Мы начали третью партию. Мне опять не везло. Меч позора повис над моей головой.

Но аллах пришел на помощь. Он сжалился надо мной. Каким образом? Не пытайтесь отгадать. Ничего не выйдет!

В Бруссе есть один оригинальный обычай. Подобного ему больше нет не только во всей Турции, но даже во всем мире. Лет двадцать назад какой-то чудак-губернатор распорядился, чтобы два раза в день, утром и вечером, военный оркестр играл на городской площади «Марш независимости». Губернатор умер, на его место пришел другой, потом и этот сменился, но славного обычая никто не упразднил. И очень кстати! В народе говорят: «Сорок мудрецов не создадут того, что разрушит один безумец».

Зимой, летом, в дождь, снег, буран, везде, куда долетала мелодия марша, жизнь замирала на пять минут. Извозчики с плетками на груди, парикмахеры с бритвами в руках, клиенты с мылом на лице, продавцы с аршином за прилавком — все как один вставали на ноги и замирали.

И вот, когда, проиграв два «марса», я был близок к разоблачению, мне на помощь пришел наш национальный гимн. Заслышав звуки оркестра, мой соперник-усач вскочил на ноги. То же самое сделали и все остальные посетители кофейни, застыв с чашками в руках. Я не стал терять времени и рванулся к двери.

— Эй, гражданин, — раздалось сзади. — Стань в подобающую позу.

— Гражданин,— огрызнулся я на ходу,— меня давно лишили положения, займи ты вместо меня...— и хлопнул дверью.

* Восточная игра. Выигрывает тот, кто раньше передвинет свои шашки к финишу и выбросит их с доски. Если проигравший не успевает выбросить ни одной своей шашки, считается, что он проиграл вдвойне. На Востоке это называется проиграть «марс».

КАК Я КОНЧАЛ САМОУБИЙСТВОМ

В газетах запрещают писать о самоубийствах. Но сейчас речь пойдет обо мне, и потому, я надеюсь, официальные власти, известные крайней серьезностью своих взглядов, будут даже рады услышать о самоубийстве такого несерьезного человека, как я.

Недавно я заболел манией самоубийства. В мозгу поселилась упрямая мысль: поскорей бы на тот свет.

В первый раз за всю свою жизнь я отважился на такое... «Эй, страдалец!— обратился я сам к себе.— Какую смерть ты предпочитаешь? Пистолет? Кинжал?.. Выбирай!». Смерть всегда есть смерть. Однако я, как поклонник классики, решил отравиться.

Купил страшный яд. Заперся в комнате. Накатал длинное романтическое письмо, которое кончалось словами: «Прощай же, суета сует! Прощай, судьба-изменница! Прощайте все!» Затем я осушил стакан яду, лег на пол и принялся ждать, когда судорога скрючит мои руки и ноги, вспухнут вены и свернется кровь.

Но ничего подобного не случилось. Тогда я выпил еще один стакан яду, потом еще один... Безрезультатно! И я понял, что у нас в стране не только молоко всегда с водой, масло с примесями, сыр недоброкачественный, но и яд с подвохом. Разве это дело — человек культурным образом не может покончить с собой!..

Однако я принадлежу к числу тех, кто обычно доводит начатое дело до конца. Теперь я решил застрелиться. Достал винтовку, приставил дуло к виску, нажал курок:

— Паф-ф-ф! — Нажал еще раз:— Пуф-ф-ф! — Еще раз:— Пиф-ф-ф!

Оказывается, ружье было из партии того оружия, какое мы получаем в счет американской помощи, и в нем не хватало какой-то детали.

Тогда я задумал умереть самой верной смертью — с помощью газовой плиты. Говорят, смерть от газа очень поэтична. Я отвернул до конца краник газовой горелки, заткнул в комнате все отверстия, развалился в кресле и принялся ждать ангела смерти — Азраила.

Настал полдень, пали сумерки, а я все никак не мог испустить дух. Вечером ко мне зашел мой приятель.

— Не входи! — закричал я.

— В чем дело?

— Умираю.

— Ты не умираешь, а сходишь с ума.

Я посвятил приятеля в свои планы.

— Какая наивность! — расхохотался он.— У нас по газопроводу идет не газ, а обычный воздух. Но ты действительно хочешь умереть?

— Разумеется.

— Окажу тебе дружескую услугу. Вот мой совет: купи брусский нож и вскрой себе живот, как храбрый самурай.

Я поблагодарил приятеля за дружеское участие, побежал и купил огромный нож. По правде говоря, душа у меня не лежала к смерти посредством извлечения внутренностей наружу. Я стыдился того, что врачи, осматривая мои останки в морге, не обнаружат в желудке никаких признаков пищи. Размышляя таким образом, я подошел уже к самому дому. Но тут на меня накинулись двое полицейских.

— Господа, подождите! — закричал я.— Выслушайте сначала... Я исправно плачу налоги. Я никогда не критикую правительство. И такого честного человека, как я...

— А это что? — перебил меня полицейский, извлекая из моего кармана брусский нож.

Оказывается, я попал в облаву, какие у нас устраиваются с целью розыска преступников. «О аллах мой! — воскликнул я про себя.— Даже умереть не дают спокойно! Ну, можно ли после этого жить?»

Я человек волевой и если уж что задумал — сделаю непременно. Я купил в магазине толстую веревку и кусок мыла. Дома привязал один конец веревки к потолку, на другом сделал петлю, намылил ее хорошенько, накинул себе на шею, вспомнив при этом налоговое управление, толкнул ногой табуретку — и... очутился на полу.

Оказывается, веревка была гнилая. Пришлось жаловаться продавцу.

— Будь это доброкачественный товар, разве мы продавали бы его? — ответил продавец.

Тут я понял, что мне не суждено умереть.

— Что ж,— решил я,— буду тогда хоть жить!

Как известно, жизнь прежде всего начинается с утробы. Я обожаю яичницу с колбасой. Зашел в столовую, съел яичницу с колбасой, затем консервированные голубцы и порцию макарон. Из столовой я перекочевал в кондитерскую и проглотил там несколько пирожных. К моему столику подошел продавец газет и закричал:

— Шестнадцать страниц!.. Читать не захочешь — сделаешь пакеты!

Я, как правило, не покупаю официозных газет, но тут сделал исключение. Начал читать передовицу и заснул. Очнулся я от страшной боли в желудке. Казалось, мне туда воткнули раскаленный кинжал. Я был не в силах терпеть и завопил как резаный. На машине скорой помощи меня отправили в больницу. По дороге я потерял сознание. Придя в себя, я увидел у кровати врача.

— Вы отравились? — сказал он мне.— С доктором говорят откровенно. Сознайтесь, вы пытались покончить самоубийством?

— Ах, доктор, к сожалению, нет.

— У вас отравление. Что вы ели?

— Колбасу...

— Вы ели колбасу?!. Сумасшедший! Да разве колбасу едят?.. Читайте газеты. Больницы полны отравленными колбасой. Но у вас отравление другого рода. Что вы ели еще?

— Я зашел в столовую...

— Вы с ума сошли!

— И съел там консервы...

— Вот-вот!.. Еще?..

— Макароны, потом четыре пирожных...

— Ну конечно, вы отравились. Консервы, макароны, пирожные!.. Но что еще?

— Клянусь, это все. Потом я начал читать официоз...

— Что?!—воскликнул доктор.— Официоз?! Благодари аллаха, что ты не окачурился. Дешево же ты отделался.

Выходя из больницы, я думал: «Ну, хорошо, что же нам делать? Жить не дают, но и умереть не дают... Разрешают лишь тихо и смирно существовать!»

Аттила Йожеф

Лирика

Перевод с венгерского Ю. Разумовского.

ТЫ РЕБЕНКОМ СДЕЛАЛА МЕНЯ...

Меня ведь тридцать лет печаль растила,
А ты ребенком сделала меня:
Сижу ль один, брожу ли — все немило,
И я бегу к тебе, любовь кляня.
Как о щенках своих скулит собака,
Так о тебе печалюсь день и ночь.
Обрушивает каждый миг из мрака
Несчастья на меня. Бежать бы прочь!
Корми меня, смотри — я голодаю,
Укрой — я мерзну, мной займись — я глуп.
Коль ты со мной — смеюсь я и болтаю,
Коль нет тебя — я глух и нем, как труп.
Ты взглянешь на меня — я мир увижу,
Послушаешь меня — и я умолк.
Так сделай все, чтоб я окреп и выжил,
Чтоб не был я озлобленным, как волк.
Мать выгнала меня в мороз, без хлеба.
Готов был сам я спрятаться в себе,
Но снизу камень, сверху только небо.
Так как мне жить? И я стучусь к тебе.
Людей немало с огрубевшей кожей,
И все ж они умеют слезы лить...
Прости меня, ведь я твой образ тоже
С трудом себя заставил полюбить.

УСНИ СПОКОЙНО...

Усни, свой сон обняв руками,
Усни спокойно, без тревог.
Забросив звонкий лом на камень,
Ушли строители дорог.

Ты целый день от их работы
Была покоя лишена.
Но вот луну повесил кто-то,
И навалилась тишина.

Мне вспомнить старое отрадно...
Твоя усталая рука
Нежна, спокойна и прохладна,
Как эта тихая река.

Вода не плещет в темном ложе,
Вдаль уходя среди равнин.
В ней рыбы спят и звезды тоже,
Я остаюсь совсем один.

Хоть я работал нынче много,
Усну потом. Мне не до сна.
Ночь загрустила у порога,
И ты, наверное, грустна.

И я грущу, вздыхает сад...
Ночь. Тишина. Цветы грустят...

НА МОСТОВОЙ

Блестели стекла луж на мостовой,
И тень набросила на город сетку.
А воробьи, что вились надо мной,
Схватились молча лапками за ветку.

Им до зари уж не летать ни разу,
Вот так всю ночь на ветке и виси.
Лишь суетятся, как инстинкт и разум,
Вокруг трамваи, люди и такси.

Девчонку у ворот поцеловал я в губы,
Потом бродил среди людей других
И вышел из толпы, чтоб, стиснув зубы,
Из многих дум родить вам этот стих.

Я чувствую, что он заплачет вскоре,
И ты в животной грусти различишь
Осмысленное человечье горе
Среди сиянья лавок и афиш.

МНЕ ВСЕ РАВНО...

Все равно мне: есть бог или нету.
Я б, ей-богу, поверил бы в бога,
Только времени нету на это,
Нету времени даже немного.
Бог поможет — так лучше ему же,
Не поможет — не будет мне хуже.
Жив ли ты или нет тебя, боже,
Хуже быть, чем уж было, — не может.
Если есть бог — тогда неприлично,
Что судьбу мою делают люди.
Если нет его — мне безразлично:
Ведь ни хуже, ни лучше не будет.

Бедняку выбирать не придется,
Все равно от забот он рехнется
Иль повесится даже от горя,
Если сам не опомнится вскоре.
Бог страданью людскому не внемлет:
Он забыл бедняка и калеку.
Создал бог эти звезды и землю,
А не в силах помочь человеку.
Ангел тяжкой сочувствует доле,
Окрыляют его наши вздохи,
Но для тех, кто согнулся от боли,
Как помощники — ангелы плохи.

СМЕЛЫЕ

Кто смерти ждет, как жалкий трус,
Тот, сжав лиловые уста,
Неся в глазах испуга груз,
Уйдет с земли под сень креста.

Познает смелою душой
Пред смертью тайное лишь тот,
Кто жизни занавес большой
Легко и гордо разорвет.

В тот мир уходят без следа,
Но как велик и славен тот,
Кто как домой пришел туда
И смерть-слугу к себе зовет.

Всех лилий веет аромат
Над юным сердцем храбреца.
Он шел к могиле, как солдат,
И был великим до конца.

Юрий Борев

Против ревизионизма в эстетической теории

1. Неожиданная метаморфоза

Когда друзья сказали мне, что Лефевр перешел на позиции ревизионизма и, в частности, написал статью, в которой он, по существу, открещивается от марксизма в философии и от социалистического реализма в эстетике, я, признаться, удивился — «Введение в эстетику» не давало основания думать о такой метаморфозе ее автора. Я вспомнил слова Белинского: когда человек весь отдается лжи, его покидают ум и талант. И, приступая к чтению статьи, я ожидал увидеть серое и бездарное сочинение. Однако или Лефевр отдался лжи еще не весь, или же то, о чем говорит Белинский, не является обязательным правилом, но статья «К революционному романтизму»* написана отнюдь не скучно и не глупо. И может быть, от этого слабость и ложность позиции ее автора становятся еще более ощутимы. Ведь если даже не утратившему ума и таланта человеку не удается быть убедительным в отстаивании тех или иных теоретических позиций, то, значит, дело не в способностях автора, а в нежизнеспособности его взглядов.

При всем том Лефевр зря тешит себя надеждой, полагая, что он «соблюдает логическую последовательность» и движется «не интуитивно». Вот уж чего-чего не хватает концепции автора, так это цельности. В положениях Лефевра много несообразностей и отнюдь не диалектических противоречий**.

Основная мысль Лефевра такова: социалистический реализм как художественный метод не оправдывает себя ныне, и искусству необходим новый метод — революционный романтизм. Это, по мнению Лефевра, обусловлено состоянием современного мира и состоянием человеческого духа. В ходе доказательства своей основной мысли автор ставит три взаимосвязанных вопроса: во-первых, он дает характеристику общего положения в современном мире; во-вторых, с точки зрения своего понимания современного состояния мира, Лефевр критикует искусство прошлого и настоящего, в частности критикует социалистический реализм; в-третьих, автор пытается дать позитивную программу развития искусства.

Рассмотрим каждую из этих трех проблем.

2. Коммунизм... или пустота?

По мнению Лефевра в современном мире «новое заключается в том, что социалистический или коммунистический идеал более не составляет исключения и также поставлен под вопрос. Он становится проблемой» (стр. 646). Сразу же возникают вопросы: *кем* поставлен под сомнение этот идеал? *Для кого* он становится проблемой? И как только мы сколько-нибудь внятно ответим на эти вопросы, так сразу же окажется: то, в чем видит новизну нашего времени Лефевр, на самом деле ничего нового не содержит. Социалистический и коммунистический идеал ставился под вопрос идеологами эксплуататорских классов, собственно, с первых дней существования этого идеала. Однако это не помешало ему овладеть умами и сердцами миллионных масс и поставить под вопрос и сделать более чем проблематичным само существование этих эксплуататорских классов, их идеологии и их идеалов. Практика, как известно, есть критерий истины, и успехи строительства социализма в СССР и в странах народной демократии — лучшее свидетельство силы и истинности коммунистического идеала.

Лефевру кажется, что после критики культа личности «ослепительный идеал поблек... Даже перед теми, кто не ставит под сомнение ни смысл исторического процесса, ни миссию рабочего класса, ныне раз-

---

* Henri Lefebvre. Vers un Romantisme révolutionnaire. „La nouvelle Nouvelle Revue Française", № 58, oct. 1957.

** Кстати сказать, об отступлениях Лефевра от диалектики в области философии убедительно говорит Люсьен Сев в статье „Анри Лефевр и диалектика у Маркса", „La nouvelle critique", № 94, март 1958.

верзлась и ширится зияющая *пустота...*» (стр. 646).

Все это риторическое рассуждение Лефевра весьма далеко от истины. Он забывает о том, что критика культа личности ведется изнутри коммунистической партии, изнутри коммунистического движения, и в этом еще раз проявилась мощь этого движения, бесстрашие его бойцов перед лицом правды, даже самой суровой. Он забывает о том, что эта критика ведется именно с позиций коммунистических идеалов. А главное, сложность исторического процесса повергает Лефевра в растерянность и не дает ему увидеть то, что сегодня, как и всегда, «в сердцах искренних своих сторонников» коммунистический идеал сияет с неугасимой силой. Об этой верности миллионов высоким идеалам мира, демократии и социализма лучше всего говорят декларации коммунистических партий, принятые в Москве в ноябре 1957 года и свидетельствующие о нерушимом пролетарском интернациональном единстве и сплоченности.

Не лишне задуматься Лефевру и над суждением одного из его французских товарищей по литературной работе. Пьер Дэкс в своем письме Морису Надо пишет: «Революция во Франции представлена уже не маленьким авангардом, как во времена Коммуны, а частью нации, частью столь значительной и мощной, что ничто уже не может происходить так, как будто ее не существует»*.

Что же касается вопроса об отношении к опыту социалистического строительства в СССР, то об этом, пожалуй, лучше не скажешь, чем сказал в свое время Ромен Роллан: «Я предостерегаю всех тех, кто меня слышит, против растущей реакции в Европе; и я призываю их зорко следить за угрозами, направленными против России, ибо они всегда являются первыми симптомами реакции. Я не приемлю Европы, которая не способна принять — при том без всякой задней мысли — СССР. Ибо каковы бы ни были ошибки (ошибки слишком понятные в огромной стране, которую окружают враги, пытаются подорвать предатели, в стране, где Революция получила от сокрушенного ею чудовищного строя тяжелейшее наследство — нищету, невежество, продажность и разруху, которые ей приходится ликвидировать), каковы бы ни были неудачи, на которые натолкнулись великие первоначальные мечты, мысль Ленина — чистая и острая, как меч».

История мирового революционного движения свидетельствует, что от него на сложных и крутых исторических поворотах откалывались и отходили маловеры и паникеры, нытики и ревизионисты, трусы и предатели. Они охотно ставили под сомнение то, чему вчера еще поклонялись, и охотно философски обосновывали свое неверие, свое паникерство, свой ревизионизм или свою трусость. Но это не мешало подлинным борцам оставаться в строю и не мешало живому историческому процессу рождать новых и новых сторонников великих и непобедимых идей коммунизма.

Потеряв почву под ногами, утратив истинное понимание процессов, происходящих в окружающем мире, Лефевр, естественно, не смог верно разобраться в вопросе об отношении к искусству прошлого, не сумел дать правильную оценку современному искусству, оказался плохим пророком в предсказаниях будущего искусства. На эфемерной основе «разверзшейся и ширящейся зияющей пустоты» невозможно построить искусство революционного романтизма, за которое ратует Лефевр, как и невозможно по достоинству оценить существующее искусство социалистического реализма.

3. Классицизм и социалистический реализм

Современное искусство не устраивает Лефевра, не устраивает его в первую очередь социалистический реализм. Социалистический реализм, по мнению Лефевра, есть несколько обновленное издание классицизма. Это — неоклассицизм. Социалистический реализм плох для Лефевра тем, что он якобы не отвечает особенностям современной действительности, что он якобы является искусственной конструкцией, возрождающей классицизм. В связи с этим Лефевр высказывает суждение о принципах отношения к классическому наследию прошлого. Лефевр пишет: «Академизм смешивает два различных аспекта культуры: внимательное изучение произведений, которые, по общему мнению, не утратили своего значения, и возведение этих произведений в высшую степень совершенства, в образец для подражания, остающийся, однако, неподражаемым, недосягаемым» (стр. 648). И вот в таком дурном академизме Лефевр и обвиняет социалистический реализм. «Не подумав о противоречиях, к которым это должно привести, социалистическому реализму в качестве содержания дали сложившиеся формы, национальные традиции. Совершенно новое или, во всяком случае, то, что предполагалось как новое, получило в качестве содержания старое». (Все это и явилось, по мнению Лефевра, одной из причин превращения социалистического реализма в неоклассицизм).

Прежде всего вызывает возражение противопоставление Лефевром двух аспектов отношения к наследию прошлого: Лефевр противопоставляет изучение произведений, не утративших своего значения, наследованию сложившихся форм и национальных традиций. Никакое новое искусство не могло и не может появиться, не опираясь на те или иные художественные и идейные достижения и завоевания искусства прошлого. На голом месте может расти лишь чертополох, всякое культурное растение

* См. «Иностранную литературу», № 8, 1957, стр. 215.

требует определенной культуры возделывания почвы. И великое искусство итальянского Возрождения, и замечательное искусство французского классицизма, и русский и французский реализм XIX века опирались на то, что так не нравится Лефевру, на «сложившиеся формы, на национальные традиции».

Так же как античное искусство немыслимо без своего арсенала — древнегреческой мифологии, так же как искусство эпохи Возрождения невозможно без своеобразного восприятия традиций античности, так и искусство социалистического реализма невозможно без критического освоения классического наследия прошлого, без опоры на достижения всей истории мирового искусства и в первую очередь реалистического искусства XIX века.

Отказ от сложившихся форм и национальных традиций в области идеологического содержания искусства чреват проникновением в искусство гнилых идей буржуазного космополитизма, а в области художественной формы — формализмом, трюкачеством и даже распадом самой формы как формы художественной.

В вопросе об отношении к искусству классицизма прав безусловно Луи Арагон, а не спорящий с ним Анри Лефевр. Конечно же, в арсенал художественного наследия искусства социалистического реализма (и особенно во французском искусстве) не могут не входить традиции искусства классицизма. Не всегда эти традиции классицизма воспринимаются современным искусством непосредственно, гораздо чаще социалистический реализм вбирает в себя эти традиции в уже переработанном и преломленном романтизмом и особенно критическим реализмом виде. Однако сложностью процесса наследования не снимается вопрос о значении этих традиций. Для искусства социалистического реализма весьма важны такие плодотворные традиции искусства классицизма, как гражданский пафос, вера в силу разума, признание необходимости общественного долга, долга человека перед обществом, осмысление места человеческой личности в обществе, четкость и ясность моральных и эстетических оценок и т. д.

Однако отношение социалистического реализма к классическому наследию прошлого (в том числе и к классицизму) не есть простое механическое включение в новое искусство ранее сложившихся форм, как это кажется Лефевру, и даже не простое заимствование положительных черт, а критическое освоение и переработка наследия прошлого на основе марксистского мировоззрения и опыта революционной борьбы пролетариата и социалистического строительства. Именно на такой характер отношения к наследию прошлого обращал внимание В. И. Ленин. «Не *выдумка* новой пролеткультуры, *а развитие* лучших образцов, традиций, результатов *существующей* культуры *с точки зрения* миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»*. Искусство социалистического реализма именно так относилось и относится к классическому наследию прошлого (в том числе и к классицизму), и в силу этого оно не является ни пустоцветом, появившимся невесть откуда на неизвестной почве, ни простым повторением того или иного направления в искусстве прошлого.

Все бросаемые Лефевром в адрес социалистического реализма обвинения в классицизме или неоклассицизме разлетаются в прах, как только мы сопоставим идейно-художественные особенности классицизма и социалистического реализма.

Во-первых, классицизму присущ абстрактно-нормативный характер, известная дидактичность, назидательность. Можно ли то же самое сказать, например, о шолоховских героях или горьковском Егоре Булычеве? Да, эти образы оказывают огромное эстетическое и воспитательное воздействие на зрителей и читателей, но разве они абстрактно-нормативны или дидактичны?

Конечно же, нет. Классический образ ориентируется на абстрактные нормы человеческого поведения; реалистический образ непосредственно обращен к жизни, из нее вырастает, в нее уходит своими корнями. Для классицизма характерно раскрытие лишь общего в характере. Искусство социалистического реализма схватывает и общее и индивидуальное в характере, и процесс типизации является одновременно и индивидуализацией и обобщением.

Наша партия, помогая художникам правдиво отражать жизнь, боролась против неверного понимания природы типического, при котором типическое сводилось лишь к отражению социальной сущности явления. Партийная критика ошибок в трактовке природы типического является как раз образцом борьбы против тех самых тенденций, которые, по мнению Лефевра, составляют якобы суть социалистического реализма.

Во-вторых, классицистическому характеру не свойственна интеллектуальная и эмоциональная объемность, пластичность, многогранность. Еще Пушкин отмечал, что скупой у Мольера скуп, да и только, а Шейлок у Шекспира и скуп, и чадолюбив, и обладает множеством самых противоречивых черт. В этой связи небезынтересно вспомнить борьбу (и победу в этой борьбе) советской литературной критики и теории против представлений об «идеальном» герое, представлений, которые, противореча художественной практике искусства социалистического реализма, способны были увести его на дорогу лжеклассицизма.

В-третьих, классицизму присущ одноцветный образ, эстетические качества которого сводятся к его доминанте — траги-

* «Ленин о культуре и искусстве». Издательство «Искусство». М., 1956. стр. 300.

ческие герои Расина только трагичны, комические персонажи Мольера только комичны. В реалистическом искусстве, в том числе и в искусстве социалистического реализма, одной из особенностей образной системы является эстетическая многогранность, многоцветность образа. Образ шолоховского Григория Мелехова имеет свою эстетическую доминанту — он трагичен, но этот образ не сводится к этой доминанте, и одними своими чертами и поступками Мелехов комичен, в других — прекрасен и даже возвышен, в третьих — безобразен, низмен. И вот это сложное свечение, взаимодействие, взаимопереплетение прекрасного, возвышенного, трагического и комического, лирического, эпического, драматического и т. д. и есть та особенность реалистического образа, которая придает ему эстетическую многогранность, объемность. Эти особенности своеобразно проявляются и в творчестве такого художника, как Брехт, которого, кстати сказать, Лефевр так и не знает, по какой епархии числить и к какому методу отнести. Подмеченная Лефевром тенденция Брехта к сближению и переплетению эпического и драматического по-своему проявилась в творчестве Маяковского. Его поэмы «Хорошо!», «Владимир Ильич Ленин», «Во весь голос» представляют собой органичное слияние эпического и лирического.

Пусть Лефевр вспомнит эстетическую многоцветность трагической темы в пятой или седьмой симфониях Шостаковича или в «Ромео и Джульетте» Прокофьева — возможна ли такая трактовка трагического в искусстве классицизма?! А революционная героическая тема одиннадцатой симфонии Шостаковича что общего эта тема и ее разрешение имеют с классицизмом?!

Таким образом, и по линии эстетического богатства и эстетической многогранности образа социалистический реализм в корне отличается от классицизма.

Далее, в отличие от классицизма всякое реалистическое искусство, и социалистический реализм в частности, основывается на общенациональном языке, на словарном богатстве, ориентирующемся не только на один «высокий стиль», но вбирающем в себя все огромное богатство народной речи. Пусть Лефевр под этим углом зрения сравнит, ну, хотя бы «Русский лес» Леонова с любым произведением классицизма.

Далее, классицизму присуща известная монументальная пышность и порою даже вычурность форм, известное приукрашивание действительности и затушевывание ряда остроконфликтных сторон жизни. Этого нельзя сказать ни об одном большом произведении социалистического реализма. Вспомним, например, ясность и строгость линий, монументальную простоту и могучую динамику скульптуры «Рабочий и колхозница» Мухиной, хорошо известной французам по всемирной выставке в Париже, и мы увидим, как чужды социалистическому реализму пышность и вычурность форм. Впрочем, дело тут не в примерах. Больше того, я непрочь помочь Лефевру. Он, видимо, плохо знает советскую литературу, и я даже готов ему облегчить спор со мною и назвать целый ряд написанных моими соотечественниками произведений, приукрашивающих действительность. Ну и что же из того? Слава богу, литература не бочка меду и ее ни ложкой дегтя, ни стаканом патоки не испортишь. Да разве эти произведения составляют существо социалистического реализма? И разве не наша партия и не советская общественность первыми подняли голос и против приукрашивающих жизнь произведений, и против попыток с помощью теории бесконфликтности подвести лжетеоретическую базу под противоречащую социалистическому реализму художественную практику? О том, в какую сторону направляла и направляет партия советских художников, лучше всего говорят факты: борьба партийной прессы против теории бесконфликтности, выступление Н. С. Хрущева против излишеств и вычурности в архитектуре, критика им такого лакировочного фильма, как «Кубанские казаки», указание партии о необходимости борьбы на два фронта — против клеветы, очернения нашей действительности и против приукрашивания жизни и затушевывания правды*.

4. Классицизм и социалистический реализм

Классовая основа и идейная направленность классицизма и социалистического реализма глубоко различны. Классицизм явился выражением в искусстве идеологии абсолютизма на основе компромисса и временного национального единения дворянства и буржуазии. Социалистический реализм возник как выражение в искусстве пролетарской идеологии и имеет ярко выраженную коммунистическую идейную направленность. Искусству социалистического реализма присуща коммунистическая партийность. С этим связаны основные идейно-художественные различия классицизма и социалистического реализма.

Классицизму присуща определенная недооценка рядового человека. Простолюдину в искусстве классицизма место отводится почти исключительно в комедии. В такой «высокий жанр», как трагедия, герою из народа доступ заказан. В идейно-эстетической концепции классицизма недооценивалась роль народных масс и история трактовалась как плод деяний выдающихся личностей. Пусть в этом плане Лефевр задумается над такими подлинно народными эпопеями, как «Тихий Дон» М. Шоло-

* См. Н. С. Хрущев. Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии.

хова или «Хождение по мукам» А. Толстого, над кинофильмом «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна, драмой «Бронепоезд № 14-69» Вс. Иванова или над такими произведениями советского искусства, как кинотрилогия о Максиме или поэма «Василий Теркин» А. Твардовского, в центре которых стоит герой, вышедший из самой гущи народных масс.

Мой оппонент в этом споре может возразить: большинство из вышеуказанных отличий социалистического реализма от классицизма в гораздо большей степени проявились в критическом реализме XIX века. Ведь и эстетическая многогранность образа, и раскрытие с помощью психологического анализа интеллектуальной и эмоциональной сложности человека, и национальный колорит, и народное богатство языка присущи не только литературе социалистического реализма, но и всякой реалистической литературе. Да, это именно так. И очень хорошо, что так. Литературу социалистического реализма многое роднит с литературой Бальзака и Стендаля, Толстого и Чехова. Ведь не случайно мы называем метод нашего искусства социалистическим *реализмом*. Здесь, я предвижу, Лефевр меня остановит репликой: и Толстой и Чехов были куда более глубокими психологами, чем ваши хваленые социалистические реалисты... Подождите, Лефевр! Давайте спокойно и без запальчивости разберемся в этой проблеме. Так ли тут все просто? Прежде всего, всем нам свойственно недооценивать своих современников. Правда, если для того, чтобы мир оценил Рембрандта по заслугам, понадобилось 200 лет, то в наш век убыстрившегося исторического развития для всемирной известности Горького, Маяковского, А. Толстого, Шолохова, Брехта, Неруды понадобилось куда меньше времени. Но можем ли мы полностью поручиться за то, что мы все великое значение и масштабы творчества наших современников ощущаем абсолютно точно и что ход истории не раскроет новые и новые богатства, заложенные в таких творениях, как «Жизнь Клима Самгина», «Хорошо!», «Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Добрый человек из Сезуана»? Однако дело не только в этом. Мы мерим силу и достоинства социалистического реализма не только масштабом талантов, творящих на основе этого метода, но и его принципиальными новаторскими особенностями.

Психологический анализ, скажем, у Достоевского достигает высочайшей и, может быть, еще не превзойденной тонкости и глубины раскрытия внутренних противоречий человеческого характера. Но здесь сразу же возникает несколько аспектов этой проблемы. Новаторской особенностью литературы социалистического реализма является то, что герой нашего времени, герой истории — новый человек, борец за коммунизм — становится основным героем литературы, определяющим ее облик.

Образ этого героя существенно отличен от образов героев Достоевского. Последним была присуща изощренная сложность характеров, постоянная внутренняя рефлексия, разорванность, «расщепленность» личности. Горький правильно подчеркивал, что такого рода внутренняя сложность характера (составляющая благодатнейший материал для самого тончайшего и изощреннейшего психологического анализа) является не признаком силы, а признаком слабости личности. В разорванности личности, порождаемой буржуазным обществом, истоки распада этой личности. Герой советского искусства — натура цельная в своей многогранности, и это не могло не сказаться на своеобразии психологического анализа в советской литературе. Открытие этих новых героев, воплощающих в себе коммунистические идеалы, является одним из высоких завоеваний литературы социалистического реализма. Еще одной новаторской особенностью социалистического реализма (отличающей его не только от классицизма, но и от критического реализма) является то, что психологический анализ, достигший своих классических высот в творчестве Толстого и Достоевского, Стендаля, Ибсена и Чехова, в советской литературе получил принципиально новое наполнение и назначение. В критическом реализме объектом психологического анализа были главным образом люди из высших слоев общества, интеллигенты, словом, люди, в силу вековых преимуществ в общественном положении, с молоком матери впитавшие в себя большую и разностороннюю культуру. Социалистический реализм применил психологический анализ к раскрытию богатств внутреннего мира людей, веками забитых, лишенных в течение многих поколений развитой интеллектуальной жизни и пробужденных революцией к сознательному творению истории. Морозка в «Разгроме» А. Фадеева или Окорок в «Партизанских повестях» Вс. Иванова — в этом смысле принципиально новаторские по своим идейно-художественным достоинствам образы. И сила, новизна и определенные идейно-художественные преимущества этих образов обусловлены именно новаторскими особенностями социалистического реализма.

Основная новаторская особенность социалистического реализма обусловлена тем, что этот метод сформировался на основе новой общественной практики революционного преобразования действительности, новых особенностей действительности (появление нового героя истории и литературы — революционного пролетариата) и новых общественно-эстетических идеалов, идеалов коммунизма. Именно это придает новаторский характер восприятию искусством социалистического реализма традиций искусства прошлого. Если французский классицизм решал проблемы своего времени на материале греческом, римском, испанском или на-

столько абстрактном, что ни место, ни эпоха действия не играли существенной роли, то уже критический реализм внес в трактовку жизненного материала принцип исторической конкретности. Насколько абстрактно время и эпоха действия в «Сиде» Корнеля или «Федре» Расина, настолько она исторически конкретна в «Красном и черном» Стендаля или «Войне и мире» Толстого.

И социалистический реализм, естественно, не мог пройти мимо этого завоевания критического реализма. Социалистический реализм не повернул вспять историческое развитие искусства от критического реализма к классицизму, как это кажется Лефевру, а, наоборот, новаторски развил высшие достижения критического реализма. Принцип исторической конкретности был обогащен в социалистическом реализме своеобразной исторической трехмерностью (то, что Горький называл тремя действительностями): не только действительность прошлого и настоящего, но и почти недоступная в своей исторической конкретности действительность *будущего* стала доступна социалистическому реализму. Исторически осознанный смысл событий, понимание ведущих исторических тенденций, революционная романтика как образная форма исторического предвидения, как образная форма чувства нового, не утопический, а освещенный светочем науки характер этого видения будущего — таковы некоторые новаторские черты исторической конкретности в искусстве социалистического реализма. Это ощущение будущего, реальное чувствование исторической перспективы присуще и романам Горького «Мать», «Дело Артамоновых», и поэмам А. Твардовского, и шолоховской «Поднятой целине», и «Хождению по мукам» А. Толстого. И опять же тут дело не в примерах (так же, как диалектика не может быть, по словам Энгельса, сведена к сумме примеров, к ней не может быть сведена и эстетика). Количество примеров может быть увеличено или уменьшено, примеры могут быть сняты вовсе и даже найдены отрицательные примеры (опять же можно облегчить положение Лефевра, недостаточно знающего советское искусство, и назвать фильм «Незабываемый 1919» и ряд других примеров отступления от исторической правдивости в советском искусстве). Но разве дело в этом? Ведь историческая конкретность, обогащенная новаторским, исторически осознанным смыслом событий и реальным (не абстрактно романтическим, не утопическим!) ощущением будущего, составляет важнейшую сторону искусства социалистического реализма, самую его суть. С этим ясным видением будущего в социалистическом реализме связана и оптимистическая концепция жизни и героическая концепция человека, которые ощущаются во всех, в том числе и трагедийных, произведениях нашей литературы. И поэтому счастливый финал не как способ отвлечения от суровой необходимости буржуазного мира в буржуазных романах, не как средство успокоить читателя и не как лакировка, а как отражение уверенности в благополучной развязке человеческой трагедии, завязанной капитализмом,— такой «счастливый» финал присущ и весьма неблагополучным по своим концовкам и даже самым трагедийным произведениям литературы социалистического реализма.

Классицизм никогда не поднимался до эпического охвата масштабных событий в жизни народа. Роман-эпопея есть завоевание критического реализма. Эту эпическую широту охвата жизни социалистический реализм унаследовал от критического реализма, обогатив ее открытием новых сфер проявления общественной жизнедеятельности людей и новым фокусом освещения событий. Советская критика часто справедливо упрекает наших романистов за недостаточное внимание к личной стороне жизни советских людей, к быту, к семье. Этот недостаток присущ некоторым произведениям советской литературы. Но он возникает именно как слишком прямолинейное и одностороннее продолжение величайших достоинств и завоеваний литературы социалистического реализма. Социалистический реализм помог художникам найти новый ракурс в изображении жизни, открыть новые пласты жизни, вскрыть сложные и почти не изученные литературой прошлого сферы человеческих отношений. Показать эпоху через семью, через быт, конечно, можно, но этот показ принципиально отличен от отображения эпохи через основную социальную связь человека с действительностью — через показ «труда как деяния» (Горький), через раскрытие человека в его отношениях в коллективе. Литература прошлого сотни лет накапливала технические приемы, средства, навыки для изображения ревности и любви, чувства зависти и стяжательства, героизма и самопожертвования и т. д. Но литература, особенно в стране победившего социализма, столкнулась с целой радугой новых многокрасочных чувств, мыслей, деяний, рожденных качественным своеобразием социалистического бытия человека. Это и чувство социалистической собственности, и ощущение общественной ответственности за судьбу своего народа, судьбу мира и истории, и новый характер отношения людей к труду, и новые взаимоотношения людей между собою. Плохо ли, хорошо ли наша литература отражает все это — сейчас спор идет о другом, о принципиальном новаторстве нашей литературы, и если советским художникам не всегда удается отобразить жизнь так глубоко, как они бы сами того хотели, то это объясняется не влиянием классических нормативов, а исторической новизной того дела, которое они делают.

Советская литература занимает принципиально новое место в жизни общества и

служит делу полного переустройства общественной жизни, делу коммунистического строительства, и этим обусловлена невиданная в истории активность и интенсивность воздействия литературы и искусства на сознание, психологию, дух народа. Все это вызвало, в частности, и углубление и упрочение связи искусства с другими формами общественного сознания (с моралью и особенно с философией и политикой).

В искусстве социалистического реализма революция впервые понимается и реалистически осмысляется не только как разрушительная сила, ломающая устои старого мира, но и как *сила созидательная*. Трактовка народа и как творца истории, и как хозяина своей судьбы, и как созидателя всех материальных и духовных ценностей земли — один из высших новаторских принципов социалистического реализма.

Таким образом, как мы видим, социалистический реализм не только не повторяет искусства классицизма, но и является искусством новаторским и по отношению к своему непосредственному предшественнику — критическому реализму, великие традиции которого важны для новой литературы. Метод нашей литературы не классицизм, не просто реализм, а именно *социалистический* реализм. И дело здесь не в тех или иных положительных или отрицательных примерах, удачах и неудачах, которые есть в искусстве любой эпохи, а в принципе — в новом типе образного мышления, в новом способе образного отражения мира, то есть в новом художественном методе.

5. Миф о порочном зачатии. Что раньше — курица или яйцо?

В своей критике социалистического реализма Лефевр не оригинален. Он выдвигает против этого художественного метода уже знакомый нам аргумент, давно принятый на вооружение ревизионистскими критиками и теоретиками: социалистический реализм есть искусственное создание, декретированное сверху творчество. По мнению Лефевра, сначала был дан лозунг, был выдвинут термин социалистический реализм, а потом из него стало развиваться искусство. Для Лефевра этот метод порочен даже историей своего происхождения. Он пишет:

«...данное историческое понятие (социалистический реализм.— *Ю. Б.*) было смешано с понятием специфически эстетическим, даже больше — с определенной теорией. Из него пожелали вывести определенный метод творчества в области искусства, а также критерий оценки. При помощи софизма, то есть при помощи до смешного формальной, чисто логической операции, стали считать критериями, которые могут быть применены к конкретным произведениям, следствия, вытекающие из предполагаемого (полагаемого эстетически) понятия. Каждое понятие, если оно не бессмыслица, имеет объективное содержание и выражает это определенное содержание; понятие не может предшествовать этому содержанию. Эстетическое понятие выражает то, что уже имеется в художественных произведениях, формулирует их нормы и законы; в данном же случае, наоборот, из формального понятия было выведено не только содержание, но и критерий содержания. Результаты: теоретическая и практическая пустота, форма понятия, лишенная содержания, а отсюда содержание, привносимое извне» (стр. 652).

Но на самом деле не социалистический реализм есть результат абстрактного умствования, а вышеприведенное суждение Лефевра. Обратимся к фактам, к истории, к живому процессу развития литературы. Социалистический реализм как эстетическое понятие возник в 1932 году. И это эстетическое понятие выражало именно то, что *уже* наличествовало в художественных произведениях, формулировало их нормы и законы, сложившиеся в самой художественной практике советского искусства.

Социалистический реализм родился как могучая и непреоборимая историческая тенденция развития мирового искусства, а не как результат «декретирования сверху». И эта тенденция начала складываться задолго до того, как на одной шестой части земли пролетариат стал господствующим классом, а его коммунистическая партия и ее вожди получили возможность издавать декреты. Ведь уже в творчестве поэтов Парижской коммуны, и особенно у автора «Интернационала» Эжена Потье, начинает пробивать себе дорогу та историческая тенденция, которая в новой исторической обстановке (перемещение центра мирового революционного движения в Россию, впервые в истории происшедшее благодаря деятельности большевистской партии, слияние научного социализма с рабочим движением и т. д.) привела к зарождению нового искусства и его художественного метода — социалистического реализма. «Мещане», «Мать», «Враги» и другие книги Горького, стихи Д. Бедного и ряда пролетарских поэтов, некоторые полотна Касаткина — это первые произведения социалистического реализма, которые возникли еще задолго до Великой Октябрьской социалистической революции и внесли свой вклад в ее подготовку.

Ведь к моменту возникновения этого термина уже существовало большое советское искусство, существовали такие творения советской классики, как произведения М. Горького, стихи и поэмы В. Маяковского, I и II части «Тихого Дона» М. Шолохова, «Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Партизанские повести» Вс. Иванова, «Железный поток» Серафимовича, «Любовь Яровая» Тренева, спектакль МХАТ «Бронепоезд

№ 14-69», фильм «Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна и т. д. Другими словами, в 1932 году уже существовало новое, социалистическое содержание советского искусства, уже сложились те новые закономерности, тот опыт, которые необходимо было обобщить, охватить единым эстетическим понятием. Поиски такого понятия, которое наиболее адекватно выражало бы это новое содержание и новые внутренние закономерности искусства, было делом и теоретически и практически необходимым, и эта необходимость осознавалась и «наверху» и «внизу».

Хотя само понятие *художественный метод* и появилось лишь на рубеже 20-х и 30-х годов XX века, все же оно не чуждо истории эстетической мысли, и к нему тянутся нити теоретической преемственности и от эстетики Аристотеля, и от эстетики классицизма, и от гегелевских теоретических воззрений на искусство, и от работ классиков русской эстетической мысли. Обратившись к фактам, мы убедимся и в том, что само эстетическое понятие *социалистический реализм* как художественный метод советского искусства явилось плодом длительных и серьезных поисков такого научного термина, который мог бы охватить собою и выразить новые качества и черты советского искусства *.

Поиски нового научного термина были поистине «коллегиальным» делом, в котором во второй половине 20-х и начале 30-х годов принимали участие многие и многие деятели советской культуры.

Одни писатели предлагали назвать наш реализм «пролетарским» (Ф. Гладков, Ю. Либединский и некоторые другие). На заседании ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей) 25 марта 1928 года в своем докладе «О работе ВАПП'а» Ю. Либединский говорил: «Развертывание культурной революции, усложнение личности, обогащение психики, общий рост масс. Познать все эти процессы роста и является задачей пролетарского писателя... Здесь нужна писательская культура, надо уметь из тысячи отдельных черт описываемых героев выбрать самое основное и *методом пролетарского реализма* показать место и роль отдельного человека в коллективе»**. Маяковский предлагал считать основным методом пролетарской литературы реализм *тенденциозный*. А. Н. Толстой противопоставлял «эстетизму литературу *монументального реализма*. Ее задача — человекотворчество. Ее метод — создание типов. Ее пафос — всечеловеческое счастье, совершенствование. Ее вера — величие человека. Ее путь — прямо к высшей цели: в страсти, в грандиозном напряжении создавать тип большого человека»*.

В тридцатых годах писатели все больше и больше сходились на определении творческого метода художественной литературы как метода социалистического реализма. За полгода до известного высказывания И. В. Сталина о методе социалистического реализма в «Литературной газете» от 29 мая 1932 года была опубликована передовая статья «За работу!», в которой говорилось: «Массы требуют от художника *искренности, правдивости, революционного социалистического* реализма в изображении пролетарской революции».

В июне этого же года руководитель украинской писательской организации И. Кулик говорил: «Условно тот метод, на который мы с вами могли бы ориентироваться, следовало бы назвать «революционно-социалистический реализм». Но это не значит, что этот метод декретируется окончательно, что кому-либо запрещается искать другое определение»**.

И. М. Гронский вспоминает одну из бесед в ЦК ВКП(б), в которой он предлагал назвать метод советской литературы *коммунистическим реализмом*. Были и другие предложения. Совещание писателей на квартире у А. М. Горького (26 октября 1932 года), в котором приняло участие около 45 человек, в том числе такие писатели и литературоведы, как А. Афиногенов, Э. Багрицкий, В. Бахметьев, Ф. Березовский, Ф. Гладков, И. Гронский, В. Ермилов, К. Зелинский, Вс. Иванов, В. Ильенков, Вал. Катаев, В. Кирпотин, Л. Леонов, Л. Никулин, П. Павленко, Ф. Панферов, Л. Сейфуллина, А. Сурков, А. Фадеев, М. Шолохов и многие другие, среди ряда важных литературных проблем обсуждало вопрос и о творческом методе. Присутствующие хотели услышать мнение руководителей партии и правительства по этому вопросу. И. В. Сталин в заключение беседы высказался о творческом методе.

— Товарищ Сталин, как вы смотрите на роль мировоззрения в искусстве? — спрашивает один из бывших рапповских деятелей.

— Вы говорите и повторяете диалектический материализм, диалектический материализм, не понимая того, что вы говорите.

— Разве поэт не может быть диалектиком? — спрашивает один из поэтов.

— Нет, может, — отвечает Сталин. — И хорошо, если он будет диалектиком-материалистом. Но я хочу сказать, что он не захочет тогда стихи писать (общий смех). Я шучу, конечно. Но, говоря серьезно, вы не должны забивать голову художника отвлеченными тезисами. Он должен знать теорию Маркса и Ленина. Но должен знать и жизнь. Художник прежде всего должен

---

* Здесь мы пользуемся фактами и архивными материалами, собранными аспирантом А. К. Романовским. См. Стенограмму юбилейной сессии Академии общественных наук при ЦК КПСС, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции (заседание от 30 октября 1957 года, стр. 110—131).

** «На литературном посту», № 8, 1928, стр. 34.

* А. Н. Толстой. Собрание сочинений, т. 13, ст. «Задачи литературы», стр. 282—286.

** «Літературна газета» от 20 июня 1932 года.

правдиво показать жизнь. А если он правдиво будет показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистическое искусство. Это и будет *социалистический реализм* *.

Нравится это или не нравится Лефевру, но такова история и из нее, как из песни, слова не выбросишь: сама эстетическая категория — художественный метод и само понятие — социалистический реализм явились плодом больших теоретических поисков, бурных дискуссий, в которых принимали участие и лучшие советские писатели, критики.

Как может серьезный теоретик и историк литературы так голословно, так бездоказательно утверждать, что понятие социалистический реализм появилось раньше, чем возникли новые закономерности искусства, что из этого формального понятия было выведено не только содержание искусства, но и его критерий. Что это, научная недобросовестность? Но ведь умеет же Лефевр быть научно добросовестным и даже скрупулезно-педантичным в обращении с фактами (вспомним его работу о Рабле, например). Или, может быть, это дурная тенденциозность, ослепляющая автора и не дающая ему возможности увидеть факты в их истинном свете? Но ведь Лефевр так горячо ратует за объективность и правдивость отношения к истории! А может быть, это просто незнание фактов? Но ведь (пусть извинит нас Лефевр за напоминание этой истины) невежество не аргумент. Как бы там ни было, но суждения Лефевра о возникновении социалистического реализма из формулировки, дедуктивным путем, не имеют ничего общего с истиной; социалистический реализм не содержит в себе ничего порочного, идущего от «грехов его зачатия».

6. „Ridicule". Гора родила мышь

Но самое смешное и странное в рассуждениях Лефевра заключается в следующем: то, за что автор необоснованно ругает социалистический реализм, кладется им в основу и превращается в принцип выведения нового метода нового искусства, который французский критик называет «революционным романтизмом». Говорят, что всякий француз больше всего боится слова «ridicule», боится попасть в смешное положение. Если это так, то над Лефевром нависла очень большая опасность. Он пишет: «*...можно попытаться ускорить процесс его* (революционного романтизма.— *Ю. Б.) формирования, изложив этот метод дидактически*» (стр. 664), (подчеркнуто мною.— *Ю. Б.*). И это пишет человек, который только что за эти самые грехи ниспровергал социалистический реализм? Да, это тот же самый автор. И он же выводит «первый постулат», «первую дефиницию» (да, да, не закономерность, уже сложившуюся в самой художественной практике, а именно «дефиницию» и «постулат»!): «человек во власти возможного — таково первое утверждение метода революционного романтизма. Или, если угодно, его первый постулат» (стр. 664). Выходит: «то, что дозволено быку, не дозволено Юпитеру». У древних эта поговорка имела прямо противоположную редакцию. У нас никому не приходило в голову создавать социалистический реализм дидактическим путем.

Но каким же должно быть современное искусство? Если ответить двумя словами, то, по Лефевру, необходим революционный романтизм. Однако пусть яркое и красивое слово «революционный» не заслонит от нас истинной сущности того пути, на который Лефевр пытается увести искусство (заметим, что здесь проявляется одна из важных особенностей ревизионизма — отступая от марксизма, от революционности, от коммунизма, ревизионизм не прочь так или иначе эклектически использовать те или иные положения, термины или даже само имя того, что он на деле ревизует и отвергает).

Прежде всего бросается в глаза, что Лефевр противопоставляет революционный романтизм социалистическому реализму и пытается как бы «снять» последний с помощью первого. Если идти не от абстрактного теоретизирования, а от жизни, если обратиться к истории литературы, то мы увидим, что взаимоотношения истинного революционного романтизма и социалистического реализма вовсе не враждебны. Отметим, что сам процесс зарождения социалистического реализма связан с тем, что его родоначальник шел к нему через и от революционного романтизма. Горький даже называл революционный романтизм «псевдонимом социалистического реализма» и никогда ни в творчестве своем, ни в теоретических высказываниях не противопоставлял их.

Весьма эклектическая и весьма проблематичная даже для ее автора теория искусства «революционного романтизма» возникла у Лефевра на основе желания «заполнить этическую, культурную пустоту, которая ощущается так глубоко и болезненно» (стр. 646), на основе «отсутствия энтузиазма и доверия». Но трудно построить сколько-нибудь внушительное содержание на основе «пустоты», на основе «отсутствия». Большому искусству необходим прочный фундамент. Только высокие жизненные идеалы могут оплодотворить большое искусство. А их-то и утратил (будем надеяться, что лишь на время) Лефевр, поставив под сомнение и превратив в нечто проблематичное коммунистические идеалы.

У Лефевра революционный романтизм получается оторванным от художественно-

* «Из воспоминаний К. Л. Зелинского». Встреча писателей с И. В. Сталиным 26.X-1932 г. Запись участника. Хранится в архиве ИМЛИ.

мыслительного материала, накопленного искусством прошлого,— это искусство, развивающееся на основе скепсиса, пустоты, безверия, при полном отсутствии высоких идеалов и без какой бы то ни было ясности целей, без знания друзей и врагов и, наконец, без ясной и определенной эстетической программы.

На такой основе не может развиваться ни одно сколько-нибудь плодотворное направление в искусстве, а тем более революционный романтизм. Такой романтизм рискует быть (если он вообще может возникнуть на таком шатком эстетическом фундаменте) не революционным, а густо реакционным.

7. Почему М. Надо аплодирует А. Лефевру?

Лефевр выступает за «радикальное критическое сознание». Ну что же, «подвергай все сомнению» — это излюбленное выражение Маркса, и критически анализировать происходящее — дело полезное. Однако сомнение сомнению и критика критике рознь. Хорошо сомнение, когда оно подвергает проверке то, что носит гипотетический, предположительный характер, то, что не проверено жизнью, то, что еще не ясно, то, что не есть истина. В этом случае сомнение может стать силой созидающей, силой, помогающей в поисках новых путей в жизни и в искусстве. Хороша критика, когда она направлена против того, что критики достойно, когда ее накал и характер соответствуют недостаткам или порокам того явления, против которого она направлена. Но если сомнение направлено против того, что является истинным, против того, что проверено на практике, если критика, вырывая отдельные фактики из общей связи, направляет свое острие против всей системы явлений и фактов, то такое сомнение и такая критика превращаются в ревизионизм и критиканство. В одном советском фильме, действие которого относится к эпохе гражданской войны, есть такие слова, обращенные к удирающим от противника растерявшимся бойцам: «Не в ту сторону наступаете, товарищи военные моряки!» Хочется перефразировать эти слова и сказать: «Не в ту сторону наступаете, Анри Лефевр!»

Если у А. Лефевра остаются хотя бы малейшие иллюзии насчет направления его наступления, то пусть он внимательно прислушается к восторженным аплодисментам Мориса Надо. Для прогрессивных деятелей всех эпох и времен, для всех революционеров высшим оскорблением и наиболее настораживающим моментом всегда были похвалы со стороны реакционеров.

«Заметки на полях» М. Надо — своеобразная лакмусовая бумажка, по которой очень точно можно определить ревизионистский характер статьи А. Лефевра. Скажи, кто тебе рукоплещет, и я скажу тебе, кто ты. Анри Лефевр, вслушайтесь в восторги господина М. Надо: «То, что Лефевр освобождается от идеологического гетто коммунистической партии — это для нас *предмет глубочайшего удовлетворения.* (стр. 664) (подчеркнуто мною. — *Ю. Б.*), подтверждение правильности позиции, провозглашенной нами по отношению к проблемам, обсуждаемым сегодня интеллигенцией».

Вместе с тем, М. Надо иронически предлагает интеллигентам, отходящим от коммунизма, проявлять больше скромности, и, прежде чем выступать с новыми статьями, эти «бывшие красные», по его словам, должны пройти через «инкубационный период», период выздоровления, чтобы избавиться от «интоксикации».

Все эти суждения М. Надо весьма симптоматичны и не лишены своеобразного интереса. Прежде всего они подтверждают старую истину: перебежчиков никто особенно не любит, в том числе и те, кто им аплодирует. И насколько мощна должна быть «радиоактивность» коммунистических идей, если даже заболевший ревизионизмом А. Лефевр страшен для М. Надо и, по его мнению, нуждается в инкубационном периоде, прежде чем он — М. Надо — сочтет возможным допустить А. Лефевра к идеологической жизнедеятельности! Говорят, что версальцы боялись даже мертвых коммунаров. М. Надо боится даже заболевшего ревизионизмом Лефевра. Есть над чем задуматься всякому, есть о чем поразмыслить и Лефевру — ведь он усомнился в жизнеспособности коммунистических идеалов.

Морис Надо видит ряд точек соприкосновения с А. Лефевром: в «Заметках на полях» Надо пишет, что «...художник или интеллигент должен творить, основываясь на действительности и на данных своего сознания, вместо того чтобы подчиняться идеологическим схемам или политическим лозунгам» (стр. 672). Да, художник творит, основываясь на действительности и на данных своего сознания. Это верно. Но «данные сознания» в любом классовом обществе не могут быть никакими силами, никакими искусственными приемами отторгнуты от политики. Как известно, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Художник не может быть нейтрален к политике. И это лучше всего доказывают восторги М. Надо по поводу ревизионистской статьи А. Лефевра. Если политика здесь ни при чем, то чего же, собственно, вы радуетесь, М. Надо?! Ну, Лефевр написал ревизионистскую статью, он усомнился в прочности коммунистических идеалов, он считает, что социалистический реализм — «бяка». Ну и что? Почему же это составляет для вас «предмет глубочайшего удовлетворения»? Действительность воспринимается художником на основе данных сознания, но сознания не внеклассового, не внеполитического. И никакие спекуляции не могут перечеркнуть эту

истину, они только лишний раз могут выявить буржуазный характер сознания теоретика или художника, занявшегося этими спекуляциями.

8. Существуют ли в искусстве „нормы"?

А. Лефевр, обвиняя социалистический реализм в нормативности, сам пытается придать своим дефинициям и постулатам, намечающим очертания «нового» метода в искусстве, нормативное значение. Прежде всего бросается в глаза непоследовательность суждений автора — опять он рассуждает по логике: что дозволено Лефевру, то не дозволено социалистическому реализму.

Как же обстоит дело с этой проблемой нормативности? Научной эстетике одинаково враждебен и эмпиризм, коллекционирование и регистрация фактов — с одной стороны, и дурная нормативность, искусственное постулирование, выдвижение канонов, которых должен придерживаться художник,— с другой. Все это вовсе не снимает вопроса о возможности и даже необходимости истинной нормативности в эстетике. Когда эстетике удается раскрыть внутренние законы искусства, когда удается создать обобщения, охватывающие существенные моменты содержания и формы искусства данной эпохи, его характерные, исторически неповторимые особенности, в этих случаях выводы, законы категории, открытые эстетикой, приобретают определенную нормативность. Нормативность эстетики социалистического реализма по отношению к художнику, решившему отразить правду современности, не более и не менее обязательна, чем нормативность закона Архимеда по отношению к человеку, решившему плавать. Последний может плыть по реке, и по озеру, и по морю на плоту, на лодке, на пароходе, но он нигде не может плыть на обломке скалы, ибо удельный вес камня больше удельного веса воды, и в этом «нормативность» закона Архимеда. Нарушение «норм» этого закона может помешать выполнению намерения человека плыть и даже чревато серьезными опасностями для любителя плавать без «норм». Художник, решивший глубоко отразить правду нашей эпохи, может выбирать любой вид искусства, любой жанр, различные формы выражения поэтической мысли в соответствии со своим замыслом, своей творческой индивидуальностью и тем жизненным материалом, который он непосредственно кладет в основу своего творчества. Но художник, решивший отразить правду нашего века, не может не считаться с тем, что художественный образ есть единство объективного и субъективного, эмоционального и рационального, или с тем, что действительность революционно развивается. Это не зависит от желаний художника, это лежит в объективной основе искусства и жизни. Нарушение этих «норм» чревато тем, что художник не сможет осуществить свой замысел, и даже больше того, при известных условиях, при полном нарушении этих «норм» художник может оказаться за пределами искусства.

Только та эстетика истинно нормативна, которая является обобщением законов самого искусства и которая сочетается с требованиями жизни. И здесь лежит водораздел между эстетикой социалистического реализма и эстетикой, искусственно конструируемой Лефевром на основе его пожеланий, хотений, оригинальных и неоригинальных соображений, пришедших ему в голову.

Спор о поэзии

В октябре 1957 года в Риме, по инициативе Итальянского Общества дружбы с Советским Союзом, состоялась встреча советских и итальянских поэтов. В ходе четырехдневных заседаний, посвященных теме «Поэзия и современность», выступили известные итальянские и советские поэты и критики.

Редакция не разделяет некоторые положения, выдвинутые во время дискуссии нашими итальянскими коллегами. В связи с этим мы публикуем статью Корнелия Зелинского, точку зрения которого на основные вопросы, поднятые в дискуссии, редакция поддерживает.

Мы полагаем, что публикация материалов римской встречи поэтов будет способствовать укреплению и расширению культурных контактов между писателями Италии и СССР.

Переводы выступлений печатаются по опубликованным в итальянской печати текстам.

Корнелий Зелинский

О назначении поэзии

Поэзия принадлежит к такому роду человеческого искусства, о котором со времен Горация идут непрекращающиеся споры. Очевидно, в природе поэзии что-то — как думают иные из поэтов — сопротивляется подчинению ее понятиям и функциям рассудка. На этом обычно настаивают те, кто хочет видеть в поэзии нечто близкое к пению птиц, своего рода музыкальную исповедь души. Вряд ли мы найдем хотя бы одного поэта в мире, который не написал бы на эту тему стихов и не попытался бы определить, для чего же греки среди девяти муз Аполлона специально поместили музу лирической поэзии — Эвтерпу. Так или иначе, один из старейших современных поэтов Италии Джузеппе Унгаретти начал свое слово, обращенное к советским поэтам, приехавшим в Рим, с определения поэзии, с ответа на вопрос, куда нас зовет Эвтерпа. Как думает Джузеппе Унгаретти, главное в поэзии — это внушать чувство свободы. Поэт должен создать ощущение независимости решительно от всего, в том числе и от истории. Поэт не может быть ничем детерминирован, хотя Унгаретти и признает, что поэт, как всякий человек, не может жить вне истории. Но поэт на лик истории должен наложить лик своего духа и тем самым как бы отделиться от истории, словно преодолев земное тяготение.

Всякое произведение искусства — как еще гениально угадал Аристотель — в известной мере дает «катарсис», очищение. Этот термин (катарсис) обычно связывают с тем местом (начало 6-й главы «Поэтики»), где Аристотель говорит о трагедии. Но великий античный мыслитель глядел шире. Если иметь в виду общую систему его мировоззрения, то, по Аристотелю, поэзии дано очищать или освобождать человека от плена страданий и страстей в их первичной форме. В этой форме страсти и переживания человека владеют им. Поэзия, раскрывая сущность вещей, отношений и порождаемых ими эмоций, тем самым очищает или освобождает от плена страстей как материальной силы и делает человека как бы господином над теми силами, которые через тело, через органы чувств готовы овладеть его душой. Поэзия дает человеку крылья, внушает ему то ощущение внутренней свободы, когда человек становится гордым, готовым к полету духа. Истинный поэт словно берет читателя на крыло вдохновения, приобщая изобразительными средствами своего мастерства к сознанию и чувству своего человеческого господства над «неодушевленным материалом» жизни.

В лирической поэзии важнейшим условием является ее человеческая убедительность, эмоциональная достоверность. В лирике

поэт сливается с человеком. Но предметом и источником поэзии — и в этом коренится начало ее подлинности, достоверности — является сама жизнь в обширном и всеобъемлющем значении этого слова—от любви до политики. И если занимающаяся заря на востоке воспламеняла воображение поэта со времен Гомера, то как же может не приковать к себе помыслы и чувства поэтов зрелище того, как занимается заря нового человечества впервые за всю его историю.

Дело в том, что когда Д. Унгаретти говорит о необходимости чувства индетерминированности для поэта, то он, расширительно толкуя понятие «материя», производит, точно не замечая своего заблуждения, подмену одних категорий другими. Философско-эстетическое назначение поэзии — возвышать дух человеческий — Д. Унгаретти видит не на путях раскрытия смысла вещей и отношений жизни, а на путях борьбы с материей, которая превращается у итальянского поэта в псевдоним самой жизни. Такой вывод получается потому, что Д. Унгаретти выдвигает совершенно неправильный тезис, что будто источники моральной жизни человек должен находить только в самом себе, поскольку «любые социальные структуры» (иначе сказать, капитализм и социализм) стремятся эти источники «извратить и подорвать». Для чего же тогда быть поэту «разведчиком» эпохи? Зачем он должен погружаться в современную жизнь, в историю, если «любые социальные структуры» ничего хорошего поэту не сулят и он должен повернуться внутрь своего «я»?

Очевидно, Джузеппе Унгаретти впадает тут в явное противоречие, которое может быть разрешено только одним-единственным путем: надо признать, что моральные источники своей творческой деятельности, освобождающую силу художественного осмысления бытия, процессов жизни поэт должен черпать в самом бытии, в самой жизни. Внутренний опыт поэта складывается из сложнейших процессов обобщения того «внешнего», что мы называем материей, бытием, действительностью. Человек находится в непрестанном взаимодействии с внешней средой. Ведь это готовы признать даже самые крайние солипсисты и берклеанцы нашего времени.

А если это так, то как же можно ставить знак равенства между различными и диаметрально противоположными по своим основам социальными структурами? Разве не ясно, что именно коммунизм несет человеческому обществу освобождение от того уродливого, против чего протестовало и протестует нравственное сознание человека при господстве такой социальной структуры, как капитализм, где эгоизм собственности, орудуя золотом и мечом, ложью и бомбами, калечил и калечит душу и тело человека! Какие еще нужны новые доказательства к этому выводу, который давно подтвержден и вчерашней и сегодняшней историей всех народов, выводу, подробнейше обоснованному тысячами книг философов и экономистов, произведениями тысяч писателей и поэтов!

То обстоятельство, что Джузеппе Унгаретти берет за одни скобки «любые социальные структуры», позволяет нам сделать вывод, что, говоря об освобождении поэта от власти материи, он имеет в виду «освобождение» от запросов и велений общественной жизни, государственных интересов, политики, народа. Очевидно, все это, по Унгаретти, таит наибольшую «опасность» для поэта, потому что «извращает и подрывает» моральную суть поэзии, ее стремление к свободе, которое в ней искони заложено.

Что же остается для поэта за вычетом всего этого живого мира с его общественными политическими страстями? Очевидно, остается субъективный мир поэта в его спонтанном движении и развитии. Очевидно, назначение поэта, по Унгаретти, состоит лишь в том, чтобы давать образно-ритмический слепок душевного потока, своего рода эстетическую кардиограмму в виде кривой чередующихся слов.

Некоторые поэты любят создавать свои мифы. Привыкая затем к некоей «гармонии» созданного ими мифа из материала своих видений, вкусов, пристрастий, они затем крайне чувствительно воспринимают вторжение «ума холодных наблюдений». Всякая критика воспринимается ими как инородное тело, нарушающее кровообращение поэзии. Один из наших итальянских друзей, Карло Салинари — в его речи было много мыслей, с которыми нельзя не согласиться всякому здравомыслящему человеку,— сказал с довольно-таки заметной иронией, что легче всего итальянские и русские поэты договорились бы о своей общей нелюбви к критике.

По правде сказать, на платформе такого «единства» автору этой статьи делать было бы нечего. Но есть надежда, что поэты не всегда же находятся во власти эмоций и иногда готовы выслушать голос логики, реальности самой жизни.

Вот, казалось бы, столь разные поэты — и разных поколений, и творческих почерков, и интересов — Джузеппе Унгаретти и Сальваторе Квази́модо. Один — поэт самого старшего поколения, культивировавший изысканную форму так называемой герметической поэзии. Другой—Сальваторе Квазимодо—куда более близкий к жизни, деятельный участник борьбы за мир, человек, не случайно с благодарным изумлением остановившийся на подвиге болгарского поэта Вапцарова, павшего от руки гитлеровских оккупантов. И все же Сальваторе Квазимодо сказал в своей речи, что «критика готова лишить поэта (человека) свободы как у нас, так и при любой форме правления; ее вторжения частного или политического порядка направлены на умаление или отрицание достоинства поэта».

Боюсь, что С. Квазимодо в критике видит только псевдоним политики. Неужели блестящие эссе Сент-Бева, де Санктиса, Кроче не поколебали столь пессимистического вывода итальянского поэта? Но

даже если под критикой понимать только политические требования, то и в этом случае Сальваторе Квазимодо неправ. Итальянский поэт признается, что он мечтает о такой поэзии, которая жила бы «вдали от Дворов» и чтобы поэты разговаривали между собой, так сказать, на своем «поэтическом эсперанто», или понимая друг друга без слов.

«Вдали от Дворов» — это значит вдали от правительств, от государства, от политики. Ну, а Данте был разве вдали от политики? И разве это унижает достоинство поэта, если правительство, созданное в революции самим народом, высказывает пожелание, чтобы поэты не отворачивались от жизни народа, чтобы теснее связали свои «мифы» с жизнью народа? Разве поэзия самого Квазимодо не свидетельствует о том, что он не проходит равнодушно мимо страстей, горя и радостей человеческих? Маяковский вообще считал для себя честью (а не умалением своего достоинства как поэта) всякое проявление интереса к своему творчеству со стороны правительства революционного народа и его вождей. Он послал Ленину в подарок книгу своих стихов. Он мечтал, чтобы его стихи поднялись на уровень самых важных политических проблем. Его пафос — это пафос солдата революции, рвущегося к действию во имя счастья народного, человеческого.

Что касается идеала содружества поэтов, то он глубоко близок нам. Мне кажется, что он особенно придется по душе советским поэтам. Но путь к содружеству поэтов мира идет не через социальный вакуум, а наоборот, этот путь пролегает по земле с ее борьбой и страстями. Поэты должны протянуть друг другу руки, не удаляясь от людей, а находясь среди них и помогая своей поэзией сближать людей. С. Квазимодо кажется, что поэт, входя в жизнь, делается «придворным», оскверняет свою лиру. Д. Унгаретти хочет придать этой мысли более завуалированное философское выражение: поэт попадает под власть материи. Но так ли это в самом деле? Действительно ли народная жизнь и политика — в философском значении слова — это мертвая, давящая материя?

В этом стремлении растворить все «внешнее» — историю, «социальные структуры», неуютную действительность с ее борьбой классов и т. п.— в плавильне духа, в стремлении отождествить вольное, якобы ничем не детерминированное, интуитивное прозрение с лирической стихией, всегда равной самой себе,— во всем этом слышатся отзвуки (правда, измененные) эстетической системы былого властителя дум итальянской интеллигенции Бенедетто Кроче.

Когда Кроче и вслед за ним Унгаретти протестуют против рассудочности, риторики и выступают в защиту эмоционального начала — во всем этом есть много справедливого. Но мне кажется, наш друг Джузеппе Унгаретти, подогреваемый преувеличенным страхом перед властью материи, вступает в царство призраков, когда начинает говорить об индетерминированности, о своего рода тотальной свободе. Мне кажется, тут итальянский поэт допускает ошибку в ходе своих рассуждений.

Попытаемся в этом разобраться. Сделаю оговорку: думаю, что поэт, с которым говорил Карло Салинари, неправ, считая, что между итальянскими и русскими поэтами существует «дистанция астрономического размера». Это — преувеличение. Мы ближе друг к другу, чем он думает. Все-таки мы действительно живем на одной планете и можем договориться до чего-то общеприемлемого. Есть на свете несколько вещей, которые могут являться стимулами сближения. Это прежде всего истина. Она всегда одна и обращена к разуму. Истина мирит разных людей своей логикой, своей неопровержимостью. Об этом говорит вся история науки. Так же точно мирят людей добро и красота, обращенные к нашему сердцу и эстетическим чувствам.

Поэтому попробуем выяснить истину. Она заключается в том, что всякий вид искусства, в том числе и поэзия, находится во взаимоотношении с действительностью, с «внешней материей». Поэт может окружать себя образами и словесными конструкциями, казалось бы, самыми надмирными, абстрактными и не похожими ни на что существующее. Но при свете науки окажется, что эти далекие и бледно-романтические создания порождены все-таки определенными историческими условиями самой жизни. Зачем же нам возвращаться к тому возрасту, когда, сидя на деревянной лошадке и держась за тесемки, мы думали, что движемся вперед. В иллюзиях есть утешение, но только минутное. А поэт, как и всякий человек, хочет правды. Он хочет, чтобы его творения были насыщены подлинной человеческой правдой, чтобы они трогали сердца, волновали умы. А такой может быть только поэзия, которая жива обменом соками с самой жизнью, подобно кровеносной системе в человеческом организме. В. И. Ленин в свое время очень точно сказал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.

Джузеппе Унгаретти говорит, что «не внешние факты создают писателя, писатель в своих произведениях высказывает суждения об этих фактах. Настоящий писатель никогда не может быть детерминирован». В этих словах поэта я прочитал больше полемики, нежели ощущения своей силы, которую не может страшить «внешний мир». И вспомнились слова из одного письма мудрого Гете, который на склоне лет писал Вильгельму фон-Гумбольдту: «То, что он (поэт.— *К. З.*) воспринимает извне, не вредит его прирожденной индивидуальности. Высший гений — это тот, кто все впитывает в себя, все умеет усвоить, не нанося при том ни малейшего ущерба своему подлинному, основному назначению, тому, что называют характером, вернее только таким путем способный возвысить его, по мере возможности развить свое дарование.

И вот здесь-то проявляются многообразные связи между сознательным и бессознательным. Представим себе музыкальный талант, который должен создать большую партитуру. Сознание и бессознательность будут здесь относиться друг к другу, как письмо к конверту — сравнение, которым я охотно пользуюсь. Органы человека благодаря упражнениям, учению, размышлениям, удаче и неудаче, побуждению и сопротивлению и опять-таки размышлениям бессознательно, в свободной деятельности свяжут приобретенное с прирожденным, так что целое повергнет мир в изумление».

И это писал веймарский министр — тот, кого называли «олимпийцем». Что же после этого говорить о Толстом или Бальзаке — этих могучих жизнелюбцах, чье искусство вдохновлялось пафосом великой власти над материей. Вспомните, как Бальзак наслаждался ощущением могущества своего слова. Он говорил: «Теперь писатель заменил проповедника, он облачился в хламиду мученика, он страдает от тысячи зол, он берет свет в алтаре и несет его в лоно народов; он князь, он нищий; он утешает, он проклинает; он просит, он пророчествует; его голос звучит не только в соборе, он может порой прогреметь на весь мир, из конца в конец. Человечество, ставшее его паствой, слушает его поэмы и размышляет о них; одно слово, один стих весят сейчас на политических весах не меньше, чем некогда весила победа. Пресса организовала мысль, и мысль вскоре завладеет миром; листок бумаги, хрупкое орудие бессмертной идеи, может изменить лик земли. Душа писателя стремится к миру и отражает его. Книгопечатание приблизило к нему будущее; все выросло: кругозор, зрение, слово и человек».

Мне представляется, что эти слова ближе выражают сущность того, о чем мы говорим. И недаром советские поэты так же страстно стремятся в мир, чтобы вмешаться своим словом в его бури и конфликты.

Естественно, что у советских поэтов ярче, рельефнее выражено это устремление в мир и устремление отражать его борения и интересы, что так близко Бальзаку. Но эти же тенденции сегодня присущи разным поэтическим направлениям и в других странах, и у других народов. И не только в странах народной демократии, в Китае. Эти здоровые стремления войти в жизнь, слиться с ее интересами присутствуют и у многих демократических поэтов Италии. Были они у Саба, есть у Пазолини, Родари, Буттиты и многих других поэтов. Эти мотивы звучат даже у поэтов калифорнийской школы в США, возглавляемой талантливым Кеннетом Рексротом, автором книги стихов «В защиту земли». Между прочим, в одном из стихотворений этой интересной книги, нашедшей активную поддержку в статье поэтессы и видного современного американского критика Мьюриэл Ракейзер (в журнале «Сэтердей ревью», ноябрь 1957 г.), говорится не без остроумия, что львов боятся те, кто, однако, «покупает мясо в мясных лавках». Я уже не называю таких канадских поэтов, как Джо Уоллес или Макдональд, ставших яркими выразителями современного пробуждения народов от дурмана буржуазной идеологии.

Но вот одно из свидетельств, взятое со страниц вполне буржуазного органа, весьма далекого от «коммунистических веяний» (от которых, впрочем, далек и Рексрот, как и вся калифорнийская школа). В литературном приложении к лондонскому «Таймсу» («Таймс литерари сапплмент», от 8 марта 1957 г.) появилась редакционная статья, дающая оценку той дискуссии, которая возникла между двумя современными поэтическими группами или течениями в Англии, между группой «Мувмент» и группой «Маверикс». Напомню в скобках, что название «Маверикс» является фамилией одного скотопромышленника, который отказался клеймить свой скот. Таким образом, группа «Маверикс» — это, так сказать, «неклейменные», ничем не детерминированные, никому не обязанные ни в чем.

«Таймс литерари сапплмент», анализируя дискуссию между обеими группами, приходит к выводу, что обе они ведут спор где-то за пределами живой жизни. В статье, называющейся «Запоздалые Маверикс», говорится: «Когда «внутренний опыт», «тайна, общающаяся с тайной», отказ от «социальных воздействий» становятся основными факторами творчества — техническое мастерство заменяет изображение действительной человеческой жизни. Стихотворение рассматривается таким образом, как будто оно написано в вакууме; его идеологическая характеристика (присутствующая во всякой теме) игнорируется. Писатели, которые выбирают такое направление для своего творчества, обречены на отражение философских абстракций и социальных мифов, существующих вокруг них. Стремление избежать «социального движения» допускает только одну категорию мышления — пользование изысканными клише образованного меньшинства. Отказываясь быть вовлеченными в дела людей, действуя осторожно, называя себя «эмпириками», считая поэзию «непричастной», они теряют право претендовать на глубину мысли, не выполняют своих обязательств и таким образом становятся реакционными, поддерживая существующий порядок вещей, презрение к которому высказывают в своих стихах. Тривиальность тем и презрение к ясно выраженной точке зрения на жизнь приводит к стандартизации их стихов, которые так похожи друг на друга, что исчезает самая индивидуальность, ради которой они готовы все принести в жертву, погибает и сама поэзия».

И еще говорится в этой статье, которая, на мой взгляд, весьма трезво оценивает современные модернистские искания в английской поэзии: «некоторые склонны рассматривать такое отношение поэта к общественной жизни и истории, как апатию, ложный либерализм и безвредное мудрст-

вование... Но «Мувмент» и «Маверикс» вовсе не безвредны. В стране, которая приближается к большим решительным действиям, они представляют собой потенциал хаоса; ни к чему не причастный, не связанный никакими обязательствами человек всегда является прислужником сильных людей».

Ничего не скажешь: крепко сформулировано. Откуда эти речи в Англии? Статья редакционная. Но мне кажется, что автор или авторы ее ныне с тревогой — возможно в толпе манифестантов — прислушиваются, как высоко в туманном небе британского острова грозно рокочут американские самолеты, держащие в своих лапах водородные бомбы. Да не только в Англии, но и в других странах — в том числе и в Италии — народы начинают понимать, что их страны вступают в новую полосу своей истории, когда будут решаться коренные вопросы их существования. Вот почему даже людей, далеких от коммунизма, от всяких партий, начинают раздражать те поэты, которые в этот исторический час лишь играют в свои словесные бирюльки.

Джанкарло Вигорелли останавливается, по его выражению, в некотором замешательстве перед лицом абсолютного здоровья советских поэтов. Он за «критический пессимизм». Но ведь здоровье, вера в жизнь и оптимизм были и у Пушкина, у Толстого, у Горького, у Шекспира, у Бальзака. Что же плохого в этом полнокровном ощущении жизни? Мне кажется, что синьор Вигорелли прикрепил к фигуре своего замешательства маленькую ироническую улыбку по поводу, скажем мягко, «односторонности» здоровья. А может быть, и его «казенной парадности». Он хочет сказать, что мир сложнее, тревожнее, насыщеннее контрастами и трагедиями. Ох, как хорошо это познали мы, советские люди. Мы это крепко испытали и заплатили за эту истину только в последней войне миллионами жизней.

Но полнокровность нашего мироощущения, бодрость духа, отсутствие боязни перед будущим—все это вызывается другим: все мы, весь народ как одна семья — все мы при большом деле. Мы строим новое общество, «город солнца», которое когда-то проносилось в мечтах Кампанеллы, Томаса Мора и многих социальных утопистов. Мы, если угодно, «дорвались» до этой великой исторической задачи. Нас научили Маркс и Ленин, как подойти к решению этой задачи с точки зрения науки, как на деле, практически решить то, о чем мечтали в течение долгих столетий лучшие люди всех времен и народов. Нам было тяжело, многого и сейчас не хватает. Но как же нам не радоваться и даже не ликовать оттого, что мы построили новое общество и теперь возводим стены нового здания — коммунизма, шпиль которого должен достигнуть солнца!

Итальянские друзья должны понять нас в нашем настроении, как мы их понимаем в их тревогах, выражаемых иногда нарочито запутанным и даже невнятным языком. Во всей этой тоске по свободе, в этих порывах улететь к чему-то неведомому, оторвавшись от грешной земли, даже в этих разочарованиях—как у Сальваторе Квазимодо — в любых «социальных структурах», в этих разговорах о кризисе слова, кризисе языка, даже кризисе языка науки — во всем этом угадывается разочарование и тревога, вызванные тем положением, в которое попала Италия.

Я никогда не был в Италии. Я знаю ее по книгам, по рассказам живых людей. Я знаю ее по произведениям русских писателей, живших в Италии и любивших ее, таких как Гоголь, Герцен, Горький. Я знаю Италию и по Стендалю. Мне не пришлось участвовать в римской встрече. Однако я знаю эту прекрасную страну, ибо были и есть поэты в Италии, умеющие выразить и передать те настроения и течения, которые бродили в народе и отражали его чувства и заветные устремления. Еще Джакомо Леопарди сумел остро ощутить и выразить то глубокое противоречие, какое обнажилось в Италии уже более столетия тому назад. С одной стороны, великие предания, священные камни предков, камни Рима, Флоренции, Венеции, которые словно жгут босые ноги, напоминая о былом величии, а с другой стороны — нищета, безработица, экономический и социальный разлад. Киты капитализма в США, Англии, Германии и даже Франции грубо опережали и отбрасывали Италию. Она все глубже погружалась в трясину промышленных кризисов и национальной нищеты. Известно, во что обошлись народу бутафорские — под римских императоров — жесты Муссолини, его жестокие захватнические авантюры, бессмысленно увлажнившие итальянской кровью и пески Ливии, и горы Сербии, и жаркие дороги Абиссинии, и снега России. Мне рассказывал один мой друг, как он, находясь в частях войск, окруживших гитлеровские армии под Сталинградом, нашел в поле, в ранце одного убитого, уже окоченевшего и полузасыпанного снегом итальянского солдата (или младшего офицера) томик стихов Джакомо Леопарди. В нем были отчеркнуты строки из стихотворения «На памятник Данте». Отчеркнуть стихи — это все, что мог себе позволить в виде протеста солдат фашистской армии. А стихи и в самом деле звучали почти современно:

В краю суровом гибли итальянцы,
Достойные иной, почетной, смерти.
Там их врагами были небеса,
Пустыня, дикий зверь и люди.
И тысячами падали они,
Полунагие, кровью обливаясь...
Их ложем был холодный белый снег.
И перед смертью, в муках вспоминая
Родную мать, Италию свою,
Они твердили: «Если бы сгубили
Не вихрь, не тучи нас, а острый меч,
И за твою, Италия, свободу!
Здесь далеко, без вести и следа,
Мы умираем молоды и сильны
За честь твоих безжалостных убийц...»

(Перев. И. Тхоржевского).

Немало мобилизованных в фашистскую армию сынов итальянского народа погибло

за пределами родины своей, проклиная тех безжалостных убийц, за грязную «честь» которых они сражались, за «честь» Муссолини и Гитлера. Немало вернулось под родной кров физически и духовно искалеченными с неизгладимой обидой в душе на тех, кто отнял у них молодость, кто заставил их против своей воли участвовать в насилиях над другими народами. Что ж, и о них можно сказать словами Джакомо Леопарди:

Италия давно вам все простила,
Она лишь тех клянет, кто вас послал.

Одним из свидетельств понимания народа, что по-старому жить нельзя, является образование Коммунистической партии Италии — одной из самых больших в Европе, имеющей глубокие корни в народе, в истории борьбы итальянского народа за свое национальное освобождение, за демократию, партии, все усиливающей свое влияние. Чувство кризиса, чувство неустроенности, тревоги владеет умами интеллигенции, да и широких слоев трудящихся. Это чувство находило и находит разный выход в литературе, порой в формах, далеко разнящихся друг от друга. Его можно прочитать и в смятенной психологии героев пьес Пиранделло, и в неореализме итальянского кино, которое своей человечностью покорило зрителей всего мира, и в ясных строках сицилийского поэта Буттиты, и в романе Карло Леви «Христос остановился в Эболи», и в творчестве Альберто Моравиа, и в романе Сильвии-Маджи Бонфанти «Сперанца», и в «Воспоминаниях туринского рабочего» Марио Монтаньяна, в книге Анны Гарофало «На войне умирают», в произведениях Леонида Репачи, в стихах Либеро Биджаретти и в стихах Сальваторе Квазимодо. Более того, даже в изречениях Унгаретти, «по-гераклитовски» темных, тоже угадывается это чувство обеспокоенности положением в мире.

Накануне Октябрьской революции и в первые два года после нее, движимый этим безотчетным чувством тревоги и неуверенности в своем завтра, выражая настроения целого слоя старой интеллигенции, связанной со старым миром, русский поэт Андрей Белый выпустил несколько книжек, которые говорили о кризисе культуры, слова, сознания и т. д. Но спрашивается, для кого это был кризис? Сейчас Джузеппе Унгаретти тоже говорит, подобно Андрею Белому, о кризисе языка не только в поэзии, но даже и в науке.

Как это понять? Разве микрофизика нанесла удар классической математике? Что понимать под последней? По-моему, тут налицо чистое недоразумение. Разве Эйнштейн нанес удар Ньютону или разве Лобачевский и Гаусс нокаутировали Эвклида? Наука переходит в следующий этап не так, как спортивные рекорды, которые отменяют предыдущие. Что понимать под классической математикой? Разве только ту, что оканчивается вместе с Лейбницем, ту, что не пошла дальше дифференциального и интегрального исчислений? Мне кажется, что математика никогда не переставала развиваться. Ее методы утончались, она освоила методы, казалось бы, несовместимые и исключающие друг друга. И всякое физическое открытие только тогда входит в теоретическую систему, когда оно получает математическое выражение. Уравнения, выведенные академиками Ландау и Боголюбовым для сверхпроводимости гелия, как бы поставили точку над тем открытием, которое сделал академик Капица, наблюдая некоторые физические явления при снижении температуры гелия примерно до —273 градусов, то есть почти до абсолютного нуля.

В эпоху величайшего торжества науки, которая сумела при помощи спутников протянуть свою руку в космос, вряд ли можно говорить о кризисе ее языка. Перед нами налицо естественное обновление терминологии, появление новых имен для новых явлений. Так были предложены новые термины: «антипозитрон» и «антипротон». Разве это кризис? Это теоретическое открытие математики. Теперь дело за физикой — открыть то, что найдено теоретически. Не только микрофизика освещает дорогу вперед математике, но и математика освещает дорогу вперед микрофизике.

Мне кажется, что сейчас в науке мы присутствуем при совершенно другом явлении. На смену циклу аналитического исследования мира приходит великий синтез (отчасти подобно тому, как это было в конце XVII века в науке во времена Ньютона). И наука и культура развиваются своего рода циклами, большими периодами.

Период накопления аналитических исследований сменяется периодом, когда аналитические данные начинают объединяться в некую общую картину или в отдельные области. Конец прошлого и начало нынешнего века ознаменовались исключительными успехами аналитических знаний. Но в то же время отдельные области науки так далеко разошлись, что перестали понимать друг друга. Специализация выработала для каждой области свой индивидуальный язык. Даже отдельные области медицины перестали понимать друг друга, не говоря уже о физике и биологии. Сегодня перед нами противоположная картина. Науки начинают оплодотворять друг друга, и на первый план выступают проблемы пограничного характера. Информацию или программу роста, закодированную в хромосоме (что, разумеется, не исключает огромной роли среды), расшифровывает уже не биолог, а математик своими математическими средствами. Наука переживает бурную революцию, при которой ранее казавшиеся незыблемыми границы стираются.

И в поэзии — разумеется, совершенно по другим причинам, тут сходство чисто внешнее — одно время возобладал культ аналитического зрения, направленного на отдельные мазки, точки, частные наблюде-

ния, блики и штрихи, словом, весь тот мелькающий мир, который открылся человеку, когда он создал жизнь современных больших городов. Однако главным открытием явилось не умение схватывать мелькание урбанистических пейзажей, но умение нервно откликаться на вспыхивающую боль, которую на каждом шагу рождало в чутком сердце поэта зрелище страданий, нищеты, проституции, распространения таких социальных болезней, как туберкулез и сифилис.

Если ученый рыл свою узкую нору, изучая какие-нибудь кристаллографические решетки и не видя ничего вокруг себя, то и поэт изощрялся в том, чтобы сравнивать рыбу с полицейским свистком, а запах дорожной пыли — с политической программой дворянских мечтателей.

Некоторые из итальянских участников римской дискуссии отрицают самое понятие «декаданс» (то есть упадок) и хотят уверить нас в том, что законны все эстетические поиски и особенно те, которые помогают нам освободиться от власти «содержания», материи. Но декадентство родилось как раз на почве отхода поэта от современной ему истории, родилось из утраты чувства исторического процесса. На путях дифференциальной лирики, культивирующей слово как таковое, оттенки мысли, самодовлеющий звук, поэты, может быть, кое-что и приобретали для своих упражнений в утонченной технике стиха (в этом, например, была роль Хлебникова, как ее понимал Маяковский). Но они теряли главное: видение мира и человека. Мне кажется, чувство земной уместности, земной осмысленности неотделимо от таланта.

В чем значительность лирики Блока, который был распят на кресте старой России? Разве и сегодня некоторые современные поэты Италии, впитавшие в свою душу страдания, беды народа, а главное, подавленные чувством бесперспективности в этом мире, не так же распяты на кресте «страшного мира»? Сила лирики Блока в том, что эта лирика была исторической, насыщенной глубоким чувством своего времени. Если искать свидетельство в том, что переживал русский интеллигент, связанный со старым миром, накануне великой социальной революции,— то вот вам лирическая исповедь Блока. Блок мучился муками России, глубоко любил свою родину, признавал правду народа, даже когда в революционные дни сожгли его имение со всей библиотекой. Вот почему Блок всем сердцем слушал «музыку» революции, посвятив ей свою знаменитую поэму «Двенадцать». И вот другой наш современник — Борис Пастернак. Если Блок и Есенин были поэтами трагическими, впитавшими тревоги, противоречия истории, то Пастернак поэт феноменологический. Его сфера—не сущность жизни, но явления ее и главным образом явления природы, причем в их необычайных столкновениях

Скажу сначала о Есенине, творчеством которого я в последнее время много занимался. Не могу не порадоваться тому, что поэт — такой русский, так глубоко связанный с нашей русской почвой, нашей историей, нашей природой,— нашел и находит такой глубокий отклик и у поэтов романского народа. Есенин популярен и любим не только в Италии, но и в Румынии, и в Чехословакии, и в некоторых других зарубежных странах. Любят Есенина, конечно, и у нас. Анджело Рипеллино прав в том, что, читая, допустим, его поэму «Черный человек», мы не думаем, соответствует ли она так называемому канону оптимизма. Вообще такого канона, по-моему, в нашей поэзии не существует, и было бы, конечно, более чем странно рассматривать поэзию, призванную выражать весь океан человеческих чувств и мыслей, с каких-то догматических позиций.

Есенин сказал о себе: «Я сердцем никогда не лгу». Он обладал исключительным даром поэтического выражения этой правды сердца. Но захватывающая сила его лиризма, его правды заключалась в том, что сердце Есенина билось в унисон со многим, чем жил русский человек в его время. Есенин вложил огромную эмоциональную силу в свою любовь к нашей родине, к Советской России, к человеку. Как автор поэмы «Анна Снегина», стихов о Ленине, «Песни о великом походе» Есенин может быть назван поэтом нашего советского времени, октябрьской эпохи. Он сумел выразить ее со всеми ее острыми, порой трагическими противоречиями. Недаром поэт говорил о себе: «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий». Он инстинктивно чувствовал неправду, античеловечность тех темных сил прошлого, которые были против революции и которые липли к нему в быту.

Такой собирательный образ мучающих человека темных сил он дал в поэме «Черный человек», написанной им в последние годы жизни, когда кольцо нездорового быта так стиснуло поэта. Мне думается, что сам образ Черного человека взят у Пушкина из его поэмы «Моцарт и Сальери», где тоже фигурирует Черный человек, видение которого преследует Моцарта. В поэме Есенина этим Моцартом является сам поэт, сумевший с неудержимой эмоциональной силой выразить ужас и отвращение света, поэзии, человечности перед напирающей на поэта тьмой. Я думаю, что изумительная, покоряющая человечность Есенина и лежит в глубине того обаяния, которым наделена поэзия Есенина и которая привлекает к нему сердца читателей разных народов

Поэзия Бориса Пастернака другого типа. Он скорее удивляет своим микрозрением, нежели покоряет сердцем. В его поэзии почти нет человека, хотя его аналитические наблюдения над явлениями природы поразительны. Я понимаю, почему некоторым итальянским писателям пришелся по душе Пастернак. В его стихах нет целого и нет мысли об истории, но есть порой тонкий

поэтический анализ частностей, отдельных мелькающих явлений: «Сто слепящих фотографий ночью снял на память гром».

Пение соловья вас ни к чему не обязывает. Вы можете наслаждаться захлебом его рулад и можете равнодушно захлопнуть окно. Не то — слово человека. Слово поэта, пение человека — не пение соловья, хотя Пастернак в своем стихотворении «Определение поэзии» и сказал, что поэзия — «это двух соловьев поединок». Слово поэта зовет вас определить наше к нему отношение.

Было бы, разумеется, неправильно отрицать художественное значение тех находок поэтического микрозрения, которые мы встречаем в стихах Пастернака. Да они и не прошли мимо внимания советских поэтов, начиная с Маяковского. Но сегодня, увы, не в этом дело. Некоторым зарубежным органам печати — я не говорю о поэтах,— подымающим Пастернака «на щит», глубоко безразличны его поэтические изыски. Они — эти газеты — муссируют имя поэта из узкополитических и спекулятивных соображений, используя имя Пастернака в своей борьбе против социализма и Советского Союза. А это исключает возможность их более или менее объективного отношения к поэзии Пастернака.

Какое дело до поэзии тем, кто хочет политически накалять международную атмосферу, какое им дело до монофонических эффектов Пастернака или его лексики? Он им нужен для достижения своих корыстных целей. По правде сказать, в такой атмосфере, накаляемой изо всех сил противниками коммунизма и СССР, довольно трудно, делая вид, что политической борьбы не существует, спокойно обратиться к микроскопу эстетического анализа, пробовать на вкус образы и ритмику Пастернака — да и любого другого поэта.

Когда читаешь выступления Джузеппе Унгаретти, Сальваторе Квазимодо и некоторых других участников римской дискуссии, то создается впечатление, что они хотят говорить о поэзии, как о такой деятельности избранных, к которым неприложимы обычные мерки и критерии и которая должна пользоваться своего рода дипломатической экстерриториальностью в отношении политики и требований общества. Нет, все эти критерии обязательно должны прилагаться и в суждениях о поэзии. От этого поэзия не проиграет, а выиграет. Не станет более «детерминированной», но станет более человечной.

От некоторых выступлений итальянских поэтов и критиков все время остается и такое впечатление, что наши друзья почему-то хотят отстоять право на свободу советских поэтов и в смысле выбора ими тем, сюжетов и формальных исканий — отстоять от чего-то, что они прямо не называют. Но зачем ломиться в открытую дверь. Наша поэзия, право же, в этом совершенно не нуждается, поскольку у нее нет никаких оснований чувствовать себя «угнетенной». Тут я должен сказать несколько слов о выступлении Анджело Рипеллино, профессора русской литературы в Римском университете. Его деятельность вызывает у меня чувство глубокой благодарности; такое же чувство, вероятно, испытывают и многие советские поэты, чьи переводы на итальянский язык осуществил Рипеллино с талантом и искренним доброжелательством. Пожалуй, сегодня в Италии никто не делает так много, чтобы познакомить итальянского читателя с русской и советской литературой, приблизить нашу литературу к сегодняшнему итальянскому читателю. Со многим в его выступлении нельзя не согласиться, в частности и с его замечанием, что поэзия Пастернака принадлежит прошлому и не характеризует лицо советской поэзии.

Но в одном я должен поспорить с нашим другом. Анджело Рипеллино пишет о том, что 20-е годы — это был «золотой век» поэзии, а потом она, очевидно, потускнела. По-видимому, в этот тезис вкладывается и такая мысль, что-де период существования маленьких частных издательств, существования литературных группировок, частных магазинов и мелких предприятий — что этот период будто бы давал поэту больше свободы. В 30-х годах было достигнуто морально-политическое единство в стране. Что же, «золотой век» кончился? Нет, в 30-х годах были закончены самое выдающееся произведение нашей советской литературы «Тихий Дон» Шолохова, трилогия «Хождение по мукам» и «Петр Первый» Алексея Толстого и десятки других известных произведений. В 30-х годах начали печататься Твардовский, Исаковский, Заболоцкий, Симонов и многие другие ныне известные, талантливые поэты. То же произошло и в 40-х и в 50-х годах — каждое десятилетие выдвигает новые имена и новые произведения. Мне кажется, что вывод Анджело Рипеллино есть результат недостатка информации об СССР и нашей литературе. Известно, что во времена Муссолини советская книга в Италию почти не проникала.

Наконец, я позволю себе подкрепить сказанное и своими личными воспоминаниями и впечатлениями. Я — писатель, литературный критик 20-х годов, когда и выступал в литературной группе конструктивистов. Было бы, разумеется, лицемерием утверждать, что в последующее время, когда к концу 30-х годов особенно стал развиваться культ личности И. В. Сталина, это обстоятельство не наложило своего отпечатка на характер литературной жизни. Конечно, наложило. И вероятно, будущий историк сможет, взвесив многие, еще сейчас трудно учитываемые обстоятельства, определить со всей научной полнотой степень и характер изменений, внесенных в развитие литературы обстановкой, создавшейся в результате распространения чуждого и нашей идеологии и нашему строю культа личности.

Но одно я могу сказать с уверенностью. Как бы ни осложнились условия развития

литературы, но эта обстановка не затронула того главного, что определяет ее поступательное движение. Этим главным на всех этапах было сближение с жизнью, духовный рост, более глубокое постижение великой философии нашего времени — ленинизма.

Я — писатель не только 20-х, но и 30-х, и 40-х, и 50-х годов. И сравнивая все эти десятилетия своей литературной жизни, искренне не могу признать, что в 20-х годах я чувствовал себя, как в «золотом веке», а сегодня — под свинцовой пятой. Наоборот, я внутренне считаю, что та школа духовного обновления, которую я проходил вместе со всей нашей литературой, сделала меня старше разумом и больше приблизила к пониманию некоторых коренных вопросов жизни и литературы, чем это было в 20-х годах, когда я писал книгу «Поэзия как смысл». Конечно, всякому автору свойственно заблуждаться. Но мне кажется, что такую книгу сегодня я написал бы глубже, научнее. Для меня сегодня было бы уже скучно рассматривать семантику как формальную, хотя и центральную по положению категорию по сравнению с другими компонентами поэтического произведения.

Одним из аспектов все того же комплекса тревоги, который владеет итальянскими участниками римской дискуссии, является — повторяю — отталкивание от вмешательства критики в дела поэзии. Конечно, Сальваторе Квазимодо прав, когда говорит о том, что литературная критика — не учебник поэзии и не определяет духовной позиции поэзии, то есть ее содержания. Это верно в том смысле, что учебником поэзии должна быть названа вся жизнь, все течение действительности в целом.

Но поэт неправ, когда утверждает, что критика «при любой форме правления» существует для того, чтобы лишать поэта свободы и чуть ли не умалять его достоинства. Но мало того, что С. Квазимодо отрицает права критики вообще. Он выдвигает некий тезис о существовании двух видов критики — формалистической и марксистской. Оба эти вида критики, по мнению поэта, «эмпиричны», то есть, очевидно, не могут проникнуть в суть предмета, молчаливо объединяясь в признании поэзии как некоего эстетического чуда. Кое-какой резон Квазимодо еще готов признать за формалистической критикой. Этот тип критики, по крайней мере, отстаивает «вековые завоевания разума».

Не берусь судить, какие вековые завоевания разума подразумевает С. Квазимодо. Но могу с уверенностью сказать, что марксизм является одним из величайших завоеваний человеческого разума. Не марксизм является функцией советской власти в России. Наоборот, советская власть в России, иначе сказать, советская политическая система является одним из результатов той науки, которую открыл Маркс и которую теоретически и практически разработал Ленин.

Что же касается вопросов поэзии, то методология марксистской критики зиждется на признании единства содержания и формы. Она отрицает чудо, хотя и признает роль интуиции. Марксистская методология дает и поэтам и критикам такой тонкий инструмент познания сущности предмета искусства, который никак не может помешать развитию самого искусства. Как вообще может помешать критическое суждение развитию того, что рождается и развивается по своим законам? Анджело Рипеллино говорит, что одни советские поэты охотно используют эксперименты и достижения других советских поэтов, против которых и ведет борьбу критика. Тут необходимо внести поправку. Критика у нас ведет борьбу не против людей, а против их заблуждений. Критики хотят отвоевать сознание поэтов, во имя самих же поэтов, у того, что, по мнению критиков, поэтам может помешать. Разумеется, поэты могут и не соглашаться с мнением критиков, в роли которых чаще всего выступают сами же поэты.

Поэты испокон веков любят нападать на критику и на критиков, занимая при этом несколько инфантильную позицию: «Не тронь моих игрушек». Обычно в таких случаях я, рискуя задеть самолюбие поэтов своей иронией, цитирую известную фразу Фемистокла: «Бей, но выслушай».

Если у Сальваторе Квазимодо хватит выдержки Еврибиада — стратега, ударившего Фемистокла,— то он легко поймет, что всякий критик — такой же литератор, как и он, а вовсе не дядька с палкой, приставленный к поэту.

Отличие поэта от критика заключается в том, что если поэт выражает свои мысли и чувства всей совокупностью тончайших средств, присущих стихотворному искусству, включая образы, ритмику, фонетику, то критик выражает свои мысли и чувства понятиями и описаниями. Некоторые поэты боятся рационального суждения о поэзии, считая, что в последней главное — это нерастворимое иррациональное зерно. Но это «вечный» спор между рационализмом и иррационализмом в поэзии. Иррационализм восстает против общих формул, которые уничтожают «тайны» поэзии, но в конце концов сам скатывается к тому же языку общих формул. Справедливый протест против узкорассудочной трактовки поэзии оказывается первой, но и последней правдой этого протеста. И если просто начать анализировать любой поэтический текст, то легко доказать, что каждый троп имеет некоторую логическую основу, которая только скрыта иносказательным значением слова. Связь поэтической формы (тро́па, метафоры) с логической формой (понятием) очевидна и существенна. И попытки, которые, впрочем, имеют давнее происхождение, принципиально отделить критическое суждение в понятиях от поэтического «крика души» в образах — также давно обнаружены в своей теоретической несостоятельности.

Итак, многое из услышанных нами «итальянских мотивов»: и неопределенная тоска по неопределенной свободе, и пафос поэзии, освобождающейся от земного тяготения, и острие против критики, против государства, против правительств, против всех социальных структур — капитализма и социализма, это устремление в сферу словесных сплетений, ирония по отношению к содержанию, отрыв формы от содержания и превращение формы в некий гашиш, дарующий иллюзию несбыточного и свободы,— все это и многое другое вместе взятое может быть сведено к одному знаменателю. Все это — проявление переходов, брожения, мятущегося сознания, стиснутого ложью капиталистической действительности. Можно ли разорвать этот порочный круг идеалистических заблуждений, предрассудков, годами внедрявшихся буржуазной печатью? Можно ли итальянским поэтам, нашим друзьям, приблизиться к нам, к нашему пониманию? Да, можно. Возможно, я обольщаюсь, но мне кажется, мы больше понимаем их, чем они нас. Да, конечно, хочется лелеять эту сладкую скорбь о несовершенстве мира, потихоньку пить этот терпкий напиток, в котором растворены еще слезы Джакомо Леопарди. И они даже с грустной иронией умудренных опытом мужей смотрят на румяные щеки нашей поэзии, думая про себя: какие они (то есть мы) еще юные... и немножко примитивные. Им кажется, что они смотрят откуда-то с верхней точки, почти из космоса на этот грешный земной мир, где решается всемирно-исторический конфликт между социализмом и капитализмом и решаются судьбы всего человечества.

А на самом-то деле в этот космос забрались люди, воспитанные новой социальной структурой — социализмом. Забрались они туда не при помощи герметизма и экспериментализма, но опираясь на знания века, на новое общество, созданное гением Ленина, на здоровое, бьющее через край героическое творчество народа.

Попробуйте, друзья, выйти из круга только своих тревог. Сумейте взглянуть на себя со стороны и на нас изнутри. И я уверен, многое в нашей жизни, в нашей поэзии станет яснее. Нас разделяют не астрономические расстояния. Ведь мы живем на одной планете. А сегодня это значит почти рядом.

Вступительное слово поэта ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ*

Прежде чем начать свою краткую речь, прошу разрешить мне поздравить моих советских друзей с великим событием — появлением искусственной Луны, спутника Земли, ими первыми запущенного в космос. Это большое поэтическое событие, это великая победа человека, даже если расширение познаний еще может внушать страх, потому что человек — я скажу об этом дальше — еще слишком морально безоружен, чтобы гуманно пользоваться ими.

Я счастлив обратиться со словами приветствия к советским поэтам, приглашенным сюда на встречу с итальянскими поэтами, во время которой наряду с другими вопросами будет обсужден вопрос о характере поэзии нашего времени. Будучи, вероятно, старейшим из итальянских поэтов, я не осмелюсь, тем не менее, быть их деканом. И все же, как ни малы мои заслуги, я позволю себе выразить в своем приветствии общее сердечное стремление итальянских поэтов к укреплению связей, которые направлены на продолжение давнишней традиции обмена литературным опытом между Россией и Италией.

Но есть также и иные причины, более личного порядка, по которым меня особо радует предстоящая встреча. Люди моего возраста не могут позабыть того исключительного значения, которое имели Достоевский, Толстой и Гоголь для формирования умов западной интеллигенции. В период между двумя войнами два международных поэтических журнала, в издании которых я участвовал в Париже («Коммерс» и «Мезюр»), печатали в переводе на французский язык стихи Пастернака, которые произвели на поэтов Запада сильное впечатление.

И третья причина: в 1930 году я находился в Брюсселе в качестве гостя крупного бельгийского романиста Франца Элленса. Элленс в 1922 году встречался в Париже с Есениным и узнал от него лично много ценного об его творчестве. Я глубоко огорчен, что не знаю русского языка, но М. Милославская и Элленс достали мне подстрочники двух стихотворений Есенина, в которые я буквально влюбился. Вместе с моими друзьями я перевел на итальянский язык «Реквием» и «Кобыльи корабли». *(Читает переводы этих стихотворений).* Вот те три причины, по которым меня лично радует наша встреча.

Разрешите же мне не скрывать от вас то, что всегда было моим сугубо личным мнением о поэзии.

Несколько лет тому назад, а точнее — в 1950 году, меня спросили, каково мое отношение к тем писателям, которые утверждают, что добились некоего равновесия между

---

* Все итальянские тексты даются в переводе Г. С. Брейтбурда.

художественным выражением и социальными мотивами. Я ответил: «Не внешние факты создают писателя, писатель в своих произведениях высказывает суждение об этих фактах; настоящего писателя никогда нельзя детерминировать. Конечно, по своей природе каждый человек, в том числе и писатель, живет в истории, а не вне истории; но если писателю не удается выразить историю в своем произведении, наполнив ее своим дыханием и наложив на нее печать своей индивидуальности, то он — писатель второстепенный, история с ним не посчитается. Мне кажется, писатель и поэт всегда разведчик: исследуя свою эпоху, чтобы познать ее, он вместе с тем познает и самого себя и обязан найти для человека те источники моральной жизни, которые любая социальная структура стремится извратить и подорвать».

Иными словами, я хотел сказать, что поэт, когда ему удается выразить самого себя, фактически уходит своими корнями в историю. Будучи поэтом, он не может не видеть вокруг себя страданий человека.

Прежде всего я хочу сказать, что поэт, если ему удается выразить себя своими, а не навеянными извне средствами, неизбежно стремится не ограничивать себя данной исторической действительностью, а освободиться от нее, освободиться от исторического детерминизма. Стремление к свободе заложено в самом существе поэзии. Чтобы лучше выразить эту мысль, я приведу здесь безусловно самое прекрасное место из «Диалога Тимандро и Элеандро» Леопарди: «Если какое-либо творение человеческого духа вообще может быть полезным, то больше всего пользы, по-моему, могут принести сочинения поэтические; я говорю — поэтические, понимая это широко, то есть говорю о книгах, предназначенных воздействовать на воображение; я имею в виду как стихи, так и прозу. Я отношусь без должного уважения к той поэзии, которая, будучи прочитана и продумана, не оставляет в душе читателя того благородного чувства, что помешало бы ему хотя бы на полчаса помыслить дурное или совершить недостойный поступок». В этой мысли Леопарди очень точно определена та освободительная сила, которой, на мой взгляд, обладает подлинная поэзия.

Коснусь еще одного вопроса, связанного с моими личными убеждениями: по-моему, говорить о декадентстве в современном западном искусстве — ошибочно. Эти поиски языка искусства закончились на Малларме и на последних картинах Сезанна, в которых появились элементы кубизма: они закончились, чтобы открыть путь для новых поисков. Начало поисков, вызвавших появление декаданса, относится ко второй половине XIX века. Стремление к декадансу вообще является чем-то почти исключительно связанным с чувством; оно целиком относится к истории, к тому процессу старения, которому подвергнута и история, относится к истории, воспринимаемой в плане биологическом.

В современном западном искусстве рычагом вдохновения является чувство преодоления материи. Мы сознаем, что материя начинает преобладать над нами и что познание человека извлекает из материи все более страшные средства, которые с каждым днем все сильнее довлеют над нами. В поисках языка поэту кажется, что он должен посвятить себя нахождению тех форм морального равновесия, тех форм освобождения, которые могут быть противопоставлены гнету материи. Я не буду здесь говорить, какими способами музыка, поэзия и живопись сегодня на Западе стремятся преодолеть этот острый кризис своего языка. И в науке, мне кажется, существует, пожалуй, не менее серьезный кризис, причем сегодня мы можем говорить, например, об ударе, нанесенном микрофизикой классической математике. Те, кто следил за этапами развития дискуссии о детерминизме, длящейся уже полвека,— дискуссии, в которой участвовали и участвуют такие выдающиеся ученые, как Бор и Гейзенберг, Эйнштейн и Шрёдингер, Луи де Бройль и Макс Борн, знают, что стремления классической математики, а также и стремления всего детерминизма, связанные со старой физикой и направленные на создание четкого представления о физической действительности, ограниченной пространством и временем, оказались на деле чистой утопией. Означает ли это, что такой памятник логике, каким, к чести человеческого разума, являлась классическая математика, уже рухнул? О нет! Это инструмент, который еще окажет много чудесных услуг, и мне кажется, что при всей своей приблизительности язык классической математики может в определенных случаях стать полезным для успехов микрофизики. Во всяком случае, не может быть речи о кризисе науки, он невозможен; речь идет о кризисе научного языка, необходимого для точного выражения тех выводов, к которым наука сегодня пришла экспериментальным путем.

Язык не составляет науки, он не составляет и поэзии. В поэзии выход из кризиса и освобождение происходят непрерывно, каждый день, даже сегодня. Кризисы языка бывали постоянно, хотя, может быть, они не были столь удручающими, как нынешний; но если непрерывен кризис в поэзии, то столь же непрерывен и процесс освобождения. В поэзии язык находится в постоянном формировании, и он непрестанно оплодотворяет поэзию.

Плоды этого освобождения достигаются, когда, благодаря своему искусству, человеку удается в моральном отношении стать настолько выше собственного времени, что, даже размышляя над его страшными и бесплодными явлениями, даже ограждая культуру своего времени и порожденную этой культурой борьбу, человек в песне своей отдается тайным порывам собственного сердца и находит свой словарь и свой индивидуальный ритм, который будет созвучен эпохе и вместе с тем может быть сопоставлен с традиционным ритмом. И тогда мы подходим к истокам возникновения челове-

ческого голоса, мы уносимся в минуты озарения за порог истории, мы постигаем ее зарождение, ее цели, ее ход, вплоть до самого ее окончания.

Вот, дорогие советские друзья, мое личное мнение о поэзии. Ему можно придать тот вес, который пожелают. В любом случае, дорогие друзья, я хочу пожелать вам, чтобы вы имели возможность вспомнить о своих римских днях с той же признательностью, с какой вспоминали о них и Гоголь и Горький.

Сообщение поэта САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО

Тема, которую мы собираемся здесь обсудить, «Поэзия нашего времени» допускает относительный анализ или, скорее, констатацию критического порядка, потому что в абсолютном смысле задачи критики не совпадают с задачами грядущей поэзии и соответствуют лишь существующей ныне или бывшей до сих пор поэзии. В эти последние годы — уточним, в послевоенные годы — критика пыталась подчинить поэтическое творчество (слово «творчество» необходимо, чтобы разочаровать тех, кто все сводит к технике стиха) возможным или желательным, традиционным или предполагаемым направлениям в культуре. (Я не занимаю отрицательной позиции по отношению к критике и остаюсь историческим наблюдателем некоторых ее «проблематических требований»).

Позиция критики противоречива, потому что литературная критика не указка для поэзии и не определяет духовные позиции поэзии, то есть ее содержание; она может только вскрывать его в уже написанных текстах, используя для этого свои методы, если, конечно, можно назвать методом то, что было приобретено критикой за последние 30 лет, за период от начала герметизма у нас в Италии и от первых положительных или отрицательных реакций на символизм в остальных поэтических «зонах» мира. По сути дела, искусственность антиисторической попытки не отбила у современного человека, вечно находящегося между надеждой и отчаянием, привычки к поэзии. Поэты новых поколений (будь они крупными или нет) самым естественным путем внесли свою поправку в задачи критики, не признав за ней права на формирование поэзии, поскольку не существует критики, совпадающей по времени с их творчеством. Эти поэты были гонимы, но теперь возвращаются к тому, чтобы точнее определить мотивы своего отхода от уже зрелой и перегруженной догмами культуры.

Говоря о критике, нужно уточнить, что я имею в виду (здесь, как и дальше) два различных метода ее мышления: критика может быть формалистической (с экзистенциалистским подтекстом), и критика в каком-то смысле может быть определена как марксистская. Обе эти разновидности критики, как мы знаем, являются эмпирическими и подразумевают нечто общее: *эстетическое* чудо, или *вкус*, то есть нечто преходящее и воспринимаемое чувствами. Обе эти формы критики помещают за пределы «формы» и подводят к «содержанию» те единственные доводы, благодаря которым поэт относится, по-моему, именно к этому, а не к другому времени.

Критика готова лишить поэта (человека) свободы как у нас, так и при любой форме правления; ее вторжения, частного или политического порядка, направлены на умаление или отрицание достоинства поэта. Дискриминированная поэзия становится двуглавым чудовищем. Поэт с особо присущим ему стремлением к самораскрытию полагает, что его стихи может читать человек и черной и желтой расы; поэт хочет выйти за пределы собственного литературного мирка. Именно в этом и заключена правда поэзии — общность ее языка. Не будем заблуждаться. За фасадом двух видов критики живут две системы взглядов на общество (ведь у нас нет культурного единства), подлежащие защите, две системы социальной организации: одна из них стремится удержать и не уступить вековые завоевания разума, другая же находится в состоянии симптоматической эволюции. А между тем, поэзия современности разыгрывает свою драму, законченную драму вдали от Дворов, ставших ныне индустриальными. Современный поэт не мудрец, но для него «все ясно и решено». Современные поэты познали войну и нищету, познали свое место в человеческом обществе, они верят в смерть, боятся смерти и хотят всего добиться здесь, на земле, и сражаются за свой день на этой земле, полный любви и горя.

Были ли такие поэты у предшествовавших поколений?

В этом смысле следует понимать роль человека в современной поэзии: мы наблюдаем сегодня в поэзии постоянную связь с внешним миром, сухую антиромантическую и антиидеалистическую позицию, где все отношения создаются на рациональной основе. Я говорю здесь о поэзии английского, итальянского, испанского, французского языков, о всей поэзии современного мира и о еще плохо нам знакомой поэзии Восточной Европы, имеющей единые корни с западной цивилизацией. К 1945 году в поэзии произошло нечто значительное: мы присутствовали при полном драматизма разрушении «содержаний», унаследованных от бездушного феодализма, и при крахе поэтического языка, до той поры животворного у каждой из наций, выстрадавших войну. Повторяю: это не полемика, а прямая констатация факта. Существует незримый документальный фильм, отра-

жающий явление духа, которое можно усмотреть в «размеренных» словах людей, еще не стыдящихся называть себя поэтами. Поэт внезапно оказался выброшенным за пределы всей своей истории; в дни, обагренные кровью, его утонченный разум стоил ровно столько же, сколько коллективный и пролетарский разум. Вопрос «зачем жить» теперь превращается в другой: «как жить» или, если хотите, зачем жить так или иначе, когда вас подстерегает постоянная мысль о смерти в качестве неминуемого утешения.

...Так зарождалась новая эстетика; и, конечно, теперь мы должны подходить с другой меркой к самой идее поэзии: в любом случае традиция плохо помогает нам, и особенно плохо помогает она здесь, в Италии, где человек позволял себе говорить с другими людьми, избирая особую форму, форму поэм, далеких от времени, когда они создавались.

Лирическая речь получила необычное развитие. Вспомним хотя бы о поэзии последнего времени, о сегодняшней итальянской поэзии, в которой немало высоких образцов, хотя еще и нет голосов достаточно звучных, могущих заявить о себе как о «личности». Поэзия становится хоральной, а лирика сливается с элегией и с эпосом (формы, которые, например, искусно слились в поэзии английского языка).

Сегодня не приходится думать об оправдании «формы» (это слово всегда двусмысленно, и мы употребляем его в приблизительном значении). Критика прежних поколений говорила о формах, идущих от «переводного языка», признавая, в конце концов, существование чего-то вроде «интернационального языка поэзии», как это случилось в музыке и живописи.

Живопись и музыка — это искусства, в которых до сих пор непосредственно отражались наиболее характерные черты века и его устремления, его тяга к определенной поэтике. Поэзия же, о которой идет речь, неизбежно должна бороться с собственной основной традицией, с конструкциями и модуляциями своего языка, она не может пробить себе дорогу к жизни, не выработав своего особого языка, ибо только в поэтическом языке — не лишне будет это повторить — таится возможность создания поэтических произведений. Как может формалистическая критика признать новые формальные моменты, если она отвергает новое содержание, которое может быть и гражданским и социальным и может выходить за пределы счастливого царства уже во многом обанкротившейся эстетики? Но речь идет не только об этом. Надо подумать, доколе современный поэт будет продолжать «читать» другим обыкновенную историю собственного сердца, своего отчаяния и своих надежд (есть некоторые признаки отхода от этого, некоторая перегруженность хроникой) и как его профессиональное мастерство позволяет ему осуществлять эти упражнения над собственной душой, считая, что мир равнодушен к его слову.

Какая душа нужна поэту, чтобы выразить историю? Ведь историю трудно обмануть. Ее игра становится жестокой и опасной, если отражение истории превращается в отвлеченную и вымышленную метафизику. Я говорю о подлинных поэтах (их немного в каждом поколении) и об известной тенденции... к александрийской манере, иронической, сентенциозной или эпистолярной, возникшей из ложно понятой здесь у нас формулы реализма, которая все сводит лишь к содержанию; другая ошибка — это бегство в богему, это мелкобуржуазный бунт, длившийся в истории не больше, чем удар гонга.

Мы попытались определить природу поэзии, пришедшей в мир после 1945 года (намного позже и намного раньше этой даты, а значит, и во время войны). В этой поэзии мы видим открытое и свободное выражение души современного человека, видим черты поэтического опыта последних пятнадцати лет, которые, однако, уже вырисовываются у каждой нации.

Пусть это будет поэзия документа, пусть это будет контаминированный эпос — мы должны признать, что современный человек, чтобы выразить себя, любит облекать свои думы, свои сомнения в форму стиха, что вместо аналитического повествования, вместо создания «персонажей» он стремится найти обычных собеседников, которые могут судить о его правде и его заблуждениях. Да, конечно, такая поэзия будет, возможно, лишена всякой «литературной разведки» в область традиционной поэзии, но она, тем не менее, явится жестоким свидетельством жизни как на Востоке, так и на Западе. Разрешите мне выразить этот опыт современного человека словами болгарского поэта Николы Вапцарова, родившегося в 1909 году и расстрелянного нацистами в 1942 году за участие в движении Сопротивления. (Пора, наконец, глубже познакомиться с культурными движениями этих малых наций Европы). Он был одним из многих расстрелянных поэтов, он писал стихи, которые *не нужно было* писать, с точки зрения «формы ради формы», но его стихи стали «дорогой в ад» современного человека. Я прочту вам его стихотворение «История». В этих стихах клокочет то, что в последние годы выступает как вопрос и как «разоблачение» (нравится ли вам это слово?).

О чем поведаешь, история,
нам на страницах запыленных?
Мы — неизвестные, которых
в цехах, в конторах — миллионы.

Мы дети пахарей забитых,
пропахших луком и прокисших,
из-под усов своих обвисших
не раз бранивших нас сердито.

Не откажи хоть в добром слове
за то что мы тебя кормили,
событьями и нашей кровью
в несчетных битвах напоили.

Ты только схватишь контур самый,
внутри, я знаю, будет пусто.
Нам не расскажут златоусты
об ежедневных наших драмах.

Агитки увлекут поэтов,
важны им темпы, а не люди.
А наша мука невоспетой
бродить в пространстве долго будет.

Была ли жизнь, что ты опишешь?
Проникнешь ли ты в наши нравы?
Ты жизнью нашею не дышишь,
ее боишься, как отравы.

Нас на межах глухих рожали,
где рос терновник дикий, грубый,
а наши матери лежали
в крови, от боли стиснув зубы.

Мы, словно мухи, умирали...
Оплакивая наши души,
старухи песни создавали,
но лишь бурьян один их слушал.

А если оставались живы,
то и язык был потом смочен.
Трудились мы без перерыва,
трудились мы, как скот рабочий.

Отцы внушали нам сурово:
«Так было от начала света!»
А мы плевались, хмуря брови,—
казалась глупой мудрость эта.

Мы, дом отцовский покидая,
шли на простор нетерпеливо,
с надеждой жаркою мечтая
о жизни светлой и красивой.

О, как мы ждали напряженно
в кофейнях грязных до рассвета!
С каким огнем в глазах бессонных
читали новости в газетах...

Надеждой тешились мы детской,
а небо низкое давило,
свистел горячий воздух резко...
Так больше жить нельзя!..
Нет силы!..

История, в твоих писаньях
под каждой буквой строк напевных
и наше прокричит страданье
и зубы будет скалить гневно.

И так как жизнь нас не щадила
и тяжкой лапою костлявой
не раз по ртам голодным била,
то и язык у нас шершавый.

Стихи, которые украдкой
мы создаем в часы ночные,
не дышат ароматом сладким —
они короткие и злые.

Наград за муки нам не надо,
и наших снимков за станками
не помещай в томов громаду,
что накопила ты веками.

Но расскажи простою речью
бойцам, идущим нам на смену,
что мы за счастье человечье
боролись стойко, неизменно!

(Перев. П. Железнова).

Возможно, здесь слышны отзвуки Брехта, и здесь же звучит воля приговоренного к смерти. Это, разумеется, не тема для современной поэзии, но это тот «подземный гул», который должен звучать в стихах современных поэтов.

И за всем этим — бесконечная свобода в видении мира, свобода следовать прихотям своей фантазии; здесь мифы и символы врываются в речь, становясь точными, здесь образы дышат реальностью. Об этой свободе необходимо повести разговор, ибо я не пришел бы сюда, чтобы вместе с вами беседовать о поэзии нашего времени, если бы само понятие свободы в области культуры не было бы чем-то совершенно бесспорным.

Советские поэты убедятся в том, что их поэтические доводы имеют точки соприкосновения с нашими и что они идут от ясности в своей повседневной и духовной жизни, которая, будучи далека от нашей по своим идеологическим устремлениям, несет в себе свойственные человеку сегодняшнего дня черты. А человек этот сегодня стал и режиссером и актером в один из самых сложных моментов своей истории. У нас есть поэтические документы вашего народа, вашей «природы», хотя их немного. Однако искренность ваших слов не может быть истолкована ложно. Мы видим, что изображенный в них мир — не тень, а признание этого мира — отнюдь не привилегия или не повод для горького раздумья.

Мы больше хотим знать о новом поколении, которое столь важно для судеб культуры. Многолетнее оборонительное или вынужденное молчание лишало нас до сих пор возможности знать ваши глубинные чувства. В том и ваша и наша вина. Поэзия обладает силой, способной побеждать сухие абстракции, она живет в своем историческом измерении, от которого никому не уйти. Благодаря поэзии одна нация несет другой плоды своей цивилизации. Этот обмен необходим, а ваша родина не периферийная зона цивилизации. Ведь мы сегодня видим, что даже поэты из самых темных уголков земного шара обращаются к людям всего мира. Я скажу вам даже больше: ведь они преодолевают мысль о своей традиционной отсталости, выходят за пределы мира, наполненного отзвуками легенд, извлеченных из пыли веков, преодолевают «извечные» чувства своих отцов. Как преходяща и вечна поэзия на каждом этапе истории!

Это горестное раздумье человека, выраженное в совершенно различных метрах, не терпит ни религиозной, ни политической цензуры, ни вмешательства критики, прежде чем это раздумье выльется в конкретную форму. Когда поэзии пришлось сдавать свои позиции, она укрылась в счастливой Аркадии за совершенной и призрачной формой, и многие века истории человечества были свидетелями ограниченности поэзии, ржавления ее цепей.

Здесь мы не спорим ни о метаморфозе, ни о лучших «условиях» для того, чтобы писать поэтические произведения. Так думать было бы наивно. Человек таков, каков он есть; его расчеты могут не оправдаться; его духовный мир складывается из поколения в поколение. На сегодня он избежал «автоматического» подхода к поэтическому материалу. Его действенное сознание поставило его лицом к лицу перед необходимостью нести ответственность. Его «индивидуальность» не выносит стихийного выражения чувств. Риторика чувств делает его судьей самого себя: это бесконечный драматический процесс, полный всяких сомнений и дерзаний. Разница между этим человеком и его антагонистом (который сопротивляется, будучи привязанным к абстрактному формализму) слишком очевидна.

...В поэзии нет ни побежденных, ни победителей, и каждый поэт остается на своем месте и в своем времени, будь он ясен или темен, ни один слог из написанного им не пропадает. Не наша задача — писать хронику поэзии и делить ее на рубрики: поэзия Сопротивления и та поэзия, которая от Сопротивления получила моральный импульс, а не прописи... Критика (когда оба критических течения одинаково будут подходить к поэзии без всяких идеологических предубеждений) в своем тщательном разборе, в своей объективной оценке культурных явлений нашего века вынесет уже сама решение о «присутствии» или «отсутствии» в современной поэзии биения пульса нашей жизни.

...Мы не станем также говорить о прогрессе поэзии последних лет, как о новом Возрождении. Что означало бы сегодня это новое Возрождение?

Мы скажем только, что поэт (человек) стремится найти свое место в реальном, а не в идеальном мире, чтобы ему снова не нанесли удар в спину, покуда он из глубин своей души глядит на закат Плеяд.

Выступление поэта ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Я не оратор, речей говорить не умею и постараюсь быть предельно немногословным.

Говорят, что художник замечает то, чего нехудожник не примечает. По-моему, это неверно. Люди не слепы и не глухи. Но художник умеет внести во все предельную ясность. Иногда эта ясность до того велика, что как бы ослепляет, обескураживает тех, кто еще не может расстаться с каким-то книжным и вчерашним представлением о жизни. Но в подавляющем большинстве люди прекрасно понимают: «Да, мир таков, и вот чем все это чревато! Мы и сами видели и чувствовали, что все это так, но только не вполне уясняли — что к чему. А он, художник, отчетливо выразил наши чаяния, наши надежды!»

Таким образом, дело вовсе не в метафорах и гиперболах, о которых говорил вчера один из ораторов, а дело в умении ухватить суть настоящего и таким образом заглянуть в грядущее.

Это — первое, о чем я хотел сказать. Теперь второе: тут шла речь о направлениях. Я как-то без энтузиазма отношусь к этим вещам — направлениям, школам, школкам. Был ли Маяковский футуристом? Был ли Есенин имажинистом? Сомневаюсь! А вот самими собою они были. И разве только лишь в этом одном были похожи друг на друга. Ибо все большие художники похожи друг на друга тем, что ни на кого не похожи, кроме как на самих себя. В том, что каждый по-своему ломал каноны, создавая новое, неповторимое,— вот в чем сходство больших художников слова. И если говорить о направлениях, то я знаю лишь одно действительно важное направление — направление вперед!

«Но позвольте! — скажут мне сторонники школ и направлений.— Есть же преемственность, есть традиции!» Да, есть. Но если говорить о традиции, то я бы сказал, что продолжать традицию Маяковского — это значит быть новатором, а вовсе не писать стихи лесенкой, копируя Маяковского.

Есть пословица: «Повторение — мать учения». Согласен: повторение — мать учения, но смертельный враг творчества, ибо произведение искусства неповторимо. И если говорить о традициях, то надо не подражать, а *продолжать*. Во всякой живой литературе идет непрерывная борьба между продолжателями и подражателями, причем побеждают *продолжатели*, побеждает жизнь.

И если говорить о нашей литературе, то я радуюсь за нее, я считаю, что у нас, во всяком случае в последнее время, штампы не в чести. Люди великолепно отличают продолжателей от подражателей. А в гиперболах нет нужды, потому что действительность важнее и значительнее каких бы то ни было гипербол.

Друзья! Человечество совершает великие усилия. Идет великая борьба за мир и счастье. И настоящее искусство выражает именно эти стремления человечества. Потому люди тянутся к искусству, что они хотят не гипербол, а *правды*, они ждут поддержки. И поэтому нам всем в наших спорах и дискуссиях надо договариваться только до истины и быть при этом дружными как никогда! Да ведь для этого и поэтому мы и встретились здесь сегодня.

Выступление критика ДЖАНКАРЛО ВИГОРЕЛЛИ

Итальянские поэты соревнуются друг с другом в придании абсолютного и вечного характера своей поэзии, и это их пристрастие в какой-то мере присуще всей нашей поэзии. Все это настолько верно, что наш друг Квазимодо счел здесь нужным излить свой поэтический яд на критику как таковую. Эту позицию Квазимодо занимает уже довольно давно, и для него она закономерна: являясь поэтом довоенным, он все же сумел, скажем, в большей степени, чем многие другие, выразить изменения, происшед-

шие за годы войны, и стремился, сохраняя верность самому себе, найти новые формы для этого содержания, так же как и для исканий переходного послевоенного периода, и, пожалуй, он вправе упрекать критику или отдельных критиков в том, что они не смогли обнаружить ни в его стихах, ни в общей картине ту атмосферу преобразований и пересмотра, которая характерна для нашей поэзии.

Как видите, мы говорим о преобразованиях и пересмотре; в этом еще одно доказательство того, что у нас поэзия уже слишком давно как бы подменяет собой критику и что она, еще находясь на самой вершине развития герметизма, стремилась утвердиться как абсолют, как истина, стоящая над догмами.

То обстоятельство, что сегодня на смену герметизму пришло такое гениальное слово, как экспериментализм*, при котором все становится допустимым, а в поэзии, в критике и романе проводятся непрерывные опыты,— подтверждает мое мнение, что мы сегодня все еще находимся в области критики, то есть в области пересмотра, а не в области поэзии, то есть в области творчества; конечно, это не исключает того, что в отдельных случаях мы можем приветствовать проявление конкретных индивидуальностей поэтов, романистов и критиков.

Но если оставить в стороне эти индивидуальные проявления и говорить об общей картине, то следует заметить, что мы все еще занимаем ту позицию, которую можно определить как позицию критического пересмотра, причем я вовсе не хочу отрицать ни ее значения, ни ее необходимости, ибо в обстановке конформизма нужно приветствовать то обстоятельство, что, по крайней мере, литераторы занимают позицию, направленную на критику и пересмотр.

Совсем иную позицию — насколько мы, как профаны, недостаточно знающие советскую литературу, можем судить—занимают наши советские друзья. Они не являются критиками, отказываются быть критиками. Даже если проблема тождества человека и художника была здесь поставлена таким поэтом, как Мартынов — то немногое, что мы прочли из его стихов, по-настоящему потрясло и покорило нас,— и поставлена с большой искренностью и правдивостью, за что мы ему лишь признательны, мы тоже не можем сказать, что он разрешил наши недоумения.

Вчера весь разговор сводился к патетическому обмену мнений, блестящих, но бесполезных, по вопросу о том — оптимисты мы или пессимисты. Эта постановка вопроса мне кажется совершенно наивной. Здесь возникают следующие мысли: либо мы так далеко зашли в нашем гиперкритицизме, что нам больше ничего уже не удастся создать, либо же, наоборот, наши советские друзья вызывают у нас обоснованное замешательство именно в силу, я бы сказал, своего абсолютного оптимизма, в силу отсутствия углубленного критического подхода и какого-то удивительного, скажем так, здоровья. Постараемся же разобраться, все ли плохо в этом нашем критическом отношении и все ли плохо в этом спасительно здоровом самочувствии советских друзей.

Каждому, а особенно критику, тяжело приходить к банальным выводам на манер «Ла Палисса»*, и все же я вынужден сказать, что права и та и другая сторона. Но эта истина обнаружится лишь в том случае, если у нас хватит смелости взглянуть прямо в лицо этим огромным различиям, ибо лишь тогда мы сможем найти какой-то компонент и прийти к плодотворному заключению нашего диалога. В противном случае мы, несмотря на все наши конгрессы и встречи, будем разговаривать друг с другом, как люди, всегда стоящие на разных полюсах.

Проблема сегодня, мне кажется, сводится именно к тому, чтобы в первую очередь мы, люди Запада, смогли уберечь слово от двусмысленности, двузначности и фальши.

Здесь незадолго до меня читали Рембо. А Рембо как раз говорил, что важно изменить мир. Теперь русские (я не вхожу здесь в политико-социальные оценки, однако это факт, который не могут отрицать и противники) изменили мир. Да, они изменили свой мир. Возможно, отсюда эта их закономерная — хоть и несколько удивительная—позиция, в силу которой они считают, что раз ими решены историко-политические и социальные задачи, то и поэзия может быть простой и безыскусной. Советские поэты верят в свой мир, вот почему проблема столкновения между миром идеального и реального для них уже разрешена. Нужно, однако, добавить, что при всей недостаточности нашего знакомства с русской литературой, нам кажется, что в становлении этой позиции были различные периоды.

Революционный период, который в области поэзии оказался наиболее значительным, дал Маяковского и Есенина; за этим революционным периодом последовал, скажем, более конформистский период, когда советские поэты обольщались содержанием своих стихов и мало работали над собственно поэтическим выражением, сегодня же они, вступив в законное владение разнообразием содержаний, стремятся, говоря банально, придать известную форму этому новому содержанию, найти форму, соответствующую ему, оттачивают ее и, быть может, уступают тут

* Экспериментализм — направление в современной итальянской поэзии. По мнению Франко Фортини, экспериментализты исходят из следующих предпосылок: «1) нельзя не писать стихи, 2) нельзя писать стихи, как их писали наши отцы или как мы сами писали позавчера, 3) стихи, которые мы пишем, очень далеки от тех, которые мы хотели бы написать».

* «Ла Палисс» — шуточная французская песенка.

каким-то западным уловкам либо возвращаются в какой-то степени к технике парнасцев, символистов и других литературных течений.

Мы же (я и здесь подхожу к вопросу самым приблизительным образом) совершаем нечто прямо противоположное. У нас позади тридцать лет поэзии, для которой форма имела решающее значение; мы шли от пустой формы д'Аннунцио, чтобы прийти к формалистической поэзии Унгаретти второго периода и затем причалить к берегам формализма Монтале. Я, конечно, не говорю здесь об их поэтических индивидуальностях: достаточно перечитать Унгаретти, чтобы почувствовать, насколько совершенна и законченна его поэзия. Я говорю о недостатках, ибо, к сожалению, наша итальянская литература всегда следовала не лучшим, а худшим сторонам творчества отдельных поэтов. Наша литература действительно очень чувствительна к отрицательным явлениям, а не к тем подлинным ценностям, которые можно найти, скажем, у Унгаретти. Более того, распространившийся, подобно наводнению, «унгареттизм», охвативший половину стихов последнего времени, приносит вред самому Унгаретти.

Не успела утвердиться поэтическая индивидуальность Монтале, а «монтализм» уже не только стал заражать других, но и косвенно, почти как бумеранг, начал вредить самому поэту. Отчего происходит все это? Оттого, что таковы изъяны и пороки нашего общества, таковы его противоречия, которые еще не изжиты.

Мы сегодня делаем прямо противоположное тому, что происходит в новой, в самой новейшей русской поэзии. Мы стремимся отказаться от всех соблазнов формализма, мы сегодня добиваемся признания и утверждения нового содержания, даже в ущерб форме, оттого, что ощутили провалы нашей культуры, провалы морального, социального и политического порядка, предшествовавшие поэтическому слову. А это слово мы считали единственно важным, в то время как достаточно было швырнуть им в стену истории, чтобы увидеть, как оно отскочит обратно, подобно легковесной монете.

Вот почему мы, грубо говоря, сегодня утверждаем здесь, что заняты экспериментализмом. Что же это все означает? А вот что: мы еще как следует не нащупали, что́ нужно делать, а лишь знаем, что все сделанное до сих пор — за исключением заслуг отдельных личностей — сто́ит мало или вовсе ничего не стоит. Мы находимся в области пересмотра, в области поисков, мы стремимся найти новые черты для образа человека, который мы едва не утратили, тщеславно поверив, что он сублимирован в фигуре самого поэта. Все, что характеризует литературу после 1943 года, сводится к этому. Мы ищем новое содержание, новые эмоции, мы стремимся к тому, чтобы художник или поэт, казалось создававший мир своим словом, спустился бы с высот, чтобы подобрать слова обычные, повседневные, естественные, простые, которые могут повлиять на сознание каждого.

Выступление поэтессы ВЕРЫ ИНБЕР

Уважаемое собрание! Дорогие друзья!

Прежде всего хочу выразить свою радость по поводу того, что я получила возможность выступить перед итальянскими литераторами здесь, в Риме, в прекрасном старинном Палаццо Браски, где на стенах одной из зал изображены все девять муз, покровительниц искусств.

В данном случае благодаря инициативе Общества «Италия—СССР» Рим оказался «открытым городом» для поэзии.

Говоря о советской поэзии, я хотела бы в первую очередь остановиться на природе ее новаторства. Под новаторством литературного произведения подразумевают главным образом форму. С этим трудно согласиться. И будь новаторство живым существом, оно первое возражало бы против такого обеднения его сущности.

Если бы форма была единственным признаком новаторства, то писанием стихов, то есть подбором рифм, аллитераций, эпитетов и так далее, с успехом могло бы заняться какое-нибудь создание кибернетики — одна из тех машин, которые, например, так искусно играют в шахматы. А выиграв, в знак торжества, исполняют государственный гимн своей страны.

Форма в новаторском произведении играет важную роль. Важную, но не единственную. Признаки новаторства многообразны. И мне бы очень хотелось, чтобы мои слушатели разделили со мной этот новаторский взгляд на новаторство.

Не будем, однако, играть словами, а обратимся к фактам.

Начнем с тиражей советских изданий. О них говорилось уже неоднократно; скажу несколько слов и я. Книги замечательного советского поэта, подлинного новатора Владимира Маяковского изданы в общей сложности тиражом в 33 миллиона экземпляров. Возможно, что эта цифра кое-кому не покажется удивительной. Кое-кто может вспомнить, что для Америки, например, такие тиражи не редкость.

Но, уважаемые слушатели, ведь здесь речь идет о стихах. О стихах, которые не

являются развлекательным чтением в поездах, о сборниках, которые не бывают небрежно брошены на скамейке. Но допустим, что Маяковский — исключение. Такому гиганту, как он, подобают гигантские тиражи. Но и обычный, единовременный, так называемый «массовый» тираж наших стихотворных сборников — это 75—100 тысяч экземпляров. Такими тиражами выходят книги моих товарищей-поэтов, таким тиражом вышел недавно и сборник моих стихов.

И здесь дело уже не только в количестве. Книга, изданная стотысячным тиражом, как бы обогревается теплом ста тысяч читательских сердец. На самом деле их, конечно, гораздо больше. Такой сборник возвращается к своему автору безмерно обогащенным, неся в себе огромный заряд дальнейшего поступательного движения. И тут уже уместно говорить о новом качестве поэзии, возникшем из количества.

Нечто подобное наблюдается и в театре. При полупустом зале актеры играют хуже, чем когда этот же зал заполнен до отказа, когда он весь наэлектризован вниманием, весь созвучен тому, что происходит на сцене. Творческое эхо, рожденное в зале, передается на сцену и воздействует на качество актерского исполнения.

Но происходит и обратное: ведь все это взаимосвязано. Для того, чтобы вызвать родственное эхо, нужно хорошо играть или, в данном случае, писать. Писать жизненно, правдиво, говорить о главном, что волнует человеческое сердце, что помогает ему быть счастливым. Могучий резонанс, многотысячное эхо наших произведений рождено у нас самой структурой нашего социалистического общества, приобщившего к литературе тысячи тысяч читателей, о чем в свое время мечтали русские классики. Творчество наше расцветает в атмосфере множественности читательского внимания.

Я предвижу вопрос: а не снижает ли эта «массовость» ценности поэтического произведения? Стремясь быть понятными многим, не упрощаем ли мы свои создания? Не пользуемся ли мы устаревшими формами, которые хороши только тем, что не вызывают ни у кого сомнения?

Нет, это не так. Под кровлей нашей поэзии уживаются самые различные жанры: от больших сюжетных поэм до кратких лирических зарисовок. Различны также и формы всех этих произведений: классический стих соседствует со свободным размером, четкие формы уступают порой место еле намеченным созвучиям и так далее...

Требуя от советского поэта определенной идейной направленности, большинство наших читателей, как правило, не боится новизны поэтических приемов, если только это не простое трюкачество, если за этой новизной формы и содержания стоит живая жизнь...

Одним из основных свойств нашей литературы, в частности поэзии, является ее оптимистичность. Если мы обратимся к мировой литературе, то увидим, что чаще всего главными ее пружинами были чувства скорби, грусти, печали, гнева, недовольства собой или окружающим. Этот невеселый перечень можно было бы продолжить.

У Ипполита Тэна в «Философии искусства» мы читаем следующее: «Есть еще одна причина, и при этом самая главная, направляющая внимание художника на печальные сюжеты. Дело в том, что произведение становится достоянием всех только тогда, когда оно выражает печаль. Люди могут понять лишь чувства, похожие на их собственные». Так пишет Тэн, подтверждая таким образом, что основным чувством большей части человечества была печаль.

При всех трудностях, стоящих на его пути, советский человек оптимистичен. Он может гневаться, печалиться, огорчаться: без этого не протекает ни одна, даже самая удачливая жизнь. Но основным тонусом бытия советского человека, его «доминантой» будет оптимизм, всегда сопутствующий тем, кто занят созидательным, творческим трудом для счастья своей страны, своего народа.

Скорбь не является «неотделимой от искусства». Тот, кто хорошо, а не только понаслышке, знаком с советской поэзией, кто читает ее непредубежденными глазами, сможет убедиться в этой ее новаторской сущности...

Тот, кто знаком с нашей поэзией... Но для того, чтобы ознакомиться с ней, надо переводить ее. Точно так же, как необходимо переводить на русский язык итальянскую поэзию. До сих пор в этой области сделано очень мало. Попутно здесь встает принципиальный вопрос о «переводимости» поэтических произведений на другой язык. Этого вопроса касались уже многие выступавшие здесь итальянские поэты и критики. Мнения были различны. Раздавались голоса, что поэзию вообще переводить нельзя. Мне это кажется глубоко неверным.

Поэтические произведения можно и нужно переводить. Но, думается мне, лучше всего поддаются переводу стихи и поэмы, в которых присутствует мысль, а не только одни эмоции, как это иногда бывает. Эмоции (это мое личное мнение) подобны эфирным маслам: не будучи закреплены мыслью, они быстро улетучиваются. При переводе же и вовсе мало что остается. Это еще одно доказательство в пользу «поэзии мысли».

Преодолевая трудности чужого языка, поэты всего мира должны как можно больше переводить друг друга, отдавая предпочтение всему, что может сделать человека по-настоящему счастливым.

В наши дни на поэзии лежит особо ответственная задача: она должна бороться за мир. Как известно, в старину поэты писали гусиными перьями. Выражаясь метафорически, мы должны писать сейчас «голубиными» перьями, во славу мира, без которого не может существовать ни одно искусство.

Выступление проф. АНДЖЕЛО-МАРИА РИПЕЛЛИНО

Я буду продолжать то, о чем так хорошо говорил Вигорелли.

Я хотел бы прежде всего рассеять вашу озабоченность по поводу формул, которые еще довлеют над теорией советской поэзии.

В прошлую субботу вечером я вернулся из Советского Союза, где имел возможность близко познакомиться со стремлениями и настроениями советских поэтов в их собственной среде, в их собственном доме, а не во время официальных церемоний, происходящих вне их дома.

Я убежден, что и в условиях полемики, непонимания, противоречий русская поэзия сегодня, после унылых лет прошлого, несмотря на все, переживает период значительного и надежного расцвета. Важнее всего, мне кажется, что она расцветает, несмотря на некоторые громкие слова, повторяемые поэтами с видом жрецов: слова-догмы, слова-ярлыки, слова-лозунги. Не станем же слишком поддаваться впечатлению от постоянных и наскучивших призывов к борьбе против пессимизма и за оптимизм, к борьбе против сложности поэзии, против декадентского искусства, в которое включается всего понемногу (так толком и неизвестно, что же такое декаданс). Если бы мы поверили всему, что высказывается в мелочной полемике, то пришли бы к выводу, что советские поэты находятся вне общества и вне подлинной действительности.

Сегодня, после того как тучи рассеялись, они сами не совсем уверены в том, что́ следует понимать под оптимизмом и пессимизмом. В. Инбер говорила о больших тиражах, которыми стихи выходят в Советском Союзе. Это великолепно. Я знаю, что у русского народа жадное стремление к книге (читают все, вплоть до шоферов и уборщиц, до самых простых людей), я знаю, что русский народ глубоко интересуется поэзией. Но русский читатель не задает себе вопроса, является ли поэт пессимистом, печален он или радостен. Я спрашивал у многих простых людей, огорчает ли их то обстоятельство, что поэт пессимист, и они мне отвечали, что это для них неважно. Простые люди на память знают Есенина и даже самые мрачные его стихи (например, «Черный человек»). Да, знают на память и не задают себе вопрос, печален он или нет, и любят его. Конечно, любят больше, чем поэтов бравурных, поэтов-панегиристов. Ведь нельзя же сказать, что Есенин не отражает советской эпохи только оттого, что он пессимист. Если я захочу ощутить Москву в годы нэпа и космические импульсы революционных лет, я стану читать Есенина. И также неверно, что Пастернак не отражает эпохи только потому, что он камерный поэт и у него сложные, изощренные стихи. При всех его исканиях и колебаниях, при всей его недоговоренности, эпоха ясно и точно выступает в его стихах, как только может она выступить в искусстве художника, который, ослепленный ее светом, стремится понять великие исторические процессы, происшедшие в Советском Союзе. Так называемая сложность и словесная запутанность не тревожит опытного читателя стихов, не отдаляет его. Нигде не сказано, что все поэты должны быть доступны всему народу; *весь* народ, даже такой жадно стремящийся к поэзии и культуре, как русский народ, не может читать *все* стихи. Это было бы чудовищно, если бы люди с утра до вечера читали стихи. Впрочем, разве всегда ясен Маяковский? Есть и у Маяковского лирика, которая по сложности структуры, переплетению образов, влиянию кубистских приемов нисколько не уступает в сложности стихам Пастернака. И в СССР не каждый понимает Маяковского. Я слышал от многих, что они его не понимают, а если вспомнить, так и ему продажные писаки и лжекритики говорили: «Владимир Владимирович, вас не понять, темно вы пишете, ваша поэзия недоступна». Да, это говорили не рабочие, а лжекритики.

Кое-кто скажет: «Труден Маяковский только периода кубофутуризма». Это общее место.

Теснейшую связь Маяковского с кубофутуризмом отвергают потому, что кубофутуризм считают декадентским течением. Но разрешите сказать вам, что без кубофутуризма, без словесных опытов Хлебникова не было бы не только Маяковского в первый его период, не было бы и послереволюционного Маяковского. Семантическая нагрузка этой поэзии, ее краски, ее словесная стратегия связаны с кубофутуризмом. И здесь нечего стыдиться. Разве мы стыдимся связи Данте с экспериментами школы «сладостного нового стиля»? Но на самом деле советские поэты любят и эксперименты, и школы, и тех поэтов, против которых порой борются. В этом парадокс советской поэзии. Кое-кто цепляется за поблекшие этикетки, но поэзия сегодня работает, работает глубоко и конкретно, не заботясь более об ограничениях, которые поэты сами хотели поставить перед собой. Подумайте только, Хлебникова, например, критикуют резко, в полемике утверждают, что он понятен не многим. Однако все знают его...

Дорогие советские друзья, давайте говорить откровенно: кто из вас не знает стихи Северянина, этого томного, малокровного, банального поэта, подлинного представителя декадентства, который сам говорил о себе: «Я гений Игорь Северянин».

Я вовсе не хочу сказать, что Северянин пригоден для нового советского общества, я только утверждаю, что нет ограничений для поисков в поэзии, для изучения документов поэзии, я говорю, что ничто теперь не закрыто для советских поэтов.

Такие же суждения мне приходилось слышать и о Кафке и Джойсе. Есть люди, которые отвергают их, не потрудившись даже прочитать. Мне сказали: «Кафка не помог бы советскому солдату в его героической борьбе». Это же абсурд. Но есть боль-

шая категория людей, которые хотели бы познакомиться с Кафкой и Джойсом. И было бы правильно, если бы они с ними познакомились.

Но сегодня у меня создается впечатление, что многие из этих формул потускнели.

Я расскажу, например, о Николае Заболоцком, поэте, которого теперь у нас знают; он перешел от гротескных стихов в духе Хлебникова и близких манере Руссо * к поэзии раздумья.

Он не похож на того человека, которого вы представляете себе, читая его стихи. Он выглядит, как спокойный фармацевт, он умерен, медлителен, рассудочен. Мы долго говорили с ним о рифме. Эта проблема волнует советских поэтов. Молодой, импульсивный, слегка позирующий под Есенина поэт Евтушенко, который несомненно создаст значительные вещи, говорил, что не представляет себе поэзию без рифмы. А Заболоцкий утверждает, что избыток техники губит стихи. Заболоцкий говорит о своей формуле «МОМ» (мысль — образ — музыка), говорит о продуманной, созданной в труде и поту поэзии, о необходимости по десять часов не отходить от письменного стола, о том, что читателю нельзя давать ничего приблизительного, сырого, недоделанного.

Я вспоминаю трехчасовой разговор с поэтом Николаем Заболоцким, который в конце нашего спора воскликнул: «Я оптимист!» Что могли означать эти слова? Тот, кто знает последнего Заболоцкого, знает его как поэта сложной архитектоники, поэта богатой тональности, выражающего печаль и радость, выражающего человека во всей его сложности. Сегодня Заболоцкий — поэт классической традиции, в стихах которого звучат отголоски Тютчева, Баратынского. Он — поэт, принадлежащий лучшей русской традиции, и вот в беседе со мной, иностранцем, Заболоцкий озабочен тем, чтобы произнести магическое слово «оптимизм», которое мы уже слышать не можем.

Дорогие советские друзья! Оставим оптимизм маршам фильма «Веселые ребята» и другим подобным фильмам.

Поэзия — и вы нас этому учите — сложней и богаче. Но, к счастью, формулы сегодня больше ни в коей мере не компрометируют советскую поэзию, формулы живут вне поэтических текстов, а поэзия утверждается всем богатством своих оттенков.

Это расхождение между полемикой и действительным положением, на мой взгляд, обусловлено также тем обстоятельством, что уровень современной русской критики низок, а сами поэты, принимаясь теоретизировать, порою употребляют ничего не говорящие слова и символы, так что иной раз предстают перед нами в броне схем, обедняя самих себя. Но до чего же на самом деле богаты культурными и человеческими интересами русские поэты!

Вот еще один пример: здесь среди нас — Сурков, человек симпатичный и искренний, как немногие другие. Многие из вас знают, что его имя находилось в центре международной полемики. Прежде чем я лично познакомился с ним, мои варшавские друзья говорили мне о нем не слишком тепло.

Для поляков Сурков нечто вроде дьявола-искусителя, нечто вроде стены, стоящей на пути развития поэзии. Я же должен сказать вам совсем другое: Сурков — поэт; поэт, который, как говорил Маяковский о себе, не раз становился на горло собственной песне. Я думаю, что Сурков страдал и страдает от этого, и когда он говорит вам об оптимизме, жесткости, агрессивной поэзии, не верьте ему слишком — это у него полемическая привычка. Несмотря на свое решительное утверждение жизни, ему в глубине его творчества не чужда и мечтательная печаль, и грусть, и он разделяет тревоги нашей эпохи; останутся после него отнюдь не триумфальные оптимистические поиски.

Впрочем, и Пастернак говорил со мной об оптимизме, о необходимости быть доходчивым, а я, который перевел его стихи, не мог удержаться от улыбки. Подобные утверждения в какой-то мере стали чем-то вроде мании у русских поэтов. Но это противоречие исчезнет, и важны прежде всего результаты.

Я хочу здесь призвать своих итальянских друзей, чтобы они судили о советской поэзии по текстам, а не только на основе полемики, и чтоб они задумались над синхронностью течений, существующих сегодня в русской поэзии. Мы ошибочно привыкли считать — и в этом также есть доля и моей вины,— что в русской поэзии существует, с одной стороны, Пастернак, верховный жрец, а с другой стороны — неопределенная масса безыменных поэтов. Нет ничего более ошибочного. При всей моей любви к Пастернаку, должен сказать, что он — лишь часть советской поэзии, и притом уже в какой-то мере принадлежащая к истории.

На своей даче, среди лугов и берез Переделкина, на этой даче, ставшей храмом поэзии и Меккой для иностранцев, он принимает вас как сирена, он говорит с вами своим мягким напевным голосом, смотрит на вас своими глазами чуть-чуть навыкате, похожий на лунатика, подобный принцу Гомбургскому из трагедии Клейста. Но будьте осторожны! Активная поэзия, поэзия, борющаяся за новые позиции, живет в ином месте.

Пастернак, большой поэт, стоит в стороне от ее движения, он замкнулся в «башне», где принимает своих поклонников. Перестанем же превращать его в символ всего хорошего, не станем же делать из него страдальца за угнетаемую злыми силами поэзию, не будем же превращать его в подобие принцессы, живущей в заколдованном замке.

Не будем также превращать советскую поэзию в замок, где живет столько-то Мартыновых и столько-то Слуцких. Советская поэзия богата новыми элементами, новыми течениями, новыми фигурами. Проследим за

* Анри Руссо — французский художник (1844—1910).

ней во всей ее сложности, во всех ее противоречиях, потому что времена серости миновали. В памяти у меня десятки имен, обещающих в будущем очень многое. И все это вне схем, о которых мы говорили.

Я хочу просить своих итальянских друзей: давайте поможем развитию советской поэзии не нашим слепым энтузиазмом, а нашей критикой. Я хочу пожелать своим очень дорогим русским друзьям освободиться от легких формул и добиться многообразия тем, тенденций, голосов, как было в лучшие годы советской поэзии, в двадцатые годы, в ее золотое время.

Выступление критика КАРЛО САЛИНАРИ

Вчера поэт, которого я лично глубоко уважаю, говорил мне, что между речами, произнесенными итальянскими и советскими поэтами в ходе этой встречи, — дистанции астрономического размера. Это, должно быть, отчасти верно, хотя в наше время не следует опасаться даже астрономических расстояний. Отчасти эти расстояния были даже неизбежны. Мы встретились в первый раз. Мы исходили из очень разного опыта, мы работаем в странах с различной социальной структурой, с различной организацией культуры (советские поэты неоднократно говорили здесь о своих читателях, как о важном для них элементе, в то время как в Италии этот вопрос, естественно, ставится иным образом). Мне кажется, что единственное, в чем сошлись итальянские и советские поэты, это критика по адресу критиков, к которой советские поэты прибегают, также как и итальянские.

Однако, думаю, расстояния, нас разделяющие, показались бы значительно меньшими, если бы мы вместо споров по общим вопросам подошли бы ближе к текстам советской и итальянской поэзии.

Еженедельник, который я редактирую, опубликовал в последние месяцы, по разным поводам, ряд стихотворений советских поэтов Мы напечатали их не потому, что это советские стихи, и не только потому, что мы с симпатией относимся к Советскому Союзу и нас интересует все происходящее в этой стране, а потому, что эти стихи интересуют наших читателей, которые находят их прекрасными и современными. Они вполне отвечают вкусу читателей, и читатели не считают их стихами людей с другой планеты.

Если мы вчитаемся в новые лирические стихи советских поэтов, увидим всю гамму чувств, выраженных ими, увидим переплетение этих разнообразных чувств, то мы легко убедимся, насколько ошибочными и схематичными были утверждения, будто советская поэзия является лишь эпосом, лозунгом, однострунным мотивом, чуждым разнообразным нотам человеческого сердца. Если мы, помимо этих стихов, взглянем на опубликованную нами подборку итальянских поэтов молодого поколения, например на «Прах Грамши» Пьера Паоло Пазолини, на некоторые стихи Рокко Скотелларо, то мы и здесь встретим сложную тематику, свидетельствующую о поисках молодой итальянской поэзией нового содержания и тех новых форм, которые способны выразить это содержание. Мы не хотим здесь сравнивать художественные достоинства советских и наших поэтов. Мы лишь хотим показать, что когда понадобилось отобрать современные советские стихи и стихи молодых итальянских поэтов, которые, однако, еще не достигли первостепенных художественных результатов, то и советская и итальянская поэзия показала нам свое подлинное лицо, и мы увидели искания, открытия и проникновение в действительность, совершаемое теми путями, которые свойственны поэзии.

И вот когда мы подходим к текстам, когда мы приближаемся к поэзии, эти астрономические дистанции уменьшаются или, по крайней мере, становятся преодолимыми.

На самом деле и у нас, должно быть, уже выиграно сражение за поэзию, отображающую жизнь. Я не думаю, что сегодня ключевой для итальянской поэзии является проблема борьбы реализма с формализмом.

Новейшая итальянская поэзия, возникшая в послевоенные годы, исходит (об этом говорили многие ораторы) из глубокого исторического опыта, каким был опыт антифашистской борьбы. Эта поэзия явилась преодолением части старой итальянской культуры, преодолением ее паразитических элементов. Ушла со сцены старая фигура литератора, влюбленного в одни лишь слова и разглядывающего в зеркале собственное лицо. Ему на смену пришел поэт, который стоит перед лицом современного мира и выражает этот мир в своих стихах. Фигура традиционного литератора исчезла из той сферы культуры, которая чего-либо стоит в Италии. Она, может быть, еще сохранилась где-нибудь в салонах, но распространенной в нашей стране стала фигура интеллигента, включенного в борьбу. Это теперь не является для нас проблемой. Сегодня нашей задачей и, как полагаю, задачей любой реалистической поэзии в любой стране являются поиски способа выражения действительности. Добиться успеха — значит сделать так, чтобы поэзия открывала действительность своим оружием, свойственными ей средствами.

«Поэзия не изобретение,— говорит Гальвано Делла Вольпе *, — она не плод фан-

* Гальвано Делла Вольпе — профессор философии, занимающийся проблемами эстетики.

тазии». Я согласен с ним в этом. Но поэзия, как говорил старик Аристотель, не является также лишь подражанием, хотя этой формуле Аристотеля следовало бы придать гораздо более глубокое значение, чем это обычно делают. Поэзия есть открытие, и она открывает движение действительности даже в том случае, когда это движение еще не вышло на поверхность. И свои открытия поэзия совершает при помощи собственного оружия. Конечно, и политика может быть предметом искусства. Проблема не в том, чтобы изгнать политику из искусства. Маяковский занимался и политикой и искусством, он создавал стихи из агитационных лозунгов партии большевиков. Я думаю, мало что может быть понято у Данте, если не отдавать себе отчета в том, сколько политики в его поэзии. Однако у политики свои формы анализа, и для политики, скажем, сегодня (по крайней мере, для той политики, в которую я верю, то есть для политики Коммунистической партии Италии) рабочий класс является авангардом, который приведет к прогрессу итальянское общество. В это я верю. Тем не менее, поэт не может видеть рабочий класс таким, каким его видит политик в своем анализе. Поэт видит рабочих, видит людей, поэт видит, что рабочие связаны друг с другом не только общей идеологией и определенными схемами общего характера, он видит, что они живут своей жизнью, что у них есть свои определенные и особенные реакции на все; он видит, что они индивидуальности, они люди. Это, в конце концов, видит поэт, и это он должен открыть.

Когда я думаю о покорителях целины, о которых вчера говорил один из наших советских друзей, то перед моими глазами встает эпическая картина иных времен. Можно дать экономический анализ этого покорения целины и показать, каково значение освоения миллионов гектаров новых земель для советской экономики. Можно дать политический анализ, можно показать, каково значение этого дела для прогресса советского народа. А поэт может увидеть в этих людях, освоивших миллионы гектаров земли, их человеческую природу. Конечно, люди эти, добровольно покидающие города, чтобы отправиться в степь, являются героями, но они, кроме того, и люди, они оставляют дома свои привязанности. И нет сомнения, что в этой действительности поэт может найти и победный клич, и минуты печали, и все типические черты той реальной жизни, которая находится перед ним. Я полагаю, что, возможно, это и есть та сторона вопроса, в которую мы должны внести полную ясность, если хотим устранить недоразумение, преодолеваемое каждый раз, когда советские, или итальянские, или французские поэты пишут стихи, и возникающее снова, когда в определенных случаях принимаются теоретизировать по поводу поэзии.

Полагаю, что, если бы нам удалось устранить некоторые из этих недоразумений — потому что, думается, речь идет о недоразумениях — и если бы мы устранили эти недоразумения простейшим образом — приблизившись к поэтическим текстам,— наш разговор стал бы гораздо продуктивней, и расстояния между нами не были бы такими далекими, такими астрономическими, и мы гораздо лучше стали бы понимать друг друга.

Выступление поэта СЕРГЕЯ СМИРНОВА

Вчера ночью, подлетая на самолете к древнему городу Риму, я пришел к мысли, что пилот самолета по складу своей души является поэтом. Он погасил свет в самолете, и я видел за окном ночь, которая была вся в звездах. Много звезд сияло в небе, но, соперничая с ними и затмевая их, сияли земные звезды, сияли несметные созвездия огней вашего древнего города. И я решил: много звезд в небе, а на земле их еще больше.

Но вот настал день, а мне кажется, что я попал в новое созвездие — в земное созвездие итальянских поэтов и литераторов. И мне хочется передать вам сердечные слова привета от московских коллег по призванию. Мне хочется передать древнему Риму радушный привет от нашей матушки-Москвы, привет от наших северных берез вашим лимонным садам.

Мне очень жаль, что я не поспел (правда, не по своей вине) к началу нашей встречи поэтов Италии и Советского Союза. Но лучше поздно, чем никогда,— гласит народная мудрость.

Мне кажется, что такие встречи, как сегодняшняя, являются радующим началом той встречи за круглым столом, которую предложил самый любимый и самый популярный в Советском Союзе писатель Михаил Шолохов.

У нас нет здесь, в зале Палаццо Браски, круглого стола, но хочется верить, что мы его создадим в нашем воображении, что мысленно мы уже собрались именно за этим круглым столом, где каждый высказывает свои сокровенные мысли соратникам по перу, где господствует дух гостеприимства, взаимная заинтересованность и неиссякаемая любовь ко всему тому, что заключено в кратком, но необыкновенно емком слове: поэзия.

Я не мыслю себе поэзии вне современности, я смутно представляю себе поэта, отчужденно смотрящего на радости и печали, на чаяния и свершения своего народа.

Я не мыслю себе поэта, который оставался бы равнодушным, когда на голубой дымок семейного очага, когда на улыбку матери, баюкающей свое дитя, когда на сокровенные чувства влюбленных наведены стволы орудий или занесена рука, в которой зажата взрывчатка и всеиспепеляющая сила атома.

Поэт, в моем понимании, не гордый одиночка, не человек, отгородившийся от современников и ушедший в свое индивидуалистическое «я», — наоборот, мне поэт представляется человеком крайне нужным в самых различных слоях общества, он нужен ученому и человеку, сеющему хлеб, мастеру кисти и человеку, плавящему металл, старику, встречающему вечер жизни, и юноше, выходящему на самостоятельную дорогу.

А для того, чтобы своей строкой и своим словом стать человеком, нужным народу, надо жить единой жизнью со своими земляками, не возвышаться над ними, иначе можно превратиться в наивную планету, и вот о ней-то, наивной планете, я позволю себе прочесть четыре стихотворных строки:

Я выше всех! —
подумала планета
И даже где-то
подчеркнула это.
А на нее
с улыбкой поглядела
Вселенная, которой нет предела.

Народ — это вселенная, в недрах которой вращается масса планет и звезд разных величин. И было бы ошибкой, на мой взгляд, если бы поэт — всего-навсего «одна планета»—предполагал, что он выше вселенной, которая бесконечна, предполагал бы, что он выше народа. Можно ли отчуждаться от матери, которая тебя породила, или свысока смотреть на нее?

Пусть итальянские друзья поймут меня правильно — я никому не навязываю своей точки зрения, это просто-напросто мой идеал поэта.

Есть у Максима Горького прекрасный образ Данко, вырвавшего сердце из собственной груди и осветившего людям путь из темного леса, в котором они заблудились. Образ Максима Горького, его жизнь и работа для многих поэтов России служили и будут служить примером подражания. Еще до Великой Отечественной войны я и двое моих друзей — студенты Литературного института — отправились пешком по земле русской, по той дороге, по которой 50 лет до нас шел М. Горький. Мы восемь месяцев шагали по земле советской — Волга, Дон, Черное море, Кавказ, встречи с людьми, литературные вечера, беседы с людьми... Это был второй институт, который подсказал нам самое главное: лучший ценитель поэзии — народ! Самая высокая награда для поэта — прийти к людям человеком не известным для них, а через час-два, после шумного, взволнованного литературного вечера, расставаться с ними, как с самыми лучшими друзьями.

Жаль, что война погубила у меня все рукописи, все записи того путешествия по родной земле и того тесного общения с простыми людьми, тонко чувствующими живое, пульсирующее сердце. Но оттуда я унес одно чувство: чем большему количеству людей ты нужен — тем высшей наградой ты награжден. Я люблю выступать перед людьми с чтением своих стихов. В прошлом году я был далеко в Сибири, в Алтайском крае, пробужденном от вековой спячки героическими усилиями нашего народа и, в частности, молодежи.

Сибирь — это целая страна. Масштабная страна неиссякаемых ресурсов и смелых, мужественных людей, обуздывающих реки, строящих города и поселки, поднимающих высокоурожайные земли. Вот на этой-то разбуженной и засеянной пшеницей целине я и провел около двух месяцев, выступая с чтением стихов, с беседами о литературе, о делах современности, и должен признаться, что более благодарной аудитории я назвать не могу. Эта аудитория собиралась под куполом звездного неба, прямо на горах намолоченной пшеницы, и слушала, слушала и слушала, и требовала новых и новых стихов. Представьте себе, какая это радость — видеть улыбки слушающих, видеть добрые взгляды, ощущать крепкие рукопожатия людей труда, знать, что мы им приходимся по сердцу. Что может быть дороже такой награды!

Поэт — это жизнелюб. Вот мой ответ на тезис — поэзия и современность. Я убежден, что реальная современность — это неиссякаемый кладезь подлинной поэзии для художника слова, для человека, желающего радости людям, мира, дружбы, взаимопонимания; ведь нас иногда разделяют не горы, моря и быстрые реки или пограничные полосы — нас иногда разделяет нелюбопытство к творчеству друг друга, и мне кажется, что такие вот встречи, где завязываются личные контакты, будут способствовать нашему духовному взаимообогащению. Вот почему мне радостно присутствовать здесь, под голубым небом Италии, слышать голоса новых друзей, спорить, отстаивая собственные взгляды, и верить в то, что наши встречи — это начало большого круглого стола, творческой дружбы работников культуры всей земли.

Мне думается, что большое значение имеет вопрос помощи молодым писателям, идущим в литературу из народных глубин. Я уже около десятилетия работаю в Литературном институте. Провожу занятия поэтического семинара молодых поэтов. Мы раз в неделю встречаемся на наших собраниях, читаем друг другу новые произведения, выступаем в роли коллективных критиков, критиков, заинтересованных в творческом совершенствовании молодого таланта, в развитии его творческой индивидуальности, в том, чтобы он заявил о себе первой книгой стихов и, обогащенный духовно, снова вернулся в океан народа, в родные места, где живут его герои, где

ждут его и гордятся им и его творческими успехами.

У нас стало традицией, когда поэт старшего поколения берет под свое покровительство, под свое шефство молодого литератора и помогает ему обрести свой голос. Мы принимаем китайское изречение «Пусть расцветают сто цветов», но, принимая, добавляем так: «Пусть расцветают сто цветов, кроме ядовитых!» Эту поправку сделали и сами китайцы.

Нам не чужды внутренние переживания личного порядка, раздумья о времени и о себе, картины природы и острые политические темы, и нам очень хочется, чтобы в мире царили рукопожатия друзей, и устремленность в грядущее, и вера в то, что «поэт поэту есть кунак», как сказал Сергей Есенин. Поэт поэту есть друг, если они оба любят свой народ, создающий все ценности на земле. И мой девиз такой: надо находить слово, которое подхватывается широким читателем и начинает жить в сердцах.

Не для хвалы,
под звон стаканов,
Шагать на поиски строки,
Не для того, чтоб, хищно глянув,
Перемигнулись знатоки,
А для того, чтоб кто-то где-то,
Безвестный, пусть далекий друг,
Ее, строку, как нитку света,
Ловил и помнил наизусть.

А нам, поэтам, нужно зажигать больше звезд! Звезд творческих удач, звезд творческой дружбы, земных горячих звезд. Пусть этих звезд, пусть этих созвездий дружбы будет все больше и больше на земле. Пусть им завидуют звезды и созвездия неба.

Выступление поэта АЛЕКСЕЯ СУРКОВА

За эти два с половиной дня было высказано немало интересного, немало такого, что могло облегчить наш разговор. Прослушав столько выступлений, я пришел к убеждению, что наша нынешняя встреча не является последней.

Мы не должны думать, что скоро научимся понимать друг друга. Если хотите, у нас еще много времени впереди. Мы живем в различных и далеких друг от друга измерениях, у нас иной, чем у вас, подход к интеллектуальным и моральным оценкам общественной жизни, да и мы сами как поэты немного отличаемся, скажем, от поэтов итальянских и французских. В большинстве своем мы интеллигенты в первом поколении. Вот почему у нас не всегда найдешь утонченность и должную отточенность суждений. И все же, думаю, мы обладаем существенной отправной точкой, которая позволит прийти к взаимопониманию.

Слушая то, что было здесь высказано за эти дни, я думал, что вода, конечно, остается водой, а масло — маслом, но были минуты, когда масло растворялось в воде, и это уже означало победу, потому что впервые начался такой разговор между вами и нами, между поэзией Запада, несущей старинный и порой громоздкий груз культуры, и нашей поэзией, которая полна жадного стремления к завоеванию высот в культуре.

Я хотел бы здесь внести некоторые предложения, и хотел бы здесь, перед лицом наших итальянских друзей, принять некоторые обязательства.

Вот первое наше обязательство. Вернувшись на родину — в Москву, Ленинград, Киев, — мы через наши журналы, через наши издания с предельной объективностью и точностью сообщим нашим читателям обо всем, что в этом зале было сказано о поэзии итальянскими коллегами.

Мы постараемся привлечь всех наших поэтов к этой дискуссии, которая здесь, в Риме, лишь началась, мы будем стремиться перенести эту дискуссию на страницы нашей литературной печати. Сейчас мы строим мост через реку многолетнего непонимания, и этот мост должен покоиться на солидных основаниях.

Теперь я хочу ответить на вопрос, заданный мне Акрокка: поэт Акрокка просил, чтобы «этот первый секретарь» рассказал нам здесь, что́ может быть предпринято для перевода итальянских поэтов на русский язык. Прежде всего должен сказать о том, что быть первым секретарем нашего Союза писателей не так уж радостно. Это скорее нелегкое бремя. Слишком редко первому секретарю удается с глазу на глаз переговорить с той красивой девушкой, которую зовут Музой.

Сам я не могу отдавать приказы тем, кто печатает книги, но здесь мы, советские поэты, хотели бы взять на себя одно обязательство. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы итальянская поэзия стала у нас известной в переводах, чтобы за ее развитием следили наши журналы и наши газеты. Я надеюсь, что мы сможем продолжить эту дискуссию в Москве. Может быть, у кого-нибудь из итальянских поэтов найдется немного времени, чтобы пересечь пресловутый «железный занавес», и тогда мы сможем в нашей стране продолжить начатый здесь диалог. Если вы сочтете уместным, я хотел бы предложить создание хотя бы какой-то инициативной группы для того, чтобы ставить друг друга в известность о тенденциях и духе развития современной поэзии в наших странах.

Таковы предложения, которыми мы хотели бы завершить эти дни, этот, если еще не состоявшийся, то во всяком случае уже начатый, разговор.

Сегодня на меня особое впечатление произвели два выступления. Первым было умное выступление Джанкарло Вигорелли, вторым была интересная речь профессора Рипеллино. Полагаю, что в этих двух выступлениях содержится богатейший материал для большого спора о судьбах нашей поэзии, о судьбах всей поэзии.

Если редакторы «Контемпоранео» согласятся принять меня в качестве сотрудника, я охотно поспорю на страницах этого еженедельника с моими друзьями, поскольку здесь времени для такого спора уже не остается. Лишь одно хотелось бы мне сказать Вигорелли. Он говорил здесь о трудностях, о том, что поэты западного мира живут в условиях более трудных, чем поэты нашей страны. Я не согласен с ним. Я не могу с ним согласиться, потому что мы живем на той стороне планеты, где происходят наиболее глубокие исторические преобразования. Мы живем в обществе, в котором за последние сорок лет целые классы были сметены с социальной арены, в котором возникли невиданные в прежнем человеческом обществе отношения между людьми. Об этом нужно помнить, когда говорят о наших достоинствах и наших недостатках.

Я хотел бы развить мысль Вигорелли о критическом пессимизме; возможно, в этом вопросе мы, заменив некоторые термины, могли бы прийти к согласию по существу.

Два слова об оптимизме. Я не хочу, чтобы кто-либо из вас судил о нашей поэзии, как о дураке, танцующем на похоронах. Это несправедливо. Оптимизм дураков не может быть оптимизмом общества, идущего невероятно трудным путем. Мы прошли сквозь кровь, сквозь страдания, сквозь потрясения огромных масштабов. На этом историческом фоне, на фоне истории не может быть места бездумному оптимизму глупых.

Но мы верим в завтрашний день человечества, мы верим в человека, верим, что он лучше, чем кое-кто утверждает. Единственный наш грех в том, что мы глубоко верим в возможность уничтожить такой порядок, когда немногие заслоняют своей спиной солнце от миллионов. Наш оптимизм — это оптимизм людей, которые знают, что они победят.

Обвиняйте нас в том, что мы об этом порой говорим языком грубым и серым, но только не оскорбляйте нас упреком в конформизме. Мы умеем умирать не только в стихах, мы умеем умирать и тогда, когда на нас наведены ружья. Мы дважды выдержали нападения империалистических государств. Здесь среди нас сидит женщина, поэтесса Вера Инбер. В сорок втором году, когда жители блокированного Ленинграда умирали с голоду, она увидела и пережила вещи, страшнее которых не знала история человечества. Мы встретили ее, когда она вернулась из осажденного Ленинграда. Она привезла нам поэму «Пулковский меридиан», звучавшую как гимн жизни, и сама стала иной, чем прежде.

Дорогие друзья! Мы люди трудной судьбы. В семнадцать лет я впервые в полутора метрах от себя увидел, как убивают человека. В восемнадцать лет я впервые в жизни стрелял из пулемета по людям, бежавшим к моему окопу. Жизнь заставляла нас решать вопросы бытия на полях величайших революционных битв.

Во всем этом — острая диалектика развития нового общества, в котором были и несправедливости и ошибки.

Мы просим вас об одном — постарайтесь понять нас такими, каковы мы есть, не применяя к нам мерки иного общества, потому что эти мерки не подходят для определения того особенного, чем отличается наше существование. Только тогда могут быть понятны и достоинства и недостатки нашей поэзии. Мы преодолели индивидуалистическую замкнутость поэзии. Замечательный русский поэт Александр Блок писал:

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

Порой и у нас было слишком много сверхчеловеков и слишком мало людей. Мы хотим, чтобы поэзия была человечной, а не сверхчеловечной. Мы хотим, чтобы она помогала человеку жить на земле, а не осложняла бы его существование странными вымыслами.

Мы хотим, чтобы хорошие стихи помогали человеку быть прекрасней, быть выше ростом, шире в плечах. Я должен здесь сказать, что в большей части выступлений итальянских поэтов, пусть иногда не совсем внятно, ставилась та же цель и выступавшие здесь поэты хотели дать человеку ту же духовную пищу.

Разрешите мне закончить эту мою речь другими строчками Блока, в которых я вижу основу для продолжения нашего разговора:

Узнаю тебя, жизнь, принимаю
и приветствую звоном щита.

Выступление поэта АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВА

Дорогие друзья!

Прежде всего передаю привет итальянским писателям и поэтам, деятелям итальянской культуры от героического Ленинграда, от его писателей, от деятелей советской культуры. Передаю также благодарность Обществу «Италия—СССР» за приглашение посетить Италию.

Что я хотел бы сказать по существу затронутого на встрече вопроса? У нас, в Советском Союзе, поэтов немало, и в том числе значительных, известных не только на

родине, но и за рубежом, чья работа ценится народом.

Многие и многие из нас вышли из самой народной гущи. Их к поэзии вывели те могучие силы, которые дали взлет всему нашему народу, преобразовали всю нашу, раньше отсталую, страну.

Перед революцией многие произведения в русской литературе были оторваны от интересов народа, некоторые писатели потеряли даже связь с языком народа. В поэзии «модными» были стихи Игоря Северянина, изысканные, утонченные стихи Бальмонта. Язык их крайне далек от народного. Вот пример из Северянина:

Шикарно шло моторное ландо
По «островам» к «зеленому пуанту»,
И взор Зизи, певучее рондо,
Скользя вокруг, томил колени франту.

Здесь — половина слов иностранных! Маяковский еще до революции выступил против салонной поэзии, ратуя за обращение к народной речи:

Улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Целеустремленность советской поэзии общеизвестна, но это не значит, что у нас нет схваток, нет споров. Я, например, не идя на поводу у старой пословицы, говорящей, что «о вкусах не спорят», не однажды оспаривал суть некоторых стихотворений Л. Мартынова, в частности стихотворения «Богатый нищий», критиковал некоторые стихи Б. Слуцкого. Мы спорим, у нас нет униформы! Крылатое выражение Вл. Маяковского «Больше поэтов хороших и разных» — боевой лозунг нашей писательской организации.

...Наша нынешняя дискуссия о поэзии идет, не сливаясь, как воды наших рек Арагвы и Куры. И это потому, что мы мало, до бедности мало знаем друг друга А знать надо! Вот вышли у нас «Римские рассказы» Альберто Моравиа и «Христос остановился в Эболи» Карло Леви. Что скажешь в связи с этим? Хорошо, познавательно интересно, талантливо. В частности, из «Римских рассказов» я узнал о Риме многое. Что же нам мешает больше давать культурных ценностей? Ничто не мешает!

Мне думается, что Союз писателей СССР, его большие отделения, вроде ленинградского, Союзы писателей союзных республик, наши журналы могут сделать многое и сделают в области серьезной переводческой работы для закрепления того, что закладывается здесь, на этой дружеской встрече.

Да здравствует поэзия большого жизнеутверждения!

Ст. Злобин

Продолжение личной беседы...

Как бы ни было активно стремление реакционных кругов капиталистического Запада изолировать литераторов и ученых от культурных связей с интеллигенцией стран социалистического лагеря — эти связи естественно возникают; возникает среди западных деятелей культуры интерес и к нашей, советской, науке, и к нашей литературе, к искусству. Да и выглядели бы смешными ученые, художники и литераторы, которые пытались бы, идя на поводу реакции, делать вид, что не существует нашей науки нашей литературы, нашей культуры, развивающейся по новым путям в течение уже четырех десятилетий.

Естественный и живой интерес приводит к нам литераторов Запада, и в частности США.

Лично мне довелось в начале минувшей осени соприкоснуться с одним из американских ученых коллег — университетским преподавателем русской литературы м-ром Леоном И. Тварогом (m-r Leon Y. Twarog), избравшим своей специальностью советский исторический роман.

Беседа с м-ром Тварогом оставила впечатление, что этот эрудированный в области советской исторической литературы американский коллега искренне хочет понять сущность и природу советского исторического романа. Однако чтение двух его статей о советском историческом романе, подаренных мне им на прощание, навело меня на грустные размышления.

В своих статьях Тварог разбирает роман В. Костылева «Иван Грозный», кропотливо отмечая ряд мельчайших изменений от одного издания к другому, а также сравнивает романы А. Чапыгина и Ст. Злобина, посвященные крестьянскому восстанию под предводительством Степана Разина.

Далекий от того, чтобы заподозрить американского коллегу в пристрастном желании исказить смысл развития советской исторической романистики, я подумал о том — не попал ли мой гость под гипноз распространенных предубеждений. Я хотел бы внести ясность в вопросы, поднятые м-ром Тварогом в его небольших статьях, опубликованных в «The Slavonic and East European Review» и в «The American Slavic and East European Review» — изданиях, которые всем своим тоном претендуют на объективную научность.

Как автор одного из разбираемых м-ром Тварогом исторических романов, несмотря на лестный отзыв американского литературоведа в адрес именно моего произведения, я хотел бы отметить те заблуждения, которые свойственны американскому исследователю советской литературы в отношении советского исторического романа в целом. Однако наилучшим образом я смогу это сделать, отвечая м-ру Тварогу на его статью «Changing Patterns of a Revolutionary Hero», опубликованную в «The Slavonic and East European Review» (Volume XXXII 79, June 1954).

В этой статье, как и во второй, посвященной роману Костылева «Иван Грозный», автор проводит мысль, что советские писатели создают свои исторические романы не по собственным побуждениям, не по велениям собственного художнического разума и сердца, а чуть ли не в силу императивных указаний «сверху»; при этом указывается, будто бы не только тема, но также и ее трактовка, да, и трактовка якобы изменяется от одного издания к другому в зависимости от требований политического момента и от желания издательства.

Уже в самом заголовке названной статьи м-ра Тварога таится игривость, смежная с коварством: по смыслу этот заголовок «Changing Patterns» можно понять и как «изменение облика революционного героя» и как «перемену платья», то есть переодевание его в соответствии с новой модой, и как «перекраивание по заказу».

«Первые советские исторические романы не были результатом официального нажима, но отражали индивидуальное отношение авторов к революции»,— отмечает в своей статье м-р Тварог, имея в виду советскую литературу двадцатых годов.

«Советский исторический роман стал орудием пропаганды и агитации, чтобы распространять различные правды в различные периоды»,— утверждает тот же автор в отношении нашей сегодняшней литературы.

Эта концепция западных литературоведов отнюдь не оригинальна и не принадлежит лично м-ру Тварогу. Противопоставление советской литературы двадцатых годов всей последующей советской литературе и отрицание всего того, что сделано советскими писателями в последнее двадцатипятилетие, звучит в устах одних клеветой,

в устах других — заблуждением. Мне хочется верить, что мой недавний собеседник и гость принадлежит к числу последних, в противном случае весь разговор не имел бы смысла.

В частности, в отношении моего романа «Степан Разин» автор названных статей высказывает мнение, что это — приспособление исторической темы «Степан Разин» к потребностям сегодняшнего дня, которые продиктованы советской литературе, так сказать, «извне», «официальным нажимом» (так, впрочем, по мнению м-ра Тварога, пишутся и все остальные советские романы).

Весьма печально, когда литературовед, ученый, исследователь, обнаруживающий богатый запас знаний по советской романистике при критическом рассмотрении ряда частностей (что вызывает к нему искреннее уважение), оказывается в плену у слепых и беспомощных предубеждений, как только дело доходит до серьезных и глубоких обобщений большого литературно-исторического процесса.

Продолжая беседу, начатую с м-ром Тварогом при нашей личной встрече, попытаюсь со всей возможною прямотой объяснить истинное положение вещей недавнему нашему гостю и его коллегам.

Еще гениальный Пушкин был очарован личностью Степана Разина, считая его самой поэтической фигурой русской истории. А. С. Пушкин записывал русские народные песни о Степане Разине. Многие из русских писателей и поэтов после Пушкина задолго до революции занимались этой темой. В десятках русских дореволюционных романов упоминаются имена Емельяна Пугачева и Степана Разина. Исторической ролью Степана Разина интересовался и М. Горький.

В день 250-летия со дня казни Степана Разина ему посвятил свою речь на Лобном месте В. И. Ленин.

Если заглянуть в историю мировой литературы, то можно отметить тенденцию любой национальной литературы обращаться к исторической тематике каждый раз, когда происходят великие народные движения.

Английское общественное движение породило Вальтер-Скотта, Великая французская революция вызвала к жизни творчество Виктора Гюго.

Отражение в литературе кризиса русского феодализма в конце XVIII — начале XIX вв. создало русский исторический роман, в частности «Капитанскую дочку» Пушкина — историческую повесть, посвященную крестьянскому восстанию под руководством Емельяна Пугачева.

Победившая революция всегда пересматривает литературные и исторические взгляды, меняет этические и эстетические оценки. Классицизм аристократии был уничтожен пореволюционным романтизмом, сменившимся реализмом и в западноевропейском романе.

Как же могла победившая Великая Октябрьская социалистическая революция не вызвать в художественной литературе интереса к исторической революционной теме, подавленной в эпоху самодержавия, и как могла бы она в трактовке этой темы сохранить позиции дореволюционных писателей?!

Роман А Чапыгина «Разин Степан» был первым романом стихийного и страстного протеста против салонно-барской интерпретации Разина и крестьянских революционных движений в России. Естественной была тяга к темам революционной стихийности и разрушительного мятежа у поэтов, современников А. Чапыгина,— Василия Каменского, Сергея Есенина, Велемира Хлебникова и других.

Роман А. Чапыгина так же, как стихи его современников, импрессионистичен и, будучи эпической прозой по форме, является громадной поэмой по своей внутренней сущности. В этом романе больше всего эмоции, импульсивного разрушительного порыва, направленного против лживого, барского, искажающего изображения Степана Разина, а в его лице искажающего и всю сущность крестьянских восстаний.

Ни серьезного исследования источников, ни анализа документации, ни марксистского научного подхода к рассмотрению, сопоставлению и отбору фактов и документов у А. Чапыгина нет, да и быть не могло. Это еще не исторический советский писатель в теперешнем нашем понимании, а страстный партизан, для которого партизанская борьба против деникинщины, колчаковщины и иностранных империалистических интервентов слилась воедино с разинской борьбой против боярщины и насилий XVII века. Если так можно выразиться, А. Чапыгин — это своего рода «Чапаев советской исторической литературы».

Он не мог писать ни пером перепуганного пугачевщиной и разинщиной дворянина, ни пером историографа-либерала XIX века. А. Чапыгин писал свой роман тем самым пламенеющим пером, которым вожди крестьянских восстаний Емельян Пугачев и Степан Разин подписывали свои манифесты и прокламации.

Американский критик правильно и кропотливо отмечает ряд преувеличений, исторических сдвигов и отклонений от фактов в романе А. Чапыгина. Но следовать исторической документации А. Чапыгину казалось необязательным. И по-своему он был прав: именно такой смелый порыв, такой яростный и ниспровергающий клич, как его роман, нужен был советской исторической литературе двадцатых годов, советской исторической прозе, которая с трудом изживала объективистские тенденции и трусливые «нейтральные» позиции, скрывающиеся за формализмом уже обреченной предреволюционной декадентщины.

Вот почему роман А. Чапыгина был так высоко расценен М. Горьким, ненавистником мещанского «нейтрализма». По тем же причинам этот весь взъерошенный, грозно рыкающий, стихийный роман-поэма был принят широким советским читателем и расходился во всех изданиях без остатка.

Созидательное советское время выдвинуло перед нашей исторической литературой новые задачи. Укрепившийся в советской литературе метод социалистического реализма потребовал иного подхода и к темам давно минувших веков: потребовал реалистического изображения истории давно прошедшего, а это значит прежде всего — глубокого изучения ее не только по Тхоржевскому или по Костомарову, на которых ссылается м-р Тварог, но прежде всего по документальным первоисточникам. Советский автор исторического романа, естественно, отверг дореволюционные историографические авторитеты и заново пересмотрел всю документацию, при этом уже не просто ниспровергая старые кумиры, а споря с ними *научно,* опираясь на равные со старым историком знания, однако исходя из своих современных философских предпосылок; он критически взвешивал не только суждения ученых прошлого века о документах, но так же критически, марксистски анализировал и самые документы.

Советский исторический роман в своем развитии отражает спор между буржуазной историографией и советским историком, который стоит на научных позициях исторического материализма и надежно вооружен историческими знаниями. Не говоря даже о том, что марксистская методология сама по себе способна обогатить науку, глубже вскрывая сущность исторической документации, необходимо отметить тщательное и ревностное упорядочение архивного дела в советское время, концентрацию архивных материалов, розыск и публикацию новых исторических документов, в частности по крестьянским восстаниям XVII и XVIII столетий — по Разинскому и Пугачевскому восстаниям, как и по другим событиям.

Мой роман «Степан Разин» — это не только ревизия позиций Тхоржевского, Костомарова, Соловьева, но также пересмотр и всего того, что эти историки брали «на веру», в том числе и свидетельства Иоганна Стрюйса или Бутлера, которые хотя и были очевидцами событий, но как толкователи исторических фактов, естественно, отличались крайней наивностью. Конечно, мы доверяем их описаниям внешности Степана Разина, но не можем же мы всерьез считать причиной крестьянской войны XVII века в России казнь воеводою Долгоруковым брата Степана Разина. Если в какой-либо мере эта казнь могла бы объяснить личное участие Степана Разина в многотысячном народном восстании против невыносимого рабства крестьян, то все же она ни в какой степени не объясняет самого крестьянского восстания. С точки зрения писателя и историка-марксиста, если бы лично Степан Разин не был участником крестьянского восстания, то это движение возглавил бы Василий Ус или кто-либо иной из людей, оказавшихся в числе наиболее талантливых сподвижников Разина. Восставший народ среди десятков и сотен тысяч повстанцев сумел бы найти и сделать своим предводителем другого талантливого вождя.

Я лично взялся за роман «Степан Разин», за самую эту тему не потому, что мне кто-либо «приказал» ее разработать. К этой теме я шел последовательно.

Мой первый роман был посвящен национально-освободительной борьбе башкирского народа, которая слилась с крестьянским Пугачевским восстанием русского народа против дворянства. Этот роман — «Салават Юлаев» — написан не в 1941 (как указано у м-ра Тварога), а в 1928 году и впервые опубликован в марте 1929 года, т. е. писался в те же годы, что и «Разин Степан» А. Чапыгина (1925—1928 гг.). Ревнивый к вопросам переработки советских исторических романов, м-р Тварог не заметил в издании 1941 года слов «переработанное издание». При этом переработка «Салавата Юлаева» произведена мною в 1941 году отнюдь не по чьей-либо указке, а в меру собственного литературного созревания и после работы над киносценарием на ту же тему. Понятно, что десять лет спустя после первого издания возвращение к этой теме породило новые мысли и острые драматические положения. Кстати сказать, в издании 1953 года (издательство «Советский писатель») эта книга опять-таки снова переработана в связи с накоплением вновь открытой документации, что повлекло за собою и некоторые сюжетные изменения в романе.

Следующая моя работа — роман «Остров Буян», темой которого является крупнейшее городское восстание из цикла городских восстаний XVII столетия в России.

По свидетельству автора научной монографии «Псковское восстание 1650 года» академика М. Н. Тихомирова, этот роман с максимальной для художественного произведения точностью и документальностью приближается к исторической действительности.

Тема городского восстания родилась в моих литературных планах в 1936 году, когда я и начал свою работу над этим романом.

Четыре года в армии во время войны оторвали меня от работы над исторической темой. После войны я заново переписал эту уже почти законченную книгу, прежде чем дать ее в редакцию, а пока она была в производстве я так ее еще раз переработал, что пришлось «сломать» верстку и выбросить готовый, одобренный редакцией типографский набор, за что я был оштрафован издательством: новый набор и верстка были сделаны за мой счет. Если бы мне кто-либо «сверху» предписывал эту переработку, то я не терял бы своих денег.

Я привел этот казус с издательским штрафом, чтобы убедить уважаемого американского литературоведа, что мы, советские писатели, заботимся о переработке своих произведений без посторонней подсказки, ради того, чтобы они стали лучше, выразительней, ярче.

Можно привести еще один пример: в 1951 году мой роман «Степан Разин» получил Сталинскую премию 1 степени и был

принят к массовому изданию в 300 тысяч экземпляров. Издательство требовало немедленно повторной сдачи романа в производство, но автор решил еще раз внести серьезные переработки. Редакция возмущалась: «Роман получил первую премию. Мы будем печатать его именно в таком виде, в каком он получил это высокое одобрение». Однако же книга была сдана в массовое издание только тогда, когда автор, вопреки желанию издательства, внес изменения, которые подсказывало ему его авторское сердце, письма читателей, споры и обсуждения с друзьями, высказывания некоторых критиков, мнение которых автор уважает.

Художнику, не страдающему самовлюбленностью и снобизмом, почти каждое издание хочется улучшить, исправить. По моему личному мнению, художественное произведение всегда можно еще немного доработать, чтобы оно стало лучше.

Мистер Тварог! Позвольте же обратиться лично к вам, как к литературоведу и критику. Не кажется ли вам, что на основе ваших высказываний о советской литературе мы, советские писатели, вправе были бы сделать вывод, что заключения американских ученых о нашей литературе продиктованы официальным нажимом?! Но я воздерживаюсь в отношении вас лично от такого утверждения. Я хочу просто и дружелюбно помочь вам понять нашу точку зрения.

Вы утверждаете, что мы романтизируем наших исторических героев и в этом наша неправота. Но разве Робин Гуд не романтизирован в английской литературе? Если я люблю своего героя, то это мое отношение вы и ощущаете, как элемент романтизации.

Вы называете Степана Разина «персонажем сомнительной добродетели». А почему? Потому что обрисовка этого героя дворянской документацией представляла его разорителем, убийцей, бандитом. А если бы в архивах хранились документы, написанные не царскими боярами и чиновниками, а крестьянами и ремесленниками, того кого, полагаете вы, рисовали бы эти документы как злодеев и деспотов, как пьяниц, развратников, зверей, применяющих «jus primae noctis» в отношении юных крестьянок? Кто предстал бы с клеймом кровавых бандитов, не тот ли, кто отнимал последний кусок хлеба у землеробов?

Вы говорите о «правдивости истории», но историческая правда заключается не в том, насколько рябым было лицо Разина, а в том, за что он боролся. Народная легенда рисует этого героя именно полным добродетелей Разоренный дворянин в своем «челобитии» на имя царя, наоборот, изображает Разина бандитом; но тот же дворянин преследует народ за доброе слово о побежденном и казненном народном вожде, царские палачи вырывают язык у того, кто его хвалит, самого народного героя проклинают с церковного амвона, ибо церковь служит властителям государства и является их союзником. Что же касается исторических летописей, составленных монахами, что касается судебного приговора и царских манифестов, то только они в вашем представлении остаются «документами», верности которым вы требуете от историка и романиста наших дней.

Представьте себе, что восстание английских колоний в Америке под руководством Дж. Вашингтона оценивалось бы только на основании официальных английских изданий того времени и английских королевских указов. Тогда и великие основатели Соединенных Штатов оказались бы изображенными в истории ничуть не в лучшем виде, чем Степан Разин в грамотах царя Алексея Михайловича.

История — это судья, самый беспристрастный судья. Он не может выслушать только одну сторону. От официального царского документа я беру только свидетельство о факте, что же касается его толкования, то это дело мировоззрения, авторского ума, сердца и воображения.

До Рафаэля существовало тысячи изображений Мадонны. До Леонардо да Винчи, вероятно, существовало в живописи множество трактовок сюжета «Тайной вечери».

В угоду кому и под чью диктовку «ревизовали» эти великие художники прежние канонические образы? Разве по приказу властей? По требованию папы и церкви?

Замечательные личности и события много раз привлекали и привлекут сердца и умы множества художников. В том-то и дело, что каждый художник вкладывает в старую тему нечто свое, новое, что понятно и близко его эпохе, его современникам.

Вы говорите в своей статье, что «герои советских романов несут одинаковые идеологические черты, они отлиты по одному образу, хотя и одеты в различное платье», но в том-то и есть наша, советских художников, общность, что нам близок герой с воинствующей гуманистической идеологией, что мы избираем своим героем не смиренного страстотерпца-мученика, не «мастера» бизнеса, а народного борца за социальную правду. То, что вы считаете общностью выражения лиц,— это наша привязанность к социальной справедливости, а наши герои — это герои, которые в борьбе за нее отдавали свою жизнь; такие люди жили во все времена и среди всех народов. Нравится это кому-нибудь или не нравится, но ни Гитлер, ни его фельдмаршал Манштейн, ни ваш соотечественник сенатор Маккарти не могут стать положительными героями советского романа, и, на наш взгляд, эта тройка «исторических героев» выглядит на одно лицо, хотя и одета в более или менее различное платье. Однако от перемены платья общность их исторических ролей не меняется.

История — это наш учитель, а не коллекция фактов, это сами факты плюс их понимание. А понимание вытекает из мировоззрения автора.

История прошлого — это лоция для кораблей, прокладывающих путь в будущее. Потому-то в советской литературе истории

революционных движений выглядит всегда оптимистично, как вы совершенно правильно отмечаете. История прошлого никогда в современном историческом романе не может уйти от взаимодействия с современностью. Это было ясно для В. Гюго, изображавшего 93-й год, как ясно и для исторического романиста Л. Фейхтвангера, который направляет стрелы своих исторических романов также на современность. Он пускает эти стрелы с воинственной страстью, и, пролетая через века, они раскаляются в пламени минувшего, чтобы разить идейных врагов художника в современности.

Мы, советские романисты, стоящие на позициях исторического материализма, также знаем эту силу исторического художественного образа. Наш исторический роман фактически точен и объективен именно в силу нашего материалистического понимания истории, но точность его мы определяем не цветом бороды исторического героя, а глубиною раскрытия сущности изображаемых событий.

Московские литераторы готовятся к большой дискуссии по вопросу о развитии советского исторического романа. Многие советские писатели рассматривают понятие «исторический» роман гораздо шире, чем было принято раньше. Мы будем спорить и по этим вопросам, и по вопросам отражения в художественной литературе исторической роли личности, то есть отдельного «героя», и по вопросу художественного изображения роли народных масс.

Лет около двадцати назад, когда проводилась в Союзе советских писателей подобная дискуссия, нам довелось встречаться с рядом зарубежных гостей, как вы проявлявших интерес к советской литературе, и в частности к ее историческому жанру.

Мы убеждены в том, что отсутствие предвзятости поможет вам лично и вашим зарубежным коллегам из других капиталистических стран найти более глубокий подход к советской исторической литературе, которая развивается по пути серьезных художественных исканий, а не по пути «changing patterns», если вы разумеете под этим простое переодевание.

Возвращусь еще раз к вопросу о переработках наших романов от одного издания к другому.

Вы выступаете против наших переработок, не умея подойти иначе, чем с позиций авторского «бизнеса»: дескать, книга написана, напечатана, что же еще беспокоиться автору о ее дальнейшем существовании! Значит, по-вашему, все изменения происходят в советских книгах под диктовку и под давлением извне.

Но мы, советские литераторы, наследуем лучшие традиции наших предшественников. Примером, который вам лично как знатоку русской исторической беллетристики должен быть известен, может послужить хотя бы Н. В Гоголь в работе над его исторической повестью «Тарас Бульба». Достаточно сравнить первое и второе прижизненные издания повести, чтобы убедиться в том, как сам Н. В. Гоголь в обращении к читателям первого издания умолял присылать любые, пусть на первый взгляд самые наивные, замечания, говоря, что они помогут ему улучшить произведение. Результат этого ярко сказался во втором, переработанном, издании «Тараса Бульбы».

Великий Толстой многократно исправлял корректуры, что можно видеть из академического издания его произведений, где приводятся все варианты.

Один из крупнейших русских художников-живописцев Илья Репин обладал таким страстным стремлением к постоянной доработке и усовершенствованию своих полотен, что ревнивые оберегатели его мастерства, как знаменитый Третьяков, всячески изощрялись, чтобы спрятать от Репина его картины, когда он приезжал в Москву. А когда историческая картина И. Репина «Иван Грозный убивает сына» была повреждена ножом душевнобольного, то искусствоведы ухитрились, в конечном счете, после крупного разговора с автором поручить реставрацию знаменитой картины другому лицу во избежание того, чтобы его великое творение не подверглось авторскому «пересмотру», хотя ни советская власть, ни воображаемое вами «давление сверху» не существовали в те годы (1910—1912).

О каких же различных «правдах» в советском историческом романе остается нам говорить? О каких «перекройках» или «переодеваниях»? О том, что роман Злобина и роман Чапыгина различно трактуют образ Степана Разина, как различно трактуется образ Емельяна Пугачева в романе В. Шишкова «Емельян Пугачев» и в романе Ст. Злобина «Салават Юлаев»? О том, что различно трактуется образ Кутузова в романе Л. Рубинштейна «Дорога победы» и в романе Л. Никулина «России верные сыны»? О том, что различно трактуется образ Петра I в романе А. Толстого «Петр I» и в романе Ю Германа «Россия молодая»?

Но на то ведь и существует индивидуальность художника, чтобы различно освещались одни и те же события. Мы можем предположить, что на те же самые темы другими авторами будут написаны новые произведения, которые окажутся лучше прежних, с интересом будут читаться народом, дадут читателю радость и станут любимы и чтимы. В этом будет общая радость советских читателей и писателей.

Стоит ли делать вопрос об историческом романе скрытым оружием холодной войны против лагеря социализма? Не является ли и такое, едва приметное, участие в холодной войне маленьким соучастием в создании запасов ядерного оружия?!

В заключение хотелось бы пожелать западным литературоведам, претендующим на научный подход к советской литературе, большей объективности в суждениях, меньшей предвзятости ко всему тому, что исходит из СССР.

Седрик Белфрейдж

Американец в Советской России

Сейчас, когда в Англии и в США вышли две книги об американце Рэймонде Робинсе, мы снова убедились в том, как упорно «свободный мир» замалчивает или искажает деятельность лучших своих сыновей, посвятивших жизнь борьбе за мир и дружбу.

Когда в сентябре 1956 года была посмертно опубликована книга «Рэймонд и я» — рассказ сестры Робинса, Элизабет, о его приключениях на Аляске во время «золотой лихорадки» 1897—1900 годов,— оказалось, что даже крупному английскому критику Рэймонду Мортимеру ничего не известно о дальнейшей жизни Робинса. Отметив в газете «Санди таймс», что и автор книги, актриса, блиставшая на лондонской сцене полвека назад, и брат ее — «люди безусловно незаурядные», Мортимер говорит: «Нам очень хотелось бы знать, что было с Рэймондом дальше». Об этом хорошо знает автор второй из упомянутых нами книг — Джордж Кеннан, бывший чиновник госдепартамента США. Но в своей книге «Россия выходит из войны», трактующей о ходе русской революции до 1921 года, Кеннан сознательно дает не портрет Робинса, а карикатуру на него. Более осведомленный критик лондонского «Нью стейтсмен энд нейшн» А. Дж. П. Тэйлор сообщает в рецензии на эту книгу, что Робинс, «идеалист и искатель приключений», в 1917 году отправился в Россию, официально — как глава американской миссии Красного Креста, а неофициально — как агент американской разведки, и привел в ярость своих хозяев в Вашингтоне, сообщив, что власть большевиков пользуется огромной популярностью и ее следует признать. Тэйлор пишет, что в книге Кеннана «каждое упоминание о Робинсе — в то же время осуждение его» автором, а между тем, «как только он появляется на сцене, все остальные [имеющие отношение к политике западных стран] кажутся мелкими и скучными... Невольно думаешь о том, насколько все обернулось бы лучше, если б Рэймонд Робинс добился своего... Сам того не ведая и не желая, мистер Кеннан написал гимн большому американцу, славному представителю своего народа и своего времени».

Тэйлор не преувеличил исторического значения Робинса: он действительно был человеком «безусловно незаурядным». Мортимер это понял, хотя читал только повесть о его жизни в пору «золотой лихорадки».

Робинс был очень хорош собой, физическая энергия удивительно сочеталась в нем с внутренней силой. А то, что этот миллионер, человек глубоко религиозный и филантроп, считавший, что Америке необходим капитализм, понимал и любил Советский Союз, лишний раз доказывает, какое несчетное число вариантов и парадоксов являет собой человечество. В основе дружеского отношения Робинса к Советскому Союзу лежали его религиозные и патриотические чувства, он гордился демократическими достижениями своей родины, которые стали возможны тоже благодаря революции, а с другой стороны, он по опыту знал недостатки американской буржуазной демократии, впрочем полагая, что их можно исправить, не отказываясь от капитализма.

Его собственная жизнь сложилась, как «американский рассказ об успехе», но он отлично понимал, что это — счастливая случайность и что, сколько бы человек ни работал, достигнуть успеха становится все труднее и труднее. Босоногий мальчишка-батрак, в десять лет уже работавший от зари до зари на флоридской ферме, он твердо решил разбогатеть и «выйти в люди». На Аляске он нашел золото и к тридцати годам осуществил свою мечту — стал владельцем поместья Чингат-Хилл, возле той самой фермы, где работал в детстве. Но еще до этого его «трезвый ум», как он сам выражался, упорство, с каким он искал фактов и остерегался поспешных выводов, много чему научили его. Работая шахтером по двенадцать часов в день без воскресного отдыха, он понял, что только профсоюз может покончить с этим рабством, и стал одним из организаторов союза. Когда рабочие объявили забастовку, а хозяева силой подавили ее и занесли Робинса в черные списки, он постиг азбуку классовой борьбы.

Робинс получил юридическое образование в Сан-Франциско, с юношеским пылом ринулся в политическую борьбу... и обнаружил, что аппарат обеих политических партий изъеден коррупцией и что сам он мо-

жет преуспеть как юрист, только если будет выступать под флагом одной из этих партий.

— Никто, — сказал ему в Сан-Франциско очень популярный кандидат на пост президента Уильям Дженнингс Брайан*, которого Робинс поддерживал, — никто не может нажить миллион долларов честным путем.

Двести пятьдесят тысяч долларов принесло Робинсу золото, добытое им в ледяных пустынях Аляски, где тысячи людей, менее крепких, не нашли ничего, кроме крушения надежд или ужасной смерти. Он вернулся оттуда твердым приверженцем христианской веры, без которой, по его словам, ни за что бы не выжил; там он обогатился наблюдениями над человеческой природой в самых суровых условиях и новым пониманием того, что значит товарищество и руководство. Он на всю жизнь запомнил, как он и еще четыре человека, связанные одной веревкой, пересекали ледник и как шедший впереди поскользнулся и упал. В тот день, когда они были на волосок от смерти, эти пять человек поняли, насколько они зависят друг от друга и насколько судьба каждого зависит от объединенных усилий всех.

Презирая пустые разговоры о христианском братстве людей, Робинс отдал свои силы и свое состояние (которое он путем ловких инвестиций увеличил до трех миллионов долларов) на помощь ближним. Американские бизнесмены в насмешку прозвали его «благотворителем». Позволяя себе раз в год отдохнуть в своем флоридском поместье, он жил в скромной квартире в Чикаго со своей женой — дочерью миллионера — и обеспечивал пищу, одежду и крышу над головой множеству чикагских бедняков. Во время поездки в Европу он общался с английскими аристократами и проникся презрением к их снобизму, хотя не мог не восхищаться тем, как ловко они отстаивают свои привилегии. За чашкой чаю на террасе палаты общин он убеждал лидера английских социалистов Кейра Гарди, что социализм невозможен без религии.

Робинс, никогда, по-видимому, не читавший Маркса, все формулы и лозунги борьбы за социальную справедливость находил в библии, и очень возможно, что стать социалистом ему помешала именно антирелигиозная сторона социалистического движения. Но он счел своим христианским долгом, рискуя навлечь на себя ненависть «почтенных граждан», выступить в защиту вождя горняков социалиста Билла Хэйвуда, когда его в 1906 году ложно обвинили в убийстве, и в защиту профсоюзных лидеров Джона и Джима Макнамаров, приговоренных в 1911 году к пожизненному заключению по обвинению в организации взрыва. Он был блестящим оратором, и даже злейшие враги признавали его влияние на рабочих и его роль в защите их интересов. Сами рабочие ценили в нем бесстрашие и честность, отличавшие его от других «лидеров», которые называли себя социалистами, но отступались от общего дела, если это казалось им выгодным.

В 1908 году Робинс опять принимал участие в предвыборной кампании на стороне Брайана, но теперь он начал понимать, что этот человек, которого он раньше боготворил, — не более как сладкогласный фигляр. После одного триумфального политического митинга Брайан, усвоивший новые правила социальной арифметики и теперь уже отнюдь не бедняк, сказал Робинсу:

— Никто не может нажить три миллиона долларов честным путем...

С реальной стороной американской политики Робинс близко познакомился в Чикаго, где ему по ходу благотворительной деятельности приходилось иметь дело со всякими «темными личностями». Накануне первой мировой войны он совершил кругосветное путешествие. В Европе его поразило, до какого упадка дошли старые империи, а на Дальнем Востоке и в Южной Африке (где он навестил в тюрьме молодого адвоката по имени Ганди) потрясла беспощадная эксплуатация цветных народов. Вернувшись на родину, он говорил об этом в лекциях, собиравших множество публики. Он громил несправедливые капиталистические порядки, однако ни разу не поставил под сомнение необходимость капитализма в Америке. После его выступления на выпускном вечере в одном из университетов к нему подошел студент и спросил:

— Вы социалист? Я-то социалист, и мне показалось, что вы тоже.

Робинс ответил ему, что порок капитализма — неправильная система распределения товаров, и задача состоит в том, чтобы улучшить эту систему, не ломая организации производства. Студента звали Уэнделл Уилки — в 1940 году он баллотировался на пост президента от республиканской партии.

В 1917 году правительство послало Робинса в Россию с «миссией Красного Креста», а на самом деле — с секретным заданием: оставаясь за кулисами, он должен был поддерживать правительство Керенского и препятствовать выходу России из войны с Германией, а также сообщать сведения о деятельности большевиков, которые доставляли Вашингтону много беспокойства, хотя приверженный к алкоголю американский посол в России и охарактеризовал их как незначительную кучку «анархистов» и «германских агентов». (Тот же посол Фрэнсис телеграфировал в Вашингтон, что «умышленно дает волю» Ленину и что Ленин «своевременно будет выслан»).

Некий весьма проницательный английский дипломат заметил однажды, что «старику Фрэнсису не отличить эсера от картошки». Но Робинс, разъезжая по всей России, скоро своим трезвым умом понял, что Ленин — большой человек, пользующийся любовью в народе, и что Советы — единственная подлинная власть. Его попытки убедить в этом Вашингтон, а также английского и французс-

* Уильям Дженнингс Брайан (1860—1925) — буржуазный политический деятель; трижды баллотировался на пост президента США, но ни разу не собрал большинства голосов.

ского послов в Петрограде ни к чему не привели. Он твердил послам, что капитализм, как-никак, не разрешил проблему трущоб и голода и что «если у Ленина есть план разрешения этих проблем — пусть попробует, не нужно ему мешать. Я не знаю, получится ли из этого что-нибудь, но я знаю, что народ за него». Он не хотел, чтобы «план Ленина» распространился на Америку, но «мы в Америке, — утверждал он, — должны задуматься над тем, что говорят и делают эти люди. Сам я преуспел благодаря американской тяге к новым местам, но теперь этих возможностей больше нет, а проблема такого распределения богатств, при котором у каждого были бы шансы на успех, — ведь это и наша проблема».

Английский посол сэр Джордж Бьюкенен беспомощно разводил руками:

— Знаете, Робинс, всякий раз, как вы говорите о положении в России, вы меня убеждаете, но мои люди сообщают мне прямо противоположные вещи, так что я просто не знаю, кому верить.

Во время своих личных встреч с Лениным Робинс все больше проникался восхищением к его гению руководителя. Наряду с более насущными предметами они в своих беседах касались и религии. Впоследствии Робинс рассказывал, как он пытался объяснить Ленину, что стремление изменить общество, поднять его выше корыстных интересов по сути своей опирается на религию.

— Вы действительно думаете, что мне нужна религия? — спросил Ленин с дружелюбной усмешкой...

В 1918 году Робинс поездом уехал во Владивосток, через огромную страну, уже познавшую ужасы иностранной интервенции В Петрограде англичане, французы, американцы предупреждали его об опасностях этого путешествия, но он твердо рассчитывал, что его выручит бумажка, которая лежала у него в кармане. Так и получилось. На этой бумажке Ленин написал, что просит всех оказывать Робинсу содействие.

Американский миллионер, пытавшийся обратить в христианство великого революционного вождя, привез с собой в США программу развития русско-американских торговых отношений, которую по его настоятельной просьбе составил Ленин. Однако Робинсу не удалось представить эту программу ни президенту Вильсону, ни кому-либо из членов правительства. Газеты же или не принимали его материала, или искажали его. Ни религиозность Робинса, ни то, что он был богат и отстаивал «американский образ жизни», ни связи со многими высокопоставленными людьми — ничто не спасло его от политической «охоты на ведьм», которая как раз тогда началась и с тех пор не прекращалась. Сенатская комиссия «расследовала» деятельность Робинса и обвинила его в намерении свергнуть правительство, на том основании, что он утверждал... нет, даже не то, что он согласен с большевиками, но что русский народ поддерживает большевиков. Бывший посол Фрэнсис, теперь осаждавший Вильсона просьбами послать его обратно в Россию во главе пятидесятитысячной армии, чтобы «стереть с лица земли это гнусное чудовище — большевизм», в своих показаниях бессовестно оболгал Робинса. Вспоминая об этом много лет спустя, Робинс, который со времен Аляски не брал в рот спиртного, говорил:

— Утром Фрэнсис еще держался в рамках приличий, но во время завтрака он выпил слишком много виски — и уж после этого дал себе волю.

В последующие годы миллионеры, знавшие Робинса, тревожась о будущем капитализма и понимая, какое влияние Робинс имеет на рабочих, не оставляли надежды убедить его отказаться от «подрывной» идеи о дружбе с социалистическим государством. Однажды на уик-энде в загородном доме одного из них, после игры в покер, во время которой на карту спокойно ставили по 10 000 долларов, Томас Ламонт, компаньон в банковском предприятии Моргана, предложил включить Робинса в список привилегированных вкладчиков. По этому списку «друзьям» Моргана рассылалась секретная информация о тех акциях, курс которых наверняка должен был подняться. Вспоминая этот случай, Робинс говорил, что он «только слушал, а потом ушел спать». На следующий день он сказал хозяину дома:

— Сдается мне, что Ламонт пытался меня купить.

Хозяин рассмеялся и ответил:

— Сдается мне, что вы совершенно правы.

Робинс по-прежнему читал свою любимую библию и по-прежнему видел в русской революции исполнение ветхозаветного пророчества: «пустыня расцветет, как роза», и претворение в жизнь христианского учения: «накормите голодных и оденьте нагих». Он возобновил свою работу по оказанию помощи нищему населению чикагских трущоб и борьбу за права рабочих; и по-прежнему он всемерно использовал свое влияние — а влияние это, несмотря на все, что случилось, было еще очень значительным, — чтобы добиться признания Советского государства правительством США. Президенты Гардинг, Кулидж и Гувер один за другим обещали ему серьезно заняться этим вопросом и, воспользовавшись поддержкой Робинса во время предвыборной кампании, один за другим нарушали свое слово. Когда в Белом доме появился Рузвельт, Робинс, посовещавшись с четырьмя друзьями, членами кабинета, решил, что прежде, нежели затевать разговор с новым президентом, ему следует лично ознакомиться с современным положением в СССР.

В 1933 году — освободившись к тому времени от большей части своих капиталов, передав в дар правительству свое поместье для устройства там опытной сельскохозяйственной станции и завещав ему также свой дом,— Робинс снова отправился в Советский Союз и ездил по всей стране, трезвым умом оценивая обстановку. В Москве он тщетно добивался свидания со Сталиным, пока не предъявил истрепанный клочок бумаги — записку, наскоро написанную Лениным в

1918 году. Через несколько часов после этого он уже беседовал со Сталиным в Кремле. Он рассказал Сталину, какое огромное впечатление произвел на него Магнитогорск и как в ответ на его слова: «Ленин — вот кому следовало бы здесь побывать», сопровождавший его русский ответил: «Он здесь». Сталин говорил о тех трудностях, которые еще предстоит преодолеть и внутри страны, и в международных отношениях. Шла речь и о том, как выгодно было бы для обеих стран расширение советско-американской торговли. По возвращении в Америку Робинс выступил по радио с речью о советской демократии и о том, как прочен советский строй, несмотря на «страшную цену, которую заплатил советский народ» Он сказал, что, по его мнению, советская система не подходит для Америки, но «мы, разумеется, должны признать Россию, потому что это, бесспорно, в наших интересах». Робинс представил Рузвельту подробный отчет о своей поездке. В том же году правительство США официально признало Советский Союз *. (Томас Ламонт, успевший за это время понять, какие возможности открывает торговля с СССР, был одним из главных ораторов на банкете, устроенном в Нью-Йорке по случаю этого события).

В 1935 году с Робинсом случилось несчастье: он упал с дерева в своем Чингсат-Хилле, и в результате ушиба вся нижняя часть тела оказалась парализованной. Вскоре после этого умерла его горячо любимая жена, всегда и во всем бывшая ему поддержкой. Благодаря своей удивительной жизнеспособности Робинс прожил еще много одиноких лет. Его мучили постоянные боли, и он лишь изредка перебирался из постели в кресло на колесах. Сидя в этом кресле, он любил занимать прогрессивных американцев, наезжавших к нему в гости, разговорами о «четырех просеках» между деревьями, окружавшими усадьбу, которую он купил, усовершенствовал и отдал государству. Была там «просека Джефферсона» в честь президента и автора Декларации независимости, сформулировавшего право народа на революции, и «просека Джексона» в честь президента, связанного со штатом Флорида и первым начавшего поход на всесилие банкиров. Большое дерево посреди «просеки Линкольна» по утрам отбрасывало на дом длинную тень, напоминавшую великого смиренного президента, который спас от гибели единство Америки и, вновь утверждая принцип равноправия людей, стойко за него боролся. «Просека Рузвельта» получила имя президента, который отстаивал права «простого человека» и признал Советский Союз. Вблизи от нее растет «дуб Ленина», который миссис Робинс, вдохновленная письмами своего мужа из России, без его ведома посадила здесь 1 мая 1918 года.

Бешеная «охота на ведьм», повергшая Америку в пучину страха в последние годы жизни Робинса, лишь укрепила его взгляды и, возможно, сделала из него в конце концов социалиста, хотя он, насколько нам известно, никогда этого не говорил. Всю моральную и финансовую поддержку, на какую он еще был способен, он оказывал Прогрессивной партии, основанной в 1948 году как попытка создать в Америке широкую коалицию левых сил. Лежа в постели или сидя в своем кресле, он писал письма прогрессивным деятелям, подбадривал их, давал им мудрые советы.

В 1951 году, показывая мне свои «просеки», он сказал:

— Хотя я так много говорю о России и так ею интересуюсь, в сущности я, вероятно, просто-напросто старомодный американец.

Это была высокая похвала Америке, но Америка наградила его публичным позором, а потом предала забвению так прочно, что молодое поколение не знает даже его имени. С годами сознание постепенно покидало его, трезвый ум угасал, лишь изредка вспыхивая с прежним блеском. Он умер в ноябре 1954 года восьмидесяти одного года от роду. На столике у его кровати лежала истрепанная библия, та самая, на полях которой он делал заметки в 1917 году в Петрограде. До самого конца, как писала мне его сиделка, он «держался молодцом и уверял, что чувствует себя прекрасно».

За эти последние тяжкие годы он, должно быть, много думал обо всем, что видел и пережил. В последнем письме, которое я получил от него в разгар «холодной войны» и войны в Корее, он писал: «Это знаменательные дни. Исход борьбы, которая сейчас идет во всем мире, определит жизнь многих грядущих поколений. Очень возможно, что настанет время, когда связь с Советским Союзом будет для американца не великим несчастьем, как сейчас, а великим преимуществом. Кровожадная, животная ненависть к СССР развеется, как ночной кошмар. И не только в России, но во всем мире навеки воцарится экономическая и социальная свобода, которую проповедовал великий Ленин».

Вот несколько страничек из истории о том, «что было с Рэймондом дальше». И вот почему миллионы людей не забудут, сколько бы ни заботились о том некоторые его соотечественники, этого «славного представителя своего народа и своего времени».

Лондон

* Правительство США, отдавая себе отчет в той роли, какую играл Советский Союз в мировом хозяйстве и мировой политике, в конце 1933 года установило дипломатические отношения с СССР (*Ред.*).

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нам отвечают

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ О СОВЕЩАНИИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В мартовском номере журнала «Иностранная литература» были напечатаны ответы ряда выдающихся зарубежных деятелей культуры на вопрос редакции о том, какое, по их мнению, значение могла бы иметь встреча глав правительств для развития международных культурных связей.

Уже после того, как предыдущий номер журнала был подписан к печати, мы получили письмо из далекой страны Чили. Редакция предлагает вниманию читателей ответ на ее вопрос, присланный известным латиноамериканским поэтом Пабло Нерудой.

Чили

Пабло Неруда

Я отвечаю на ваш вопрос с удовольствием. Отвечаю в момент больших волнений и больших надежд, переживаемых американским континентом. Вслед за падением диктаторов Аргентины и Колумбии, в Венесуэле потерпел крах тиранический режим Переса Хименеса. Колеблется трон из сахара и крови презренного Батисты на Кубе.

Это еще не значит, что ликвидированы все проблемы американских республик, но это значит, что в Америку проникла струя чистого воздуха.

Я имею в виду изменение удушающей атмосферы холодной войны. Величайшим стимулом для развития этого процесса будет совещание на высшем уровне. Хочу думать, что от этого совещания зависит также и практическое разрешение проблемы культурного обмена. Еще недавно в напряженной страхом атмосфере такая надежда могла показаться дерзкой.

Сегодня же растущие требования народов заставляют думать об этом самых непримиримых руководителей. Ход событий еще раз свидетельствует о правильности мирной и дружественной политики Советского Союза.

Мне, например, запрещен въезд во многие очень интересные для меня страны, в том числе в США и в Англию; чешским писателям трудно приехать в Америку. Но, кроме политических препятствий, нас разделяет система лживой информации — убийцы человеческого взаимопонимания. Я боюсь, что многие молодые писатели считают некоторые страны совершенно недоступными для изучения.

Такое положение переносит нас в мрачную эпоху средневековья, когда люди не могли и не хотели сближаться, знакомиться друг с другом.

Я хотел бы, чтобы за совещанием глав правительств, в чьих руках сосредоточены столь большие возможности, от которых зависит ход современной истории, последовало совещание деятелей литературы и искусства, разделенных сегодня различными мировоззрениями, политическими проблемами и границами.

Завоевание звездного пространства победоносно продолжается. Но мы, писатели, отстали в завоевании нашей земли, то есть в борьбе за рост взаимопонимания и культуры, в борьбе за братство между народами.

Махмуд Амин аль-Алим

Две конференции в Каире

Декабря 1957 года в Каире ждали с огромным нетерпением: в первых числах этого месяца сюда съехались писатели различных арабских стран на свою третью конференцию. А в конце декабря представители азиатских и африканских народов собрались в Каире на конференцию солидарности стран Азии и Африки, чтобы обсудить стоящие перед ними политические, экономические и культурные задачи. Мы, в Египте, чувствовали, что семена, посеянные народами Азии и Африки в течение 1957 года, года пробуждения самосознания, борьбы и жертв, дадут дружные всходы. Мы чувствовали, что эта ассамблея будет великолепным завершением года больших побед, что она явится для арабов, да и для народов всего мира, еще одним шагом на пути к новым замечательным победам.

Между конференцией арабских писателей и конференцией солидарности существует тесная связь не только потому, что обе они происходили в одном городе, ставшем в наши дни символом борьбы за независимость, солидарность и мир. На конференциях обсуждались сходные политические и культурные проблемы, многие писатели и деятели культуры наших стран принимали участие в них обеих.

„ДУХ БЛУДАНА"

Третья конференция арабских писателей явилась новым этапом развития арабской литературы.

Хотя ей предшествовали две конференции, мне кажется, однако, что первая из них, состоявшаяся в Ливане в 1955 году, не отражала подлинного, реального развития нашей новой литературы. Арабская литература и ее основные проблемы рассматривались на этой конференции в отрыве от жизни народа. Поэтому ее значение исчерпывается, в основном, тем, что она положила начало сплочению арабских писателей.

Вторая конференция происходила в Блудане (Сирия) в 1956 году. На ней деятели культуры арабских стран продемонстрировали значительно большую решительность и зрелость.

Незадолго перед тем был национализирован Суэцкий канал, и империалисты ждали только удобного случая, чтобы попытаться уничтожить нашу независимость и наше национальное правительство. Все силы народа были отданы подготовке к отражению надвигавшейся агрессии.

Надо сказать, что чувство глубокой уверенности в победе определило ход конференции. На ней обсуждались многочисленные и разнообразные вопросы: взаимоотношения между писателями и государством, связи между писателями и критиками, взаимосвязь литературы и искусства, место арабской литературы в мировой литературе. Делегатов объединяло общее стремление связать проблемы литературы с политическими задачами, а заключительные рекомендации, принятые конференцией, были проникнуты идеями национального самосознания

На конференции были представлены различные философские и литературные школы — идеалисты и материалисты, романтики и реалисты, сторонники «искусства для искусства» и «искусства для жизни». Но общенациональные задачи заставили представителей этих разнообразных школ забыть о разногласиях и объединиться в литературный фронт. Это мы и называем «духом Блудана».

Рекомендации второй конференции арабских писателей отражали высокую степень зрелости и сознательности наших писателей, подлинный характер развития арабской литературы; они явились откликом деятелей культуры на реальные нужды нашего народа. Рекомендации определили задачи, стоящие перед арабскими писателями: развивать арабское национальное самосознание, защищать наследие арабской культуры, содействовать созданию нового общества. Кроме того, в них еще раз было подчеркнуто, что задачей писателя является борьба за гуманистические идеалы. Они призвали критиков сотрудничать с писателями во имя создания художественных ценностей, проникнутых национальными гуманистическими идеалами. Конференция призвала дать возможность

писателям выполнить свою миссию без ограничения и принуждения. Она рекомендовала создать литературные общества во всех арабских странах. В заключение участники конференции обратились к деятелям культуры и писателям всего мира с призывом оказать поддержку арабам в их борьбе за независимость и мир. Все же рекомендации носили слишком общий характер. Кроме того, на конференции не были представлены такие арабские страны, как Тунис, Ливия, Алжир и Судан.

После конференции в Блудане прошло больше года. За это время наши страны выдержали серьезные испытания, наши народы приобрели опыт и добились больших побед.

Когда мировой империализм организовал агрессию против Египта и позднее, когда агрессия потерпела провал и империалисты попытались прибегнуть к реакционным заговорам, арабские писатели принимали активное участие в общенациональной борьбе. Свое творчество они посвятили делу борьбы за освобождение, единение, мир. Поэзия и проза стали боевым оружием, служившим делу победы.

В этой борьбе окончательно сложилось и оформилось арабское единство.

Арабские страны разделены искусственными границами и барьерами. Империалисты стараются сделать все возможное для того, чтобы разрушить наше национальное единство, разъединить наши силы и сделать нашу землю легкой добычей для своих монополий. Но арабские страны объединены основными национальными признаками — общностью языка, территории, национального характера, истории и взаимно дополняющими друг друга экономическими особенностями.

В течение сорока лет борьбы против господства империалистов зрело арабское национальное самосознание. В Сирии и Египте к власти пришли национальные правительства, возглавившие движение за независимость. Арабский национализм показал себя как целенаправленное революционное движение, всегда готовое поддержать борьбу за национальное освобождение в других странах, движение, плодотворно сотрудничающее с социалистическими государствами и неуклонно борющееся за осуществление национального единства арабских стран, за уничтожение власти империализма и за сохранение мира во всем мире.

ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Литература и ее связь с национально-освободительным движением — такова была общая тема третьей конференции арабских писателей. Насущные нужды наших стран нашли в ее работе более полное отражение, чем на предыдущих конференциях. Еще одной особенностью конференции было то, что на ней присутствовали представители почти всех арабских стран. Не приняли в ней участия только Саудовская Аравия и некоторые протектораты Аравийского полуострова. Надо сказать, что на конференции присутствовали неофициальные делегации тех стран, правительства которых отказались послать представителей. Как и остальные делегации, они представили доклады и принимали участие в прениях и обсуждении рекомендаций конференции.

На конференции было зачитано шестнадцать основных докладов и ряд содокладов. В их обсуждении приняли участие все арабские делегации, среди которых были писатели, представляющие различные философские течения и школы: Таха Хусейн, Махмуд Теймур, Мухаммед Мандур, Абд ар-Рахман аль-Хамиси, Абд аль-Азим Анис, Абд ар-Рахман аш-Шаркави, Юсуф Идрис, Шауки Багдади, Ханна Мина и многие другие.

Прежде чем перейти к рекомендациям конференции, я упомяну о буре, которая разразилась на заседании, посвященном теме «Защита прав писателя и арабский национализм».

Махмуд аль-Масади, член делегации Туниса, потребовал для писателя абсолютной свободы. Он утверждал, что писатель должен быть свободен от всякой политической или социальной ответственности. Он даже заявил, что духовный мир писателя не может быть связан ни с каким национальным движением. Вот тут-то и поднялась буря. Теория, выдвинутая аль-Масади, представляет собой одно из проявлений влияния, которое философия экзистенциализма оказывает на развитие арабской мысли. У этой философии есть последователи и сторонники среди арабов, но ни один из делегатов конференции не встал на защиту взглядов, высказанных тунисским делегатом. Конференция единодушно осудила взгляды аль-Масади, что ознаменовало сокрушительное поражение экзистенциалистских течений в нашей национальной культуре.

Рекомендации конференции явились живым выражением идеалов современной арабской литературы. Они начинаются с призыва ко всем писательским организациям мира поддержать национально-освободительную борьбу Алжира и решительно потребовать прекращения позорной войны, которую ведет французский империализм. Алжирскому вопросу посвящено и послание, с которым конференция обратилась в Организацию Объединенных Наций.

Первая рекомендация конференции содержит общее определение арабского национализма как выражения «духа арабской нации, ее стремлений, нужд, интересов и отношений между арабскими странами, основанных на общности территории, истории, языка и судьбы». Арабский национализм — это, кроме того, «выражение решимости бороться за свободу и единство арабской нации с тем, чтобы она могла внести свой вклад в строительство нового

мира, свободного от язв империализма, агрессии и тирании, а также в защиту и развитие мировой гуманистической цивилизации. Чтобы достичь этих целей, арабский национализм стремится к созданию общества, основанного на свободе и социальной справедливости, в котором народ сможет проявлять свою волю, развивать ресурсы своих стран, поднимать свое материальное благосостояние и жить достойной его жизнью в атмосфере спокойствия и безопасности». В то же время арабский национализм отвергает всяческие расовые или региональные предрассудки и «является провозвестником добра, справедливости и мира».

Определяя связь между литературой и арабским национализмом, конференция указала, что писатель должен быть «часовым и проводником национализма», стремиться к тому, чтобы национальные особенности страны и народа находили в его произведениях яркое отражение. Он должен обогащать духовный мир своих читателей национальными и общечеловеческими идеалами, вести борьбу за полное единение и окончательное освобождение. При этом писатель должен помнить о культурном наследии прошлого и стремиться к созданию высокохудожественных произведений.

Поэтам конференция рекомендовала, не забывая об исторических традициях, накапливать новый опыт, чтобы их творчество стало отражением целеустремленной, развивающейся жизни нации. Что касается прозаиков, то конференция призвала их обратить особое внимание на создание образа положительного героя, несущего в себе национальные черты.

Задачу критики конференция определила следующим образом: поддерживать национальное направление в литературе, а при определении художественной ценности произведения исходить из того, как раскрыты в нем национальные и общечеловеческие идеалы.

По вопросу защиты прав писателя конференция приняла несколько рекомендаций. Одна из них говорит о необходимости обеспечить писателю свободу творчества. Другая рекомендует арабским писателям не сотрудничать с издательствами, контролируемыми империалистами. Эти издательства заваливают магазины книгами, чуждыми духу нашей национальной культуры. К сожалению, подобным фирмам удалось привлечь к сотрудничеству некоторых арабских писателей и деятелей культуры. Названная рекомендация взывает к их совести.

Наконец было принято несколько практических предложений, главное из которых — образование из представителей различных арабских стран постоянного Секретариата для проведения в жизнь рекомендаций конференции. Секретариат считается также подготовительным комитетом Союза арабских писателей, который должен объединить усилия писателей по сплочению их рядов, защите их интересов, помощи творчеству и охране национальных и общечеловеческих идеалов.

Я считаю это решение одним из самых важных, ибо в наших странах еще существует много изолированных и часто враждебных друг другу литературных объединений. С другой стороны, в некоторых арабских странах вообще нет писательских организаций, и их надо создавать. Объединение арабских писателей, которое должен осуществлять Союз, явится важным фактором в упрочении единства всех национальных сил наших стран.

На конференции было ясно выражено мнение о необходимости укреплять связи арабских писателей с писателями других стран мира. Конференция обратилась к писателям мира с призывами по поводу алжирской проблемы и других проблем, стоящих перед арабской общественностью. Конференция приняла также рекомендацию, призывающую укреплять связи между создаваемым Союзом арабских писателей и литературными организациями мира. Постоянному Секретариату было рекомендовано представлять писательскую общественность на конференции солидарности стран Азии и Африки.

Я хотел бы еще отметить, что в работе третьей конференции арабских писателей принимали участие не только арабы. На ее заседаниях присутствовали писатели Германской Демократической Республики, востоковеды из Венгрии и Советского Союза и некоторые греческие писатели. Я хотел бы также выразить свою уверенность в том, что четвертая конференция арабских писателей, которая состоится в Кувейте, будет свидетельствовать о еще большей зрелости нашей литературы и принесет еще более значительные результаты.

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЛИДАРНОСТИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ

26 декабря 1957 года в Каире собрались представители народов Азии и Африки.

Со времени Бандунгской конференции многие страны этих двух континентов добились блестящих побед, которые по праву можно считать победами всего прогрессивного человечества. Еще нескольким странам удалось сбросить иго империализма и обрести независимость, другим — покончить с изоляцией, на которую обрекал их империализм. Укрепился союз между странами Востока и социалистическими государствами. Словом, колониальная система трещит по всем швам.

Если в 1955 году в Бандунге собрались представители правительств, то Каирская конференция солидарности стала ассамблеей народов. В Бандунге были представлены независимые государства Азии и Африки. На конференции солидарности присутствовали делегации многих стран как уже добившихся независимости, так и борющихся за нее.

Каирская конференция приняла много важнейших решений. Разбор ее резолюций не входит в задачи настоящей статьи. Поэтому я ограничусь лишь вопросами культуры.

Конференция призвала к установлению более тесного культурного сотрудничества между азиатскими и африканскими странами, подчеркнув тот факт, что расовая дискриминация влечет за собой преследования и в области культуры. Естественно, что участники конференции потребовали положить конец расовой дискриминации и выступили в защиту политических и культурных свобод. Конференция рекомендовала создать афро-азиатские союзы ученых, писателей, деятелей просвещения, выпустить книгу по истории стран Азии и Африки и их народов, создать международный университет, где будут изучаться проблемы Азии и Африки, и т. д. Кроме того, конференция призвала к ликвидации неграмотности и использованию литературы и искусства как средства борьбы за дело мира и процветание; она решила установить афро-азиатские ежегодные премии за успехи в области культуры, являющиеся вкладом в дело мира и независимости. Конференция призвала обратить особое внимание на поощрение научных исследований как на важный фактор экономического развития. Это дает возможность арабским государствам сотрудничать с другими странами в деле укрепления мира и достижения ими процветания. Конференция обратилась к писателям азиатских и африканских стран с призывом принять активное участие в конференции писателей стран Азии и Африки, которая состоится в Ташкенте осенью 1958 года.

Таковы некоторые из рекомендаций по вопросам культуры, принятые конференцией солидарности. Характерно, что они имеют много общего с рекомендациями третьей конференции арабских писателей. Но если эта последняя ознаменовалась активным участием наших писателей в решении национальных задач и в борьбе за дело мира, то конференция солидарности знаменует начало новой эры в установлении связей между народами Азии и Африки и тесного сотрудничества между общественностью азиатских и африканских стран. Если говорить о нас, арабах, то здесь мы впервые непосредственно соприкоснулись с национальными проблемами многочисленных народов Азии и Африки. Мы имели счастливую возможность установить личные контакты с писателями и деятелями культуры многих стран. Очевидно, то же самое можно сказать и о представителях общественности других стран, собравшихся в Каире.

Но эта встреча была плодотворной не только потому, что дала возможность обменяться опытом, ознакомиться с новыми аспектами культуры братских народов. Наши писатели стали активными участниками единого многонационального фронта деятелей культуры. Конференция была замечательным уроком для арабских писателей, она воочию показала, что значит единство и насколько актуально активное участие писателей и деятелей культуры в разрешении насущных вопросов эпохи.

Ныне арабские писатели стали участниками афро-азиатского фронта, созданного для борьбы с империализмом, для защиты мира во всем мире.

Несомненно, что конференция писателей стран Азии и Африки в Ташкенте даст возможность еще теснее сотрудничать в утверждении лучших идеалов человечества, идеалов борьбы за независимость, прогресс и мир на земле.

Каир, январь.

Эйвин Болстад

Атомные ракеты и Норвегия

После недавних дебатов по вопросам внешней политики в палате общин английского парламента один известный журналист писал: «Министр иностранных дел Селвин Ллойд только что доложил парламенту о парижской сессии Совета НАТО. Оппозиция встретила речь Ллойда невероятным шумом и возгласами негодования. Вслед за ним выступил Бивен. После этого представители прессы устремились с галереи в буфет выпить чашку чаю. За одним из столиков сидели двое журналистов, и я услышал обрывки их беседы.

Первый: Черт побери, я, кажется, становлюсь неврастеником Во время речи министра иностранных дел меня начали одолевать кошмары. Мне показалось вдруг, будто я нахожусь в огромном пассажирском самолете, летящем над Атлантическим океаном. Оба летчика мертвы, а в их кабине толпятся пассажиры, спорящие о том, как лучше управлять самолетом. Разумеется, никто из них не имеет об этом ни малейшего понятия.

Второй: Бог с тобой, что ты говоришь? Не к лицу старому политическому обозревателю такие рассуждения! У нас ведь нет другого выхода. мы вынуждены верить, что наши политические деятели знают, что они делают, по крайней мере, в области внешней политики!

Первый: А разве у нас есть хоть какие-нибудь основания полагать, что они отдают себе отчет в своих действиях? С каждым годом мы приближаемся к краю пропасти, хотя политики не скупятся на всякого рода планы и уверения, якобы гарантирующие мир...»

Подобные же настроения проявлялись и в Норвегии, но никогда еще они не выражались так открыто, как сейчас. Эти настроения порождали предельную пассивность, особенно в области политической жизни и деятельности профсоюзов. Повсеместно ощущалось нежелание четко определить свою позицию. Создавалось впечатление, словно инициативу захватили реакционные партии, опирающиеся на милитаристские круги. Они задавали тон норвежской печати. Если бы какой-либо иностранец вздумал судить о настроениях масс, то есть широких кругов народа, по высказываниям норвежской прессы, то он неизбежно пришел бы к совершенно ошибочным выводам. За последние месяцы это стало ясно не только самим норвежцам, но и всей мировой общественности, вынужденной признать, что она подчас неверно представляла себе истинное отношение норвежского народа к проблемам современности. Оказывается, что под ледяной коркой кажущейся пассивности народа скрывалось непрерывное кипение. Ровная, спокойная гладь моря скрывала глубинные течения, которые теперь все упорнее устремляются к поверхности. Все выше и выше вздымаются волны.

Недавно мне довелось присутствовать на собрании, отнюдь не носившем политического характера. Среди собравшихся были люди разных профессий и различных политических взглядов. Мне приходилось и раньше встречаться с этими людьми на подобных собраниях. Как правило, здесь всегда царил дух пассивности. Участники не стремились к трезвой политической оценке ситуации. Напротив, они старались избегать постановки каких-либо острых политических проблем, считая, что целесообразнее посвятить свои силы осуществлению мероприятий чисто гуманистического порядка. Рассуждавшие подобным образом полагали, что такая деятельность — большой вклад в дело спасения человечества. Действительно, люди, о которых я рассказываю, сделали много добрых дел. Но в то же время они как бы молчаливо соглашались с невысказанным принципом: «Только бы не пришлось определить свою точку зрения», «Как можно меньше политики!»

Теперь все это уже в прошлом.

Аудиторию всколыхнули слова одного из участников собрания, по профессии штурмана:

— Какая участь ждет Норвегию, если не будет покончено с консервацией норвежского флота? — спросил он.— После первой мировой войны мы пережили трудные времена — Норвегию постигла катастрофа. Ныне положение вещей может принять еще

более серьезный оборот. Страшно подумать о том, в какой степени наша страна зависит от мирового рынка. Вполне вероятно, что вопросы, связанные с судьбой норвежского флота, будут использованы сейчас для политического давления на нашу страну — разумеется, в том случае, если мы не вмешаемся...

За штурманом выступил механик:

— ...В последнее время все, кто работает бок о бок со мной, не переставая задают вопросы. Чувствуется, что это — те наболевшие вопросы, которые волновали людей на протяжении многих лет. Теперь каждый хочет получить разъяснение... Норвежский народ всколыхнулся. Раньше норвежцы ни о чем не спрашивали и предпочтительно молчали. Я не коммунист. Но, ради справедливости, надо признать, что люди, которые неоднократно выступали с предостережениями, всегда оказывались правы. Теперь зашевелились и многие другие газеты — не только коммунистические. Но знает ли норвежский народ, что ему грозит? Как вы думаете?

Школьный учитель сказал:

— Да, теперь народ знает. Подарок, который задумал преподнести нам к Рождеству Эйзенхауэр — атомные ракеты, — открыл глаза норвежцам. Перед лицом угрозы размещения атомного оружия на норвежской земле мы были вынуждены, наконец, четко определить свою точку зрения. Мы так долго воздерживались от каких-либо высказываний по основным проблемам современности, что откровенное заявление премьер-министра Герхардсена на сессии Совета НАТО вызвало у всех чувство облегчения. Норвегия дальше не пойдет, сказал он, выразив тем самым крепнущую решимость норвежского народа. Мы слишком долго жили словно в каком-то тумане. Лондонская Флит-стрит — улица, на которой помещаются редакции крупнейших британских газет,— задавала тон норвежской прессе как буржуазной, так и социал-демократической. Эти газеты сделали все, чтобы заставить народы Скандинавии смириться в страхе перед атомной бомбой. Они хотели, чтобы народ молчал, не выходя из состояния пассивности...

Затем слово взял плотник.

— Я не коммунист,— заявил он.— Но я согласен с тем, что говорят коммунисты, а также некоторые другие люди. Норвегия должна была сохранять нейтралитет. Мы едва не попались в мышеловку, когда Эйзенхауэр накануне Рождества прибыл со своими «игрушками» в Париж. Он собирался преподнести их нам, видимо ожидая, что мы и на этот раз раскланяемся и поблагодарим его, как мы это делали на протяжении двенадцати лет. Да, все эти годы мы только кланялись, стараясь как можно выше поднять воротник и затыкая уши ватой, чтобы только не слышать того, что нам говорили, что мы сами должны были осознать. Но, кажется, теперь наступило пробуждение. Во всяком случае, у нас на производстве это сильно чувствуется.

Вопросы внешней политики вызывают теперь оживленные споры, — то ли было несколько месяцев назад!

Разумеется, запуск искусственных спутников Земли — событие огромного значения. Казалось, за одну ночь рухнул миф о мнимом превосходстве Запада. Для нас это был благословенный холодный душ. Я говорю — благословенный, ибо этот душ вовремя привел нас в чувство — в последнюю, решающую минуту. Он разогнал нависшие над нами тучи. Все норвежцы, без каких-либо исключений, сразу осознали силу и могущество Советского Союза. Пышные, лживые заголовки, на протяжении десяти лет бороздившие страницы норвежских газет, были забыты. Сорван покров с гигантского здания лжи, которое упорно воздвигали в течение всех предыдущих лет. Широкие круги норвежцев осознали свои прежние заблуждения. Люди начали самостоятельно мыслить и рассуждать. В этом — важнейшее значение запуска спутников. Лично я нисколько не сомневаюсь в том, что Норвегии необходимо как можно скорее выйти из Атлантического пакта. Путь, на который мы вступили, приведет нас к гибели. Многие норвежцы еще не пришли к этому выводу. Однако общественное мнение развивается именно в этом направлении. Надо найти выход из создавшегося тупика, и народ требует, чтобы наше правительство нашло этот выход. Во всяком случае, я так думаю и так же думают другие люди, ранее колебавшиеся в этом вопросе.

Тут в разговор вмешался учитель:

— Сам Эйзенхауэр признал, что в области просвещения Советский Союз занимает первое место. Возможно, это заявление произвело на определенные круги норвежского народа не меньшее впечатление, чем запуск спутников. Оно явилось, пожалуй, даже еще большей сенсацией в тех кругах, которые никогда не поверили бы этому, не будь заявления самого Эйзенхауэра... Теперь окончательно отпали всякие сомнения. Уже никто не верит клевете по адресу Советского Союза. Норвежцы не могут успокоиться. Люди все отчетливее ощущают, что в течение многих лет они заблуждались, не знали истинного положения дел. Мы не намерены переоценивать значение новых течений и настроений, возникших в норвежском народе, но было бы так же непростительно игнорировать их. Тенденция ясна: все больше норвежцев выступает против Атлантического пакта, против превращения своей страны в базу для атомных ракет...

— Разве не удивительно, что теперь мы сообща обсуждаем все эти вопросы, — сказал портовый рабочий.— Я думаю, что то же самое происходит и во многих других местах, и все немало этим удивлены. Так, например, послание Советского правительства обсуждалось даже в самых реакционных буржуазных кругах. А что вы думаете обо всем этом, господин инженер?

Инженер неторопливо выбил из трубки пепел, продул ее, затем провел по губам ладонью.

— Совершенно бесспорно, — ответил он, — что письмо главы Советского правительства вызвало широкие отклики. Разумеется, не все понимают, что является главным в международной обстановке. Но все же, в той или иной степени, норвежцы впервые ясно ощутили, что они столкнулись с явлением, по отношению к которому каждый обязан определить свою позицию. Будет ли эта позиция отрицательной или же положительной — с моей точки зрения, менее существенно. Самое главное состоит в том, что людское море наконец всколыхнулось, что оно бурлит и пенится, как здесь говорили раньше, что на нем взлымаются волны, а в глубинах его прокладывают путь различные течения. Люди должны взять свою судьбу в собственные руки. Народное мнение должно окончательно определиться. Уже сейчас мы видим, как оно формируется. Но еще пройдет некоторое время, прежде чем воля народа проявится с полной силой. Вы, наверно, обратили внимание на то, что впервые за период с 1945 года всеобщей критике подвергся бестактный рождественский подарок Эйзенхауэра. Американцы и англичане рассматривают Норвегию как своего рода колонию высшего типа. Однако норвежский народ отнюдь не разделяет подобных взглядов. Колониализм интересует только капиталистов, которые гонятся за барышами. Кое-кто недавно вновь пытался запугать норвежцев, как это делалось в период венгерских событий. На этот раз «пропаганда страха» не подействовала. Народ все упорнее требует, чтобы его подробно информировали о положении Норвегии на международной арене. Наше правительство подчас бывало склонно забывать о необходимости ставить народ в известность о своих намерениях. Однако вам, рабочим, не стоит презрительно отзываться о всех так называемых буржуа, говоря об отношении к Атлантическому пакту, а также к планам размещения атомных ракет на норвежской земле. В кругах буржуазных партий растет уверенность в необходимости выхода Норвегии из Атлантического пакта. Что касается планов размещения установок для запуска ракет, то на это идут только крайне правые политики и капиталисты.

Портовый рабочий произнес:

— Я думаю, что буржуазные круги лишь в самое последнее время пришли к тем выводам, о которых вы говорите, господин инженер.

Инженер зажег трубку, несколько раз затянулся и затем продолжал.

— Многие представители либеральной буржуазии издавна разделяли взгляды коммунистов на сущность и природу Атлантического пакта. Но то, что активность этих кругов буржуазии резко возросла именно за последние месяцы,— несомненно верно. Снежный ком пришел в движение. Кто знает, чем все это кончится через несколько месяцев? Для норвежцев не существует более одиозной политической фигуры, чем Даллес — ближайший помощник и правая рука Эйзенхауэра. Заметьте: об этом никто не спорит. Начиная с крайне правых кругов и кончая коммунистами, все говорят. Даллес слишком ощутимо напоминает зловещие фигуры прошлого, вопли которых до сих пор звенят у нас в ушах... Нам, норвежцам, кажется, что Даллес принадлежит к канатоходцам, любящим балансировать на грани войны и мира и готовым к любому рискованному шагу, не заботясь даже о том — есть ли предохранительная сетка или нет. Если подобный акробат слаб на ноги, да и на голову,— то дело плохо.

Теперь люди спрашивают: разве не Даллес в свое время протащил оружие в Южную Корею? Может быть, он замышляет здесь нечто подобное со своими атомными ракетами? Эти рассуждения показывают, что события прошлых лет ожили в памяти людей. Теперь люди по-новому смотрят на прошлое, теперь, когда их собственную страну ставят в аналогичное положение и пытаются навязать ей двусмысленную роль. Разговоры об атомных ракетах и о размещении баз на норвежской земле заставили нас вспомнить прошлое, и это привело к неожиданным результатам. Тот, кто извлек из опыта прошлого определенные уроки, тот уже не хочет молчать. Истина распространяется, словно круги от камня, брошенного в воду. Весь народ сознает, что мы подошли к решающему моменту. Дискуссия о будущем нашей страны скоро разгорится в каждом доме, в каждой норвежской семье. Отважится ли премьер-министр Герхардсен провести народный опрос по важнейшим проблемам ближайшего будущего? Возможно, что он будет вынужден сделать это. Никогда еще деятельность сторонников мира не имела такого актуального значения, как сейчас. Норвежский народ, как и народы Западной Европы, стремится вырваться из мрака неведения, чтобы реально оценить обстановку. Народ более не соглашается признавать нормальным сложившееся положение, зиждящееся на холодной войне. Пусть капиталистическая печать продолжает защищать свою точку зрения. Люди хотят знать правду. Многие словно пробуждаются от долгой спячки и оказываются лицом к лицу с тяжелыми последствиями безумной гонки вооружений. В эти дни такое внезапное пробуждение — участь многих и многих людей...

Инженер вновь разжег потухшую трубку и закончил свою мысль:

— Каждый интеллигент положа руку на сердце должен признать, что норвежский народ хотят увлечь на самый опасный путь в этой рискованной авантюре, которую задумали политики Запада. Если Норвегия будет превращена в базу для атомных ракет и внезапно начнется война, то вполне очевидно, что первой пострадает и будет разрушена наша страна. Мы — ближайшие соседи Советского Союза, и нам первым надлежит вырваться из этого адского пакта... Серьезное отношение к советским предложениям стало жизненной необходимостью

для Норвегии. Вероятно, в ближайшем будущем профсоюзы потребуют от правительства, чтобы оно взяло на себя инициативу и пошло навстречу советским предложениям. Нашему правительству тем самым будет вновь предоставлена возможность сказать свое решительное слово. Норвегия, слава богу, еще не находится в положении чьей-либо прислужницы.

Выступил юноша, присутствовавший на собрании:

— Я член организации рабочей молодежи, примыкающей к правительственной партии. Однако в нашей газете «Фрит слаг» от 12 января была опубликована редакционная статья, в которой говорилось, что Атлантический пакт не вселяет нам никакого чувства безопасности. Автор передовой писал далее, что норвежская точка зрения по вопросу размещения ракет, высказанная на совещании НАТО в Париже, была единодушно одобрена всем норвежским народом и особенно молодежью. В широких кругах народа непрерывно растет стремление к ослаблению международной напряженности и к установлению взаимопонимания с другими странами. Молодые коммунисты и представители молодежи, входящей в радикальные буржуазные организации, также согласны с нами в этом вопросе. Это означает, что свыше половины политически сознательной молодежи страны сформулировало свое отношение к базам и атомным ракетам. Многие считают, что пребывание Норвегии в организации Северо-атлантического пакта является крайне нежелательным. Молодежь ясно заявляет, что она требует выхода Норвегии из НАТО. Стремление молодежи скоро, несомненно, воплотится в прямое и решительное требование...

Мы надеемся, что норвежское правительство, правительство нашей партии, приступит к самому серьезному обсуждению советских предложений о разоружении даже в том случае, если США, Англия и Франция сорвут предлагаемую встречу на высшем уровне. Никто не сомневается в том, что встреча между главами двух крупнейших держав или между представителями четырех или пяти крупнейших держав мира приведет к быстрому ослаблению международной напряженности. Сознательная молодежь понимает, что 1958 год — во всех отношениях новый год. Все старые пропагандистские трюки, которые объяснялись стремлением «спасти престиж», безнадежно устарели и никому не нужны. Слишком серьезна сложившаяся ситуация. Любое рукопожатие за круглым столом сейчас больше значит, чем составление трактатов, скажем, в 1956 году. Реальная обстановка и логика событий требуют скорейшего созыва совещания глав правительств крупнейших держав мира. После этого министры смогут приступить к дальнейшей разработке заключенных соглашений с таким расчетом, чтобы достигнуть на этой основе наилучших результатов. Народ не сомневается в том, что такая встреча будет полезна, и он желает ее осуществления...

Затем слово взял моряк, плававший на судах во время войны:

— Политики Запада допустили, чтобы радиоактивная пыль распространялась в атмосфере. Эта пыль оседает с дождем и снегом. Что это означает для Норвегии, где, как известно, наблюдается большое количество таких осадков? Западные державы посылают свои бомбардировщики в разные концы земли, оснащая их атомными бомбами. Все мы зависим от точности и бдительности того или иного летчика. Представим себе, что какой-нибудь летчик неправильно расшифрует кодированную телеграмму и сбросит атомную бомбу на какую-либо из стран народной демократии. Это будет означать немедленную войну... А если кто-либо из летчиков сойдет с ума? Мы же знаем, как в Америке злоупотребляют наркотиками. Это страна пилюль. Форрестол, как известно, помешался... Все это вспоминается людям, когда они собираются вместе и начинают обсуждать важнейшие проблемы. Прислушиваясь к вашей беседе, я сам подумал об этом. Я думаю, что повсюду в Норвегии люди размышляют над подобными проблемами и с каждым днем реагируют на них все острее и острее. Советские предложения о созыве совещания на высшем уровне указывают нам выход из тупика. Мои коллеги по работе нисколько не сомневаются в этом. Правда, еще очень много людей старшего поколения, как и, пожалуй, самого юного возраста, были бы не прочь отмежеваться от всех этих неприятных вопросов, хотя бы еще ненадолго. Но даже и эти люди изменились. Пусть изменения не слишком велики, но они необратимы!

Встал журналист:

— Самое страшное заключается в том, что западные державы практически находятся в состоянии полной мобилизации. Это равносильно игре со смертью. В этой игре Норвегия не желает принимать участия. Теперь уже ничем нельзя оправдать дальнейшее участие Норвегии в Атлантическом пакте.

Представитель партии «Венстре» заявил:

— США несколько раз нарушали условия соглашения об Атлантическом пакте. Единодушные критические высказывания за этим столом объясняются тем, что США хотят сорвать новые предложения Советского Союза. Между тем эти предложения являются самой важной, самой актуальной темой. Тот, кто сейчас стремится сорвать мирные переговоры, ощутит могучее воздействие мирового общественного мнения. Это относится ко всем нациям без исключения.

В беседу снова включился портовый рабочий:

— Почему бы нам не согласиться с предложением о создании «безатомной» зоны в Европе, простирающейся от Норвегии на севере до Греции на юге? Кажется, Иден в прошлом соглашался с подобным планом. Теперь же, когда это предложение выдвигается странами народной демократии и

Советским Союзом, они пытаются опорочить его.

Конторский служащий сказал:

— Все это совершенно ясно. Норвежцам надоело служить мелкой разменной монетой в крупной игре, которую ведут страны Атлантического пакта. Надо учесть, что мы первыми будем принесены в жертву... Повсюду широко распространено недовольство нашей внешней политикой. Крупнейшая газета, выходящая в Осло,— «Дагбладет» — уже давно выступает против политики баз. Теперь на страницах других газет встречаются все чаще подобные высказывания.

Студент, изучающий торговлю и экономику, заметил:

— Нам, норвежцам, предстоит решить — хотим ли мы продолжения холодной войны с постоянным страхом перед завтрашним днем, который вселяли в нас, начиная с 1945 года, наши так называемые западные друзья; мы должны сделать выбор между инфляцией и депрессией, с одной стороны, и перспективой нейтральной Норвегии, с другой. США, Англия и Франция так часто нарушали условия Атлантического пакта — нет нужды говорить при этом о суэцкой авантюре,— что Норвегия может без всяких угрызений совести идти на этот разрыв.

Внезапно со своего места поднялся коммерсант и недовольным тоном сказал:

— Мне надоело слушать все это. Мы же договорились о том, что, занимаясь деятельностью, направленной в защиту мира, не будем спорить о политике.

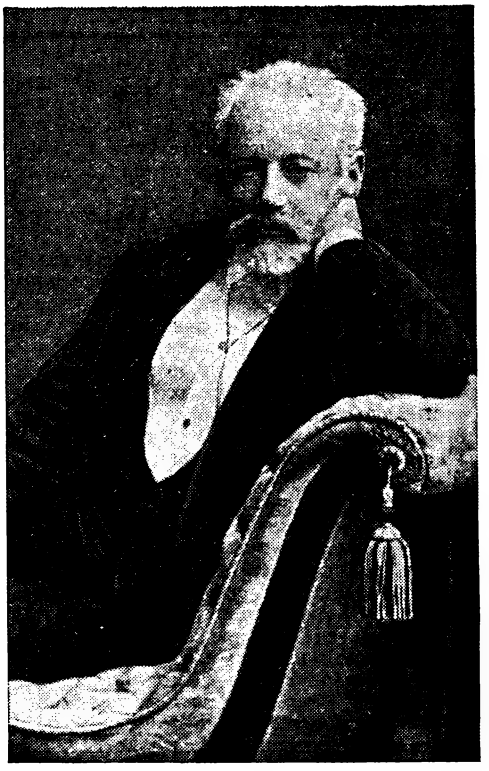
Ему ответил портовый рабочий:

— Но ведь это — не политический спор. Мы лишь пытаемся определить, в каком направлении надо вести работу по защите мира. Мы все согласны с тем, что наши политические интересы должны отступить на задний план перед интересами общего дела — защитой мира. Весь норвежский народ, все сторонники мира должны определить свое отношение к конкретным предложениям, выдвинутым Советским правительством. Мы обязаны также осудить те государства, которые срывают усилия, направленные на ослабление международной напряженности. Это осуждение коснется любой нации, ошибочно оценивающей сложившуюся ситуацию и эгоистически заботящейся только о собственном благе, независимо от того, находится ли эта страна на Востоке или на Западе!

* * *

Мы стоим у входа в ресторан на горе Флейфьеллет. Под нами на триста метров ниже лежит город — сверкающее море огней. На темном безоблачном небе платиновый диск луны. За городом простирается «страна тысячи островов», а за нею — море. Оно тихо колышется, отражая серебристый лунный свет, и уходит вдаль так далеко, что горизонт кажется нам черной, проведенной на небе линией. Вечер необыкновенно ясен. Могучее, зовущее море, с его извечным обаянием, влечет молодежь, жаждущую увидеть свет, землю, на которой царит мир.

Берген



ПИСЬМА ПЕТРУ ИЛЬИЧУ ЧАЙКОВСКОМУ

от Франца Листа, Камиля Сен-Санса, Зигмунда Бюргера, Эмиля Зауэра, Дезире Арто, Фредерика Ламонда, Джона Пейла, Чарльза Вильерса Стэнфорда, Уолтера Дэмроша и других зарубежных корреспондентов.

Талант Петра Ильича Чайковского уже в 70-х годах прошлого века привлекал к себе внимание как широкой музыкальной общественности, так и многочисленных любителей музыки далеко за пределами России.

«Имя Чайковского,— сообщал в 1878 году из Парижа Л. Н. Толстому в своем письме И. С. Тургенев,— здесь очень выросло после русских концертов в [зале] Трокадеро...» Н. Г. Рубинштейн исполнил тогда Первый концерт для фортепьяно с оркестром под управлением Эдуара Колонна.

1888 год принес композитору широкую известность: в этом году он дирижировал своими произведениями в Берлине, Париже, Праге, Лондоне. В последующие годы Петр Ильич объехал крупнейшие города и столицы Европы и Америки.

«...Дело не в том,— писал Чайковский о своих поездках за границу,— что именно я удостоился внимания европейской публики, а в том, что в лице моем было оказано внимание, была чествуема вся русская музыка, все русское искусство...»

П. И. Чайковский, как и Н. Г. Рубинштейн, продолжал традиции популяризации русской музыки за рубежом, начало которым положил М. И. Глинка, первым из русских композиторов выступивший за границей с концертами из своих произведений. П. И. Чайковский заботился также об устройстве в России гастролей иностранных дирижеров, пианистов, певцов. В середине 80-х годов имя Чайковского было уже настолько известно и любимо, что многие музыканты добивались чести участвовать в его концертах, а различные музыкальные общества стремились к тому, чтобы украсить его именем список своих почетных членов.

В числе корреспондентов Чайковского — большое количество зарубежных деятелей культуры, среди которых были и крупнейшие представители музыкального мира Европы и Америки и просто почитатели рус-

ского композитора из Голландии, Англии, Италии, Турции, Испании, Америки, Германии и других стран. Но опубликовано в печати лишь весьма незначительное количество писем к Чайковскому от зарубежных корреспондентов.

Первый биограф великого композитора Модест Ильич Чайковский (1850—1916) более других привлек в свой трехтомный труд «Жизнь П. И. Чайковского» корреспонденцию своего брата. Но письма иностранных корреспондентов занимали и там минимальное место. Между тем, представляется вполне законным не только научный, но и познавательный интерес к этой мало известной странице биографии Чайковского.

Многие из этих писем являются ярчайшим свидетельством живой связи П. И. Чайковского со своими славными современниками. Они проливают свет на большой период жизни и творчества гения русской музыки — от ранних концертов из его сочинений и до последней просьбы американского дирижера Уолтера Дэмроша позволить ему первому исполнить в Америке новое произведение Чайковского. Когда было получено письмо Дэмроша, Петр Ильич только что вернулся из своего последнего гастрольного путешествия за границу. В Кэмбридже ему была торжественно вручена степень доктора музыки honoris causa. 18 июля 1893 года Чайковский вернулся в Клин и уже через день приступил к инструментовке новой симфонии. Свою последнюю, шестую («Патетическую») симфонию он исполнил 28 октября в Петербурге. Это было его последнее артистическое выступление. 6 ноября 1893 года Петр Ильич Чайковский скончался, но письма, адресованные ему из многих стран, все продолжали прибывать в город Клин...

Музыка Чайковского неувядаема и бессмертна. И те 65 лет, которые прошли со дня смерти великого композитора, принесли ему всенародную мировую славу, не сравнимую с той известностью, которую он успел познать при жизни.

* * *

Все публикуемые здесь письма написаны на французском языке. Они расположены в хронологическом порядке. Их даты (авторские и установленные) помещаются в верхнем правом углу письма, независимо от того, где они поставлены в подлиннике. Содержание ответов П. И. Чайковского неизвестно. Подлинники, по которым публикуются настоящие письма, находятся в Домемузее П. И. Чайковского в Клину. Общий шифр писем—Отд. № II, группа А, индекс а¹. В примечаниях к каждому письму указывается только его инвентарный номер.

1

От Франца Листа

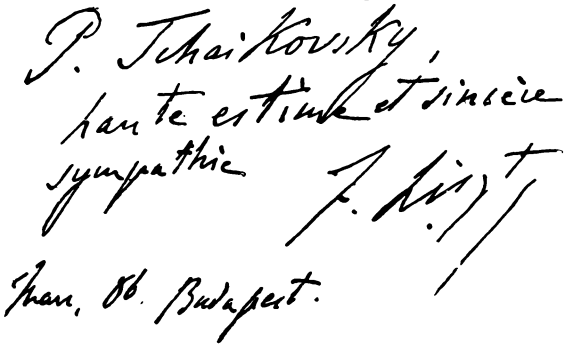
(Венгрия)

Март 1886 г., Будапешт

Глубокоуважаемый коллега!

За неимением портрета, о котором Вы упоминаете, я прошу Вас принять прилагаемую фотографию, с выражением самых лучших и сердечных к Вам чувств.

Ф. Лист



Автограф Ф. Листа на обороте фотографии, подаренной им П. И. Чайковскому.

(Инв. № 2141).

...прошу Вас принять прилагаемую фотографию... — на обороте фотографии, подаренной Ференцем (Францем) Листом (1811—1886) Чайковскому, надпись: **«П. Чайковскому. Громадное уважение и искренняя симпатия. Ф. Лист. Март, 86. Будапешт».**

П. И. Чайковский и Ф. Лист встретились впервые в 1876 году в Байрейте на открытии Вагнеровского театра.

Чайковский много писал о творчестве Листа в музыкально-критических статьях 1868—1876 годов.

2

От Камиля Сен-Санса

(Франция)

Воскресенье [После 1 июня 1886 г., Париж]

Дорогой собрат по искусству!

Оказывается, Вы заезжали ко мне. Я ничего не знал об этом. Письма и визитные карточки часто теряются в моем доме. Моя престарелая племянница засовывает их в ящики столов и коробки, а потом о них забывает; в конце концов я обнаруживаю их, но уже поздно.

Как бы то ни было: если факты и против меня — не верьте этому. Я всегда Ваш верный и преданный друг. Не забывайте об этом никогда.

Сердечно Ваш

Камиль Сен-Санс

Дата письма установлена по записи в дневнике П. И. Чайковского о его визите к Сен-Сансу 1 июня 1886 г. (Инв. № 4000).

Сен-Санс, Камиль (1835—1921) был первым, кто поощрил Чайковского выступить со своими произведениями в Париже. В свою очередь П. И. Чайковский, будучи членом дирекции Русского Музыкального общества, способствовал популяризации музыки Сен-Санса в России. В 1875 г. Чайковский в своих статьях о московских концертах Сен-Санса восторженно приветствовал его и как исполнителя на фортепьяно и как дирижера, указывая, что «Г. Сен-Санс принадлежит в своем отечестве к небольшому кружку представителей идеи прогресса в музыке».

3

От Зигмунда Бюргера

(Венгрия)

12 января [1888 г.], Будапешт

Дорогой маэстро!

Позвольте мне поблагодарить Вас за Ваше очаровательное письмо и сообщить Вам о новом успехе Ваших «Вариаций на тему рококо», которые я сыграл здесь в прошлый понедельник.

Из немецких газет я узнал, что Вы намерены отправиться дирижировать своими сочинениями в Прагу, и я позволяю себе спросить Вас, не мог ли бы я исполнить там Ваши «Вариации», что, правда, потребует некоторого изменения в намеченной программе.

Я был бы в восторге, если б меня послушали под Вашим выдающимся дирижированием. Не откажите в любезности, дорогой маэстро, сообщить мне Ваш ответ на мое предложение.

Примите уверения в моем глубочайшем уважении,
Весьма Вам преданный

Зигм. Бюргер

P. S. Если случайно у Вас есть Ваша фотография, я осмелюсь попросить Вас сделать мне честь прислать ее.

(Инв. № 370).

Бюргер, Зигмунд (1856—1908) — известный венгерский виолончелист, солист Королевской оперы в Будапеште.

...исполнить там Ваши «Вариации»...— «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром (ор. 33, 1876, посвящ. В. Фитценгагену). 1-е исполнение в 1877 г. (Москва). Известно, что П. И. Чайковский дирижировал этим произведением лишь в 1893 г. (Одесса).

4

От Эмиля Зауэра

(Германия)

26 августа 1888 г., Берлин

Дорогой маэстро!

Я только что узнал о Вашем намерении гастролировать будущей зимой в Германии. Вы знаете, что я один из самых больших Ваших поклонников, и я обращаюсь к Вам с просьбой о милости, которая была бы одной из самых дорогих в моей артистической жизни.

26 октября я должен (впервые в Германии) играть в Берлинской «Sing Academie» в сопровождении оркестра филармонического общества Вашу великолепную «Концерт-

ную фантазию». И я осмеливаюсь просить Вас согласиться продирижировать ею, если это не сопряжено с большими для Вас трудностями.

Я верю и хочу, чтобы Ваше присутствие было не только большой честью для меня, но и внушило бы мне желание понравиться Вам и заслужить Ваше горячее одобрение, а это словно наэлектризовало бы мою игру. Я думаю, что могу Вам обещать, дорогой маэстро, что Вы будете удовлетворены ею.

В надежде на благоприятный ответ с тревогой ожидаю от Вас нескольких слов.

Во всяком случае, простите смелость моего поступка, поскольку я Ваш очень покорный и очень ревностный поклонник.

Зауэр Эмиль

(Инв. № 1228).

Зауэр, Эмиль (1862—1942) — видный немецкий пианист, педагог и композитор, ученик Н. Г. Рубинштейна (по Московской консерватории) и Ф. Листа. Гастролировал в Москве, Петербурге и других городах России. Под управлением Чайковского Зауэр играл Первый фортепьянный концерт в 1889 г. в Дрездене.

...Вашу великолепную «Концертную фантазию» — произведение П. И. Чайковского для фортепьяно с оркестром, 1884 г., ор. 56. Посвящено С. Ментер (первоначально — А. Н. Есиповой). Первые исполнители — М. Эрдмансдерфер (дирижер) и С. И. Танеев (партия фортепьяно), Москва, февраль 1885 г. Сам П. И. Чайковский дирижировал «Концертной фантазией» в 1887, 1889 и 1893 гг. в Москве и Петербурге.

5

От Дезире Арто

(Франция)

8 ноября 1888 г., Берлин

Дорогой маэстро!

Я желала только одну песню — Вы же щедро написали мне целых шесть. Говорят: расточителен, как король; забыли прибавить, или как артист.

Естественно, что я сгораю от любопытства познакомиться с ними, но я не хочу причинять Вам лишних хлопот. Я подожду, пока Юргенсон их издаст, но уж тогда попросите его переслать их сейчас же, сейчас же сюда.

Я не благодарю Вас, но будьте совершенно уверены в том, какую радость доставило мне столь быстрое и хорошее исполнение Вашего обещания; лишь бы талант мой оказался на высоте Вашего вдохновения.

Чтобы не забыть: я прошу у Вас еще одной услуги. Моя маленькая ученица Зигрид Арнольдсон ангажирована вместе с моим мужем в Итальянскую оперу в Санкт-Петербург. Ей хотелось бы спеть в «Севильском цирюльнике» Вашу «Колыбельную». Она ее разучила в Париже и исполняла там с огромным успехом. Инструментована ли «Колыбельная»? Если нет, не могли бы Вы заказать инструментовку кому-нибудь из Ваших учеников? Но это спешно, так как Зигрид должна дебютировать 14 ноября по русскому стилю и хотела бы ее исполнить в тот же вечер.

Если Вы расположены заказать эту работу, которая будет оплачена так, как Вы найдете удобным, то велите сообщить Арнольдсон об этом два слова в театр Панаева. Она будет там через несколько дней, так как вчера она уехала, завтра поет в Варшаве и оттуда направится в Санкт-Петербург, чтобы начать репетиции.

Мне незачем говорить Вам, каким праздником будет для нас увидеть Вас вновь в Берлине, и уже сегодня, заранее, я отнимаю у Вас один вечер — когда захотите и с кем пожелаете.

В ожидании счастливого возвращения я шлю Вам привет от моего мужа, а сама от всего сердца жму Вашу руку.

Ваш друг

Д. Арто де Падилла

(Инв. № 120).

Арто, Маргарита Дезире, в замужестве **Падилла** (1835—1907) — выдающаяся французская певица. Обладая меццо-сопрано, исполняла также и партии драматического и колоратурного сопрано. Неоднократно гастролировала в Петербурге и Москве в составе итальянских трупп.

П. И. Чайковский познакомился с Арто во время ее приезда в Москву в 1868 г.; их знакомство переросло в большую дружбу. Вскоре Чайковский объявил своим родителям об их решении вступить в брак. Однако этот брак не состоялся — Арто вышла замуж за испанского певца Мариана Падилла-и-Рамос (1842—1906).

...Вы же щедро написали мне целых шесть — в ответ на просьбу Арто сочинить для нее романс Чайковский написал и посвятил ей шесть романсов: «Серенада», «Разочарование», «Серенада», «Пускай зима», «Слезы», «Чаровница».

21 августа 1889 г. Арто писала Чайковскому: **«Наконец, наконец, дорогой друг, Ваши романсы у меня в руках. Теперь они ждут моего исполнения. Несомненно, 4, 5 и 6 великолепны, а первый — серенада — восхитителен и очаровательно свеж.**

Мне очень нравится «Разочарование». Одним словом, я влюбилась в Ваши новые чада и горжусь тем, что Вы создали их, думая обо мне». (Инв. № 122).

...пока Юргенсон их издаст...— П. И. Юргенсон (1836—1903) возглавлял крупнейшую музыкально-издательскую фирму в России, основанную им в 1861 г.

Арнольдсон, Зигрид (1861—1943) — известная шведская оперная артистка. Дебютировала и затем часто выступала в России.

...в Итальянскую оперу в Санкт-Петербург — Итальянская опера в России имеет давнюю историю, начало которой относится к 1760 г. Постоянная итальянская труппа существовала в Петербурге в 1834—85 гг.; в 80-х и 90-х годах итальянские оперные спектакли устраивались отдельными антрепренерами.

...Вашу «Колыбельную» — до 1888 г. и позднее П. И. Чайковский написал несколько «Колыбельных песен»: ор. 16 (1872), ор. 54 (1883) и др. О какой именно «Колыбельной» упоминает Арто — неизвестно. Это единственно известный случай исполнения «Колыбельной» Чайковского в опере Россини «Севильский цирюльник». По традиции, в России в сцене урока музыки в этой опере исполнялся «Соловей» Алябьева.

6

От дирекции Национального театра в Праге

(Чехословакия)

29 марта 1892 г., Прага

Господину П. И. Чайковскому. Оперному композитору. Клин.

Милостивый государь.

За отсутствием директора г-на Ф. А. Шуберта, пребывающего в Италии, я беру на себя смелость, знаменитый маэстро, выразить Вам от лица администрации Национального театра самую горячую благодарность за Ваше доброжелательное ходатайство перед директором г. Поллини касательно Вашей прекрасной оперы «Евгений Онегин».

Я только что получил ответ г. Поллини, в котором он, в связи с Вашей просьбой, выражает согласие на то, чтобы опера «Евгений Онегин» была представлена в Вене артистами Национального театра во время наших венских гастролей.

Будьте уверены, прославленный маэстро, в том, что Национальный театр приложит все возможные усилия, чтобы исполнить Вашу оперу в Вене достойнейшим образом.

С самым большим уважением, милостивый государь, преданный Вам.

За дирекцию Национального Богемского Королевского театра

[Подпись неразборчива]

(Инв. № 968).

Поллини, Бергард (1838—1897) — немецкий импрессарио. Ряд лет был директором Итальянской оперы в Москве и Петербурге.

...Вашей прекрасной оперы...— опера «Евгений Онегин» впервые была поставлена в Праге в 1888 г. Спектаклем, прошедшим с огромным успехом, дирижировал сам композитор. Чайковский высоко оценил исполнительское искусство Берты Ферстер Лаутерер (Татьяна), Богумила Бенони (Онегин) и Владислава Флорианского (Ленский).

7

От Фредерика Ламонда

(Великобритания)

30 апреля 1892 г., Франкфурт-на-Майне.

Почтенный маэстро!

Я осмеливаюсь поставить Вас в известность о том, что мне удалось исполнить Ваш концерт для фортепьяно си бемоль минор впервые в крупнейших городах Великобритании и позднее повторить его в лондонском «Cristal Palace».

С гордостью сообщаю Вам, что каждый раз, исполняя Ваше произведение, я имел большой успех. Я также спешу Вам сообщить, что Ваш Концерт № 2 соль мажор и «Концертная фантазия» — лучшие музыкальные произведения моего репертуара и что их всегда сопровождает большой успех.

Я был бы Вам вечно признателен, если бы Вы были столь добры, чтобы предоставить мне возможность дебютировать в концерте с оркестром в Москве или другом русском городе.

Простите, почтенный маэстро, за причиняемое Вам моей просьбой беспокойство и примите еще раз уверения в моем совершенном почтении.

Фредерик Ламонд

(Инв. № 2037).

Ламонд, Фредерик (1868—1948) — известный шотландский пианист, педагог и композитор. Гастролировал в России в 1898 г.

...концерт для фортепьяно си бемоль минор...— Концерт № 1, ор. 23 (1875), посвящен первому его исполнителю на фортепьяно немецкому пианисту и дирижеру Гансу фон Бюлову.

...Концерт № 2... — сочинение 1879—1880 гг., ор. 44. Посвящен Н. Г. Рубинштейну. Впервые исполнен С. И. Танеевым в Москве, май 1882 г.

8

От Ассоциации артистов-музыкантов Брюсселя

(Бельгия)

29 ноября 1892 г., Брюссель

Уважаемый маэстро!

Мы были счастливы получить от Вас благоприятный ответ на нашу просьбу. Ваше письмо подтверждает, что Вы не только великий художник, но и благородный человек. Ваша симпатия к нашему делу глубоко нас трогает. Однако мы твердо надеемся вручить Вам ту скромную сумму, которой Вы решили удовольствоваться.

Что касается программы, то мы еще ни на чем не остановились. Мы пригласили г. Руммеля для исполнения Вашего Концерта № 2. Мы знаем, что Вы создали восхитительные балетные мелодии, миниатюрный марш, очень эффектную увертюру, в которой разработаны, если не ошибаюсь, русский мотив и Марсельеза. Но мы предоставляем Вам быть единственным судьей в том, что Вы сочтете лучшим для брюссельской публики.

Смеем ли мы все же просить Вас включить в программу и несколько вокальных произведений? Артисты нашей оперы сочли бы за честь и удовольствие быть исполнителями Вашей прелестной музыки.

Сегодня же вечером я сделаю в прессе сообщение о том, какое наслаждение мы доставим 14 января брюссельским любителям музыки.

А пока, уважаемый маэстро, примите нашу искреннюю благодарность и выражение нашего почтительного уважения.

За Комитет, секретарь
А. Лейнер

(Инв. № 129).

Ассоциация артистов-музыкантов Брюсселя — была организована в 1846 г. с целью оказания помощи нуждающимся бельгийским музыкантам.

14 января 1893 года Чайковский дирижировал в Брюсселе Третьей сюитой, Первым фортепьянным концертом, сюитой из «Щелкунчика», отрывками из «Струнной серенады» и увертюрой «1812 год». Впоследствии Петр Ильич писал: «Я отказался от гонорара ввиду благотворительной цели концерта, и это обстоятельство очень тронуло артистов».

Руммель, Франц (1853—1901) — известный немецкий пианист и композитор. Преподаватель Берлинской консерватории Штерна. Участвовал в брюссельском концерте Чайковского.

...восхитительные балетные мелодии...— к тому времени П. И. Чайковским была создана музыка всех трех его балетов: «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889) и «Щелкунчик» (1892).

...миниатюрный марш...— из Сюиты № 1 (1878—1879). Первое исполнение состоялось в 1879 г. в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна.

...эффектную увертюру...—«1812 год», торжественная увертюра, ор. 49 (1880). Впервые исполнена под управлением И. К. Альтани в Москве, август 1882 г.

9

От Джона Пейла

(Великобритания)

12 декабря 1892 г., Кэмбридж

Милостивый государь!

В качестве вице-канцлера (ректора) Кэмбриджского университета, я с особенным удовольствием обращаюсь к Вам от имени Академического Совета с вопросом: согласны ли Вы принять от Президиума нашего Университета степень доктора музыки honoris causa.

Должен предупредить Вас, что согласие принять эту степень потребует Вашего непременного присутствия в Кэмбридже для получения ее из моих рук на заседании Президиума. Будете ли Вы иметь возможность, милостивый государь, прибыть сюда с этой целью в первой половине июня будущего года?

Если бы Вы могли, а мы на это надеемся, исполнить наше горячее желание видеть Вас у себя, наше Академическое музыкальное общество, празднующее теперь 50-летие своего существования, сочло бы за честь внести в программу своего концерта одно из Ваших произведений.

Прошу Вас ответить мне как можно скорее. Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам мое самое глубокое уважение.

Д-р Джон Пейл
Вице-канцлер и директор Крайст колледжа

(Инв. № 3289).

...**согласны ли Вы принять... степень доктора музыки...**— в 1893 г. по случаю 50-летия со дня своего основания Музыкальное общество Кэмбриджского университета утвердило список лиц, избранных докторами музыки *honoris causa*. Кроме П. И. Чайковского, были также избраны: норвежский композитор Эдвард Григ (1843—1907), французский композитор Камиль Сен-Санс (1835—1921), итальянский композитор Арриго Бойто (1842—1918) и немецкий композитор Макс Брух (1838—1920).

10—11

От Чарльза Вильерса Стэнфорда

(Великобритания)

16 января 1893 г., Кэмбридж

Милостивый государь!

Концерт в Кэмбридже состоится в понедельник 12 июня. Первая репетиция будет в Лондоне в четверг 7 июня или в пятницу 8. Вероятно, в пятницу. «Докторат», вероятно,— 13 июня.

Я писал Вам относительно того, что Вы выберете для программы. Поскольку у меня еще нет Вашего ответа, я позволяю себе объявить Ваш фортепьянный концерт.

Г-н Леонард Борвик — первоклассный пианист — согласен его исполнить, если Вы разрешите. Вы оцените этого артиста (он — лучший ученик мадам Шуман).

Я прошу Вас ответить мне открыткой, чтобы я мог тотчас же пригласить г-на Борвика. У него так много контрактов, что его необходимо уведомить заранее.

Примите мой лучший и искренний привет

Ч. В. Стэнфорд

(Инв. № 4209).

Стэнфорд, Чарльз Вильерс (1852—1924) — ирландский композитор, дирижер и педагог. Директор Музыкального общества Кэмбриджского университета.

...**Ваш фортепьянный концерт** — речь идет о Концерте № 1, который в Кэмбридже исполнен не был.

Борвик, Леонард (1868—1925) — известный английский пианист.

Шуман, Клара Жозефина (1819—1896) — немецкая пианистка и композитор; с 1878 по 1892 г. преподавала фортепьянную игру в консерватории Гоха во Франкфурте-на-Майне, редактор сочинений своего мужа, великого немецкого композитора Роберта Шумана (1810—1856).

6 февраля 1893 г., Милан

Милостивый государь!

Я Вам писал дважды в Москву, на имя Юргенсона, но боюсь, что мои письма не получены. Совершенно необходимо решить теперь же, каким из Ваших сочинений Вы окажете нам честь продирижировать 12 июня в Кэмбридже.

Поскольку мы даем произведение каждого нового доктора, то мы не можем предоставить каждому композитору более 15—20 минут. В своих письмах я говорил о концерте. Сен-Санс теперь решил играть свою концертную фантазию «Африка», поэтому мне необходимо просить Вас избрать что-нибудь для одного оркестра.

Вы понимаете, как трудно составлять подобную программу, а задержка моих писем и ответов на них приносит еще больше затруднений.

Вот как складывается программа в настоящее время:

Сцена из «Одиссея».	**Макс Брух.**
Концертная фантазия «Африка» для фортепьяно с оркестром.	**Сен-Санс.**
Пролог из оперы «Мефистофель».	**Бойто.**
*** *** ???	**Чайковский.**

Сюита «Пер Гюнт».	Григ.
Ода Суинберна (10 минут).	Стэнфорд.
Себя я помещаю под конец.	
Публика покидает зал.	
Репетиции:	
В Лондоне (Королевский музыкальный колледж, рядом с Альберт-Холлом).	Пятница 9 июня в 4 часа.
В Кэмбридже.	Понедельник 12 июня в 10 часов 30 минут.
Концерт.	Понедельник 12 июня в 2 часа 30 минут.
Возведение в докторскую степень.	Вторник 13 июня в 2 часа.

Некоторые лица просят, чтобы Вы исполнили Вашу Серенаду для струнного оркестра. Мне кажется, что ее исполняли в Лондонской филармонии. Она не слишком длинна? Я прошу ответить мне в Кэмбридж, Гарвей-роуд, 10.

Искренне Ваш

Ч. В. Стэнфорд

(Инв. № 4210).

...мне необходимо просить Вас избрать что-нибудь для одного оркестра — П. И. Чайковский дирижировал фантазией «Франческа да Римини», ор. 32 (1876).

Сюитой Грига «Пер-Гюнт» и фантазией Сен-Санса «Африка», а также одой «Восток к Западу» своего сочинения дирижировал Стэнфорд. Остальные произведения исполнялись под управлением самих авторов.

...Серенада для струнного оркестра — Соч. 1880 г., ор. 48. Впервые исполнена в Москве в 1882 г. под управлением М. Эрдмансдерфера. Посвящена К. К. Альбрехту.

12

От Уолтера Дэмроша

(США)

30 июля 1893 г., Англия

Мой дорогой г. Чайковский!

Я был так рад увидеть Вас вновь в Кэмбридже и очень сожалею о том, что мы совсем недолго пробыли вместе.

Вашу новую симфонию ждут с громадным интересом, и мне хотелось бы узнать у Вас, достаточно ли скоро она будет издана, чтобы можно было исполнить ее в Нью-Йорке в текущем сезоне. По правде говоря, я надеюсь иметь честь быть первым ее исполнителем в Америке, если не окажется, что Вы сами исполните ее у нас.

Едва ли Вы найдете более ревностных поклонников, чем Ваши поклонники в Америке, которые с нетерпением ожидают каждое новое создание Вашего гения.

Вы были всегда так любезны по отношению ко мне, что Вам будет приятно узнать — моя опера настолько продвинулась, что я надеюсь закончить ее до Рождества.

Здесь, в Англии, я останусь до половины сентября и буду очень Вам признателен за краткое сообщение о Вашей симфонии.

Всегда Ваш

Уолтер Дэмрош

(Инв. № 923).

Дэмрош, Уолтер (1862—1950) — американский дирижер и композитор. Член Американской академии искусств и литературы. В 1894 году написал оперу «Алая буква». Чайковский познакомился с Дэмрошем в 1891 г. во время своих гастролей в США.

Вашу новую симфонию... — 6-я («Патетическая») симфония. Соч. 1893 г., ор. 74.

Составитель, переводчик, автор комментариев и предисловия Ник. Леонтьевский.

Диего Ривера (автопортрет).

Альберт Мальц

ПРОЩАНИЕ С ДИЕГО

Диего Ривера умер в ночь на 25 ноября прошлого года. Утренние газеты смогли дать лишь краткое сообщение о его смерти, но и этого оказалось достаточно, чтобы в мастерскую Риверы явились сотни людей. В этом не было ничего странного или неожиданного — покойный художник был очень общительным человеком, любил поговорить даже во время работы, и круг его знакомств был чрезвычайно широк. Однако то, что произошло, когда в пять часов дня его гроб был поставлен в Национальном дворце изящных искусств, показывает, чем может стать художник для своей страны.

В Мексике принято, чтобы погребение происходило в день смерти или на следующее утро. Родные всю ночь бодрствуют у гроба, и друзья покойного разделяют с ними эти часы печали. Проститься с Диего в эту ночь пришли тысячи друзей — их было не меньше тридцати тысяч,— и почти никому из них ни разу в жизни не приходилось разговаривать с художником или пожать ему руку. Я называю его «Диего» потому, что именно так называл его народ. Когда вы просили шофера такси отвезти вас в мастерскую Диего, вам очень редко приходилось давать адрес или объяснять, кто это такой.

Дворец изящных искусств — грандиозное здание, построенное в смешанном стиле. Его огромный вестибюль производит внушительное впечатление. Он состоит из трех больших площадок, соединенных лестничными маршами; высокие колонны из чудесного мрамора поддерживают купол. В глубине вестибюля — вход в лекционный зал и боковые лестницы, ведущие на верхние этажи, где находятся фрески Риверы, Ороско и Сикейроса, а также государственное собрание картин. Задрапированный зеленым, белым и красным — цветами мексиканского флага,— гроб Риверы, по углам которого горели пятифутовые свечи, был установлен на средней площадке.

Как и следовало ожидать, среди тех, кто пришел выразить соболезнование семье покойного и постоять несколько минут в почетном карауле у гроба, было мно-

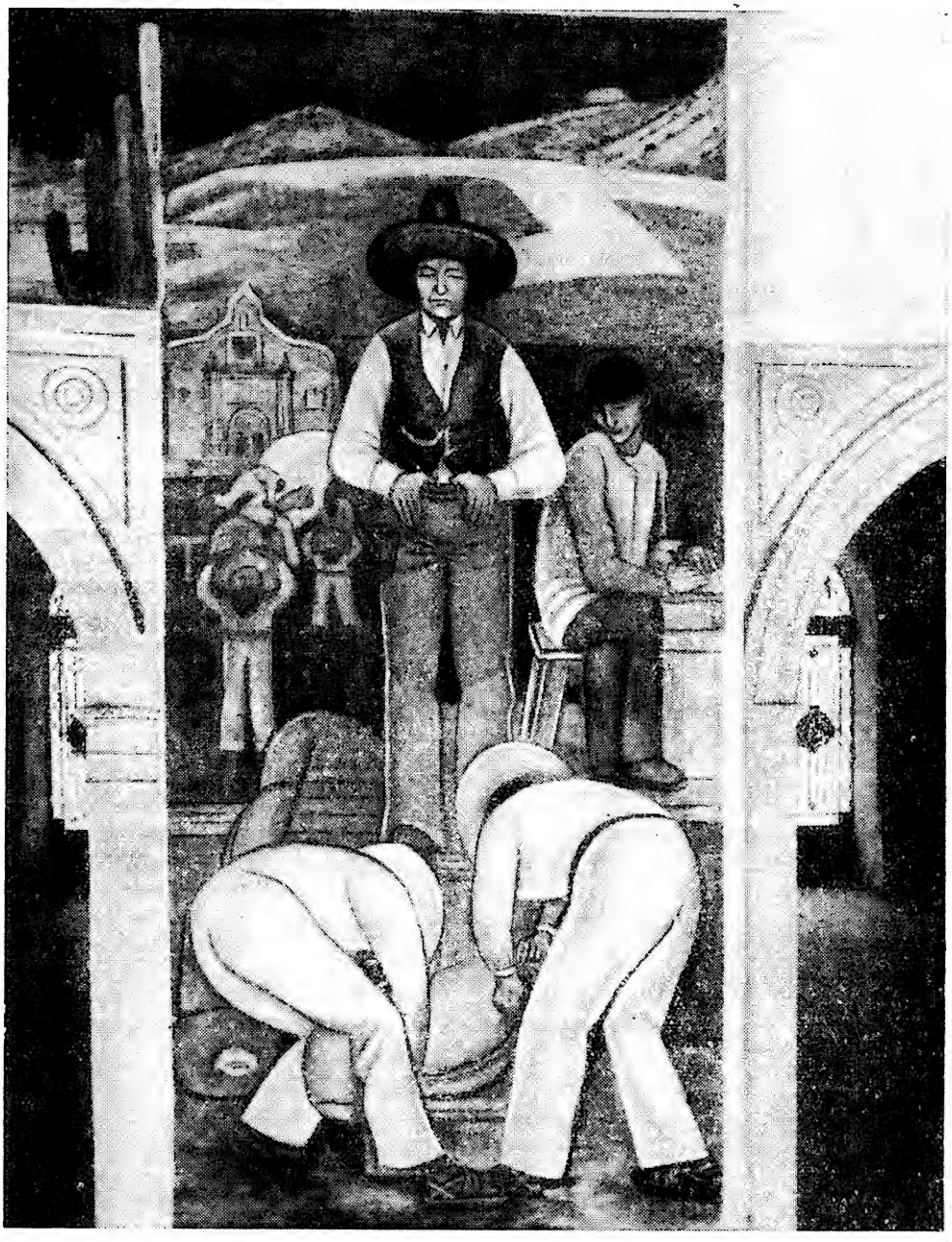
Спуск в шахту (фрагмент настенной живописи в здании министерства просвещения)

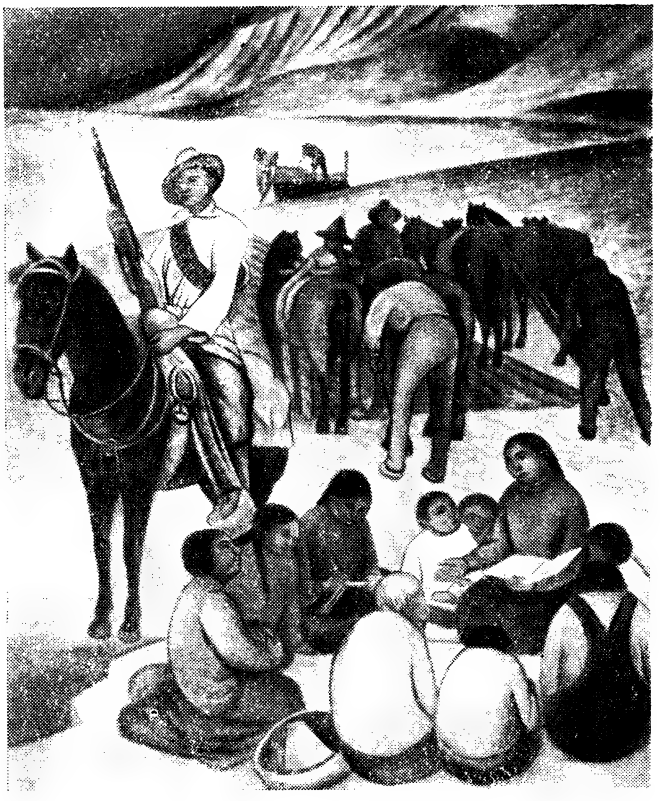
го виднейших деятелей Мексики как в области искусства, так и в области политики, просвещения и науки. И было совершенно очевидно, что все они, несмотря на различие философских и религиозных взглядов, движимы одним искренним желанием — отдать последний долг выдающемуся художнику, который был коммунистом, атеистом и вечным бунтарем.

К семи часам вечера, однако, характер посетителей начал меняться. Присутствовавшие днем в большинстве были одеты хорошо или даже элегантно, они принадлежали, очевидно, к одному кругу и все знали друг друга: мужчины обменивались рукопожатиями, женщины — поцелуями. Но потом, когда кончились занятия в университете, когда закрылись

учреждения и рабочие разошлись с фабрик, во Дворце стали появляться новые, никому не известные люди. По большей части они были одеты похуже или совсем плохо. Это были измученные зубрежкой и недоеданием студенты в поношенных спортивных и кожаных куртках. Здесь были и рабочие в комбинезонах или спецовках, и задавленные нуждой учителя начальной школы, которые получают тридцать два доллара в месяц, и государственные служащие, которые в нерабочие часы стоят за прилавком или водят такси. Среди них были и крестьяне в белых бумажных рубахах и брюках, в веревочных сандалиях, с соломенными сомбреро в руках — они словно сошли с фотографий того поколения, которое вместе с Сапатой

Помещик (фрагмент настенной живописи в здании министерства просвещения)





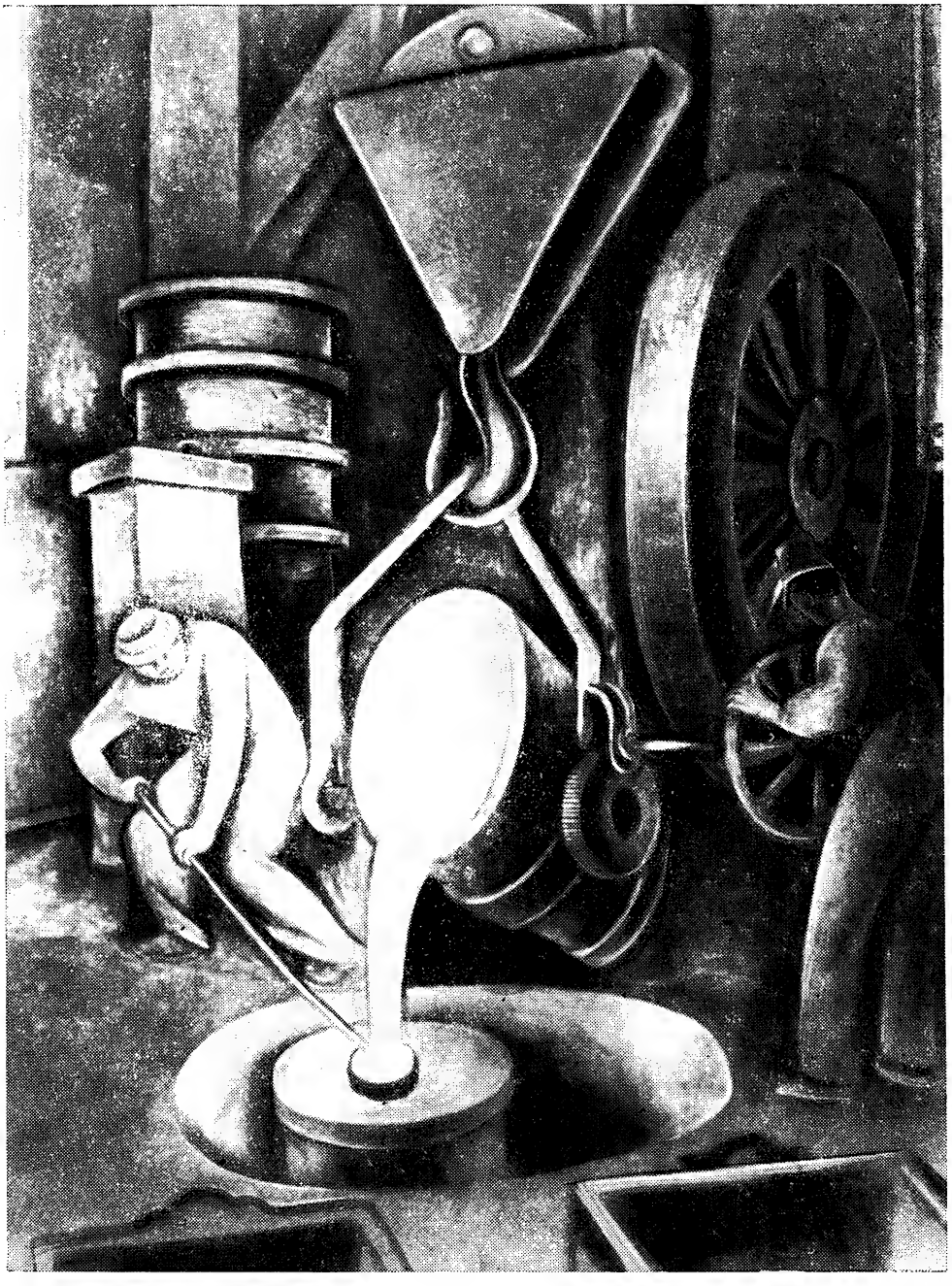
Новая школа (фрагмент настенной живописи в здании министерства просвещения)

боролось за землю и свободу. Может быть, они отправились в город потому, что узнали о случившемся, а может быть, приехав сюда по делам, услышали о смерти Диего и отложили возвращение домой. А вот и женщины с младенцами, завернутыми в шали, или со своими детьми постарше; их смуглая кожа и черты лица говорили скорее об индейской, чем об испанской крови. Это были те женщины и дети, которых Ривера изображал на стенах и холсте в течение тридцати лет.

И если бы кто-нибудь не понял, зачем эти «посторонние» пришли во Дворец изящных искусств, он нашел бы объяснение в том, как они вели себя. Они пришли не для того, чтобы выразить соболезнование незнакомой им семье — они никогда не позволили бы себе такой бестактности. Они пришли не из простого любопытства и не из желания поглазеть на знаменитостей, которые могли там оказаться. Они приходили, тихо становились друг за другом — вереница этих людей протянулась вдоль улицы — и ждали, когда настанет их черед встать у гроба и сказать безмолвное «прости» человеку, который что-то значил для них. И потом уходили.

Так продолжалось до двенадцати часов следующего дня, а затем похоронная

Смерть пеона (фрагмент настенной живописи в здании министерства просвещения)

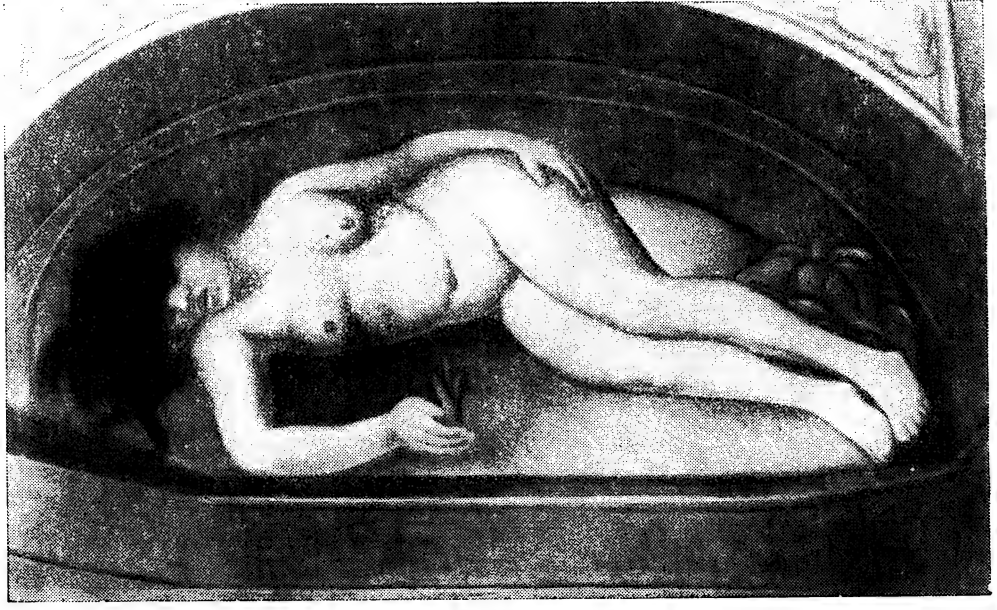


Литейный цех (фрагмент настенной живописи в здании министерства просвещения)

процессия двинулась к кладбищу в сопровождении огромной толпы.

Когда начинаешь спрашивать себя, почему народ так любит Риверу, думаешь о многом. Например, о национальной гордости мексиканцев. Страна, подобная Мексике, испытавшая все тяготы колониального и полуколониального гнета, гордится теми из своих сынов, которые приобрели мировую славу. Не будет преувеличением сказать, что, когда мексиканский претендент на звание чемпиона мира по боксу в легчайшем весе проиграл решающий бой, по Мексике пронесся вопль отчаяния.

Я убежден, что живая связь Риверы с мексикан-



Девственная Земля (фрагмент настенной живописи в здании сельскохозяйственной школы в Чапинго)

Порабощенная Земля (фрагмент настенной живописи в здании сельскохозяйственной школы в Чапинго)

Освобожденная Земля (фрагмент настенной живописи в здании сельскохозяйственной школы в Чапинго)

ским народом возникла также благодаря двум другим важным факторам. Во-первых, Ривера, как и многие художники, получал от правительства оплачиваемые из специального фонда заказы на роспись стен правительственных зданий, что было одним из интереснейших результатов революции 1910—1917 годов. Искусство настенной живописи у народов, населявших Мексику до испанского завоевания, было развито так высоко, что и поныне не могут найти секрет красок, которыми пользовались художники. Но в течение четырех веков, протекших после завоевания, этот

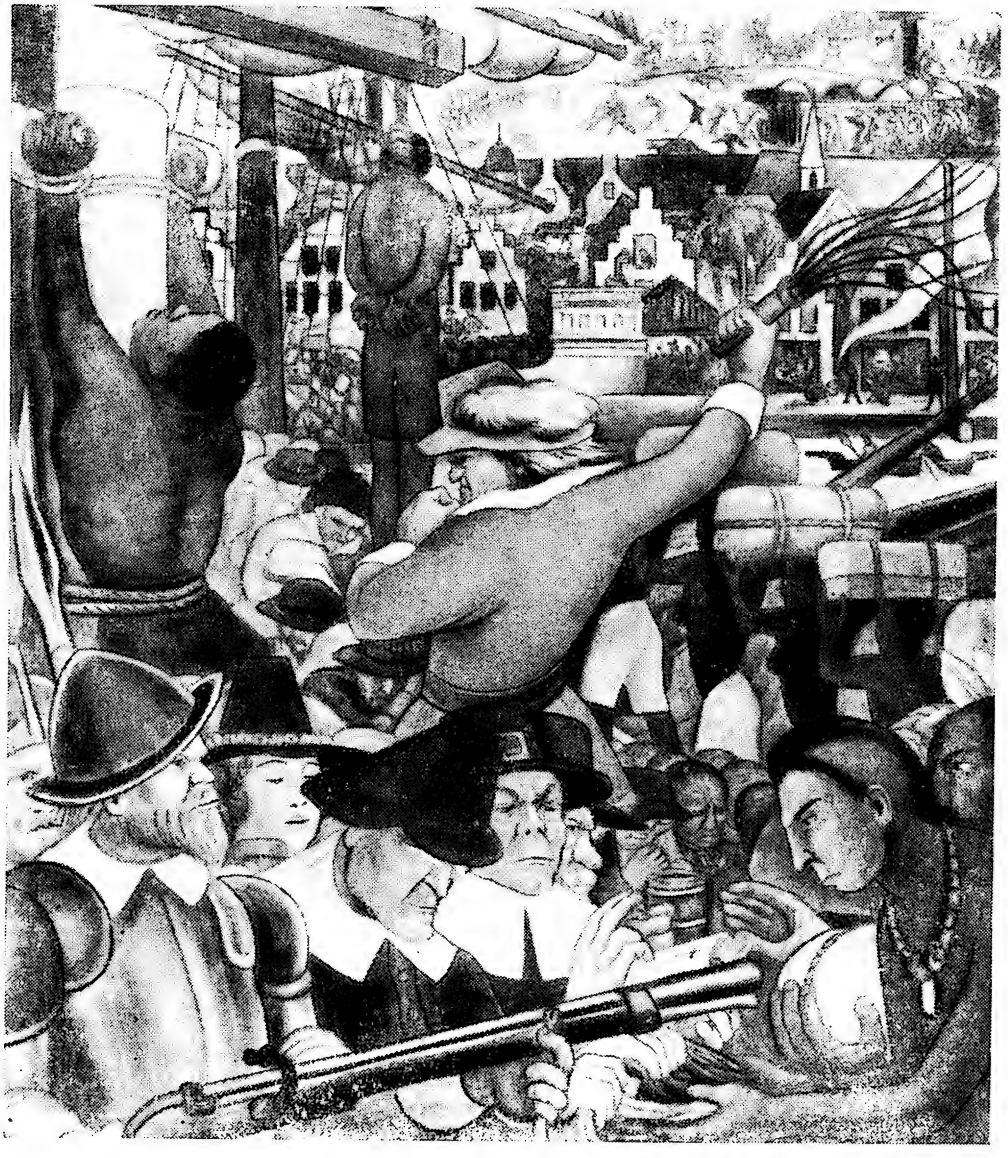
род искусства не встречал поощрения.

Только в 1920 году возродился обычай расписывать стены общественных зданий. Если бы не это, Ривера, как и до своего возвращения из Европы на родину, продолжал бы писать картины на холсте. И его талант художника никогда не стал бы в условиях этой страны столь известным широким слоям народа. Посетители картинных галерей в Мексике составляют столь же малый процент населения, как и во многих других странах.

Вторым фактором, объясняющим живую связь Риверы с мексиканским народом, было содержание его фресок. Руфино Тамайо, например,— художник, обладающий несомненно высокой техникой, но то, что он пишет, понятно лишь немногим, если не сказать, что его творчество вообще бессмысленно. Оно не нужно мексиканскому народу.

Достаточно одного примера, чтобы показать, как много значила для мексиканского народа настенная живопись Риверы. В часе езды на юг от Мехико лежит Куэрнавака, столица сельскохозяйственного штата Морелос. Главные правительственные учреждения этого города расположены

Колониальная Америка



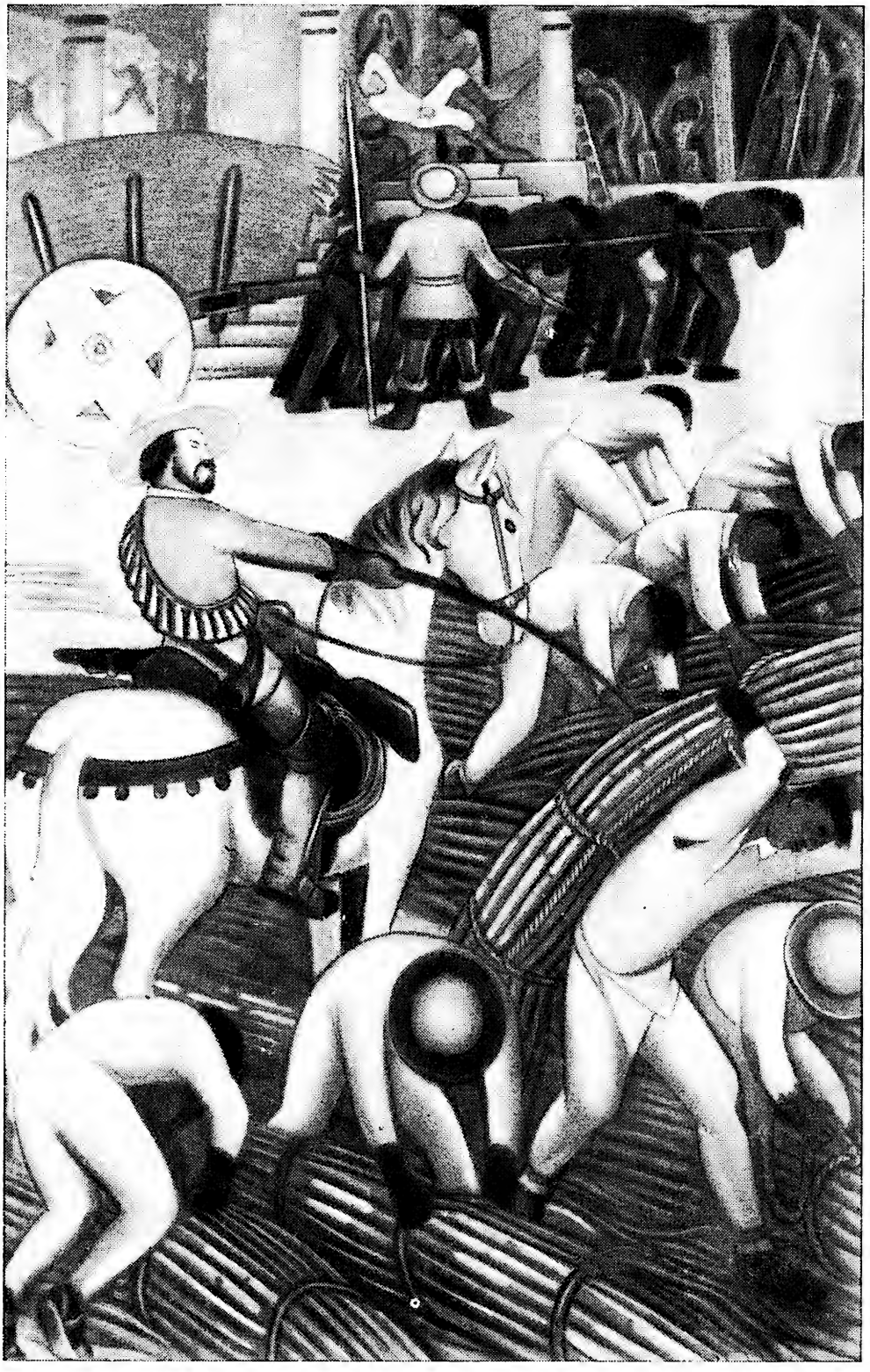
Порабощение индейцев (фрагмент настенной живописи во дворце Кортеса в Куэрнаваке)

во дворце Кортеса — громадной каменной крепости. В верхней части ее находится длинная крытая галерея, где в свое время прогуливался сам Кортес и откуда часовые могли обозревать всю уходящую за горизонт долину. На стенах галереи Ривера с предельной ясностью, силой и драматизмом изобразил историю завоевания Морелоса и Куэрнаваки испанцами, историю их правления в Мексике. На одной из фресок Диего увековечил Сапату, неподкупного вождя крестьян; художник сделал его символом революционных сил, освободивших Мексику от смирительной рубахи феодализма.

Чтобы увидеть эту фреску, приходится карабкаться по крутой лестнице. Галерея с произведениями Риверы отнюдь не лежит на пути крестьян, идущих по делам в учреждения, размещенные во дворце Кортеса. Я поднимался на эту галерею не меньше десяти раз и неизменно заставал там людей, которых нельзя отнести к разряду «любителей искусства». Мне запомнилась одна бедная крестьянская семья: усатый старик, супружеская пара и пятеро детей. Старик что-то тихо рассказывал, указывая то на одну, то на другую часть фрески. Он хотел, чтобы его близкие знали историю своего народа, свое революционное наследие. За тридцать лет, которые прошли с тех пор, как Ривера закончил роспись этих стен, его творение разговаривало с тысячами тысяч мексиканцев.

Ривера был человеком чрезвычайно жизнелюбивым. Всего несколько лет

Продавец цветов



Сбор тростника (фрагмент настенной живописи во дворце Кортеса в Куэрнаваке)

Священники на стороне эксплуататоров (фрагмент настенной живописи во дворце Кортеса в Куэрнаваке)

Фрагмент фрески во Дворце изящных искусств

назад мы могли видеть его на лесах с половины восьмого утра до сумерек, которые заставляли прекращать работу. И вы знали, что он проведет на ногах чуть ли не всю ночь, разговаривая с друзьями, распевая с ними песни, готовя наброски для новой работы. Смерть Риверы была чудовищно бессмысленной. Бесконечно жаль, что он не успел как следует поработать с мозаикой из цветного стекла и камня. Этой новой технике предстоит большое будущее. Она избавляет художника от необходимости работать только внутри здания, дает ему в руки материал, который не боится погоды. Стоит только увидеть потрясающие мозаики Хосе Чавеса Морадо на стенах Государственного университета или на здании министерства связи, чтобы оценить богатые возможности, заложенные в этом виде искусства.

Прошло тридцать пять лет с тех пор, как мексиканская настенная живопись вступила на свой славный путь. Современное мексиканское правительство — уже не дитя революции, готовое на самые смелые эксперименты. Но к его чести надо сказать, что оно все еще предоставляет своим художникам стены домов для работы.

Мехико

КНИГА О ГАШЕКЕ

□

Jaroslav Kříž ek. Jaroslav Hašek v revolučním Rusku. Praha, Naše vojsko, 1957.

□

У чешских исследователей творчества Гашека стало своего рода традицией обязательно упоминать в своих работах о том, что жизнь писателя и его творческое наследие изучены еще мало и что чешский народ находится в большом, неоплатном долгу перед автором бессмертного «Швейка».

Действительно, получается парадокс: о писателе, творчество которого стало мировым достоянием, который является одним из наиболее известных и читаемых чешских авторов, не написано еще ни одной полной и обстоятельной монографии, которая представила бы автора «Швейка» во всей сложности его духовного и творческого развития, раскрыла бы все богатство и многогранность его сатирического, публицистического и поэтического дарования.

Книга Ярослава Кржижека «Ярослав Гашек в революционной России» — это, по существу, первая попытка дать научное исследование жизни и творчества Гашека на одном из наименее известных этапов его биографии — 1915—1920 годы, которые Гашек провел в России сначала в качестве военнопленного, затем легионера и, наконец, бойца и политработника Красной Армии.

Кржижек приводит очень большой фактический материал не только о жизни и творчестве Гашека в России, но и о тех исторических событиях, которые в то время «потрясали мир». При этом он опирается главным образом на архивные документы, в значительной своей части еще не опубликованные и не использованные исследователями Гашека. Широко привлекает автор газеты и журналы, издававшиеся в то время в России (на русском, чешском, немецком и других языках). Тем самым он вводит в обиход много новых сведений и фактов о политической и творческой работе Гашека в России в эти бурные годы.

Кржижек строит свою работу в широком историческом плане. Образ Гашека, его политическая и творческая деятельность рисуются автором на фоне крупнейших исторических событий, свидетелем или прямым участником которых был писатель. Это, пожалуй, наиболее сильная, но в то же время и наиболее уязвимая сторона работы. Чешская критика уже упрекнула Кржижека в том, что в его книге образ Гашека несколько теряется среди огромного количества исторических фактов и документов.

Действительно, стремление Кржижека показать развитие Гашека на фоне крупных исторических событий, раскрыть его судьбу, как судьбу одного из тех двухсот тысяч чехов и словаков, которые оказались в русском плену, или тех десяти тысяч, которые защищали Советскую республику в рядах Красной Армии, иногда приводит к тому, что исторические события, описания военных действий, политических противоречий и борьбы оттесняют образ самого Гашека.

Кржижек представляет Гашека как явление бурной, переломной эпохи, которая перековывала людей, в невиданно короткие сроки меняла их взгляды, характер, поведение. Здесь, в России, в годы революции он превратился из анархически настроенного бунтаря в сознательного и мужественного бойца Красной Армии, дисциплинированного и неутомимого партийного работника, одного из талантливейших большевистских агитаторов и журналистов того времени. Разве без этого перелома, без этого стремительного политического роста мог бы со-

здать Гашек свою выдающуюся антимилитаристскую эпопею? Кржижек поступил совершенно правильно, показав типичность судьбы Гашека, показав его как человека, стоявшего на рубеже двух эпох и сумевшего перешагнуть из старого мира в новый.

Но автор не учел другого: Гашек был не только «одним из многих», то есть явлением типичным, не только военнопленным — легионером — бойцом — политработником Красной Армии, но и писателем, который вобрал в себя и выразил в своей монументальной эпопее мысли, чувства, желания, гнев и ненависть, страх и надежду всех этих «многих»: и двухсот тысяч военнопленных, и многих, многих тысяч других, которые составляли чешский народ. Вот этой-то стороны личности Гашека — его «особенности» как писателя — и не сумел раскрыть Кржижек.

Вероятно, это объясняется тем, что Кржижек историк, а не литературовед. Поэтому анализ творческого роста Гашека, особенностей тех новых жанров, нового видения мира, новой манеры письма, которые складывались у писателя, составляет слабую сторону работы.

Зато он впервые глубоко, обстоятельно и убедительно раскрыл процесс политического созревания писателя под влиянием Октябрьской революции и практической партийной работы в Красной Армии.

Шаг за шагом прослеживает Кржижек, как постепенно спадает с Гашека шелуха его предвоенных анархистских взглядов, как неуклонно происходит формирование Гашека-коммуниста, Гашека-интернационалиста. На этом пути были зигзаги и даже возвращения вспять. Показывая всю сложность эволюции писателя, Кржижек приводит в своей книге ряд фактов, ранее не известных или не использованных исследователями Гашека.

В этом отношении книга Кржижека выгодно отличается от некоторых других работ о Гашеке, которые упрощают эволюцию писателя.

Кржижек правильно показывает, что к пониманию исторической миссии рабочего класса, пролетарской революции и социализма Гашек пришел через грязь окопов, через трупы чешских солдат, погибших за чуждые им интересы ненавистной Габсбургской монархии; через ужасы тифозных бараков для военнопленных в царской России; через пламя Октября, опалившее своим очистительным огнем современников и потомков; через суровые испытания гражданской войны и повседневную, забирающую все силы человека, напряженную и вдохновенную политическую работу в Красной Армии. Вот такой Гашек мог сказать о себе, что «не одну, а десять жизней с радостью отдал бы за власть пролетариата»

Есть в книге Кржижека и «белые пятна», так как далеко не весь материал о русском периоде жизни Гашека имелся в его распоряжении. Автором не обследована, например, газета «Красноярский рабочий» за 1920 год, где есть ряд интересных сведений о писателе (они приведены в работе советского исследователя Н. Еланского «Ярослав Гашек в Красной Армии»). Использованы, по-видимому, далеко не все сохранившиеся экземпляры газет «Наш путь», «Красный стрелок» и некоторые другие. При всех отмеченных недостатках книга Кржижека — одна из наиболее серьезных и интересных попыток оплатить автору «Швейка» хотя бы часть того долга, который признает за собой чешское и советское литературоведение.

С. Востокова

НОВОЕ О МОЛОДОМ ТВЕНЕ

□

Mark Twain of the Enterprise. Newspaper Articles and Other Documents 1862—1864. University of California Press. 1957.

□

Начало профессиональной литературной деятельности Марка Твена совпало с его пребыванием на западной окраине США, в Неваде. С осени 1862 года Твен стал сотрудничать в газете «Территориел энтерпрайз», издававшейся в Вирджинии-Сити, и быстро завоевал популярность в журналистских кругах.

Работа Твена в «Энтерпрайз» в 1862—1864 гг. справедливо считается важной порой его литературного ученичества, когда сложились и закрепились многие особенности его дарования. Изучение творческой биографии молодого Твена затруднялось, однако, тем, что комплекты этой провинциальной газеты сохранились лишь начиная с 1865 года; от твеновского же периода остались отдельные случайные экземпляры. Биографы Твена и исследователи его творчества вынуждены были довольствоваться лишь теми его статьями из «Энтерпрайз», которые, по распространенному обычаю американской прессы того времени, перепечатывались на страницах других периодических изданий.

Несколько лет назад, после смерти внучатной племянницы Твена в ее семейных бумагах были обнаружены альбомы с вырезками, содержащие около тридцати корреспонденций и статей Марка Твена из «Энтерпрайз», из числа тех, которые считались безнадежно утраченными. Эти материалы, появившиеся сейчас в издании Калифорнийского

университета, значительно обогащают сложившееся представление о молодом Твене. Биографам Твена они дают обильный исторический и бытовой комментарий к тем главам «Путешествия налегке», в которых Твен — не всегда с достаточной точностью — описывает годы своей жизни в Неваде. Главное же то, что литературную характеристику молодого Твена, журналиста и начинающего писателя, можно теперь строить на более широком фундаменте, нежели это было сделано в известных американских работах Бенсона «Марк Твен. Западные годы» (1938) и Эффи Мак «Марк Твен в Неваде» (1948).

Опубликованные материалы дают новое подтверждение тому, что Твен складывался как писатель под влиянием народной юмористической традиции, которая к середине XIX века получила особо сильное развитие в устном фольклоре и «летучей» газетной литературе западных окраин США. Уже в самых ранних опытах Твена, из числа собранных в этой книге, читатель безошибочно находит черты того крайне своеобразного юмора, который американские историки литературы называют «диким» или «неистовым» и в поэтике которого столь видное место занимает резкое комическое преувеличение и гротеск.

«Беспардонность» этой литературы во многом отражала «беспардонность» окружающей жизни, грубость и разнузданность буржуазно-демократической цивилизации, складывавшейся в условиях «золотой лихорадки». Читатели Твена привыкли видеть в таких его рассказах, как, скажем, «Журналистика в Тенесси», создание щедрой юмористической фантазии. Однако публикуемые твеновские материалы убедительно показывают, что общественные нравы в Калифорнии и в Неваде во времена молодого Твена словно заимствованы из самых «неистовых» его юморесок. Достаточно в этой связи назвать полемику самого Твена на страницах «Энтерпрайз» с редактором другой невадской газеты, «Дейли юньон», едва не закончившуюся дуэлью, или конфликт с редакцией сан-францисского «Ивнинг джорнел» по поводу известной шутки-мистификации Твена «Преступление в Эмпайр-Сити». В заключение этого конфликта после обмена самыми экстравагантными «любезностями» Твен заявил на страницах своей газеты, что, по его убеждению, Самсон в известном библейском эпизоде расправился с филистимлянами, пользуясь в качестве оружия челюстью одного из предков редактора «Ивнинг джорнел».

При очевидной дикости эти «патриархальные» нравы американского Запада имели некоторые относительные преимущества перед более отстоявшейся буржуазной цивилизацией американского Востока. В частности, литература здесь испытывала меньшее давление религиозного ханжества. Именно в этой обстановке Твен выработал вкус к юмористическому пародированию религиозно-библейских сюжетов.

Очень интересная страница в творческой биографии Твена — это его репортаж в «Энтерпрайз», посвященный заседаниям законодательного собрания Невады.

Чрезвычайно характерно для той роли, какую играл юмор в литературе золотоискательских штатов во времена молодого Твена, что «Энтерпрайз», которая не была специально юмористическим изданием, поручала такой бесспорно «серьезный» отдел профессиональному юмористу. Отчеты составлялись Твеном совместно с другим журналистом, который подготовлял репортаж. Твен брал на себя сатирико-юмористическую «ретушь», которой эти отчеты и обязаны своими литературными достоинствами. Однако не следует думать, что доля Твена сводилась к литературной обработке материала; душою репортажа был именно он, фельетонист из «Энтерпрайз». Депутаты боялись его пера.

Приведем пример. В конце 1863 года в ходе обсуждения законопроекта о налоге на старательские заявки один из депутатов, некто Стерн, заявил с трибуны законодательного собрания протест против того, что его речи подвергаются чрезмерному сокращению в отчетах репортеров «Энтерпрайз». Твен немедленно принял вызов, принес извинения и заявил, что исправляет свою ошибку и печатает речь дословно:

«Депутат Стерн: Господин председатель, я возмущен внесенным законопроектом, я решительно протестую против него, я буду стараться его провалить. Скажу больше, сэр: я не являюсь его сторонником. Это нехороший проект, сэр, совсем нехороший (как уже отметил депутат от Уошо). Неправильный законопроект и несправедливый (как совершенно точно указал депутат, выступавший передо мною). Наш долг перед избирателями требует, чтобы мы выступили против этого опасного законопроекта (как прекрасно отметил депутат от Ормсби). Стоит вам включить его в будущую конституцию штата, и немедля (если разрешите мне воспользоваться красноречивым выражением депутата от Стори) голод, нищета и отчаяние воцарятся в нашем прекрасном и счастливом крае. Стоит вам сделать его законом, и (как только вчера выразился депутат от Лэндра) небеса более не станут озарять улыбкой наши земные труды. Я призываю вас, сэр (пользуясь трогательным выражением другого моего коллеги), не оставлять столь пагубного наследия еще дремлющим в утробе поколениям...»

Повеселившись еще некоторое время за счет злополучного парламентария, Твен завершает речь Стерна мастерским ударом: «Итак,— заканчивает незадачливый Стерн,—пусть этот законопроект уйдет в ту

страну, откуда нет возврата (как уже было указано депутатом от Уошо), ибо не должны мы причинять другим того, чего не желаем себе (как весьма справедливо и метко заметил Иисус Христос по аналогичному поводу)».

Невысокое мнение Твена о представителях административной власти Невады нашло достаточно яркое выражение в сатирическом объявлении о «продаже или сдаче во временное пользование» этих деятелей, напечатанном им в нью-йоркской газете в те годы, когда произошла задержка с конституированием Невады в качестве самостоятельного штата:

«Губернатор, один, свежий. В детстве посещал воскресную школу; полученные сведения еще хранит в памяти...

Казначей, один, не вполне свежий. Уже занимал этот пост. Показал, что любит государственную казну, как свою собственную...

Депутаты, судьи, государственные ревизоры и прочая мелочь. Продаются с максимальной скидкой за полной ненадобностью».

Наблюдения Твена за политической жизнью Невады в этот ранний период его творчества дали ему широкую подготовку для той сатиры на американские парламентские нравы, которую он развернул в 70-х годах в серии рассказов о правительственных учреждениях в Вашингтоне и далее — в романе «Золоченый век».

То, что было известно в этой связи по уже опубликованным произведениям Твена первой половины 60-х гг., существенно дополняется новыми материалами, и в этом их бесспорное историко-литературное значение.

В предисловии к книге два профессора Калифорнийского университета, стараниями которых книга издана, выражают благодарность «пожелавшим остаться неизвестными друзьям университета», которые пожертвовали деньги на приобретение этого собрания твеновских бумаг. Смысл этой публичной благодарности в том, что без вмешательства благотворителей твеновские бумаги могли бы достаться не научному учреждению, а кому-нибудь из богатых американских собирателей, бросающих миллионы на создание закрытых частных коллекций. Тогда публикация материалов зависела бы от прихоти владельца коллекции и, быть может, не осуществилась бы совсем. Эти крайне неблагоприятные условия, в которых изучается и публикуется в США литературное наследие великих писателей прошлого, не могут не вызвать удивления у советских читателей, привыкших к тому, что наследие классиков находится под охраной государства, собрано в специальных научных хранилищах и открыто для исследователей. Естественно, что при подобных обстоятельствах в США до сих пор нет полных собраний сочинений американских классиков, даже таких, как Марк Твен и Уолт Уитмен.

Особые затруднения с публикацией твеновских материалов связаны дополнительно с тем, что обширный литературный архив писателя находится во владении представителей его семьи, и каждая строка из этого собрания может быть напечатана лишь с разрешения концерна «Марк Твен инкорпорейтед». Само наименование этого коммерческого учреждения звучит столь же нелепо, как, скажем, «Вильям Шекспир кампэни» или «Джордж Гордон Байрон лимитед», и будь великий юморист жив, оно могло бы стать, без сомнения, объектом одной из его беспощадных шуток.

Печатного описания архива Твена не имеется, но из тех сведений, которые проникают в научную печать, явствует, что в нем хранится большое число ценных литературных материалов в том числе художественных произведений. Это полностью подтверждается теми весьма интересными, но, к сожалению, скудными публикациями, которые появились за последние двадцать лет (упомянем в особенности автобиографические и другие материалы, изданные Б. Де Вото в сборниках «Марк Твен говорит снова» и «Марк Твен за работой» а также изданные Диксоном Вектером «Письмо ангела хранителя» и дополнительные главы «Путешествия капитана Стормфильда на небеса»). Советские историки литературы, как и многие миллионы советских читателей Твена, с большим интересом будут ожидать новых пополнений «твенианы».

А. Старцев

КОЛЬЦО ПРЕСТУПЛЕНИЙ

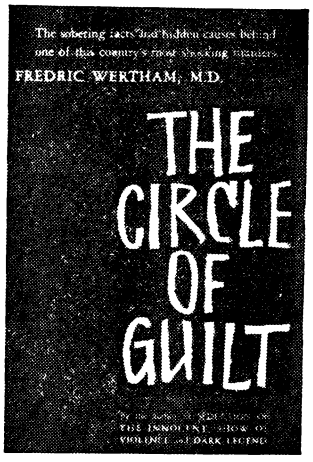
□

Fredric Wertham. The Circle of Guilt. New York, Rinehart and Company, 1956.

□

...Это была странная забастовка, невиданная в Соединенных Штатах Америки. Дети по всей стране перестали совершать преступления. И страну постигла катастрофа. Издатели комиксов, торговцы порнографией и наркотиками, владельцы кино и даже «специалисты» по борьбе с детской преступностью терпят убытки. На бирже паника. Видные деятели заявляют, что стране необходима преступность. Хитрость и провокации взрослых делают свое дело. Забастовка проваливается. Дети снова совершают преступления. Порядок в стране восстановлен.

Таково содержание фантастической новеллы, вставленной Фредериком Уэртхемом, видным врачом-психиатром, в свою книгу «Кольцо преступлений», посвященную делу семнадцатилетнего пуэрториканца Фрэн



ка Сантаны, «цветного развращенного головореза», который среди бела дня подошел к «образцовому белому мальчику» Билли Бленкеншипу и выстрелом из пистолета убил его. Сообщения об этом сенсационном деле обошли несколько лет назад всю прессу США. «Бессердечное, бессмысленное убийство потрясло Нью-Йорк»,— писали газеты. Общественность требовала сурово наказать преступника.

Уэртхем был приглашен для обследования психического состояния Фрэнка Сантаны. Тщательное изучение обстоятельств дела и дало Уэртхему материал для его книги «Кольцо преступлений».

Уэртхем документально знакомит читателя с жизнью Фрэнка Сантаны. Оказывается, мальчик хорошо учился и был примерного поведения. Но он любил читать и прочитывал по нескольку комиксов в день. В каждой книжке описывалось пять или шесть убийств. Герой комиксов—сьюпермен («сверхчеловек»), и Сантана тоже захотел стать сьюпермеком: его и других мальчиков-пуэрториканцев преследовали на улице белые ребята. И он приобретает пистолет. К тому же и комиксы и фильмы-боевики убеждают, что мужчина без оружия — не мужчина. Они детально знакомят детей с различными приемами убийств. Постепенно в голове ребенка рождается представление, будто насилие и даже убийство—естественные средства удовлетворить свои желания...

В ходе следствия выяснилось, что Билли Бленкеншип задирал Сантану и его товарищей, грозил привести банду, что роковой выстрел произошел случайно, из-за неосторожного обращения с оружием. Немногие газеты сообщили правду об этом убийстве. А когда без судебного разбирательства Сантана был приговорен к 25 годам тюремного заключения, вся пресса начала кампанию против «цветных», которые виновны якобы чуть ли не во всех преступлениях, совершаемых в США.

Книга Уэртхема — одно из тех произведений, жанр которых определить нелегко. Дневниковая запись событий чередуется в ней с историей завоевания и порабощения Соединенными Штатами небольшого острова Пуэрто-Рико; рассуждения о методах исследования психического состояния преступника соседствуют с полным напряжения диалогом; приведенный выше рассказ-фантазия о странной забастовке детей следует за критикой так называемых специалистов в области детской преступности, рассуждающих о «непознаваемости тайников детской души». В книге не забыты и издатели комиксов, получающие немалые доходы, и атомная истерия, влияющая на психическое состояние детей, и боязнь многих людей встать на защиту граждан, не являющихся «стопроцентными» американцами.

Книга Уэртхема — яркое публицистическое произведение, пронизанное болью автора за положение американских детей, многие из которых вынуждены начинать жизнь с насилия и преступлений. Автор не делает каких-либо далеко идущих выводов. Он пытается сохранить надежду на возможность улучшения нравов без изменения порядков в стране. Но непредубежденный читатель, встретившись с фактами, приведенными в книге, увидит, что нельзя покончить с преступностью, не устранив социальные причины, которые ее вызывают.

Г. Журавлев

ИСПАНСКИЙ НОМЕР „ЭРОП"

□

"Europe", janvier-février 1958. Paris.

□

Вот уже двадцать лет как известия из Испании до нас доходят крайне отрывочно. Может возникнуть вопрос, получила ли после поражения Испанской республики развитие литература, которая была бы достойна великого прошлого этой страны, давшей мировой культуре ряд выдающихся представителей. Многие испанские писатели выбрали изгнание. Нередко в Париже можно было встретить Хосе Бергамина или Рафаэля Альберти, оставшихся верными памяти Мачадо и Федерико Гарсиа Лорки, чьи пьесы за последние десять лет в Париже имеют такой небывалый успех. А другие? Что стало с теми, кто остался в Испании? Имеются ли в среде молодежи талантливые писатели? О чем они пишут? Молодой испанец Мишель дель Кастильо опубликовал два превосходных романа «Танги» и «Гитара», написанных, впрочем, на французском языке. Означает ли это, что испанские издательства отказываются его печатать? На эти и многие подобные вопросы ответ дает специальный номер парижского журнала «Эроп»,

посвященный литературе Испании, а в более широком смысле — современной испанской культуре.

Как подчеркивает в передовой статье главный редактор журнала Пьер Абраам, цель, которую перед собой ставили создатели этого номера, заключалась в том, чтобы наиболее широко и полно представить литературу современной Испании, привлекая для этого авторов, как живущих и издающихся в стране, так и находящихся в эмиграции.

И журнал справился с этой задачей. Анализируемые или воспроизводимые в отрывках произведения представляют литературу Испании как вне страны, так и внутри ее (за исключением литературы Каталонии).

Интересна большая статья об испанском романе с начала века. Ее автор С. Сиенфугос особо останавливается на писателях старой формации, чтобы коснуться затем их влияния на молодежь. С его точки зрения, такой крупный писатель, как Пио Бароха, является как бы мостом между прошлым и современной литературой. Это единственный писатель, творчество которого молодое поколение может брать за образец из-за его большого мастерства. Но С. Сиенфугос пишет о Пио Бароха, как об «индивидуалисте перед лицом общества, анархисте перед лицом государства, атеисте перед лицом церкви, скептике перед лицом прогресса... Решение всех проблем, как он считает (если такое решение вообще может быть найдено), находится вне человеческого общества, в сердце одинокого человека». Таким образом, в идейном плане писатели видят в нем «вещь, которая начинается и кончается в себе», и поэтому не идут за Бароха.

О другом крупном писателе, Камило Хосе, С. Сиенфугос пишет, что основными особенностями его творчества является «пристрастие к страшному, навязчивая сексуальность, непонимание внешнего, человеческого мира, который, как и у Бароха, есть лишь спектакль для автора, развлекающегося или возмущающегося этим зрелищем».

Как же развивается новый испанский роман в стране, где растет число неграмотных, уменьшая еще более аудиторию читателей, в стране, где, как пишет журнал, «условия для возрождения культуры и национальной, народной литературы еще не существуют вовсе»?

Опубликованные в «Эроп» отрывки из произведений современных писателей подтверждают слова автора статьи о том, что, несмотря на самые неблагоприятные условия, «испанская литература вступила на путь, который рано или поздно приведет ее к хорошему народному и национальному роману». И по его мнению, этому особенно благоприятствует то обстоятельство, что большинство молодых писателей проявляет «озабоченность современными проблемами жизни и желание отразить их в своем творчестве».

Имена таких романистов, которым обычно не более тридцати-сорока лет, часто встречаются в статье С. Сиенфугоса. Из анализа их произведений вытекает, что они подвержены самым противоречивым влияниям. Свидетельством тому служат произведения, публикуемые в «Эроп». Едва ли не доминирующей чертой их творчества выступает пессимизм. Но автор статьи особо подчеркивает, что мы являемся свидетелями роста сознательности современных испанских писателей и проявления этой сознательности в их творчестве. Несомненно, что это в значительной степени объясняется широким движением общественности, объединяющим в своих рядах за последние годы все большее число студентов и испанских интеллигентов.

Разумеется, наиболее передовая часть этих писателей не имеет возможности печатать свои произведения,

ибо цензура отвергает их рукописи, но они распространяются подпольно. И как бы ни была ограничена сфера их воздействия, они доходят до читателя, который создает осужденным произведениям известную популярность.

Поэзия в еще большей степени, чем проза, выражает рост сознания испанского народа. Современные поэты пишут правду о своей стране и о своем времени. Эта новая поэзия, отмечает «Эроп», проникнута «горечью и радостью, гневом и верой, ненавистью, любовью и борьбой». Передовые журналы, чья судьба, естественно, во многом зависит от случая, дают тем не менее этим поэтам возможность сказать свое слово. Испанские поэты смело агитируют за объединение испанцев в борьбе за свободную и единую родину, протестуют против попыток натравить различные национальности друг на друга. «Я требую мира и слова»,— говорит один из них, озаглавив этими словами сборник своих поэм. Другой пишет: «Хоть путь наш крут и тернист — мне это безразлично: народ идет вперед, вперед к свету, и мы увидим небо». В своих стихах поэты требуют права говорить правду; Габриэль Селайя восклицает, обращаясь к народу, которому хочет внушить уверенность в

своих силах: «Я хочу вернуть тебе уверенность, которую у тебя украли», «Я скажу тебе, кто ты», «Я возлагаю на тебя свои надежды, ибо не те, кто вознесся высоко, строили здание родины—они просто солома истории и ее пыль. Нет, на тебя, даже не сознающего все это, возлагаю я свои надежды».

Материалы испанского номера «Эроп» помогают лучше понять, какие исторические условия способствовали в огне борьбы росту сознательности и развитию литературы. Другие статьи, посвященные великим именам испанской литературы, таким как Унамуно, Мачадо, Лорка, Ортега-и-Гассет, позволяют установить идейную преемственность современных писателей с теми, кто творил вчера. Это позволяет сделать также публикация поэм Мигеля Эрнандеса, умершего в тюрьме в 1942 году, Рафаэля Альберти, Хорхе Гильена, Хосе Бергамина, Эухенио де Нора, Селайя и других. Приведенные в книге тексты, статьи, исследования позволяют яснее увидеть лицо современной литературы, переживающей период роста.

Мы не имеем возможности остановиться на всех публикациях, помещенных в специальном номере «Эроп», который представляет собой сборник материалов, приподнимающих завесу над состоянием испанской мысли, испанской литературы, испанской культуры. И мы очень благодарны создателям этого сборника за то, что они познакомили нас с современной Испанией.

Режи Бержерон.
Париж.

РАССКАЗЫ ОЛДОСА ХАКСЛИ

□

Aldous Huxley. Collected Short Stories. London, Chatto and Windus, 1957.

□

Олдос Хаксли, автор чрезвычайно плодовитый и как будто не имеющий оснований тревожиться по поводу того, что он забыт английскими читателями, согласился на издание своих избранных рассказов. Бóльшая часть из них впервые увидела свет давно — лет тридцать, тридцать пять назад. В русском переводе они не появлялись.

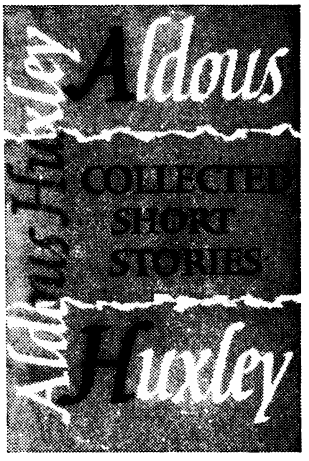
Нельзя не разделить откровенного разочарования английской критики самых разнообразных оттенков, признающей, что жанр короткого рассказа не является подлинным призванием Хаксли, романы которого прочно утвердили за ним на Западе репутацию блестящего стилиста.

Сборник интересен другим. В нем можно видеть то отношение писателя к жизни, те специфические средства воздействия на читателя, которые получили свое логическое завершение в последних романах и философско-публицистических эссе Хаксли.

Почти все рассказы сборника окрашены чувством пресыщенности и скуки, высокомерным и несколько брезгливым отношением к жизни и к людям, возникающим не только потому, что персонажи рассказов, быть может, и недостойны иного отношения. Сухое, в какой-то мере бездушное восприятие собственных героев вряд ли является неотъемлемой принадлежностью «интеллектуализма», который стал писательской «маркой» Олдоса Хаксли. Суть, по-видимому, в том, что Хаксли, с остротой и беспощадной резкостью рисовавший в лучших своих романах духовный кризис буржуазной интеллигенции, не находил и не очень-то искал положительные идейные ценности. Игра критической мысли, ирония, блеск и парадоксальность суждений, «забавность» ситуаций уже в этих ранних рассказах превращались в самоцель.

Читая многие из них, нельзя преодолеть чувства глубокой неудовлетворенности галереей бестелесных, недостаточно выразительных и нарисованных нередко в претенциозной манере портретов.

Все же критическое отношение Хаксли к внешним формам буржуазной жизни, к моральному облику английского мещанина, интеллигента, представителя буржуазной богемы вносит более глубокое содержание в лучшие из рассказов и насыщает их живым чувством.



«Банкет в честь Тиллотсона» — это рассказ о когда-то знаменитом, а теперь позабытом и обедневшем старике художнике, о нескольких часах весьма мучительного для него возрождения былой славы. Он пал жертвой причуды аристократа-коллекционера и покровителя искусств, бездушного, пресыщенного человека, который явно импонирует автору. Старый художник становится «гвоздем» устроенного в его честь банкета, но вызывает разочарование и раздражение гостей, неожиданно услышавших длинный, бессвязный, но полный горечи рассказ старика о тяжкой доле художника, преданного подлинному искусству.

В стиле зрелых и значи-

тельных вещей Хаксли написана новелла «Фея крестная». Филантропические причуды скучающей дамы, эгоистическая сущность ее благодеяний воспроизведены тонко и зло.

В рассказе «Маленький мексиканец» Хаксли, как и в некоторых других рассказах, переносит действие в Италию. Он рисует в нем характерные фигуры представителей двух поколений итальянской оскудевшей аристократии. Ему удалось наделить чертами жизненными и запоминающимися и старого графа — жизнелюбца, знатока и ценителя искусств, и его сына — буржуазного склада, грубоватого малого, связанного с чернорубашечниками. Но читателя не может не возмутить тот цинизм, с которым «высоколобый» Хаксли расценивает общественно-политическую обстановку в Италии двадцатых годов. Автор, ведущий рассказ от первого лица, пишет о большом удовольствии, с которым он читал фашистские листовки, «заканчивающиеся большей частью ссылками на Данте», или наблюдал детишек молодого графа, распевающих фашистские песенки. Он глубоко сочувствует графу, имение и предприятия которого разорены взбунтовавшимися крестьянами, и так далее.

Все эти высказывания автора носят, правда, весьма мимолетный и поверхностный характер, как будто политическая ситуация Италии двадцатых годов призвана прежде всего развлечь скучающего иностранца.

Люди, действующие в новеллах Хаксли, — это в большинстве своем существа, в которых отсутствует «положительное начало», внутренняя цельность, душевное богатство. Таковы старая дева-отравительница в «Улыбке Джоконды» (рассказ впоследствии был переделан в пьесу), «маленький человек» с мучительным комплексом неполноценности («Полупраздник»), благородный карлик из стилизованного под новеллу Возрождения рассказа «Сэр Геркулес» и другие.

И когда Хаксли, наконец, обращается к людям, претендующим на какие-то идейные искания, это вдохновляет его на создание такого рассказа, как «Клакстоны». Надо отдать автору справедливость: типичны и жизненны супруги Клакстон — мещане, полные самодовольства и гордые своей «высокодуховной» жизнью. Ни к чему не обязывающее краснобайство на «высокие» темы (толстовство, вегетарианство, «социализм» и прочее) у них очень мирно уживается с паразитизмом и весьма практическим отношением к самым земным, материальным и даже, точнее, гастрономическим «радостям» жизни.

Но это все, что захотел противопоставить Хаксли своим не слишком мыслящим героям.

Критицизм Хаксли, не вдохновленный большими гуманистическими идеалами, наносит ущерб его бесспорному таланту. Рассказы сборника очень наглядно подтверждают ущербность его бесплодного скепсиса.

Н. Эйшискина

РАССКАЗЫ КАРЛА МУНДШТОКА

□

Karl Mundstock. Bis zum letzten Mann. Halle (Salle), Mitteldeutscher Verlag, 1957.

□

Первая книга Карла Мундштока — роман «Светлые ночи» — вышла в 1952 году. В ней рассказывалось об успехах строительства промышленного комбината в Германской Демократической Республике и энтузиазме молодежных строительных бригад.

Сборник рассказов «До последнего человека» — вторая книга Карла Мундштока. В трех рассказах сборника («До последнего человека», «Смерть на границе», «Дым на ветру») показан процесс разложения гитлеровского вермахта в конце войны, когда отступающие под ударами Советской Армии немецкие солдаты то в одиночку, то группами начинают дезертировать.

Тема дезертирства в рассказах разработана в различных аспектах. Герой рассказа «До последнего человека», Холлерер, нарисован не просто как дезертир, пытающийся уйти через границу в Швецию, но и как человек, который сознательно пришел к выводу о необходимости покончить с войной, развязанной нацистами. Унтер-офицер Вейс, посланный во главе отряда в погоню за беглецами, не только личный враг Холлерера, но и персонифицированный, собирательный образ гитлеровского вермахта. Убивая его, Холлерер сознательно мстит за себя и за своих товарищей.

В образе обер-ефрейтора эсэсовца Висбаха из рас-

сказа «Смерть на границе» предстает тип соглядатая и предателя, который выдает организаторов массового дезертирства роты. Рассказ показателен отноше-

нием солдат к таким людям, разбросанным по полкам и дивизиям, которых все ненавидят и презирают.

Характерен для настроения всеобщего разочарования, которым были охвачены гитлеровские солдаты перед концом войны, рассказ «Дым на ветру». В нем повествуется о дезертире Шрамме, который, вырвавшись из ада войны и вернувшись домой, не находит ни жены, ушедшей к другому, ни своего дома, который был разбомблен, пока он сражался и кровью завоевывал «жизненное пространство». Автор рисует картину всеобщего разрушения, дезорганизации жизни в тылу, голода и нищеты. Герой переживает все это как возмездие за преступления, которые совершили нацисты.

Рассказы К. Мундштока актуальны, они звучат как предостережение тем, кто, создав новый вермахт, намеревается ввергнуть человечество в новую бойню. Карл Мундшток, как и многие другие немецкие писатели, воскрешает прошлое, напоминает о трагедии немецкого народа, который был превращен в орудие нацистской политики.

Два других рассказа сборника — «Горная хижина в Штарцельохе» и «Бегство через глетчер», — посвященные быту и жизни людей в условиях предвоенной гитлеровской Германии, значительно слабее предыдущих. В обоих рассказах темой является любовь двух женщин из «высшего общества» к молодым подпольщикам. В судьбах подпольщиков, которых преследования гестаповцев заставили спасаться в горах, заключен, по-видимому, момент автобиографический, но они обрисованы очень схематично.

Суровым по колориту рассказам Мундштока свойственна глубина в изображении психологии действующих лиц. Особенно ярко переданы переживания Холлерера перед побегом, когда рядом, через окно, при свете луны он видит качающееся на виселице тело своего друга Кольмейера, повешенного за дезертирство. В рассказах писателя мы встречаемся с острыми психологическими ситуациями, со внутренним миром героев — без упрощения, без схемы. Иногда, правда, герои слишком много рефлектируют, и тогда рефлексия воспринимается как самоцель для писателя, тогда она уводит его от реализма в мир подсознательного, в хаос произвольно зарождающихся ассоциаций.

И. Нечаев

АРАБСКИЕ МАКАМЫ

□

عبد النافع طايمات

اهل الكدية

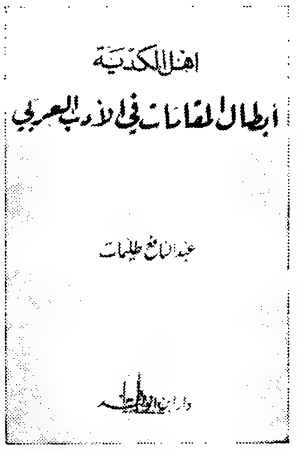
ابطال المقامات فى الادب العربي، دار ابن الوليد، حمص، ١٩٥٧

□

Макама — один из самых популярных и прославленных жанров средневековой арабской литературы. Макама (по-арабски — «круг», «собрание») представляет собой небольшой занимательный рассказ, включающий один или несколько эпизодов из жизни веселого и ловкого бродяги-нищего, который пускается на всевозможные ухищрения, чтобы добыть себе деньги и пропитание, обманывая доверчивых и простодушных людей. Написаны макамы рифмованной прозой, так называемым «саджем», которым написан Коран и многие средневековые арабские книги; они изобилуют метафорами и сравнениями, всякого рода намеками и иносказаниями, вставными стихами. Макамы одного автора составляют как бы эпопею, объединенную одним героем и «рави» (рассказчиком), от имени которого ведется повествование.

Своеобразному и интересному жанру макам посвящено немало работ историков арабской литературы, но почти все авторы рассматривают макамы как продукт творчества отдельных писателей. Новая книга сирийского ученого Абд ан-Нафи' Тулеймата «Нищие — герои макам в арабской литературе» примечательна тем, что ее автор глубоко исследует исторические корни возникновения макам и ту социальную среду, в которой они появились.

В двух больших главах — «Развитие мусульманского общества до IV века Хиджры» и «Социально-классовая обстановка в IV веке Хиджры» (IV век Хиджры соответствует примерно X веку по христианскому летосчислению) автор рисует нам яркую картину жизни Арабского Халифата в период его расцвета и начавшегося упадка. Именно к X веку, с развитием феодализма, в Халифате резко обозначилось классовое расслоение общества. Эмиры, визири и крупные купцы утопали в роскоши, проводили время в великолепных дворцах и садах в окружении тысяч слуг и невольниц, а подавляющее большинство



населения — феллахи, мелкие торговцы и ремесленники, жившие в страшной нищете, гибли от голода и эпидемий.

Массовое обнищание населения приводило к тому, что люди бежали в пустыню, становились бродягами и разбойниками. По дорогам Халифата бродили бесчисленные армии нищих. У них выработался свой тайный язык, свои понятия о нравственности. Среди нищих бродяг были музыканты и поэты. Стихи некоторых из них дошли до нашего времени. Тулеймат приводит в своем сочинении стихи поэта-нищего аль-Акбари, жившего в IV веке Хиджры:

Вот к старости построил дом паук,
Укрылся в нем, а у меня — ни родины, ни дома.
В кругу семьи живет навозный жук,
А у меня — ни друга нет, ни крова.

Нищие бродяги прибегали к самым разнообразным уловкам, пуская в ход всю свою изобретательность и красноречие, чтобы раздобыть «хлеб насущный».

Вот эти-то ловкие проделки нищих и их красноречивые рассказы о своих похождениях и послужили средневековым арабским писателям материалом для создания макам. Основоположником макам, как самостоятельного литературного жанра, был уроженец персидского города Хамадана Абуль Фадль Ахмад Ибн аль-Хусейн (969—1008 гг.), прозванный Бади' аз-Заманом, что означает по-арабски «Чудо времени». Другой крупнейший представитель этого жанра — уроженец города Басры в Ираке Абу Мухаммед аль-Касим Ибн Али аль-Харири (1054—1122 гг.). Интересно отметить, что аль-Харири сам признавал, что его макамы были первоначально записаны им со слов нищего старика-проповедника, которого ему довелось услышать в одной из мечетей Басры.

«Макамы» Бади' аз-Заманa, а позднее и аль-Харири имели огромный успех, который Тулеймат объясняет не только литературным дарованием их создателей, но и тем, что их герои имели реальные прототипы в тогдашнем обществе. О популярности их может свидетельствовать тот факт, что в свое время для образованного мусульманина считалось необходимым, помимо Корана, знать наизусть «Макамы» аль-Харири. У Бади' аз-Заманa и аль-Харири было немало последователей и подражателей в разных концах мусульманского мира вплоть до первой половины девятнадцатого века. Поздние макамы, хотя и написанные нередко с большим мастерством, как, например, макамы аль-Язиджи, жившего в девятнадцатом веке, уже не имели того успеха, так как являлись всего лишь удачной подделкой, анахронизмом, не имевшим корней в общественной жизни.

В небольшой главе «Является ли макама рассказом?» автор касается спорного в арабском литературоведении вопроса о соотношении между средневековой макамой и современным рассказом. «Макама не является рассказом,— пишет он,— это самостоятельный жанр литературы». Это высказывание Тулеймата кажется нам слишком категорическим: он упускает из виду, что жанры, подобные макаме, были необходимыми историческими предшественниками более развитой формы — современного рассказа. Правильнее, на наш взгляд, точка зрения ливанского писателя Маруна Аббуда, который считает, что разница между современным рассказом и макамой такая же, как, скажем, между современной женщиной и ее прабабушкой.

Небольшая книга Тулеймата является, несомненно, ценной работой, которая будет способствовать популяризации в широких массах макам—этих творений арабского народа, которые стоят в одном ряду с такими шедеврами арабской классической литературы, как «Тысяча и одна ночь», «Калила и Димна», «Ожерелье голубки».

Л. Степанов

АВСТРАЛИЯ

СБОРНИК НОВЕЛЛ «ОТ ПОБЕРЕЖЬЯ К ПОБЕРЕЖЬЮ»

Вышел в свет сборник австралийских новелл «От побережья к побережью», в который включены произведения таких известных писателей, как Ванс Палмер, Алан Маршалл, Гэвин Кейси и Джон Моррисон, а также других авторов.

Журнал «Оверлэнд», публикуя рецензию на сборник «От побережья к побережью», спрашивает: «Но где же новые имена? Где отражение новых сторон жизни сегодняшней Австралии?.. Послевоенная Австралия выдвигает широкие и волнующие темы, но они затронуты лишь в немногих рассказах нового сборника. Мы живем в эпоху космических ракет и телевидения, антарктических экспедиций и атомной энергии, и в то же время нас больше чем когда-либо раньше тревожат проблемы наводнений, лесных пожаров, жилищного кризиса и иммиграции».

«Оверлэнд» критикует сборник за то, что многие помещенные в нем рассказы почти не отличаются от традиционных историй из жизни охотников или обитателей провинциального городка.

«ГОСТЮ — ПОЧЕТНОЕ МЕСТО»

Так называется новый роман Ф. Берта Викерса.

Ф. Берт Викерс.
(Еженедельник «Оверлэнд»).

Заглавие его писатель взял из поэмы Генри Лоусона «Стригальщики». Роман рассказывает о жизни английских поселенцев в австралийских степях и городах. Это второе крупное произведение Викерса. Его первый роман «Мираж», посвященный расовой дискриминации в Австралии, вызвал широкий общественный резонанс (см. «Иностранную литературу», № 3, 1956 г.).

В одном из последних номеров журнала «Оверлэнд» публикуется статья о жизненном и творческом пути писателя.

Ф. Берт Викерс по рождению англичанин. Он приехал в Австралию в 1925 году в поисках работы. Здесь ему пришлось работать на элеваторе, быть поваром в лагере стригальщиков и сортировщиком шерсти; он долго бродил по стране в поисках случайного заработка. Викерс сделался, как пишет «Оверлэнд», настоящим австралийцем «самой лучшей закалки». Однажды на строительстве железной дороги его ушибло рельсом, и он попал в больницу, где и решил — «от нечего делать» — заочно пройти курс журналистики. По счастливому стечению обстоятельств его учителем оказался Алан Маршалл, который сразу же отметил талант начинающего писателя и помог ему сделать первые шаги в литературе.

В настоящее время Ф. Б. Викерс закончил еще два романа, которые рассматриваются издателями.

В ЗАЩИТУ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Еженедельник «Оверлэнд» и газета «Трибюн» сообщают, что актеры, режиссеры и другие сотрудники радио и телевидения Австралии выступили с протестом против решения правительства отменить ограничение на ввоз телефильмов из-за границы. В Сиднее, Мельбурне и других городах состоялись демонстрации и митинги протеста. В резолюции, принятой на массовом митинге в Сиднее, говорится, что решение правительства приведет к подмене национального телевидения импортными телефильмами и затормозит

развитие австралийского телевидения, что будет означать, в конечном счете, «продажу оптом австралийских артистов, художников, музыкантов и писателей иностранным монополиям».

В знак протеста проведена всеобщая забастовка работников радио и телевидения.

АВСТРИЯ

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА СТЕФАНА ЦВЕЙГА

Недавно в Вене было основано Общество Стефана Цвейга. Почетным председателем избрана Фридерика Мария Цвейг, проживающая в США.

В состав Международного организационного комитета вошли известные писатели, литературоведы, художники и деятели культуры, в том числе Франс Мазереель, Жорж Дюамель, Бруно Вальтер, Мария Ромен Роллан.

Общество ставит своей целью издание и распространение произведений Ст. Цвейга и работ о его жизни и творчестве. Общество предполагает два-три раза в год выпускать информационный бюллетень, а также создать на родине писателя — в Вене — архив Ст. Цвейга.

В план работы Общества включены лекции и выступления мастеров художественного слова с чтением произведений Ст. Цвейга в концертных залах и театрах.

К СМЕРТИ КЭТЭ ДОРШ

В Вене скончалась известная драматическая актриса Кэтэ Дорш.

С приходом к власти фашистов Дорш покинула Берлин, в театрах которого она играла, и переселилась в Вену. Однако до освобождения Австрии из-под власти гитлеровцев актриса не выступала на сцене.

Кэтэ Дорш прошла большой творческий путь, пишет газета «Берлинер цейтунг». Она создала много запоминающихся образов, в

Кэтэ Дорш в роли миллиардерши Клер Цаханесин в пьесе Фр. Дюрренматта «Визит старой дамы», поставленной венским «Бург-театром».
(Журнал «Театр-рундшау»).

первую очередь в драмах Гауптмана и Шиллера.

После войны, выступая на сцене венского «Бург-театра», Кэтэ Дорш с успехом сыграла роль Филумены Мартурано в одноименной пьесе Эдуардо Де Филиппо. Ее последней большой театральной удачей было создание образа мстительной миллиардерши Клер Цаханесин в пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы».

АЛЖИР

ПАМЯТНИК ДРЕВНЕГО НЕГРИТЯНСКОГО ИСКУССТВА

Недавно в Алжире археологи обнаружили интересные памятники древнего негритянского искусства.

В 1933 году в горном массиве Тассилин — Аджер были открыты неизвестные фрески тончайшей работы. В 1956 году этнолог Анри Лот организовал экспедицию, чтобы производить дальнейшие раскопки. Шестнадцать месяцев работали археологи, этнографы и художники, снимая копии с фресок.

Газета «Ар» помещает интервью, взятое у руководителя экспедиции Анри Лота, который сообщает: «Речь идет об искусстве, развившемся именно в Африке, а не ввезенном туда... Если внимательно изучить то, что мы привезли, можно прийти к выводу, что перед нами одна из первоначальных стадий негритянского искусства. Так, например, в результате расчистки нескольких слоев живописи видно, что рисунки, которые можно считать наиболее древними, представляют собой человеческие фигуры с различными украшениями: рогами, перьями, татуировкой. Это удивительно напоминает формы существующего негритянского искусства, зарисовки нынешних негритянских обрядов. Мы даже обнаружили изображения масок, совершенно идентичных тем, которые в наши дни можно найти у племен Западной Африки».

На вопрос о том, каково значение открытия этих фресок, Лот ответил: «Что мы знали до сих пор о негритянском искусстве и его истоках? Очень немного! Самые древние документы, которыми мы располагали, датируются несколькими веками. А эти находки восходят к шестому тысячелетию или даже более того до нашей эры. Документы свидетельствуют о том, что уже в ту эпоху в Сахаре были распространены обычаи и религиозные ритуалы, которые поныне живы в среде негров. Это потрясающее открытие».

На вопрос — была ли обитаема и населена Сахара в доисторическую эпоху — ученый дает следующий ответ: «Мы уже знаем на основании археологических изысканий и геологических раскопок, что Сахара в древние времена не была пустыней. Это подтверждается фресками, найденными в Тассилине—Аджере. Поэтому нет ничего невероятного в том, что здесь обитало негритянское население...»

На снимках фрески, обнаруженные в горах Тассилина — Аджера «Жираф и антилопы» и «Силуэты женщин» (Шестое тысячелетие до н. э.) *(Еженедельник «Леттр франсез»).*

Лот сообщил также, что на более поздних фресках Тассилина — Аджера замечается определенное влияние египетского искусства, а затем появляются и изображения смешанного негроидо-египетского характера, представляющие особый интерес.

Один из художников — участников экспедиции Жак Шамбрен рассказывает на страницах «Леттр франсез» о материалах и красках, которыми пользовались создатели памятников Тассилина — Аджера. По его мнению, доисторические художники использовали «самую правильную технологию», смешивая глину и песчаник с железистыми соединениями и получая краски от розовых до черно-фиолетовых тонов. Щетина животных использовалась для изготовления кистей, «сделанных очень тщательно, если судить по удивительно тонким мазкам».

Это открытие свидетельствует о высокой степени развития изобразительного искусства негров несколько тысячелетий тому назад.

АНГЛИЯ

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОРЬБЕ ЗА МИР

В Лондоне вышел сборник стихов поэта Питера Темпеста «Первые поэмы», посвященных, как пишет газета «Дейли уоркер», «великой борьбе двадцатого века — борьбе за мир». Газета особо отмечает стихи «Грибы», «Счет» и «Женщина в черном», тема которых — протест против применения водородного оружия. Так, например, в стихотворении «Женщина в черном» говорится о массовом движении английских женщин против испытаний водородных бомб. Молчаливые, одетые в траурные одежды женщины сменяли друг друга у дверей палаты общин, напоминая депутатам о смертельной опасности, которую несет человечеству ядерное оружие...

Лучшим произведением в сборнике, по мнению рецензента «Дейли уоркер», является стихотворение «Руки», в котором выражена любовь к людям созидательного труда и ненависть к эксплуататорам, к «отчаявшемуся меньшинству, лихорадочно цепляющемуся за остатки своих привилегий и замышляющему неслыханные бедствия».

РОМАН О ШАХТЕРАХ

В Англии недавно опубликован роман Кэтрин Куксон «Зверинец». По мнению литературного критика «Дейли уоркер» Глэдис Брукс, «это один из удачных романов о жизни рабочего класса». В нем повествуется о горняцкой семье Бродхерст.

Центральная фигура романа — Лэрри Бродхерст — юноша, мечтающий о карьере писателя и стремящийся «вырваться из подземелья». Ему удается окончить среднюю школу, и он свысока посматривает на своих товарищей шахтеров. Лэрри задумал уйти из семьи и со своей невестой отправиться в Италию. Однако он успевает доехать лишь до Лондона, когда узнает, что на шахте произошло несчастье. Лэрри возвращается домой один. Перспектива жизни в горняцком поселке «не устраивает» его невесту, и она уезжает с богатым американцем.

Вернувшись домой, Лэрри снова сходится со своими старыми друзьями, которых прежде считал «невежественными» и «слишком прямолинейными». Он постигает истинную цену любви скромной девушки Джесси Ханисетт, которую ранее отверг. Лэрри начинает осознавать, что смысл жизни и то призвание, которые он хотел найти вдали от родины, он найдет здесь, в среде простых людей, его родных и близких. Роман, по мнению критика, написан живо. Характеры героев обрисованы ярко и четко.

БЕЛЬГИЯ

ДВЕ АНТИКОЛОНИАЛЬНЫЕ КНИГИ

Прогрессивная печать Бельгии положительно оценивает недавно вышедшие книги Сембена Усмана «О страна, о мой добрый народ» и Р. П. Симона «Против пыток в Алжире». О книге Сембена Усмана журнал «Драпо руж магазен» пишет: «Это живая картина современного африканского

общества, в котором сталкиваются старое и новое, колонизаторы и народ страны. Убедительность образов главных героев говорит о большом мастерстве автора».

В книге Р. П. Симона «Против пыток в Алжире» автор выступает «против террора, которому подвергается население Алжира,— сообщает журнал.— Эта книга — ценный вклад в дело мира и цивилизации».

КОНЧИНА МОРИСА ГОШЕ

Газета «Драпо руж» сообщает о кончине в возрасте 73 лет крупного бельгийского писателя, поэта, романиста и литературоведа Мориса Гоше.

Первый сборник поэм Гоше «Сад» вышел в 1913 году с предисловием Верхарна. В 1948 году опубликованы четыре тома его произведений под названием «Когда бушевал ураган», посвященные событиям второй мировой войны и движению Сопротивления.

БОЛГАРИЯ

БОЛГАРСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА В 1958 ГОДУ

Издательство «Болгарский писатель» открывает 1958 год изданием собраний сочиений классиков болгарской поэзии и прозы: Христо Ботева, Пенчо Славейкова, П. Яворова, Елина Пелина, Христо Смирненского.

По случаю 70-летия со дня рождения писателя Людмила Стоянова и 60-летия поэта Ламара будут выпущены сборники их избранных произведений. Будут изданы также романы «Иван Кондарев» Е. Станева, «Преображенная земля» П. Славинского, «Времена и люди» Г. Белева, «Пленник ДАММ-1» Д. Кьосева и сборники рассказов Б. Райнова, Г. Краева, А. Сегренского, И. Волена и других авторов.

Кроме прозы, к опубликованию намечены сборники избранных стихотворений Д. Габе, Н. Фурнаджиева, Н. Марангозова, а также поэтов В. Ханчева, И. Радоева, В. Раковского, А. Босева и других.

Издательство «Народна младеж» в этом году выпустит около 100 книг для детей и юношества. В их число войдут повесть П. Вежинова «Далеко от берегов» и романы: «Близнецы» Б. Болгара, «Крылатое время» Т. Харманджиева, «Полет в бесконечность» А. Гуляшки, «Путь в Софию» С. Дичева и другие произведения.

Издательство «Народна култура» продолжит издание двенадцатитомника произведений Тургенева, а также выпустит многотомники О. Василева, Г. Караславова и Х. Радевского. Подготовлено к печати собрание сочинений Ф. М. Достоевского.

Государственное военное издательство в числе прочих произведений выпустит роман К. Калчева «Живые помнят» и повесть Г. Караславова «Тринадцать».

ВЕНГРИЯ

РОМАН А. БЕРКЕШИ «ОКТЯБРЬСКАЯ БУРЯ»

В издательстве «Зриньи» вышел в свет роман молодого писателя Андраша Беркеши «Октябрьская буря», в котором автор рассказывает о контрреволюционных событиях 1956 года.

Герой романа — Ласло Тёрёк, солдат танковых войск — один из людей, попавших на удочку контрреволюционной агитации. Несмотря на то, что его гневно осуждает невеста, сражавшаяся на стороне народной власти, он убежден, что должен отомстить за обиды, некогда нанесенные отцу. Но контрреволюционеры убивают его отца, честного патриота, и Ласло становится невольным соучастником преступления. Это открывает ему глаза на многое...

«В своей книге, — рассказывает писатель А. Беркеши, — я ничего не приукрасил... Всем, кто любит наш народ и нашу Родину, нужно учиться на опыте тех трагических дней».

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ПИСАТЕЛИ ВЕНГРИИ?

Анкету на эту тему провел недавно «Бюллетень новой книги». Девять венгерских литераторов рассказали на страницах бюллетеня о своих творческих планах. Поэт Йожеф Фодор готовит к печати книгу стихов, под названием «Прямой путь». Ласло Немет, автор популярной пьесы «Галилей», работает сейчас над романом «Милосердие». Вскоре выйдет сборник статей писателя «Венгерский цех», посвященный проблемам литературы. Шандор Гергей пишет пьесу и работает над вторым томом романа «Тернистый путь». Бориш Палотаи и Шандор Татаи приступили к работе над киносценариями. Бела Ремени заканчивает сатирический роман «Бесхарактерный человек» о нравах хортистской армии периода второй мировой войны.

Большое место в творческих планах писателей, в частности Марты Гергей, Шандора Тёрёка, Тамаша Бараня, занимают произведения для детей и юношества.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РЕПОРТАЖ М. ШЕЕРА О ЕГИПТЕ

Во время империалистической агрессии против Египта писатель и публицист Максимилиан Шеер выступал по радио с рассказами о мужестве и стойкости египетского народа, боровшегося за свою независимость.

Тем же живым и ярким языком, отмечает газета «Националь-цейтунг», М. Шеер повествует теперь о мирной жизни народа Египта в книге «Арабское путешествие», вышедшей в издательстве «Ферлаг дер

нацьон». Писатель говорит о пробуждении долины Нила, описывает будни свободолюбивого народа. «Автор,— пишет газета,— снова показал себя в этой книге мастером литературного репортажа, воссоздающим в живописных картинах многогранный облик Египта...»

«Этот репортаж — кусок новейшей истории. Он захватывает и убеждает потому, что правдив... Книга Максимилиана Шеера, которая была недавно преподнесена автором III конференции арабских писателей и президенту Египта, является ценным вкладом в дело дружбы между новым Египтом и нашей республикой»,— пишет в заключение «Националь-цейтунг».

НОВЫЙ РОМАН Э. ШТРИТТМАТТЕРА

По мнению еженедельника «Зоннтаг», самый краткий ответ на вопрос, что представляет собой новый роман Эрвина Штриттматтера «Чудодей», следующий: «Это роман о жизненном пути человека, написанный методом социалистического реализма».

Роман «Чудодей» вызвал многочисленные отклики печати. «Автор занял место в первой шеренге наших писателей»,— отмечает «Зоннтаг», указывая, что после романов А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми», Б. Узе «Патриоты» и Томаса Манна «Исповедь авантюриста Феликса Круля» новое произведение Штриттматтера является наиболее интересным.

Действие развертывается в 1909—1943 годы. В центре повествования — молодой человек Станислаус, идущий по жизни своим путем, борющийся с ее трудностями, ищущий ее смысл...

Детство Станислауса было нелегким. Обладая природными способностями и наблюдательностью, он рано начинает понимать многое из того, что остается скрытым для его односельчан. В деревне его любят, так как он обладает «даром ясновидения» и помогает людям. «Чудодея» увозят затем в город и отдают в подмастерья к булочнику. За годами «учения» следуют долгие годы мытарств и странствий, еще больше научившие его разбираться в жизни... Роман заканчивается дезертирством Станислауса из гитлеровской армии во время второй мировой войны.

Эрвин Штриттматтер, пишет «Зоннтаг», приостановил свое повествование на первом действительно мудром деянии «Чудодея», намереваясь во втором томе ответить, как встретит герой послевоенную, новую действительность.

ОБРАЩЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЯМ ТЕАТРА ФРГ

Режиссеры и актеры городского театра г. Лейпцига обратились с открытым письмом к театральным деятелям Западной Германии и другим представителям культуры. В письме, пишет еженедельник «Зоннтаг», выражается уверенность в том, что театр никогда не станет средством пропаганды гонки вооружений, войны и расовой ненависти, и говорится о том, что необходимо совместно выступить за использование атомной энергии на благо человека.

«С огромной тревогой,— отмечается далее в открытом письме,— мы наблюдаем, как в Западной Германии создается база атомного оружия и как бундесвер вооружается этим оружием массового уничтожения. Подобная деятельность ведет к самым трагическим и ужасным последствиям, в особенности для самой Западной Германии».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Накануне 160-летия со дня рождения Генриха Гейне состоялось первое присуждение литературной премии имени великого поэта, учрежденной правительством Германской Демократической Республики. Первыми лауреатами премии Гейне, сообщает газета «Националь-цейтунг», явились писатели Карл Шног и Вальтер Виктор.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПРОТИВ АТОМНОГО ВООРУЖЕНИЯ

На страницах журналов и газет Западной Германии все чаще выступают деятели литературы, искусства и науки, требующие отказа от атомного вооружения и протестующие против милитаризации страны.

В статье «Деятели культуры говорят правду» газета «Берлинер цейтунг» отмечает, что за последние месяцы в западногерманской прессе часто публиковались и продолжают публиковаться длинные списки с именами писателей, артистов, ученых, выступающих против оснащения бундесвера атомным оружием.

Под недавним заявлением «Двадцати писателей» подписалась группа литераторов, среди которых Стефан Андрес, Аксель Эггебрехт, Иеско фон Путткаммер, Вольфганг Вейраух, драматург Ганс Генни Ян, режиссер Эрвин Пискатор. «Правительство, которое поощряет проникновение бывших нацистов в высшие правительственные инстанции,— говорится, в частности, в этом заявлении,— не может пользоваться доверием». Другое аналогичное заявление подписали артистка Фита Бенкгоф, композитор Вернер Эгк и писатель Вольфганг Кёппен. Газета «Берлинер цейтунг» отмечает также, что недавно в печати ФРГ опубликован протест против атомного вооружения, под которым стоят подписи ста одного профессора западногерманских академий, и заявление девятисот сорока девяти представителей интеллигенции.

ПЬЕСА О ЯНУШЕ КОРЧАКЕ

В театре Мюнхен-Гладбаха поставлена пьеса молодого немецкого автора Эрвина Сильвануса «Корчак и дети». Януш Корчак, известный польский детский писатель и воспитатель, погиб от рук гитлеровских оккупантов. Пьеса Эрвина

Сильвануса повествует о последних днях жизни Корчака.

...По требованию эсэсовцев Корчак должен сопровождать своих воспитанников до газовой камеры крематория. За это ему обещана жизнь. Но Корчак предпочитает умереть вместе с детьми.

Польская газета «Нова культура», сообщая о постановке в ФРГ этой пьесы, пишет, что «в Западной Германии есть люди, которые умеют правильно трактовать некоторые вопросы и умеют не забывать ужасов войны... говорить «Нет!» войне».

Сцена из оперы Вернера Эгка «Ревизор». *(Журнал «Театер-рундшау»).*

УСПЕХ ОПЕРЫ «РЕВИЗОР»

После премьеры, состоявшейся летом прошлого года, опера известного западногерманского композитора Вернера Эгка «Ревизор», написанная по комедии Гоголя, с большим успехом ставилась в театрах Штутгарта и Гамбурга. В конце 1957 года состоялась премьера «Ревизора» в берлинской «Дейче штаатсопер» (ГДР).

По словам газеты «Нейес Дейчланд», успех оперы продолжает расти. Газета ссылается на слова В. Эгка, заявившего, что в 1958 году опера «Ревизор» принята к постановке большинством крупных европейских оперных театров. После Берлина она пойдет в театрах Вены, Дрездена, Будапешта, Лондона, Мюнхена.

«...Вернер Эгк,— отмечает газета,— имя которого связано с развитием современной немецкой оперы, в этом произведении вновь обратил весь свой талант на создание настоящей, традиционной оперы после некоторых отступлений в область абстракции, которые имели место в его раннем творчестве».

МОЖНО ЛИ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ОПЕРЫ ВАГНЕРА?

Такой вопрос ставит мюнхенский журнал «Дас шёнсте», сообщая, что внуки Рихарда Вагнера, Виланд и Вольфганг, «считают задачей своей жизни заботиться о том, чтобы на зеленых холмах Байрёйта, где происходят ежегодные фестивали вагнеровских опер, наследие их великого деда не превратилось бы в «музейное зрелище».

Рвение, с каким потомки великого композитора взялись за модернизирование постановок опер Вагнера, кажется чрезмерным даже этому журналу, который отнюдь не является ярым поборником реализма в искусстве. «Нельзя допустить того,— сетует «Дас шёнсте»,— что сделал Виланд в прошлом году со вторым актом оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры», когда столь знакомые всем городские очертания Нюрнберга исчезли с зеленой площадки фестиваля, а самая площадка была превращена в пустую платформу, в какую-то модель «хирургического стола». «Это неминуемо лишает сценическое действие всякой жизненности и заставляет звучать вагнеровскую музыку в пустоте... Тот, кто считает,— продолжает журнал,— что у вагнеровских музыкальных драм можно отнять предметную реальность их постановок и декораций, тот должен был бы приняться также за изменение вагнеровских партитур...»

«Дас шёнсте» признает, что подобные эксперименты себя не оправдывают. «Это показала,— пишет в заключение журнал,— постановка оперы «Тристан и Изольда». Внук Р. Вагнера Вольфганг создал постановку, в которой из парусов уносящегося корабля сделан шатер цирка. Миф и рок, любовная тоска и страдания — все это без следа исчезло из абстрактной постановки».

ИНДИЯ

П. МИТРО — ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

Премия индийской Академии литературы за 1957 год по секции бенгальской литературы присуждена известному бенгальскому писателю Премендро Митро за сборник стихов «Возвращение из-за океана».

К лучшим произведениям писателя относятся также «Сборник избранных стихов», «Избранные рассказы», книги для детей «По свету».

Газета «Ананда базар патрика» пишет: «Хотя премия присуждена за одну книгу, несомненно, что это награда за всю его плодотворную деятельность... Бенгальские читатели гордятся той наградой, которой удостоен их любимый писатель».

«ДЖАТАКА» И БАСНИ ЭЗОПА

В Индии вышел сборник, включающий 114 легенд и басен, отобранных из «Джатаки» — древней книги буддийских легенд. До того, как была обнаружена «Джатака», западные ученые считали, что народные индийские сказки заимствовали свои сюжеты из буддийских легенд. Однако, пишет журнал «Бхарат джиоти», при изучении «Джатаки» выяснилось, что сами эти легенды основаны на переложении древнеиндийских сюжетов. Интересно, что около десяти басен «Джатаки» перекликаются по своему содержанию с баснями Эзопа. Журнал высказывает предположение, что во времена Александра Македонского, когда Индия и Греция были связаны через Иран и Малую Азию, Эзоп имел возможность познакомиться с «Джатакой». Некоторые сюжеты из «Джатаки» встречаются также в баснях Лафонтена и «Кентерберийских рассказах» Чосера.

НАРГИС В ФИЛЬМЕ «МАТЬ ИНДИЯ»

На экранах кинотеатров Индии демонстрируется новый фильм «Мать Индия», главную роль в котором исполняет актриса Наргис.

...Жизнерадостная крестьянская девушка выходит замуж и переезжает к мужу в его деревню. У нее появилось свое, правда, очень бедное хозяйство, своя семья. Но жизнь сурова. Засуха, ливни или наводнения уничтожают урожаи, растет долг деревенскому ростовщику. Отчаявшись, муж покидает семью и уходит на заработки. Из детей выживают только двое. Мать, оставшись одна, работает не покладая рук, чтобы вырастить своих сыновей. Ее жизнь — это жестокая борьба за существование. Она вырастила сыновей, но каждый из них пошел своей дорогой. Один — борется за счастье родной страны. Другой — становится предателем и выступает на стороне врагов. В финале мать убивает сына-предателя, изменившего своему народу...

Индийская пресса отмечает, что постановщику и актерам удалось создать удачный фильм об индийской деревне, об упорной борьбе индийского крестьянства за существование. «Исполнение Наргис в этой картине роли крестьянки-матери — триумф актрисы, начиная с самого первого кадра и до финальной сцены, где она жертвует жизнью сына ради торжества справедливости», — пишет еженедельник «Блиц».

Роли сыновей исполняют актеры Раджендра Кумар и Сунил Датт. Музыка написана композитором Наушада. Режиссер фильма — Мехбуб.

Киноактриса Наргис, исполняющая роль матери в фильме «Мать Индия».
(Журнал «Филминдия»).

ВЫСТАВКА СОВЕТСКИХ КНИГ

В Калькутте была открыта выставка книг, изданных в СССР. Экспонировано около 3500 названий.

Особое внимание посетителей привлек раздел советских книг, переведенных на индийские языки: хинди, бенгали, урду и другие. Здесь можно найти книги: «Мать» и «Дело Артамоновых» М. Горького, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова, «Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Железный поток» А. Серафимовича и другие.

На выставке экспонированы книги современных советских писателей на русском языке, в том числе «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Русский лес» Л. Леонова, «Московские зори» Л. Никулина, «Даурия» К. Седых, «Крымские встречи» Я. Ильичева, «Перед рассветом» С. Фомина, «Большая семья» Ф. Наседкина, «Жизнь в борьбе» И. Козлова, «Иван Иванович» А. Коптяевой, «Искатели» Д. Гранина, «Строки любви» С. Щипачева и др.

Редактор газеты «Джунгата» Вивекананда Мукерджи оставил следующую запись в книге отзывов: «Эта выставка дает представление о том прогрессе, которого достиг Советский Союз в области искусства и науки. Осматривая книги, изданные на индийских языках и демонстрирующиеся на этой выставке, мы можем представить себе масштабы работы, проводимой в Советском Союзе по освоению индийских языков, особенно бенгали. Эта выставка является доказательством того, какую высокую культуру может создать социалистический строй».

Работа известного иранского художника-миниатюриста Хадж Мирза Ага Имами
(Журнал «Нагш ванегар»).

ИРАН

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО И КНИГОТОРГОВЛЯ

Журнал «Китабхи-йи мах» пишет о состоянии книжного рынка в современном Иране и останавливается на основных трудностях, с которыми приходится сталкиваться издателям при выпуске и распространении книг. Журнал отмечает некоторое оживление издательской деятельности в Иране за последние годы, что объясняется увеличением количества грамотных в стране и ростом интереса населения к вопросам науки, культуры и политики. Возросли и тиражи книг, доходящие теперь до трех тысяч экземпляров, тогда как еще несколько лет тому назад тираж в тысячу экземпляров считался максимальным. Однако, как отмечает журнал, полиграфическая техника находится еще на низком уровне, редко можно встретить книгу без типографских ошибок. Журнал объясняет это тем, что «темпы набора и печати в тегеранских типографиях чрезмерно высоки, так как владельцы их, в погоне за прибылью, стремятся как можно быстрее выполнить заказ. Наборщики же получают сдельную плату. При существующих низких расценках все это неизбежно ведет к небрежному набору». Развитие издательского дела тормозится также слабой механизацией производства. «Ввиду дороговизны переплетных машин мало надежды на внедрение их в производство в недалеком будущем, тем более что уровень заработной платы за ручной труд очень низок».

15 апреля 1958 года исполняется 20 лет со дня смерти выдающегося революционного поэта Перу Сезара Вальехо. Мы публикуем одну из последних фотографий С. Вальехо, умершего в эмиграции в Париже.
(Еженедельник «Контемпоранео»).

ИТАЛИЯ

ТРЕТЬЯ КНИГА КАРЛО МОНТЕЛЛЫ

Среди прозаиков, пришедших в итальянскую литературу после войны, Карло Монтелла занимает видное место. Несколько лет тому назад он опубликовал роман «Родственники на юге», который сразу обратил на себя внимание читателей и критиков. В этом романе, отмеченном литературной премией, выявилось незаурядное сатирическое дарование писателя. В 1956 году вышел второй роман Монтеллы «Пожар в земельной управе». Эта книга написана под большим влиянием Гоголя и посвящена «всем Акакиям Акакиевичам мира». Автор изображает в ней замкнутый и тусклый мир мелких чиновников.

Недавно издательство «Шиашиа» опубликовало новую книгу Монтеллы «Тот, кто выходит на рассвете». На этот раз писатель выступает не с романом, а со сборником рассказов. Еженедельник «Фиера леттерариа» отмечает, что Монтелла подходит к действительности как реалист и сатирик, что он обладает той остротой зрения и восприятия, которая позволяет ему видеть не только уродливое, смешное, но и горькое и тяжелое. В его новых рассказах вновь фигурируют мелкие служащие, рабочие, солдаты. Автор ино-

гда прибегает к гротеску, выбирает необычайные ситуации для героев. Например, рассказ «Приключение в министерстве» — это история о маленьком, робком чиновнике, приехавшем из провинции и затерявшемся в лабиринтах министерства.

ПРАВДА О САРДИНИИ

Издательство «Латерца» в Бари, выпустившее ряд книг, посвященных тяжелым условиям жизни населения южной Италии, издало записки учительницы Марии Джакоббе о ее работе в школах Сардинии. «Дневник молодой учительницы» — так озаглавлена книга Джакоббе. Это литературный документ о жизни в деревнях острова, являющегося одним из самых отсталых районов страны. Автор рассказывает о детях, здоровье которых подорвано постоянным недоеданием, о их родителях, обреченных на лишения и бесправие, о трудных условиях работы в лишенной всего необходимого школе. Жизнь затерянных деревушек Сардинии настолько примитивна и непонятна для посторонних, что юная учительница, приехавшая с «материка», глядя на сардинских крестьян, с удивлением задает себе вопрос: «Неужели эти люди такие же как все?»

По свидетельству газеты «Унита» и еженедельника «Контемпоранео», книга глубоко человечна, рассказанные в ней без аффектации и сентиментальной жалости конкретные факты являются выражением решительного протеста против вековой отсталости и нищеты юга Италии.

Перед читателем предстает галерея мужчин, женщин и детей селения Оргосоло, где преподавала Мария Джакоббе. Несмотря на отсталость и господство предрассудков, пишет учительница, люди там относятся к учению серьезно, с чувством высокой ответственности, словно инстинктивно понимая, что грамота даст им возможность осознать, наконец, свое положение и протестовать против него.

ЖУРНАЛ «ПОНТЕ» О ЦЕНЗУРЕ В ОБЛАСТИ КИНО

Один из последних номеров литературного журнала «Понте» помещает ряд статей, где дается анализ причин, тормозящих развитие итальянской кинематографии.

Кинокритики Мино Арджентьери и Ивано Чиприани в статье «Цензура и самоцензура» отмечают, что кризис, переживаемый итальянским кино, в значительной степени объясняется существующими условиями цензуры, которая действует, в основном, по нормам закона, принятого еще в 1923 году.

В результате действий цензуры появилась целая серия так называемых «запретных тем». Авторы пишут о той тяжелой обстановке, в которой приходится работать деятелям итальянского кино: о ней свидетельствует простое перечисление «запретных тем». Это — религия («нельзя шутить с небом»), полиция («нельзя подрывать престиж государственной полиции»), классовая борьба («нельзя разжигать классовую ненависть»), политическая сатира, если она направлена против христианско-демократической партии или против католических организаций.

Авторы перечисляют фильмы, испытавшие на себе действие цензорских «ножниц». Так, например, известный кинорежиссер Луиджи Дзампа, прождав несколько лет разрешения на постановку фильма «Полицейский и вор», вынужден был от него отказаться. В дальнейшем этот фильм поставил другой режиссер, который положил в его основу тему, никак не отвечающую первоначальному замыслу Луиджи Дзампы. Скрытый революционный смысл заподозрила цензура во фразе одного из персонажей фильма «Два гроша надежды» (режиссер Ренато Кастеллани): «Но я произведу на свет потомков, которые громко заявят о том, чего не смог сказать я».

Из фильма режиссера Альдо Вергано «Вне закона» выброшены сцены, где показывалось движение крестьян, занимающих никем не обрабатываемые земли. Запрещен показ документальных фильмов «Дорога свободы» из истории итальянского рабочего движения и «Долгая борьба» о крестьянских волнениях в Италии. Два фильма режиссера Карло Лидзани «Внимание, бандиты!» и «Повесть о бедных влюбленных», обвиненные цензурой в том, что они «чернят Италию», пролежали несколько лет, пока не было получено разрешение на экспорт.

После возрождения германского милитаризма в Западной Германии для итальянских кинорежиссеров практически отпала возможность самой безобидной критики в адрес нацистской военщины. В подтверждение этого авторы приводят высказывания итальянского продюсера Понти: «Теперь нельзя было бы поставить фильм «Рим — открытый город»: он не понравился бы немцам».

Своего верного союзника итальянская цензура находит в лице реакционной печати. Например, римская газета «Темпо» обвинила Витторио Де Сика и Чезаре Дзаваттини в пропаганде «безбожного материализма и большевизма», которая якобы содержится в фильме «Чудо в Милане».

Продолжая анализ причин тяжелого положения в итальянском кино, авторы рассказывают, что в среде кинодеятелей получила распространение так называемая «самоцензура» — продукт официальной цензуры. «Бесполезно представлять сценарий,— пишут авторы,— если знаешь заранее, что он не будет одобрен». Продюсеры со своей стороны стремятся избежать тех моментов, которые могли бы вызвать возражения цензуры.

«Самоцензура продюсеров неизбежно влияет на авторов, сценаристов, режиссеров и т. д., подрывает их единство, снижает их культурные и художествен-

ные вкусы и запросы, ослабляет сознание необходимости защиты своих прав». Перечисляя многочисленные сценарии, которые не могут быть реализованы в кино, авторы отмечают, что «кинодеятели считают бесполезным вообще писать сценарии, если заранее известно, что фильмы по ним никогда не будут поставлены». В подтверждение этих слов в статье приводится высказывание кинорежиссера Витторио Де Сика: «Почему итальянские шахтеры эмигрируют из Италии? Как они живут и умирают? Это очень грустная и очень волнующая история, но я не могу поставить такой фильм по различным причинам».

КИТАЙ

«ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ»

Журнал «Вэньибао» пишет о выходе в свет сборника статей «За социалистическое направление в литературе», отражающего борьбу в литературе против правых элементов.

Сборник содержит 148 статей, опубликованных в разное время в газетах и литературных журналах. В их числе передовые статьи газет, выступления руководящих партийных работников и писателей, разоблачающих подрывную деятельность антипартийной группировки и правых элементов.

«Сборник, — пишет «Вэньибао», — поможет читателям лучше понять политику, проводимую партией в области искусства и литературы».

АКТУАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Экспериментальный театр при Центральном театральном институте показал недавно новую пьесу Ян Хуашэна «Уродцы», в которой разоблачаются антинародные вылазки буржуазных правых элементов.

Китайская критика отмечает своевременность появления этой острой сатирической пьесы, поставленной режиссером Сунь Вэй-ши.

Спектакль состоит из нескольких сцен-картинок, в которых заклеймены действия правых элементов в различные периоды их деятельности. Спектакль «Уродцы» пользуется большим успехом у зрителей. Пьеса принята к постановке во многих театрах страны.

МАЛАЙЯ

РОМАН О ЖИЗНИ МАЛАЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

Журнал «Малейя» высоко оценивает роман Катарины Сим «Сын Малакки», в котором «ярко отражена жизнь сельского населения с его чаяниями, тревогами и радостями».

К. Сим продолжительное время жила в малайской деревне и хорошо знает жизнь и быт малайского народа. Эта тема и легла в основу ее первого романа «Сын Малакки». Сюжет романа несложен. Писательница рассказывает о детстве и юности Хассана — мальчика из маленькой малайской деревушки — в период японской оккупации и послевоенной разрухи. В книге даны интересные зарисовки малайских свадебных обрядов и празднеств, показан тяжелый труд крестьян на рисовых полях.

НОРВЕГИЯ

КНИГА О НУРДАЛЕ ГРИГЕ

Значительным событием в культурной жизни Норвегии является выход в свет книги Герд Григ «Нурдаль Григ — каким я его знала». Герд Григ — норвежская актриса, дочь выдающегося деятеля норвежского рабочего движения Адама Эгеде Ниссена, жена и соратник известного норвежского поэта и писателя Нурдаля Грига.

За 15 лет, прошедшие со дня смерти Н. Грига, в норвежской печати неоднократно появлялись статьи о его жизни и творчестве, содержащие интересные данные об идейном и творческом развитии писателя-борца. Среди этих статей были и такие, авторы которых пытались свести на нет антифашистское содержание творчества Грига, убедить читателей, будто Григ в последний период жизни отказался от своих прогрессивных убеждений. Книга Герд Григ, в которой приведены новые интересные документы об антифашистской деятельности Грига, его верности прогрессивным политическим идеалам, наносит удар по этим фальшивым утверждениям.

Книга Герд Григ охватывает последнее десятилетие жизни поэта, годы расцвета его таланта, которые в то же время являются годами его активной борьбы с реакцией и фашизмом. Читатели знакомятся с Нурдалем Григом — редактором антифашистского журнала «Вейен фрем», Григом—участником антифашистской борьбы в Испании, и, наконец, Григом—борцом за свободу и независимость Норвегии в годы второй мировой войны.

Газета «Фрихетен» приводит один из документов, обнародованных Герд Григ в ее книге,— письмо Н. Грига представителю правого крыла норвежской эмиграции в Лондоне, которое является своего рода «политическим завещанием Грига». В этом письме Григ разоблачает квислинговцев и других пособников Гитлера. Он пишет, что «не разделяет точки зрения некоторых кругов в Лондоне, которые считают, что гораздо лучше иметь профашистское, нежели антифашистское прошлое». Выявляя клеветнический характер обвинений, которые выдвигались против него, в частности, в связи с его антивоенной пьесой «Наша честь, наше могущество», Григ пишет, что основная мысль пьесы — показать «аморальность тех общественных групп, которые внутри нейтрального государства пытаются нажиться на войне

и страданиях других людей».

Секретарь ЦК компартии Норвегии Юст Липпе в своей рецензии на книгу Герд Григ пишет: «Несколько недель назад жители Бергена, где родился и вырос Нурдаль Григ, поставили перед театром замечательный памятник поэту. Но Григ, такой, каким он был и остается сегодня для нас и останется в будущем для всех норвежцев,— этот Григ ожил в книге, написанной его женой, другом и соратником Герд Григ... Книга раскрывает сущность Нурдаля Грига, для которого жизнь имела смысл и ценность только в борьбе за великие идеи современности, в неустанной борьбе за мир и прогресс, против войны, реакции и фашизма».

ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Журнал «Аль-Адиб» сообщает, что государственные премии по литературе за 1957 год присуждены двум египетским писателям: Нагибу Махфузу за его романы «Между двумя дворцами» и «Дворец страсти» и доктору Мухаммеду Камилю Хусейну за роман «Селение неправедных».

Нагиб Махфуз — крупный современный египетский писатель-реалист. Герои его романов — в основном торговцы и ремесленники. Доктор Мухаммед Камиль Хусейн — известный на Арабском Востоке ученый, бывший декан Каирского университета.

ПОСЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Сирийский литератор Ханна Мина пишет в журнале «Ас-Сакафа аль-Ватанийя», что третья конференция арабских писателей потребовала от них правдиво отражать опыт нации и ее граждан, подчеркивая национальные чаяния народа. «Конференция призвала писателей,— продолжает Х. Мина,— овладевать достижениями прошлого и заботиться о настоящем и будущем, имея в виду добиться лучшей жизни для своей родины и народа...»

«ВЛАСТЬ ТЬМЫ» НА СЦЕНЕ ЕГИПЕТСКОГО ТЕАТРА

На сцене египетских театров все чаще ставятся пьесы классиков мировой драматургии. Среди новых пьес, поставленных театром «Современная египетская труппа», журнал «Роз аль-Юсеф» называет комедию Бомарше «Женитьба Фигаро», пьесу Ромен Роллана «Настанет время» и одноактную антивоенную пьесу Ирвина Шоу «Похороните мертвых». Из произведений русской классики театр поставил «Власть тьмы» Льва Толстого. Пьеса переведена на египетский разговорный диалект. «Когда ее смотришь,— пишет рецензент,— то забываешь, что это переводная пьеса, а не египетская».

Известная египетская танцовщица и киноактриса Наима Акиф, получившая золотую медаль на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, выступает на концерте, устроенном в честь делегатов конференции солидарности стран Азии и Африки в Каире.
(Журнал «Аль-Мусаввар»).

ПОЛЬША

СБОРНИК СТИХОВ ЯРОСЛАВА ИВАШКЕВИЧА

Как сообщает «Трибуна литерацка», в Варшаве в издательстве «Чительник» вышел сборник стихов военных лет Ярослава Ивашкевича. Рецензент Янина Прегер отмечает, что чувства, выраженные автором в его стихах,— это чувства всего польского народа, пережившего тяжелые годы войны и фашистской оккупации. Рецензент пишет, что форма стихов лишена всякой внешней эффектности, она безыскусственна и проста. Стихи наполнены большой скорбью писателя-поэта, на глазах которого умирали его соотечественники и друзья. Тем не менее, отмечает Я. Прегер, для поэзии Ярослава Ивашкевича, как подтверждает новая книга его стихов, характерна любовь к жизни, горячий, жизнеутверждающий пафос.

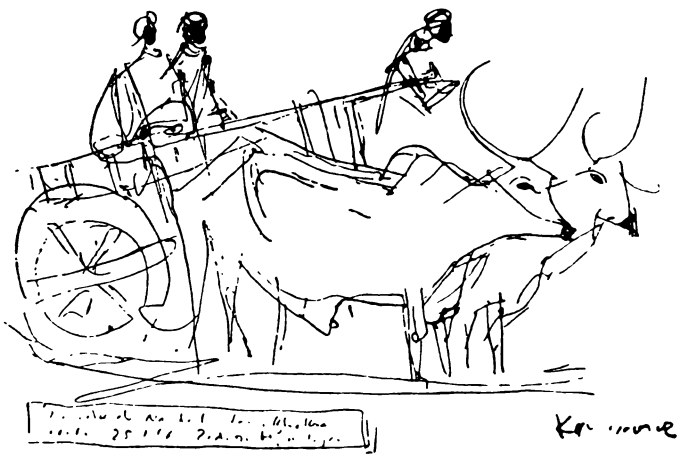
НЕВИДИМЫЙ ТЕАТР

В Польской Народной Республике функционирует театр, который собирает самую многочисленную аудиторию и ставит больше всего премьер. Он знакомит сотни тысяч трудящихся с лучшими произведениями польской и мировой литературы. Это — театр Польского радио.

О работе этого театра пишет Р. Шидловский на страницах газеты «Трибуна люду», отмечая широкий диапазон деятельности театра и богатство репертуара.

К наиболее интересным радиопостановкам последнего времени относятся: пьеса «Последняя ночь» Здислава Сковроньского по произведению Леопольда Инфельда «Любимец богов», инсценировка романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо», пьеса Евг. Шварца «Тень», «Салемские колдуньи» А. Миллера, «Капитан из Кёпеника» Цукмайера, «Человек, которого ищут» Кристины Салабурской и многие другие.

В дни празднования сороковой годовщины Великой Октябрьской *социалисти-*



В Варшаве состоялась выставка работ польского графика Тадеуша Кулисевича. На снимке новый рисунок Кулисевича из цикла «Индия»

(Газета «Трибуна литерацка»).

ческой революции театр ставил монтажи спектаклей и фрагменты из революционных пьес советских авторов, таких как «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Человек с ружьем» Н. Погодина, «Любовь Яровая» К. Тренева. Была подготовлена также специальная постановка по пьесе А. М. Горького «Достигаев и другие».

Автор статьи выражает надежду, что постановка этой пьесы А. М. Горького силами артистов театра Польского радио послужит примером для других польских театров и привлечет их внимание к драматическим произведениям А. М. Горького.

В передачах театра Польского радио, пишет в заключение Р. Шидловский, радиослушатели знакомятся с интересными произведениями, которые, к сожалению, до сих пор не ставятся на польской сцене.

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ ТАДЕУША ТРЕПКОВСКОГО

В Польше состоялось присуждение премии имени известного польского художника Тадеуша Трепковского, установленной Художественно-графическим издательством для молодых художников за лучший политический плакат.

Жюри, по сообщению «Жице Варшавы», решило присудить вместо одной — две одинаковые премии за работы, выполненные в 1957 году. Премии присуждены Лилиане Бачевской за плакат «22 июля» («День Возрождения Польши») и Павлу Вильчеку за плакат «Октябрьская революция».

РУМЫНИЯ

ПЛАНЫ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

«Каковы ваши творческие планы в 1958 году?» На этот вопрос еженедельника «Газета литерарэ» ответили многие поэты, прозаики, драматурги, литературоведы.

Поэт Михай Бенюк в 1958 году намерен закончить большой сборник стихотворений для детей. Одновременно он работает над романом «На острие ножа» о подпольной борьбе коммунистов в годы второй мировой войны. В текущем году выйдет также книга очерков М. Бенюка о Народном Китае, который он посетил в 1957 году.

В начале 1958 года Румыния отметила 25-летие кровавых событий февраля 1933 года, во время которых были расстреляны рабочие железнодорожных гривицких мастерских. Поэт Чичероне Теодореску рассказал о завершении цикла стихотворений «Гривица Рошие» («Красная Гривица»), посвященных этой дате. Он подготовил также сборник стихотворений «Люди и любовь». В этом году поэт продолжит работу над переводами поэм Маяковского.

Старейшая румынская поэтесса Отилия Казимир заканчивает цикл стихотворений для детей и готовит к печати собрание сочинений А. П. Чехова на румынском языке.

Не менее разнообразны и обширны планы прозаиков. Эусебиу Камилар готовит к печати книгу о путешествиях, состоящую из четырех частей: «Греция», «Турция», «Чехословакия» и «Пустыня Гоби».

Титус Попович, опубликовав недавно роман «Жажда», начал писать роман о современной молодежи.

Франчиск Мунтяну намеревается завершить в скором будущем роман «Рожденный в Европе» и пьесу «Небо начинается на третьем этаже». Писатель продолжает плодотворно работать в области кино. Сценарий, который он написал недавно совместно с режиссером Виктором Илиу, называется «Журавли летят без компаса».

Драматург Михаил Давидоглу пишет короткие пьесы для самодеятельных театральных коллективов. В его творческие планы входит также создание комедии на злободневную тему.

США

«ДАЙТЕ ПЕТЬ ПОЛЮ РОБСОНУ!»

В апреле исполняется 60 лет со дня рождения замечательного американского певца, мужественного борца за мир и демократию, друга Советского Союза Поля Робсона. Многочисленные друзья Робсона во всем мире продолжают борьбу за его право свободно выступать за пределами США пе-

Обложка брошюры «Дайте петь Полю Робсону!»

ред теми, кто хочет слушать великого негритянского артиста.

В своей книге «Такова моя позиция», опубликованной в начале этого года, Робсон рассказывает, к каким мерам прибегает государственный департамент, чтобы помешать его выезду за границу, главным образом под тем фальшивым предлогом, что его выступления якобы противоречат «интересам Соединенных Штатов». Но неужели мистеру Даллесу, проводящему безумную политику «на грани войны», решать такие вопросы, восклицает автор.

«Дайте петь Полю Робсону!» — вот уже два года, как под этим лозунгом проводится широкая кампания за предоставление Робсону возможности выехать за границу и право выступать в Англии. Здесь создан «Комитет Поля Робсона», который получает письма от рабочих организаций, от актеров, писателей и художников, от студентов и преподавателей, выражающих свое возмущение действиями американских властей, лишивших Робсона его заграничного паспорта. Этот же комитет издал брошюру, в которой собрал высказывания видных деятелей Англии по этому вопросу.

«Когда у такого выдающегося художника, как Поль Робсон, отбирают паспорт,— пишет художник Поль Хогарт,— это нечто большее, чем потеря личной свободы: весь окружающий мир лишается великого таланта. Нельзя простить, когда артиста приносят в жертву политике».

Айвор Монтегю подчеркивает, что «отношение государственного департамента к вопросу о выдаче Полю Робсону паспорта трагично не столько для артиста (с точки зрения его личных неудобств), сколько для миллионов людей во всем мире, которые любят его.

Но все это бледнеет перед тем, какой огромный вред приносит интересам и престижу Соединенных Штатов железный занавес, которым они себя окружают. Эта великая страна и ее дружелюбный народ имеют в лице Поля Робсона лучшего из послов, которого они могли бы направить к народам мира».

«Как могло случиться, что страна, давшая миру столько больших художников, могла дойти до того, чтобы принуждать к молчанию самый мощный из ее голосов?» — спрашивает писательница Памела Хэнсфорд Джонсон.

Среди писателей молодого поколения в защиту Робсона поднимает свой голос Кингсли Эмис: «Возмутительно,— пишет он,— что Поль Робсон лишен возможности выступать в Англии, где наверняка имеются тысячи почитателей его таланта. Я надеюсь, что будет сделано все возможное, чтобы этот прекрасный артист мог приехать к нам».

Даже газета «Таймс» присоединяет свой голос к приведенным выше выступлениям деятелей культуры. Сообщая о том, что Ассоциация британских актеров выступила в поддержку «Комитета Поля Робсона», «Таймс» помещает письмо известного шекспироведа Доувера Уилсона, который приветствует решение «пригласить этого великого африканского джентльмена с золотым голосом мистера Поля Робсона приехать к нам и петь для нас и прежде всего снова показать нам еще раз свое истолкование роли героического негра, который является самым

благородным из трагических образов Шекспира... Мне повезло, и я в мае 1930 года видел Отелло в его исполнении. Это было незабываемое переживание, и я убежден, что научился тогда понимать это произведение таким, как его задумал Шекспир. Во имя Шекспира мы взываем к Вашингтону: разрешите Робсону приехать к нам!»

«РОМАН О ТОРГАШЕСТВЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

В США вышел из печати роман «Проклятая башня» американской писательницы Энн Марбат, в котором вскрываются некоторые причины кризиса американской системы высшего образования. В романе показано, как дельцы от науки, стоящие на страже своекорыстных интересов, создают атмосферу зависти, склок и интриг в американских университетах, что в конечном счете ведет к снижению уровня преподавания. Герой книги, Джерри Скотт, работает в университете, находящемся в ведении одного из штатов. Вот кредо этого ученого бизнесмена: «Образование — это бизнес, и преподавание должно вестись по-деловому. Мы должны заполучать покупателей, и если уж они пришли к нам — продавать им нечто новое, чтобы удержать их». Книга Энн Марбат имеет подзаголовок — «Роман о торгашестве в системе образования»,— и это в определенной степени является ответом на недоуменные вопросы некоторых заокеанских деятелей о том, почему американская система образования оказалась хуже советской.

ФИЛЬМ ПО ПЬЕСЕ ЧЕХОВА «ДЯДЯ ВАНЯ»

Журнал «Тиэтр артс» рассказывает об истории создания кинофильма по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня».

«Те немногие зрители, которым посчастливилось увидеть пьесу «Дядя Ваня», поставленную Дэвидом Россом в его театре на 4-ой авеню в Нью-Йорке, никогда не забудут этот спектакль.

Кадр из американского фильма по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня». Елена — артистка Долорес Дори-Хефт, Телегин — артист Джеральд Хайкен. Дядя Ваня — артист Джордж Восковец.

(Журнал «Тиэтр артс»).

Актер Фрэнчот Тоун, с успехом исполнивший роль Астрова, а также его партнеры по спектаклю не могли примириться с мыслью, что по истечении контракта удачная работа коллектива забудется. Возникла идея создать фильм по этому спектаклю. Собрав не без труда средства, коллектив приступил к съемкам. Как рассказывает Тоун, было решено сделать фильм, «в котором Чехов должен остаться неприкосновенным... Мы сознавали,— говорит Тоун,—что кинофильм требует больше динамичности в развитии сюжета, чем спектакль. Но мы понимали — правильную трактовку, к которой мы стремимся, нам может подсказать только сама пьеса».

Коллектив театра приступил к съемкам с большим энтузиазмом. Они были завершены в течение пяти недель. В роли дяди Вани снимался актер Джордж Восковец, в роли доктора Астрова — Фр. Тоун, Марины — Мэри Пэрри.

Как отмечает журнал «Тиэтр артс», это первый случай экранизации произведения Чехова в США.

ФРАНЦИЯ

КРИТИКА БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА

«Юманите» сообщает о выходе двух книг писателя-социолога Жана Канапа, в которых критикуется буржуазная культура. Первая книга называется «Положение интеллигента», вторая— «Социализм и культура».

Писатель Жан Фревиль в рецензии на книги Канапа, опубликованной в газете «Юманите», отмечает, что, анализируя положение интеллигенции с марксистских позиций, Канапа дает интересную картину «пролетаризации широких масс интеллигенции в капиталистических странах...» Автор показывает одновременно общую деградацию культуры при капитализме и неминуемое ухудшение материального положения интеллигенции. «Обрисовав в общих чертах упадок культуры при капитализме,— пишет далее Ж. Фревиль,— Канапа рисует в своей второй книге картину культурной революции в Советском Союзе и странах народной демократии».

Нельзя, пишет в заключение рецензент, безоговорочно подписаться под всеми

формулировками и тезисами автора. Но во всяком случае, «...это книги, которые стоит прочесть и над которыми стоит подумать».

К ВОПРОСУ О «СВОБОДЕ КУЛЬТУРЫ»

Под таким ироническим заголовком газета «Юманите» поместила заметку о том, как два писателя — Андре Стиль и Ален Прево лицом к лицу столкнулись с одним из проявлений буржуазной «демократии» и пресловутой «свободы культуры», о которых так много пишется на Западе.

...Авиационная компания «Эр франс» ежегодно устраивает на аэродроме в Орли книжный базар, где приглашенные писатели беседуют с покупателями и надписывают свои книги. На этот раз были приглашены Андре Стиль и Ален Прево, которые намеревались надписывать свои последние произведения «Мы полюбим друг друга завтра» и «Непопулярный народ». Писатели прибыли в назначенный час, но у ворот аэродрома Орли они узнали, что им... вход воспрещен!

Несмотря на протест писателей и возмущение публики, дирекция аэродрома не разрешила А. Стилю и А. Прево пройти на книжный базар. «Юманите» называет этот достойный удивления акт «неслыханным произволом».

В Гранд-спера (Париж) поставлен балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». На снимке исполнитель роли Ромео солист балета Мишель Рено.

(Журнал «Театр и фильм»).

Андре Стиль и Ален Прево (в центре группы) у входа на книжный базар в Орли.

(Газета «Юманите»).

НЕИЗВЕСТНЫЙ РАССКАЗ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА

В 1920 году одним польским литературоведом была обнаружена рукопись неизвестного автора под названием «Клиссон и Евгения». Рукопись представляет собой неоконченный рассказ о неудачной любви некоего генерала Клиссона к девушке по имени Евгения. Выяснилось, что автором этой сентиментальной истории является Наполеон Бонапарт. Как полагают историки, Наполеон положил в основу рассказа эпизод, имевший место в его жизни. По сообщению аргентинского журнала «Мундо архентино», впервые публикующего этот рассказ, первые шесть страниц рукописи хранятся сейчас в одном из архивов Польской Народной Республики. Четыре последние страницы были найдены недавно и находятся в частной коллекции в Лондоне.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Молодой французский кинорежиссер Александр Астрюк закончил съемки цветного фильма по роману Ги де Мопассана «Жизнь». В главных ролях снимались Мария Шелл, Антонелла Луальди, Кристиан Маркан и другие актеры.

* * *

Известный французский кинорежиссер Клод Отан-Лара (постановщик кинокартины «Красное и черное») в 1958 году будет снимать фильм по повести И. С. Тургенева «Первая любовь».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ЧЕШСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Еженедельник «Литерарни новины» публикует ответы чешских писателей на вопросы: «Что вы сейчас пишете?» и «Почему вы избрали эту тему?»

Ян Отченашек сообщает, что работает над романом из жизни молодежи в период фашистской оккупации Чехословакии. Выбрал он эту тему потому, что, по его мнению, необходимо показать условия, в которых формировалось современное поколение, так как это поможет лучше понять стоящие перед молодежью проблемы.

Иван Кржиж пишет повесть о современной деревне и роман о молодежи. В обеих вещах он касается проблемы морали в социалистическом обществе. «Художник,— говорит он,— несет вместе с другими ответственность за моральный облик эпохи, в которую он живет. От этой ответственности нельзя уклониться, даже если сталкиваешься с трудностями. Я хочу этим сказать, что тему моих произведений я не выбрал — ее выдвинула сама действительность».

Карел Птачник только что закончил роман «Пограничный город», в котором описывает события, происходившие в одном пограничном городке с мая 1945 по май 1946 года.

Павел Когоут работает вместе с режиссером Вейссом над сценарием фильма по пьесе «Такая любовь». «Почему я за это взялся? — шутливо спрашивает он.— Потому что режиссер хочет экранизировать пьесу, хотя он уверяет, что делает это именно потому, что я хочу увидеть свою пьесу на экране».

О. Микулашек заканчивает сборник лирических стихов. Франтишек Лангер пишет пьесу «Каменная слава», посвященную Праге. Милан Яриш в сборнике рассказов делится с читателями своими впечатлениями о Китае. А. Гофмейстер готовит к печати книгу, в которой рассказывает о своей поездке в Японию.

Павел Когоут — чешский драматург, автор пьесы «Такая любовь».

ЛИРИКА ШТЕФАНА ЖАРОГО

В своем новом сборнике лирических стихов «После меня другие» известный словацкий поэт Штефан Жарый, как пишут «Литерарни новины», говорит о себе, о своих чувствах «гражданина, возлюбленного, поэта, сторонника мира, глашатая неподкупной свободы...»

Преломляя общественные явления через призму своего поэтического восприятия, поэт философски осмысливает воспринятое и потому, подчеркивает газета, его лирика имеет общественное звучание. Размышляя над тем, чем может и должен быть человек, Жарый говорит, что человек может быть «сеятелем счастья, кормильцем, источником совести, но одного он не смеет — нести в этот мир войну». Он может быть чем угодно — «Только не винтовкой, только не винтовкой!» Этими словами заканчивается одно из лучших стихотворений сборника.

ФИЛЬМ ОБ ОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЯХ

На экраны Чехословакии вышел фильм «На конечной остановке». Сценарий фильма написал Людвик Ашкенази, избрав темой жизнь простых людей с их радостями и горестями. Действие происходит в течение года в доме, стоящем на последней остановке одной из линий пражского трамвая и населенном многочисленными жильцами. Этот фильм — «история человеческих взаимоотношений, рас-

Кадр из фильма «На конечной остановке». В главных ролях заняты артисты Ева Оченашова и Владимир Раж.
(Журнал «Свет в образех»).

сказанная с мягким юмором и оттенком грусти, столь характерным для Л. Ашкенази, с той чуткостью и тонкостью чувств, которые так редки в наших фильмах», — пишет «Культурны живот».

Основная идея фильма, сообщает «Руде право», заключается в том, что «не одинок тот, кто верит в людей и в себя. Человеческий коллектив может смягчить личную трагедию и помочь человеку в тяжелую минуту». Фильм поставлен режиссерами Я. Кадером и Э. Клосом.

ПРИЗЫВ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

Шестьдесят два чехословацких кинематографиста подписали совместное обращение к деятелям киноискусства всего мира, в котором призвали делать все для того, чтобы ликвидировать холодную войну и восстановить добрососедские отношения между народами.

«Как кинематографисты вы знаете, — говорится в обращении, — сколько творческих усилий требуется для создания культурных ценностей. Давайте вместе подпишем мирный манифест и поклянемся, что мы не создадим ни одного фильма, который мог бы в какой-то мере способствовать развязыванию войны».

ЧИЛИ

ИНТЕРВЬЮ С ПАБЛО НЕРУДОЙ

Чешский еженедельник «Литерарни новины» опубликовал интервью с Пабло Нерудой. На вопрос корреспондента, над чем поэт работает в настоящее время и кого из современных латиноамериканских писателей он считает наиболее интересными, П. Неруда ответил, в частности, следующее: «Я написал книгу стихов «Виноград и ветер». Многие мои стихи — результат моих поездок во Францию, СССР, Англию, Венгрию и Чехословакию. Я опубликовал также первую книгу «Оды простым вещам». Но эта работа еще не закончена... Вы спросите, какие были отклики на это произведение? Некоторые наши критики не поняли меня, но появилось и несколько хороших марксистских критических выступлений. Зато реакционная критика в большинстве своем была единодушна. Реакционеры писали, что «Оды» являются «самой опасной книгой Неруды». Они приравняли ее к фестивалям молодежи. По существу, реакционеры прекрасно поняли, о чем идет речь...

Превосходную книгу написал мой соотечественник В. Тейтельбойм — «Семена в песке». Это роман о концентрационных лагерях, созданных в Писагуа.

К выдающимся явлениям нашей литературы относятся новые произведения Мигеля Анхеля Астуриаса, новые стихи Гильена, Рафаэля Альберти. Я хочу назвать также значительные произведения авторов, которые вам в Европе неизвестны. Так, например, председатель нашего Союза писателей Рубен Асокар опубликовал книгу о южных островах. Чилийский писатель Франсиско Колоане пишет рассказы, которые могли бы заинтересовать молодежь. Это книги об Огненной земле, Патагонии, о мысе Горн, о Магеллановом проливе».

ЮГОСЛАВИЯ

«ГОСПОЖА МИНИСТЕРША» НА ЭКРАНЕ

В Югославии экранизируется комедия Бронислава Нушича «Госпожа министерша». Это — третье произведение Нушича, выходящее на экраны. После войны в Югославии появились фильмы по комедии Нушича «Сомнительная личность» и по его рассказу «Общий ребенок». Сценарий для фильма «Госпожа министерша» написан профессором Академии театрального искусства Станиславом Баичем, режиссер — Жорж Скригин.

КНИГА О КИТАЕ

Одной из новых книг, изданных в 1958 году, являются путевые очерки «Китай» Нады Маринкович. Автор с большой теплотой рассказывает о трудолюбивом китайском народе, его культуре, искусстве, о китайских городах и селах. Это — третье большое произведение молодой писательницы, которая провела в Китае несколько месяцев в качестве гостя Пекинского радио. После поездки в Италию в 1949 году вышла первая книга очерков Н. Маринкович об этой стране под названием «Бедняки мешают». В 1956 году выходит вторая книга ее интересных путевых заметок, где писательница рассказывает о своих впечатлениях от поездки по Югославии, Советскому Союзу и Франции и о встречах с выдающимися деятелями культуры этих стран.

В настоящее время писательница работает над сборником рассказов, который выйдет в текущем году.

ЯПОНИЯ

КИМ ДАЛЬ СУ — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ МИРА И КУЛЬТУРЫ

Произведения японского писателя Ким Даль Су, корейца по национальности, широко известны в Японии. Автор правдиво и образно рассказывает о тяжелых условиях, в которых жил народ Кореи в тот период, когда страна находилась под господством японских империалистов. Нужда и голод заставляли корейцев покидать родину и эмигрировать в Японию, Китай и другие страны, где их ждала не менее печальная участь. Этой теме посвящает писатель и свой во многом автобиографический роман «Мрачное море».

Журнал «Син нихон бунгаку» сообщает, что Конгресс деятелей японской культуры наградил Ким Даль Су премией Мира и культуры за его произведения «Мрачное море» и «Люди моей родины».

Во время вручения премии Ким Даль Су сказал: «Цель моей работы — с помощью литературы укреплять взаимопонимание и дружбу между народами. Я очень рад, что моя деятельность так высоко оценена Конгрессом деятелей японской культуры».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Лиана Даскалова (род. в 1927 г.) — болгарская поэтесса, автор сборников стихов «Белые стаи» («Бели ята», 1954), «Когда мечты сбываются» («Когато мечтите се сбъдват», 1952), «Признание» (1957).

Печатаемое стихотворение взято из сборника болгарской поэзии «Под знаменем Октября» («Под знамето на Октомври», 1957).

Уильям Галлахер — William Gallacher (род. в 1881 г.) — видный деятель английского рабочего движения, президент Коммунистической партии Великобритании. Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Хелена Бобинская — Helena Bobińska (род. в 1887 г.) — польская писательница, автор многих произведений для детей. Известны ее книги «О счастливом мальчике» ("O szczęśliwym chłopcu", 1930), «Сын партизана» ("Syn partyzanta", 1950), «Пионеры» ("Pionierzy", 1951), «Заговор» ("Spisek", 1954) и др.

Публикуемые воспоминания взяты из книги «Воспоминания поляков об Октябрьской революции» («Wspomnienia Polaków o Rewolucji Październikowej», 1957). Рецензию на эту книгу см. в № 3 нашего журнала за 1958 г. (раздел «Среди книг и журналов»).

Альфред Курелла — Alfred Kurella (род. в 1895 г.) — немецкий писатель и общественный деятель. Воспоминания А. Куреллы взяты из сборника воспоминаний «Незабываемый Ленин», вышедшего в ГДР в 1957 году, и даются с сокращениями.

Арагон — Aragon (род. в 1897 г.) — выдающийся французский писатель, поэт, критик и публицист, главный редактор еженедельника «Леттр франсез». Творчество Арагона широко известно советскому читателю, наиболее значительные его произведения переведены на русский язык.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Новое горе» ("Le Nouveau Crève-coeur", 1948) и «Неоконченный роман» ("Le Roman Inachevé", 1956).

Халлдор Лакснесс — Halldor Laxness (род. в 1902 г.) — широко известный исландский писатель, автор романов, новелл, публицистических статей, лауреат Нобелевской премии. Отрывок из романа «Герпла» ("Gerpla", 1952) был опубликован в журнале «Иностранная литература» (№ 1, 1957 г.).

Роман «Летопись хутора Бреккукот» ("Brekkukots annall") опубликован в 1957 году издательством Helgafell.

Хайя Кадмон (род. в 1920 г.) — израильская поэтесса и литературный критик, сотрудничает в газете «Кол Хаам» (орган компартии) и литературном приложении к ней. Перевела на язык иврит стихи В. Маяковского и других советских поэтов, а также произведения Пабло Неруды и Назыма Хикмета.

Азиз Несин — Aziz Nesin — известный турецкий писатель-сатирик. За последние годы вышло несколько сборников его юмористических рассказов — «Собачьи хвосты» ("It kuyruğue", 1955), «Запасные части» ("Yedek parça", 1955), «Кресло» ("Koltuk", 1957), «Торжество по случаю установки котла» ("Kazan töreni", 1957) и другие.

Рассказы, публикуемые в журнале, взяты из сборников «Собачьи хвосты» и «Запасные части».

Аттила Йожеф — Attila József (1905 — 1937) — выдающийся венгерский поэт. Лучшие произведения — «Пшеница» ("Buza"), «Социалисты» ("Szocialisták"), «Памяти Ади» ("Ady emlékezete"), «Рабочие» ("Munkások").

Публикуемые стихотворения написаны автором в тридцатые годы.

Седрик Белфрейдж — Cedric Belfrage (род. в 1904 г.) — американский публицист. Статья С. Белфрейджа «Славный юбилей» была опубликована в № 2 журнала «Иностранная литература» за 1958 год (см. там краткие сведения об авторе).

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

Махмуд Амин аль-Алим — египетский писатель, литературовед, редактор журнала «Ар-Риссаля аль-Гедида», издающегося в Каире. Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

Эйвин Болстад — Øivind Bolstad (род. в 1905 г.) — норвежский писатель, автор ро-

манов и новелл. Роман «Спекулянт» ("Profiteren"), разоблачающий норвежских коллаборационистов, был в 1948 году переведен на русский язык. В № 10 журнала «Иностранная литература» за 1957 г. опубликован рассказ Э. Болстада «О том, как Рейнерт Мусебергет захотел прыгнуть выше головы».

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Альберт Мальц — Albert Maltz (род. в 1908 г.) — американский новеллист, драматург, романист.

В № 9 журнала «Иностранная литература» за 1956 год напечатан рассказ Мальца «Смех, звонкий как колокольчик» (см. в этом номере краткую библиографическую справку о произведениях А. Мальца).

Публикуемая статья прислана автором в рукописи.

Режи Бержерон — Régis Bergeron (род. в 1923 г.) — французский писатель и журналист, сотрудник газет «Се суар», «Леттр франсез», «Юманите».

Настоящая статья прислана автором в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, Н. И. Родионов** (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефоны: В 3-51-47, В 1-15-08.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков*

А 03813. Сдано в производство 17/II 1958 г. Подписано к печати 12/IV 1958 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 8,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл. Зак. 370.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.